

Н О В Ы Й
М И Р

12



1975



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1975 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВС. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — <i>Новые стихи</i>	3
ЮРИЙ СБИТНЕВ — <i>Жизнь как жизнь...</i> , повесть	10
ТАТЬЯНА СМЕРТИНА — <i>По своим следам иду...</i> , стихи	50
ТИМОФЕЙ СОКОЛОВ — <i>Перед трудным выбором</i> , повесть-быль. Послесловие генерал-лейтенанта юстиции Н. Ф. Чистякова	53
ГОЛОСА ДАГЕСТАНА: <i>Омар-Гаджи Шахтаманов</i> . Моя река Кара-Койсу; В осеннем саду; Андийское озеро; Памяти Хемингуэя. Перевел с аварского В. Равич. — <i>Амадан Кукуллу</i> . Стихи о разлуке; Повелитель земли; Друзьям. Перевел с татского А. Големба	118
ИЗ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ПОЭЗИИ: В. Завада. В полете; Жатва. — <i>Иван Скала</i> . Дом; Моя Испания; Желанье; Колокола. — Д. Шайдер. Мой день; Июньский дождь; Голову обнажив..., На родине моей. Перевели Вл. Солоухин, Вера Игельницкая, Т. Глушкова, Г. Андреева	126
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
В. ДЖАЛАГОНИЯ, Б. ЧЕХОНИН — <i>Чистый воздух</i>	135
ПЕТР РЕБРИН — <i>В муромцевских даях</i>	147
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
И. БРАЙНИН — <i>Революционный сборный пункт столицы</i>	176
ПУБЛИЦИСТИКА	
<i>К 70-летию революции 1905—1907 годов</i>	
А. КОСТИН — <i>Пламя революции над Россией</i>	179
<i>К 150-летию со дня восстания декабристов</i>	
Г. НЕВЕЛЕВ — <i>Неизвестные письма декабристов</i>	193

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
Ю. ДОМБРОВСКИЙ — «И я бы мог...». Заметки и размышления писателя	205
Л. ВИШНЕВСКИЙ — Из летописи подвига (Петр Долгоруков и люди 14 декабря)	217
ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ — Записка декабриста, стихотворение	222
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
М. ПАРХОМЕНКО — Рубежи познания. Актуальные проблемы типологии социалистического реализма	223
М. КОЗЬМИН — Оставить след на земле. Над страницами романа Ю. Бондарева «Берег»	246
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	257
Галина Серебрякова. Дорогой первых коммунистов.— И. Денисова. Поэма о декабристе.— Л. Аннинский. Воля. Путь. Результат.— В. Баранов. В многообразии — единство.	
<i>Политика и наука</i>	267
А. Ушаков. Авангард революции.— В. Косолапов. Истоки.— В. Орлов. Зоркость глаза, емкость памяти.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Н. Яковлев.— Марк Сергеев. Подвиг любви бескорыстной. Рассказы, воспоминания. ♦ Эр. Ханпир.— Л. П. Петровский. Петр Петровский. ♦ Б. Исаев.— И. Смирнов. Марковская республика. Из истории крестьянского движения 1905 года в Московской губернии. ♦ Н. Дологова.— Роман Белоусов. Из родословной героев книги	276
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	279
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1975 ГОД	280

ВС. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ



НОВЫЕ СТИХИ



Все доступно для зренья поэта,
Для приметливой думы его.
Из слияния мрака и света
Он словами творит волшебство.

Кто сказал — в примелькавшемся быте,
В пестрой смене его мелочей
Места нет для неожиданных открытий,
Для струящихся в недрах ключей?

Что слова — нерушимые зданья,
Знаки наших понятий и дел,
Что привычное их сочетание
Ставит новым дерзаньям предел?

Но затем и рождались поэты,
Чтоб родной открывал им язык
Потаенного клада приметы
И глубинного смысла родник.

Все, что стерто, становится новым,
Непривычным для слуха и глаз
Там, где встретилось слово со словом
В самый первый, единственный раз!

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

В базарной суете, средь толкотни и гама,
Где пыль торгашества осела на весы,
Мне как-то довелось в унылой куче хлама
Найти старинные песочные часы.

На парусных судах в качании каюты,
Должно быть, шел их век — и труден и суров —
В одном стремлении: отсчитывать минуты
Тропической жары и ледяных ветров.

Над опрокинутой стеклянной воронкой,
Зажатою в тугой дубовый поясок,
Сквозь трубку горлышка всегда струю тонкой
Спокойно сыпался сползающий песок.

Песочные часы! Могли они, наверно,
 Все время странствуя, включить в свою судьбу
 Журнал Лисянского, промеры Крузенштерна,
 Дневник Головнина и карты Коцебу.

И захотелось мне, как в парусной поэме
 Отважных плаваний, их повесть прочитать,
 В пузатое стекло запаянное время,
 Перевернув вверх дном, заставить течь опять.

Пускай струится с ним романтика былая,
 Течет уверенно, как и тогда текла,
 Чтоб осыпь чистая, бесшумно оседа,
 Сверкнула золотом сквозь прозелень стекла.

Пускай вернется с ней старинная отвага,
 Что в сердце моряка с далеких дней жива.
 Не посрамила честь андреевского флага
 И русским именем назвала острова.

Адмиралтейские забудутся обиды,
 И Беллинсгаузен, идущий напрямик,
 В подзорную трубу увидит Антарктиды
 Обрывом ледяным встающий материк.

Пусть струйкой сыплется высокая минута
 В раскатистом «ура!», в маханье дружных рук,
 Пусть дрогнут айсберги от русского салюта
 В честь дальней родины и торжества наук!

Мне хочется вернуть то славное мгновенье,
 Вновь пережить его — хотя б на краткий срок,—
 Пока в моих руках неспешное теченье
 Вот так же будет длить струящийся песок.

* * *

Еще одно несказанное слово,
 Угаданное по движенью губ,—
 И вот душа, как ласточка, готова
 Лететь поверх пушистых крыш и труб.

Куда? К алмазной россыпи пространства,
 Мерцающей на фоне синевы,
 Иль к дальнему пунктиру постоянства
 Земных огней над сумраком Невы?

Несказанное слово... Пар дыханья
 От нежных губ, задетых холодком...
 Молчат морозом скованные зданья
 В сугробах ночи, в воздухе крутом.

Прохладные руки прикосновенье,
 Прощальный взгляд, молящий и немой...
 Ужель все это стало только тенью,
 Давным-давно растаявшей зимой?

СТАТУЯ

Она была лишь девушкой несмелой,
Еще в неведении добра и зла,
А дерзновенье скульптора хотело,
Чтобы она бессмертье обрела.

Резец вгрызался в камень вдохновенно,
Дробил его, не уставал колоть,
Освобождая из него плена,
Из вещества, ее живую плоть.

Глядит она безмолвно и смущенно,
И страшно ей, живой среди живых,
Узнать себя в богине обнаженной,
В Киприде, что встает из пен морских.

Как будто это новое рожденье
Уже сулит предчувствие конца,
Ненужные ей жертвоприношенья,
Восторг толпы и фимиам жреца.

Душа ее еще горит от жажды,
Которая живущим дорога,
Все испытать, что здесь дается каждой
Невольнице любви и очага.

Она бессмертной быть и не хотела,
И пиршеству богов она чужда.
Зачем ее сияющее тело,
Как мрамор, озаряет города?

Зачем чело ей кистью виноградной
Благоговейно украшаешь ты?
Легко ль стать воплощеньем беспощадной
И навсегда бесстрастной красоты!

* * *

Пока живу, пока дышу,
Иного счастья не прошу.
Все уходящее, живое
Теперь ценнее стало вдвое.

Не надыхаться, говорят,
На перекрестках расставанья,
Но и последний этот взгляд
Мне дарит радость обладанья.

ИЗ ОКНА

Старик с лицом мастерового,
В очках, в измятом пиджаке
Раскрыл окно, глядит сурово
Во двор, лежащий как подкова
На плоской каменной руке.

Потом, вздохнув, роняет веки,
 Раскачивается слегка,
 И в пыльном скучном человеке
 Темнеет степь, сверкают реки,
 Идут, как думы, облака.

Старик задумался, но где-то
 В нем приотворено окно
 В полузабытый мир поэта
 И луч, срезая студень света,
 Ложится камешком на дно.

Белесый луч, обманщик старый,
 Сверкнул стекляшкой кольца.
 Что ж ты молчишь, мечтатель ярый?
 Коснись расстроенной гитары,
 Припомни Кинешму, отца,

Забор над Волгой, дом в сирени,
 Себя, жену в семнадцать лет,
 Одно из летних воскресений,
 Когда за лодкой, полной лени,
 Бежал малиновый рассвет.

Верни те дни, когда моложе
 Был малый мир твой и когда,
 Уют прадедовский тревожа,
 Как блудный сын, ты ночью тоже
 Свой дом покинул навсегда.

Куда вели тебя скитанья?
 В бой на буденновском коне?
 Иль в тинный мир существованья,
 Где гаснут лучшие желанья
 И жизнь проходит как во сне?

Пока косой закат сурово
 Багрит булыжники двора,
 Я крепко слит с тобой, я снова
 Всю тяжесть знания ночного
 Держу на кончике пера.

Нет, я не верю доле сирой
 И, седину твою щадя,
 Гляжу в окно твоей квартиры
 Под тихий звон гитарной лиры,
 Подобный шороху дождя.

ГЕРБАРИЙ

Сохранены им хрупкие суставы,
 Латинские даны им имена,
 Разглажен плотно стебель пышноглавый,
 Где жилоч сеть отчетливо видна.

Гляжу на эти призраки растений,
 Забывшие, что есть и жизнь и свет,

Безрадостные, сумрачные тени,
Лишенный плоти, выцветший скелет.

И грустно мне встречать порою души,
Увядавшие под зноем бытия,
Когда их жизнь безжалостно иссушит,
Обуглив свежих лепестков края.

Над ними больше бабочкам не виться,
Не задержаться на весу пчеле.
Весенний луг им может только сниться,
Но даже сны их сохнут в полумгле.

А жизнь идет. Она всегда в разгаре,
Лишь у нее на свет и мрак права,
И не она придумала гербарий —
Бездушное подобье естества.

* * *

Я сроднился с последней тревогой,
Согласился впустить ее в дом...
Хорошо помолчать пред дорогой,
Вспомнить то, что забудешь потом.

Лента жизни не может быть целой,
Как обратно ее ни крути:
Неизбежны разрывы, пробелы
На ее долголетнем пути.

Но внезапным лучом озаренья
Память снова находит слова —
И смыкаются прежние звенья,
И высокая Правда жива.

Суждены тем минутам приметы
Несказанной живой простоты,
Пред которой немеют поэты,
Говорят облака и цветы...

ТЮЛЬПАН

Чудесный гость далекого Ирана,
Любимец опаленных солнцем стран,
В садах Хафиза огненный тюльпан
Подобен чаше, где вино багряно.

И кочевой ему был жребий дан:
Он стал жильцом холодного тумана,
Цветком Голландии, где неустанно
На берег волны рушит океан.

Но мне милей он на родном просторе,
Когда, услышав дней весенних зов,
В апреле степь волнуется, как море

Лиловых, белых, розовых цветов,
Или когда на грядке садовода
С ним дружит подмосковная природа.

* * *

Бывает так — слабеет тело
И тают годы, словно дым,
А сердце — нет, не постарело,
Осталось тем же молодым.

Непостижимая загадка!
Ну что ж! Охотно признаю
Все нарушения порядка
В извечно слаженном строю.

* * *

Как бешеный бушует и полощет
Внезапный ливень, рушась с высоты,
Пустынную асфальтовую площадь,
Газоны и примятые кусты.

И лишь фонтан в своей овальной чаше
Из пасти львов, из раковин наяд
Под этим вихрем мечется и пляшет,
Встать в полный рост стараясь наугад.

Его, должно быть, выключить забыли.
Он одинок под яростным дождем,
Но все-таки в круженье брызг и пыли
Все так же бьет стрелю напролом.

Завидую я мужеству фонтана,
Несдавшемуся грузу грубых сил.
Он должен ввысь стремиться неустанно,
Какой бы вихрь его ни надломил!

ГАНГУТ

(1714)

Прижата чужая эскадра
К гранитам извилистых шхер,
Летят раскаленные ядра
С высоких петровских галер.

Багряные дымы Победы
До самого неба встают,
На веслах спасаются шведы,
Крутой проклиная Гангут.

А Петр с головного фрегата,
От пороха черный, как черт,
Кричит, надрываясь: «Ребята!
Виктория! Право на борт!..»

Все кончено. Море устало
Людей и обломки несло.
«Побито и наших немало,
Зато потрудились зело.

Заказана шведам дорога,
Им ввек на Неве не бывать,
Надеяться можно на бога,
Да лучше самим не плошать.

А хлеб из такого помола
На доброй закваске взойдет». *Vivat!* И полою камзола
Он вытер струящийся пот.

Таким на старинной гравюре
Я видел фигуру Петра —
С лицом, уподобленным буре,
На фоне морского костра.

Но где те безвестные люди,
Что в схватке — себе на беду —
Стояли тогда у орудий,
Тонули в кипящем аду?

И шведы и русские вместе,
Как было кому суждено,
В дыму, под знаменами чести
Шли, воду глотая, на дно.

Их нет под иглою гравера
В штриховке, в сплетении рей,
В пылу абордажного спора,
В дыму бортовых батарей.

Над вспышками с каждого борта
Лишь надпись на небе пустом
Извилистой лентой простерта,
Венчая баталии гром.



ЮРИЙ СБИТНЕВ

★

ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ...

Повесть

Глава первая

Иван Жаплов, шофер тринадцатой автобазы Транссибирского автотреста, возвращался из командировки по Ашуйскому тракту. Была весна, и земля только-только сбросила белый покров. Дорога расхлябилась, лед согнало, и лужи лежали на всем пути, порою казалось — машина бежит по мелкой извилистой речке. На вершинах сопок растрескавшийся ухабистый асфальт кое-где подсох, но кое-где был перехвачен льдом и укатанным снегом. Тут снег лежал и по кюветам — грязный, поблескивающий бутылочным стеклом. За зиму довольно понакидали посуды, согреваясь на долгом пути. И теперь бутылки и крупная стеклянная крошка вытаяли.

Иван отметил про себя, что посуды по обочинам нынче валяется куда гуще, чем в другие годы. Пить ли стали больше, или тому виною нынешняя, до страху лютая зима.

Иванов «ЗИЛ-130», недавно вышедший из капремонта (заново собрал машину, делал ремонт сам), бежал ровно и ходко — порожняком. За семьсот верст от родного Сосновска гонял Иван с грузом, а вот обратно так и не загрузился. Ждал три дня, только время зря потерял.

До Сосновска оставалось уже не больше двухсот километров, когда вдруг запуржило. Нанесло с белых увалов Саян холодов. Дорога обледенела.

На Засайском перевале мела метель, и ехать пришлось с включенными фарами. В ошупочку, на первой передаче. Миновав Засай, тракт тут вился, как юла, поднимаясь и падая на скалистых кручах. Иван решил переночевать в селе Перевальном у знакомого кержака. «Глядишь, за ночь и распогодит. У весны, что у девки на выданье, сорок перемен на дню», — подумал, глядя, как тяжело и скрипуче работают дворники, убирая снег со стекла. Пятнадцать лет мотается по Ашуйскому тракту, есть у него добрые знакомцы, у которых всегда найдется и постель для отдыха и угощение.

Была по первому году у него и знакомица. Баба — сладкая ягода. Уезжал от нее — руки руль не держат. Приткнется где-нибудь к обочине и спит — досыпает, чего недоспал, силу набирает, которую потратил в любви да ласке. Привязался к ней не на шутку. Серьезно думал о ней. Но получилось так, что выкинул из сердца. Как-то напросился

из рейса в рейс, без отдыха положенного. Хотелось сударушку свою приветить. Подъехал тогда к воротам, глянул, а за ними стоит заезженный «газон». Сердце камнем ухнуло, в душе заглодало. Толкнул от себя дверцу так, что чуть было с петель не снес. Бегом на крыльцо... А в сенцах уже она, Кланя:

— Ванечка, милый! Ты чо не в урочный..

А сама в одном халатике. Ударил ее горячий запах в ноздри. Спросил, из себя выдохнул:

— Спала, Кланя?

— Спала, Ванюшка... — А сама телом дверь заслоняет.

— Больно поздно встаешь!..

Кинул Кланю от себя. Дверь наотмашь — и в камору. Постель и впрямь растелена, и на ней сидит, никак в сапог ногою не попадет, шоферишка. Молодой, мордатый, глаза испуганные и улыбка дурацкая на лице. Все стерпел Иван, но только не эту улыбку.

— А ну выходи! — Рывкнул, а у самого бычьей силой, тяжелой кровью налился загрявок. — Выходи!

Кланя стоит у притолоки краше в гроб кладут, белая, пышной окаянной рукой своей (что молоко кожа у бабы) рот зажимает. А губ своих (кровь губы) жарких, не остыли еще, скрыть не может. Видит их Иван.

Шоферишка кое-как натянул сапог. Встал в полный рост. Малый вроде бы и ничего — складный. Но до Ивана тянуться надо. Иван — под матицу и силищи громадной. Глянул на парня, на Кланю, дрогнул телом всем от мысли, что порешить бы их надо, но сдержал себя.

— Куда идти-то? — спрашивает парень и вроде бы поборол в себе страх.

— В горницу иди! Говорить с тобой буду!

Прошли в горницу, в ней стол накрыт.

— Садись! И ты, Кланя, садись. Ишь ты, и стол накрыла... — На столе бутылка красного вина, закусочка. две стопочки, тарелки да вилочки. — Хорошо гостя встречаешь! Хорошо... Только вот стопкой обнесла. Ну ладно, я и со стакана могу. — Иван берет в руки бутылку. — Нет, Кланя, керосин этот я пить не приучен. Нет ли чего поумнее?

Мутнеет в глазах у бабы. И страх и жалость в сердце, и жизнь ее вся как есть разбитая. Но идет незрячая неверным шагом к буфету, достает графинчик. Чистый он, как слеза ее, а на дне золотые лимонные корочки. Несет к столу, дрожит рука, и водка за стеклом дрожит, переливается на свету. «Что же это будет? В хмельном мозгу укороту нету!» Иван себя в руках держит. Нет у него на лице слабости, боится показать ее. А в душе добрую эту бабу вот как жалко, так бы и крикнул: «Винись, Кланя! Винись, ягода моя! Все прощу!» Но на лице его один только гнев, и шея — что самовар медный, бузиною вычищенный.

Налил себе полный граненый стакан.

— Тебе чо, керосин? Иль с моего графина выпьешь?

— Не пью я... — Парень исподлобья глянул, настороженно так, но без страха.

— Значит, керосин! — Разлил Иван вино по рюкмам. — Пейте. Надо бы «горько» крикнуть, ну да ладно. Чокаться с вами не буду.

Ахнул стакан залпом, налил другой, третий неполным вышел. Выпил и третий. Помолчал, ощущая, как бежит, разливается по жилочкам тепло — в пользу пошла лихая эта выпивка. Да вдруг и ахнул стакан об пол. Кланя вскрикнула, прикрылась руками, и парень вздрогнул. А из Ивана с этими вот стеклянными крошками словно бы что выплеснулось.

— Ну вот,— сказал спокойно и положил кулак на столешницу.

— Закуси, Ваня,— сквозь слезы попросила Кланыя.

Не притронулся к пище Иван и голоса ее не услышал.

— Время раннее.— Было еще до полудня.— Так что все и совершить успеет.

Помолчал. Жалко себя, но пуще всего Кланю. Что ни говори, а за тот сладкий годик сроднились. Да не судьба, видно. Парнишка этот ладненький — его кровник по любви. Припомнил, говорила Кланыя: был, дескать, у нее залеток. Жениться обещал, но улетел далеко, а тут Иван с ласкою и приветом. Может быть, он залеток и есть. Вернулся. Молодое вино хмелит, старое с ног валит. Выходит, Иван-то для Кланыя вино молодое.

И тут словно кто в уши нашептал. Глянул Иван на шоферишку да как гаркнет:

— Ты чо же, керосинщик, колесная твоя душа, честную бабу срамишь?! Чо мучишь ее, злыдень! — И впрямь задыхается Иван от злости: — Она вон, гляди! Гляди, чо морду воротишь! Она вон вся с лица сошла! В гроб краше кладут! — Несет Ивана куда-то жаркая волна жалости к Клане. Он во все, что говорит, уже взаправду верит.— Ты чо дожидаясь, когда ей ворота дегтем вымарают?! Ты чо сироту обижаешь, а?

Схватил вгорячах парня за грудки, свинтил ему пиджачишко и на руки поднимает. Слышит парень силушку необузданную, но себя держит. Труса не празднует и ва-банк не идет. Посупротивничал бы, так и грохнул бы его Иван оземь.

— Ты чо, подушечник, девку мне портишь? А? — И вдруг разом выдохнул как в воду кинулся: — А ну женися! Женися, говорю! Или растопчу! Вусмерть растопчу!..

— Ванечка!.. — закричала Кланыя, на руке повисла.

Страхнул с себя, пуговицы с пиджака парнишкиного дождем на пол просыпались, лацканы в кулаке Ивановом остались.

— Истопчу!.. — Кинул обоих на лавку друг рядом с другом.

Парень оцетинился, лицом помрачнел, заходили желваки на скулах:

— Чо орешь? Чо руки распускаешь? Ты-то кто такой?.. По праву какому?..

Сам от себя не ожидал Иван, выпалил:

— Брат я ее! Сродный! Понял...

— Чего же орешь-то? — Парень подплыл улыбочкой. Вздохнул, оправляя пиджак: — Ишь, чо удумал. Костюм, однако, порвал...

— Я те голову оторву,— пообещал Иван, но уже без той ярости, отходя сердцем.

Парень понял это:

— Брат, понятно... Знакомыми, что ли, будем? Михаил.— И протянул руку.

Иван своей не подал, нахмурился:

— Лукавый тебе знакомец... Подушечник.

— Ишь чо придумал — подушечник. Ты чо, чумовой? Вот с ночи заехал только что отдохнуть... Сам рулило, знаешь.

— Я-то знаю! Я знаю! — разом взбурлил Иван: ложь эта больно хлестнула по сердцу.— Чо ты мелешь? Чо ты мне шары катишь? Ты девку обесчестил! И еще баки забиваешь...

— Погодь!.. Погодь...

— Нече годить! Ишь ты — отдохнуть заехал!.. Дачник. Ты ей говорил, что женишься? Говорил, что замуж возьмешь? Говорил? — Иван

весь побагровел, сдерживаясь, готовый вот-вот кинуться на парня.— Говорил?!

Парень молчал, отведа глаза и закаменев скулами.

— Ты мне жвачкою-то не играй! Не скрыпи зубами. Они тебе сгодятся! Честно отвечай! Говорил или нет?

Парень решительно молчал, готовый ко всему.

— Кланя! — Иван взревел, готовый разрыдаться, слыша, как от жгучей жалости к себе, к Клане, даже к этому парню сжимается сердце.— Кланя, рódная! Обещал он аль не обещал?

Надежда вдруг охватила его: «А вдруг ничего промежду ними не было?»

Кланя глянула на него глазами, залитыми слезами, истинным горем. И он понял — рухнуло все. В нем рухнуло, для него. Ее бы только спасти. И все-таки вроде бы потянулся к ней, чтобы упасть на колени, ткнуться тяжелой головою в подол, забыться и простить... Все простить... И будет у них опять все хорошо. Нет, не будет! Никогда не будет... Он, Иван Жаплов, измену никогда не простит. Режь его на кусочки — не простит... Даже ей, Клане...

— Ну скажи, Кланя!

Она кивнула головою, подтверждая его слова.

— Скажи, чтоб слышал!

— Обещал...

— Чо обещал?

— Жениться обещал, замуж взять...

— Ага! Слышал? Ты, дачник! Слышал? Я те за нос-то повожу!..

— Чо орешь? Ну чо орешь?

Парень вскочил. Поднялся навстречу. Иван тоже.

— Ну! Стыкнемся?

— Бей! Бей первым! — подставился парень.— Наше это дело! Понял? Наше! Ее и мое!

— Ага! Ее и твое? Ясно, парень, но только в ясности-то ясность должна быть!

— У меня все ясно...

— Ага... Ну, это уже разговор. Садися...

Сели. Иван поглядел долго на парня. Вроде бы под стать Клане будет. Спросил:

— У тебя намерения серьезные?

— Ну?

— Ты не нучь.

— Серьезные!

— Вот это я люблю. Это разговор. Давай-ка спрыснем.

Разлил по рюмкам вино. Хмель так и не взял его. Выпили молча, чокнувшись. Иван громко закусил соленым огурцом.

— Значит, женишься?

— Женюся... Чего пристал?

— Я ничего... Сестренку жалко... Таки вот на тракте не валяются.

Снова чокнувшись, выпили. Иван, искоса поглядывая на Кланю, спросил:

— Давно у вас?

— Давно... С год только не был я...

— Ишь ты... С год? Где ж ты был?

— На целине.

— Ага? Там что, почты нету?

— Так она же... — Парень глянул на Кланю из-под бровей. Иван понял — любит.— Она же сама. Написала, что ждать не будет, что вроде бы кто есть у нее...

— А ты поверил?

— Да нет... Приехал вот...

— Ладно, живите,— разрешил Иван.— Только все по закону будет.

Гладко все получилось, складно. Даже самому в той горячке повелось — защищает он Кланю, жизнь ее устраивает. И устроил.

Ему не составило больших хлопот съездить в сельсовет вызвать на разговор секретаря Трошу, дружка и погодка. Вместе служили в танковых войсках. И уговорить его расписать молодых. Михаил и рта открыть не успел, как сделался законным супругом. Горючей была эта свадьба для Ивана. С того дня больше и не видел молодоженов. Знал, что продали они дом и укатили на целину. Потом, когда уже затянулась болючая эта рана, когда встретил Нину и поженились они, когда совсем забылась такая сладкая и горькая по концу Кланаина любовь, Троша передал привет от «сродной сестрицы». У нее тогда уже бегали по земле трое мальчишек, и жили они с Михаилом душа в душу.

А у Ивана теперь и у самого четверо. Нина — баба рожалая. Как поедут в отпуск на покосы — есть у них свое хозяйство, коровенка есть,— дети на своем молоке куда как растут, да одной баранкой такую ораву не прокормишь... Поедут на покосы, поработают на воле, в зимовейке поспят, погреют друг друга. Глядь и уже тяжела Нина. За десять лет с пятым ходит.

...Подъезжая к повороту на село Перевальное, Иван обогнал хуленький, замурзанный «газон» с кое-как прилаженным брезентовым верхом. «Откуда-нибудь из глубинки,— подумал Иван.— Такую козью морду на тракте не встречал. И куда прет в непогодь с ребятишками». Разглядел в кабине детские лица. И уже поворачивая к селу, отметил про себя: «Насквозь попер. В такую муть и на ночь! Лихая голова — рулило».

Спал Иван ночь хорошо и еще до свету выехал со двора. Тянуло его, торопило нетерпение — скорее бы свою ораву увидеть, понянькась. Да и за Нину волновался, что, если без него разрешится.

Выезжая на тракт, снова почему-то подумал о той вот машине. Даже пригляделся к дороге, нет ли свежего следа. Может быть, одумался, вернулся на ночевку в село шофер. Нет, не вернулся. Лихая голова! Иван раньше и сам лихой был. До сих пор саднит под сердцем давний холодок его лихости. Но теперь чур! Теперь он осторожный. Зазря сломя голову не поперет. Ученый! «А этот вот лихой не в меру,— думает Иван и отмахивается: — И чего он мне дался?»

Но не зря, совсем не зря показался Ивану тот «газон». Вот он — разом выплыл из тумана. Стоит поперек дороги с поломанным бортом, а на обочине сосна вполствала стесана.

Иван напрягся разом, переключил скорость на первую передачу, прижал помалу тормоза. Поставил «зиллок» на все четыре лапы и, управляясь так, чтобы не понесло к обочине, подполз к разбитой машине. Все рыло у «газона» до самой кабины покурочено, радиатор в лепешку и внутренности наружу. Хорошо прилачился, лихая голова, вперло его на скалы, на сосну бросило... Уметь так надо.

Иван вышел из машины, не выключая мотора, не гася габаритных огней, подошел к кабине, матюкнулся во весь голос, дернул на себя дверцу и осекся сразу. В кабине сидела женщина, глаза ее были открыты, но пусто глядели на Ивана. Лицо бледное, из-под мужской шапки выбились реденькие желтоватые волосы. В утреннем полусвете разглядел он синие, ознобшие губы, черные круги под немигающими, словно бы безумными глазами и понял, что разбудил ее, напугав криком до

смерти. На коленях ее, остренько торчащих из-под платишка, голова к голове лежали двое мальцов, а третий, обняв за шею, привалился к плечу. Те двое, на коленях, были прикрыты стареньким, бордового цвета пальто. Она сняла его с себя, а сама мерзла в свитере и стеганке-безрукавке. Иван не сразу разобрал личико притулившегося к плечу женщины ребенка. А когда увидел — маленькое, серенькое, губастый рот, обметанный простудными болячками, и щеку в грязных разводах подсохших слез — заскорбел, виновато шмыгнул носом.

— Что же это вот так ночуете? — сказал Иван и покачал головой.

А женщина на голос его вдруг всхлинула и заплакала безутешно, по-детски. И он увидел, что она очень молода, почти девчонка, беззащитна и что детишки эти не ее и ей очень страшно. И не мудрено напугаться до смерти на этой дороге среди тайги, когда на тебя еще со сна дерут глотку.

— Ты не плачь, не плачь, девонька, — сказал Иван и, обойдя кабину, осторожно взял на руки мальчонку.

Рука малыша, скользнув по плечу и груди девушки, безвольно повисла. «Не заколел ли?» — подумал и понес мальчика к своему «зилку». «Как же тебя угораздило так, рулило? — думал Иван о шофере, отгоняя свою машину к обочине. — Вот ты, сукин сын, дрыхнешь час в кузове, а у тебя дети замерзают. Мало разнес в щепки агрегат свой, так нет же, еще хочешь. Хоть бы габаритки запалил, а то бы впер тебе в зад и доделал бы до ручки».

Иван подошел снова к разбитой машине и заглянул в кузов. Там, ему показалось, спит шофер.

Девчонка по-прежнему плачет, ее голова в неуклюжей, не по размеру шапке дергается, оголяя худую шею с острым, как у мальчишки, кадыком.

— Ну ты чо? Чо ты, девонька? Успокойся, — стараясь быть ласковым, бубнит Иван. — Лезь-ка отсюда... Шагай ко мне в кабину. Тепло там, отогреешься...

— Не могу я... дядя... — Губы не слушаются, и дрожь бьет ее тело.

— С чего не можешь? Разбилась, что ли? Дай-ка детишек сюда.

— Заколела я... дядя...

— Ага.

Иван сбрасывает со спящих детишек пальто, сторожась — не разбудить бы. Берет на руки маленькую, в зимнем пальтишке, закутанную в большую шаль девочку. Несет ее к своему «ЗИЛу», укладывает в кабине и снова возвращается. Оставшаяся тоже девочка. Поднимает ее. Старые рейтузы и длинное, не по росту пальто мокрые.

— Эге, брат, это уже совсем не годится. Она тебя тоже замочила?

— Да... — кивает девушка. Она уже не плачет, только мелко-мелко трясется ее подбородок. — Хворенькая... Пять уже... А все в постель и в постель...

Иван не слушает, идет, прижимая к себе мокрую. В кабине пеленает ее в свой теплый бушлат, за рулем он в одной стеганке. Бушлат для парада, в нем он щеголяет по приезде на место и у себя в гараже.

— Ты сама-то вылезешь? — спрашивает Иван у девушки. — На вот хлебни горяченького. — И подает ей фляжку. У Ивана всегда есть НЗ, на всякий случай. Вот он, случай. — Пей.

— Что это?

— Лекарство. Какава с мясом. Да не бойся, глоток пошибче делай. Как звать-то тебя?

— Капа...

— Пей, Капитолина, только залпом.

Она берет фляжку, едва удерживая ее в руках, закидывает голо-

ву. Иван видит белую шею, стремительно взлетевший раз, другой кадык. Капа нерасчетливо сделала крупные глотки, и водка бежит подбородком, скатывается на грудь. Она отчаянно кашляет, задохнувшись. Иван едва перехватывает фляжку. Девушка машет руками, стучит ногами, и по лицу ее катятся слезы.

— Ты что же, девка, взаправду думала, что я тебе какава дам? — ворчит Иван, завинчивая фляжку. — Дуешь, как с мамкиной титки, без просыху.

Капа, все еще кашляя, пытается встать, но обвисает на сиденье. Запозданные ноги не держат.

— А ну-тка!

И не обращая внимания на протесты, Иван и ее берет на руки. Руки его касаются упругих ног девчонки, ее холодного, как льдышка, тела. Настывшая гладкая девичья кожа словно бы пристыла к его шершавым корявым ладоням. Иван, неся ее чуть на вытянутых руках, вроде бы стыдно к себе прижать, ворчит:

— Что же ты, дура, в одних трико-то в такую дорогу собралась? В шароварах надо! Эх ты! Застудишь вот все — наплачешься.

— У меня были... шаровары, — вдруг говорит Капа, и лицо ее краснеет. — Я их сняла... Отдала их... Мане...

— Какой Мане? — Иван усаживает Капу в кабину.

— Там... — Капа машет рукою на кузов грузовика. Хмель берет свое, глаза девчонки закрываются. Она еще борется с теплом и хмелем, хлынувшим в нее. — Там у меня еще дети.

— Где? В кузове, что ли?

— Ага...

— Да ты чо, девка? Они же заколели там...

— Не... у них одеялки. — Она уже спит, откинувшись головою на спинку сиденья, и губы ее улыбаются.

— А где шофер? — Иван трогает ее за плечо. — Шофер где?

— Не знаю... Ушел он... С вечера, — едва разбирает шепот Иван и бежит снова к «газону».

В кузове на соломе, густо расстеленной по полу, на двух овчинных тулупах, укрытые серыми казенными одеялами, спят еще пятеро детей постарше тех, из кабины.

— Вот вам, Иван Андреич, сурприз, — говорит Иван и чешет затылок. — Детский дом на колесах. Куда же мне этих-то девать?

«Где же этот разыва, нет — эта халыва-рулило? Суразенок природо-рожный! — ярится про себя Иван. — Сбег, поганка. Попер в метель и в ночь, мог бы завернуть, сука. Я же завернул. Не дурее тебя. Ну ладно, сыщешься — я из тебя душу выну и на карбюратор переделаю, — грозит Иван, а сам соображает, что же делать с этими пятерыми. — Пусть и укрыты они, пусть на овчине да на соломе, но холода же. Долго ли захворать ребенку?» Он знает, что такое, когда хворают дети. Ох как хорошо знает. У самого болели при отце, при матери... А тут вот в дороге, долго ли до греха. «Детдомовские, — догадывается, разглядывая лица спящих. — Вроде разные все, а на всех одна печаточка. Так в глаза и кинулась, хоть и спят... Без отцов, без матерей живут — будет печаточка. Как ни беги ее. Будет».

Он глядит на ребят, присев на борт. И вдруг встречается взглядом: на него смотрят глаза звереныша, пристально, настороженно. Маленькое тельце под одеялом напряглось, полное ожиданием, готовое кинуться в отчаянной решимости, защищая себя.

— Ты чо? — улыбается Иван и подмигивает.

— А ты чо? — спрашивает мальчишка и смотрит в лицо Ивану не по-детски, не по-человечески даже.

...Так глядел на него однажды лисенок, крохотный, прижавшийся к камню. Забился от собак в малую пещерку, но Иван вовремя отогнал их. Не поспел — разорвали бы. Он не дрожал, не прятал острую, с теплыми капельками глаз мордочку, он весь напрягся, глядя в лицо человеку, полный решимости защищать себя до конца. Но Иван не собирався обижать лисенка, он хотел уберечь его от собак. И потому присел на корточки перед зверенышем и забубнил ласково, как умел это делать, лаская ценят. И те понимали его, падали на спины, подставляя мягкие, розовые, в черную конопушку животы, и он щекотал их и гладил. Ивану показалось, что лисенок тоже понял его и вроде бы расслабил немощные свои мускулы и поувяли в глазах хищные огоньки.

— Глупыш ты... И есть глупыш... Махонький, махонький,— тянул Иван, присаживаясь поудобнее, улыбаясь лисенку и тем предлагая не бояться его.— Тебя, глупыша, затравят собаки-то... Затравят... И сожрут... Сожрут... А я не дам... Не дам я. Не бойси... Не бойси...

Он вроде бы и понял и не боялся уже, Иван верил, что у него, как у прадеда (тот любую зверюгу брал голыми руками и с любой язык находил), есть талант ладить с животными, а потому и потянул тихонечко к лисенку руку, чтобы погладить. Нет, не по голове, не по мордочке, чуть коснуться пальцами заднего бедра и, поигрывая, тихонечко вести их к паху. Любая зверь ласку такую принимает. И лисенок вроде бы принял, чуть только насторожил уши, да вдруг разом взъярился. Горячая боль ожгла ладонь. Зверек ухватил мякоть меж большим и указательным пальцами. Прошил ее, свел в судороге захвата острые зубы и окаменел. Боль растеклась по запястью, поплыла по предплечью, саданула под лопатку. Как ни старался Иван разнять челюсти зверюгу и словом и делом — ничего из этого не вышло. Так и пошел в село, держа на груди лисенка, марая в крови рубаху, штаны и траву. Ручьем хлестала она. А в селе накатили на него собаки, едва отбилась. Чуть было не растерзали с лисенком вместе. Зубы лисенку расщепили в два ножа дед и отец. На руке остался на всю жизнь сизый шрам, как от капкана о пяти зубьях, а лисенок выжил и стал ручным...

— Чо ты? — снова спросил Иван.— Я тебя не трону.

— Тронь только!.. Боялся больно! — ответил мальчишка, расталкивая товарищей.

Глава вторая

Решения о ликвидации Нижинского детского дома ждали давно. Многие воспитатели успели найти работу в Нижине или уехали, списавшись с другими детскими домами. Заведующая Нижинским детским домом Мария Васильевна Зайцева, проработав тут тридцать три года, ушла на пенсию, но, пока не было решения о ликвидации, продолжала работать.

В детский дом, прослышав, что его закрывают, потянулись из дальних и ближних мест люди, желавшие усыновить детей. И хлопот Марии Васильевне прибавилось. С одними документами столько возни, что за голову схватишься, но она с каждым из «родителей» вела долгие беседы, ревниво и со всех сторон приглядываясь к ним.

Многое повидала на своем веку Мария Васильевна, а век ее — тридцать три года в Нижине. В сорок втором, когда тут, в глубоком тылу, организовали сначала детский приемник, а потом и дом, было ей двадцать пять.

На руках приносили они тогда желтенькие не тельца — трупики, в которых засыпала жизнь. Худые, в прележнях, когда каждое прикосновение, даже ласка, вызывало боль, с глазами обреченными и старческими личиками, те дети — сорок второго года — помнились Ма-

рии Васильевне всю жизнь. Они снились ей, и приходили в бессонницу те, которых не уберегли, не выходили. Которые, умирая у нее на руках, покрывались липким потом, не имея сил закрыть глаза. Так и глядели на нее мертвые уже. Их хоронили сначала на общем кладбище, но потом на своем детдомовском — в песчаном ярку. Поскольку дети умирали часто и нести умершего приходилось через весь город, это рождало слухи, что в детдом завезли страшную болезнь и она вот-вот перекинется на город и приберет всех без разбору.

Кладбище это разрослось быстро, а детей не уменьшалось. Каждую ночь выезжали они к полустанку и принимали новоприбывших. Детей почему-то привозили обязательно с ночными поездками.

Погост этот с крохотными холмиками до сих пор цел, но буйно зарос черемухой, бересклетом и горькой таволгой. Деревья и кустарник сажали на могилах своих умерших товарищей дети сорок второго года. Но и нынешние следят за могилами. Марию Васильевну не раз упрекали за это: к чему водить детей на кладбище, не герои там лежат, не Павлики Морозовы, безмянные многие даже. Но она водила детей на это скорбное сиротское кладбище и даже торжественную линейку, прием в пионеры проводили там.

Те дети сорок второго неизменно участвовали в похоронах. Сами копали могилы, сами несли гробы и даже говорили какие-то слова прощания. Девочки горько плакали, и каждый бросал в черную яму детскую пригоршню земли.

Сначала взрослые стремились смерть и похороны скрыть от ребят. Но они всегда узнавали все, порою даже раньше Марии Васильевны, и упрямо предъявляли свои права на траурные церемонии. Были они не по-детски серьезны и обстоятельны...

Кончилась война, но еще долго прибывали в детский дом дети войны.

В пятидесятых годах война все еще напоминала о себе, присылая к ним осиротевших детей, зачатых уже в победном сорок пятом, на радостях возвращения и во имя жизни. Но война многих из тех счастливых отцов догнала и в мирной жизни. Сколько их полегло в землю от ран, увечий и объявившихся разом дремавших болезней?

Конец пятидесятых и начало шестидесятых годов, пожалуй, были самыми благополучными в жизни Марии Васильевны. Первые ее питомцы к тому времени стали взрослыми людьми. Со всех концов земли летели к ней письма, телеграммы, открытки. Приезжали и сами к маме Маше — здоровые, веселые, счастливые ее дети.

Теперь уже забытая борьба с тунеядцами в стране коснулась и ее сердца. Снова отверженные, но теперь не миром, но матерью, родителями, зачатые во хмелю, случайно не убитые еще во плоти, дети заняли уже большое сердце Марии Васильевны. С ними и нянчилась последнее время. Единственная для всех мама. Так и жила в хлопотах, в нескончаемых материнских заботах, не чураясь грязных простынь и мокрых задов самых маленьких, щедрая на ласку и похвалу, строгая, но справедливая в провинностях. Она не давала спокойно спать работникам района и облоно, обивала пороги в любых государственных учреждениях, требовала что-то в исполкоме, жаловалась на кого-то в райкоме. Ее хлопоты, жалобы, требования, ее энергия были не в сладость городу. Она понимала это, но все-таки оставалась неизменной: ведь от ее энергии, от ее кажущейся неуживчивости зависело благополучие детей. «Поймите, у нас же дети!» Но все равно ей порою отказывали, ее не слушали, от нее пытались отделаться.

И все-таки, она понимала это, детский дом, в горе возникший тут, далеко от центров, от дорог, был случайным в жизни города. Его терпели потому только, что понимали — дети. Но исподволь, особенно

когда Марии Васильевне исполнилось пятьдесят пять, а значит, можно было с почетом проводить ее на пенсию, заговорили сначала потихонечку, а потом все громче о закрытии и ликвидации детского дома.

Доводы заведующей, что лучшего места для детей не найти, чем чистый таежный Нижин (тут и лес, и луга, и реки), что тут годами сложившийся опытный коллектив педагогов и воспитателей, наконец, что детский дом на хорошем счету в Федерации, что из его воспитанников вышли инженеры, профессора, даже один академик, люди хорошие вышли, не убедили ни городское, ни областное начальство.

Мария Васильевна попыталась писать в Москву, обратилась за помощью к академику, но было уже поздно. Решение о ликвидации Нижинского детского дома было обговорено на самых высоких инстанциях. И тогда Мария Васильевна, смирившись, оформила уход на пенсию. Это событие предлагали обставить торжественно, с вручением подарков, грамот, адресов... Предлагали искренне, от чистого сердца, не понимая, что ей-то уже этого ничего не надо.

Единственный на весь мир дом, где разные дети были одинаково обогреты ее сердцем, не существует. А сердце ее, словно бы отяжелев в груди, грудно билось, замирало вдруг, и вязкая тишина стозвонно наплывала в уши, и она, лоя рукою пустоту, все чаще и чаще слышала плач детей сорок второго года. Они, не выросшие, не повзрослевшие, звали ее к себе, и она просыпалась по ночам вся в слезах, как в далекой юности, когда тихой, пугливой, сторонящейся парней девушкой жадно ждала любви. Сны ее тогда были жаркие, но совсем такие же слезы заливали девичью подушку. Тот единственный, которого любила она и который так и не узнал об этом, не вернулся с Халхин-Гола. Но она сохранила ему верность, перенесла всю предназначенную ему любовь на чужих детей. Сколько в ней было этой любви! Он, избранник, коли суждено было им встретиться, стал бы самым счастливым человеком. Каким и не бывают. Каким и не стал он.

Чувствуя и ясно понимая, что не будет у нее жизни без детей этих, без этого дома, Мария Васильевна махнула рукой на сердечные приступы и с головой ушла в работу. Болезнь отступила, оставила ее на время.

Она списалась с самыми лучшими детскими домами, рассказывая о судьбе своего и предлагая принять в ней участие. На письма ее откликнулись, и скоро в Нижин стали приезжать детэвакуаторы.

Каждому хотелось забрать детей поздоровее, поразвитее, и они выбирали подолгу, копаясь в документах и приглядываясь к ребятишкам. Умом она понимала эту разборчивость, но сердцем — нет. Было это похоже на куплю-продажу. Но она терпела, настойчиво разъясняя приехавшим, почему не следует разлучать одного ребенка с другим, а другого взять с третьим. По вечерам Мария Васильевна читала характеристики, представленные воспитателями, и добавляла в них несколько своих советов и наблюдений. А с утра снова терпеливо разъясняла взрослым, серьезным людям причины, по которым не следует разбивать группы, разлучать дружащих, не обращать внимание на физические недостатки... Ведь дети, какие бы они ни были, все равно дети. И главное — чтобы их любили.

Ей удавалось убедить, ее слушали, но все равно в те дни дом их был наполнен плачем, обидами, даже истериками. Дети не хотели уезжать, они как могли защищали свой дом, но она не могла помочь им в этом. Каждого она отрывала от сердца и чувствовала, как силы оставляют ее.

И вот наступил тот роковой день, когда от всего дома осталась горсточка ребят.

Маленькая пятилетняя Леночка страдала запущенной болезнью мочевого пузыря. Она не только по ночам мочилась в постель, но и днем, заигравшись, вдруг оказывалась в луже. От нее нехорошо пахло, и ее сторонились. А она, уловив это, стала нелюдимой, злой и угрюмой. И только молоденькая воспитательница Капа была ею любима. Капа, выросшая в Нижинском детском доме, была некрасива, пуглива и тиха. Но Мария Васильевна, заметив в ней с детства робкую любовь к людям, определила ее себе в замену.

Осталась в детдоме и шестилетняя Розочка — девочка с родимым пятном на лице, покрытым каким-то цыплячьим пухом.

Игорек, по прозвищу Зяблик, нежный и ласковый, хроменький, с неразвившейся левой ногой. В свои семь лет болезненно воспринимающий любую несправедливость. Он больше всех возмущался, что закрывают детский дом. И подговаривал сверстников поднять бунт и поджечь районо.

Костик — мальчик одиннадцати лет, нервный. Рожденный от алкоголиков, лишенных родительских прав, но все еще предъявлявших на него права. Каждый год вот уже шесть лет подряд разбираются жалобы его матери о зверском отношении к сыну работников детдома. Приезжают комиссии, вызывают Костика, просят сказать правду, бьют ли его воспитатели...

Кира — девятилетняя, полностью сложившаяся женщина, страдающая от этого. Истеричка с порочными недетскими глазами. Но девочка добрая. Самая трудная из всех, за которую больше всего болит сердце у Марии Васильевны. Сумеет ли кто-нибудь другой, как она, найти тропку к этому сердцу, сумеют ли уберечь до времени, когда подружки догонят ее болезненно-раннее развитие?

Худая, длинная, с тяжелой нижней челюстью, отчего рот ее всегда приоткрыт и слюняв, — десятилетняя Маня.

Равнодушный ко всему Андрюшка, но Мария Васильевна знает: внутри мальчика творится свой удивительный мир. Рассеянный, неопрятный, но необыкновенно чувствующий настоящую красоту.

Вот и все, кто остался в детском доме, кто коротал в нем последний вечер. Да еще Капа, которая не нашла работы в Нижине и должна была уехать вместе с ребятами.

Они сидели за одним столом и пили чай с таежной кислицей. Мария Васильевна принесла варенье из дома, большую пузатую трехлитровую банку. Сама напекла шанежек и пирогов с рябиной, брусничкой и грибами. Варенье разрешено было есть сколько захочешь. Мальши старались в полную силу и уже за первой чашкой вымазали вареньем носы, щеки и даже лбы. А Леночка ухитрилась измазать даже затылок. Она сидела на коленях у Капы, и та иногда наклонялась к ее уху и что-то спрашивала. Девочка отрицательно качала головой.

Пришел на чай и Калистратыч, тихий одинокий человек, немой от рождения, проживший истопником, дворником, садовником, столяром, человеком, которому не было замены и от которого не было отказа, все тридцать три года тут, в детдоме. Ребята любили его и защищали от городских мальчишек, которые, завидя Калистратыча, начинали отчаянно кричать, кривляться, показывая то на свои языки, то на затылки. Он любил ребят, любил детдом и тайно — Марию Васильевну.

Калистратыч был уже стар, и это впервые за прощальным чаем заметила Мария Васильевна. Пиджак висел на его по-прежнему широких плечах. Шея у него была сухая, жилистая, с дряблой кожей, заросшая кустиками плохо выбритой щетины. Он что-то мычал, пытаясь дать наставления ребятам на дорогу, и те слушали, согласно кивая головами. А он вдруг всплакнул и вышел за дверь, постоял там, утирая по старинке слезы подолом рубахи, выпущенной поверх брюк. «Куда

же он денется? — подумала о Калистратыче Мария Васильевна. В заботах о детях она как-то совсем выпустила его из виду. А он, как большой, нет, теперь уже как старый, ребенок, нуждается в ее заботе и участии. — Конечно, оформят пенсию. Калистратычу далеко за шестьдесят. Но как же будет он жить — без дома, без детей, без дела?..»

Она вспомнила, что гробики для тех военных детей стругали и сколачивали его руки, что они там, на полустанке, выносили из вагонов детей и держали вожжи, позднее руки эти ладили первые игрушки — коляски, совочки, тачки, смешных, вырезанных из фанеры зайцев, — плели корзинки и кузовки, делали туески, сажали деревья, гладили ребятишек по головам, нянкали самых маленьких...

В тот вечер он взял на руки Розочку, захопотал над нею, заурчал что-то доброе, она рассмеялась, полезла к нему целоваться. А другие ребята, глядя на эти ласки, заулыбались.

И в это время на пороге вдруг объявился Миша Губарев, отправленный в Ульяновский детский дом. Мальчик очень способный, аккуратный и сдержанный. Ребята дружно приветствовали его, а Костик до ушей залился краской, и глаза его засветились радостью, которой давно не видела в них Мария Васильевна.

— Ты откуда, Миша? — только и спросила она.

— Я сбежал. Вон с ним буду. С Коськой, — сказал и поглядел ей в глаза.

«Господи, как же не усмотрела этой дружбы? Как разлучила их? Что же это я?» Мария Васильевна встала, подошла к Мише, прижала его голову к груди и стояла так долго, чувствуя, как уходит из-под ног пол, как сердце, подкатившись к горлу, замирает там... И ребята, словно бы угадав ее состояние, облепили ее, поддерживая, а самые малые терлись об ее ноги, цеплялись за ее юбку.

Капа отвела Марию Васильевну и посадила на старый, покрытый истертым коричневым дерматином диван, на котором она тридцать три года подряд читала детям книжки. Дала выпить лекарства. И Мария Васильевна впервые на детях поплакала.

А утром телеграмма: «Оставшихся детским доме детей командуйте распоряжение облоно своим сотрудником заведующий облоно Путькин».

Верность телеграммы удостоверилась круглой печатью отдела народного образования и служебным исходящим номером.

Не так просто было найти в Нижине подходящую машину. На это ушло еще трое суток. И еще три вечера собирались все за одним столом, пили чай, а потом Мария Васильевна читала им про Мальшица и Карлсона, который живет на крыше. И ребята весело смеялись.

Получив запрос на Мишу Губарева из Ульяновского детского дома, Мария Васильевна отправила официальную телеграмму с просьбой срочно переслать его документы в адрес облоно.

Машина горпо — старенький, потрепанный «газик», кое-как оборудованный для перевозки детей, — подъехала рано утром, когда дети еще спали. Это был обыкновенный грузовик с латаным брезентовым верхом, кое-как натянутым на железные обручи. В кузове укрепили лавочку.

Все эти дни стояла солнечная, теплая погода. Снег в городе исчез, а лысье сопки вокруг (тайгу съела ТЭЦ) даже курились весенним жаром. И все же Мария Васильевна добилась, чтобы в кузов набили погуце соломы и положили тулупы.

Два бараньих, довольно изношенных тулупа взяла она в исполкоме под гарантийную расписку. Все корили ее за глаза за излишнее привередничество, и только исполкомовский конюх, на котором числилась эта одежда, заметил резонно:

— Оно, конечно, так. Тулуп всегда в дороге, хошь колесной, хошь санной, не помеха. Попользуйся, однако, попользуйся. Только пусть с меня-то их спишут.

Ребят обрядили потеплее. Леночку Мария Васильевна закутала еще и в свою шаль, а на Костика поверх его легкого пальтишка натянула старую свою, но теплую плюшевую кофту.

Торопливо, словно стыдясь друг друга, попрощались, и машина выехала со двора, оставив двух людей, еще долго глядевших вдоль улицы в пустоту.

— Как жить-то будем, Калистратыч? — спросила Мария Васильевна и поняла — спросила напрасно. Для него, одинокого человека, как и для нее, жизнь кончилась с горячим и горьким выхлопом уехавшей машины.

Они вместе прожили тридцать три года в общей для них любви, в общих радостях и тревогах. И что там ни говори сейчас, были они счастливы. Были...

Глава третья

— А я вам, хлопцы, вот что скажу. Такого арапа, как ваш шофер, такую заразу я бы... — Иван искал подходящее выражение, нашел сразу, оно крутилось у него на языке, но из уважения к педагогике решил все-таки не произносить и выбрал другое, как ему показалось, подходящее. — Я его бы голым задом в костер посадил, потом спросил бы: «Больно?» — «Ой больно!» — «А ты подуй. Легче будет».

Такое наказание ребятам понравилось, и они дружно расхохотались.

— А он еще на Капу кричать стал! — Костик сжал кулаки, и в глазах его снова вспыхнули огоньки загнанного звереныша.

— Орет еще... вот, — сказала Кира и покраснела.

— Я ему поору, — пообещал Иван.

Сидели у костра, ждали, пока закипит чайник и упреет в котелке картошка. И чайник и котелок у Ивана большие — семейные.

Пока Капа и малыши спали, Иван поднял старших. Вместе содрали с «газона» брезентовый верх, устроили теплую сидню. Развели костер, ребята собирали дрова, Иван нагреб из мешка (купил по дороге для дома) картошки, спустился к ручью вымыть ее и набрать воды. В работе и у костра ребята быстро отогрелись, обвыклись, и незаметно у них с Иваном установились дружеские отношения. Кое-кто запросто уже лез к нему с вопросами:

— Ты откуда, дядя?

— С Кремля.

— Как это?

— А так вот. Вызвали в Кремль. Говорят: едет по Ашуйскому тракту беспортошная команда...

Ребята насторожились, расплылись в улыбках лица, и только Костик вдруг нервно дернул головой, насупился:

— Мы не беспортошные...

— Э, друг. — Иван потянулся к мальчишке.

Тот отодвинулся, черкнув острым взглядом по лицу.

— Да ты чо? Кинстантин, чо ты? Я ведь шучу.

— Шутит он! Чего ты, Кось? — Мишка Губарев улыбнулся дружку, а сам весь напыжился, вот-вот прыснет смехом. — Дя Вань, вали дальше...

— Не вали, а дуй, — откликнулся Иван.

— Отвали потихоньку в калитку, — пропищала Маня и засмеялась басом.

— Замолчь... Давай, дя Вань.

— Даю. Значит, едет, говорят, по Ашуйскому тракту братва хорошая. А везет их паразит советской власти, зараза шофер. И главное, везет на такой перегнойке, что каждому человеку от того стыдно. По-езжай, говорят, Иван Жаплов, и обеспечь их благополучное продвижение. Вот я и приехал.

Ребята погаддели, выдумывая и предлагая свое.

— Слушай! — кричал Мишка. — И мы, значит...

— Не, погоди, я скажу... Погоди.

— А дядя Ваня, он знаешь кто...

— Не... не... Дай сказать.

Кричал каждый, и только Андрюшка сидел молча, глядя в костер недвижимым взором, и едва заметно шевелил губами.

— Ты, парень, захворал, что ли? — Иван присел рядом.

Андрюшка не ответил, ниже опустил голову — внимания к себе он не любил.

— Ну, — тронул мальчишку рукой за плечо.

Тот отодвинулся, даже не взглянув, поднял с земли прутик и начал шевелить угли.

— Братва, — Иван поднялся над костром, — картоха упрела, чай вскипел. Давай буди малышню и Капитолину... как по батюшке? Капитолину...

— Иванну, — подсказала Кира.

— Ага, Иванну... Подъем!

— Подъем! Подъем! — закричали Костик и Миша.

Ели все вместе у костра разваренную картошку, густо заправленную говяжьей тушенкой. По великому благу купил Иван пять банок, три вывалил в котелок. Уписывали ребята еду за обе щеки, аж за ушами трещало. Потом пили чай.

— Погодите, — вспомнил Иван. — А ну пока не хлебайте. Я вам что-то еще дам.

И полез в машину. Там у него в старой танкистской фуражке была насыпана черемуха. Набежал он в тайге, еще до Засайского перевала, на дерево голое, как тому по времени и положено быть, а на нем черными да полными гроздьями ягоды. Ни зверь их не побил, ни птица, не снял ни ветер, ни мороз. Набрал с горкой полную фуражку. «Вот будет радости! — думал. — А что вам папка от зайчика да от лисички привез!»

Вынул фуражку из багажника, сперва подумал отсыпать малость родным детям своим, но застеснялся: «У них и так радость будет — папка приехал. А этих и пожалеть некому. Какая-никакая женская-то ласка и им перепадет, а вот мужская, отцовская вряд ли. Уж коли ласкать, так полной мерой», — решил.

— Каждому по горсточке, а малым по пазушке, — пел, неся на вытянутых ладонях фуражку с ягодой.

От простой этой невидали поднялся такой дружный шум, что даже Андрюшка хлопнул в ладоши, но, словно бы спохватившись, отошел в тенек общей радости.

У Капы в глазах навернулись слезы, и она прикрылась платком, будто в смехе. Но Иван заметил их и вспомнил заолодавшую гладкую девичью кожу под рукой, вспомнил некрасивое широконосое лицо, мокрое от слез, черные круги под вымученными страхом глазами, и сердце его обволоклось жалостью к ней, к ее, наверное, очень нелегкой жизни и к этой вот вроде бы никому не нужной ребятне. Был бы Иван в силах, уродил бы их всех, взял бы в семью как равных, и девушку эту взрослою взял бы — пусть живут, не помешают ни ребятам, ни

им с Ниной... Понял Иван, что накрепко свела его дорожная судьба с ними, а коли свела, так должен он жалеть и заботиться о них равно как о своих кровных...

— Значит, Капитолина Иванна, пироги такие,— говорил он спустя время.— Паразита советской власти, шофера вашего, ждять не будем. Ежели он, зараза, сбегая от вас, замерз, туда ему и дорога. Беру вас к себе на броню, то есть везу вас. Мне в Сосновск, вам в Ажайск. Значит, в Аршане дорожки наши расходятся. Но там автоколонна стоит, я с механиком договорюсь — довезут вас до Ажайска...

Капа глядела ему в глаза больно и преданно, кивала головою, и во всем этом была ее благодарность.

— Все в ажуре, братва! По коням! — закричал Иван. И запел очень сильным голосом:

Броня крепка, и танки наши быстры...

Но не так все гладко сложилось, как объяснил Иван Капе.

Часа через два на мотоцикле нагнал их сотрудник ГАИ. Остановил. Долго и придирчиво рассматривал документы. На Ивана не глядел и слов его не слушал.

— Почему в путевом листе не указаны пассажиры?

— Какие? — Иван, согретый каким-то добрым теплом все это долгое утро, улыбался.

— Эти.

— Так это же не пассажиры, дети это...

— Я спрашиваю, почему не вписаны в путевой лист?

— Я их, товарищ старшина (инспектор был сержантом), на дороге подобрал. Вез их паразит советской власти...

— Но-но! — Сержанту не понравилась поговорочка, не понял он ее.

Все, кто, по мнению Ивана, нечестно работал, плохо жил, хитрил да выкручивался,— все они для него были паразитами советской власти, без пользы сидящими у нее на шее.

Инспектор не понял глубокого смысла, он погрозил пальцем:

— Но-но!

— Ну, шофер у них раззява. Разбил машину...

— Ага! Значит, вы были на месте аварии?

— Ну? Был. Их вот забрал. Везу в Аршан, там сдам в автоколонну, их добросят до Ажайска...

— Ладно, ладно,— прервал сержант.— Вы мне тут сказки про салязки не гните. Почему нарушаете?

— Что, товарищ старшина?

— Почему не сообщили работникам ГАИ, товарищ шофер?

— Где же я буду их искать?

— В Перевальном есть пункт ГАИ.

— Так я его проехал. Я ночевал там...

— Надо было сообщить. Вернуться. Правил не знаете.

— Так ведь я пострадавших взял...

— Кто пострадал? — Инспектор насторожился.

— Да не в этом смысле, что жертвы. Детишки пострадали. Ночь на холоде. Дети ведь, товарищ старшина. Их покормить надо было... Отогреть. Посушить надо... Куда же мне с ними в обратную-то переть? Думал, до Вазовки добегу и сообщу.

— Думали... Много думаете, гражданин... — инспектор заглянул в документы,— гражданин Жаплов, потому и нарушаете.

Сохраняя спокойствие, по опыту зная, что вспыльчивость в разговорах с сотрудниками ГАИ — дело дохлое, Иван попробовал пошутить:

— Гражданин вроде бы как под следствием и судом положено говорить, а я ведь — товарищ, товарищ старшина...

Но безобидная эта шутка тоже не понравилась инспектору:

— Как мне вас называть, я не хуже вашего знаю! А вот документы заберу. И протокол оформлю.

Решение было вполне определенным и твердым. Суровости сержанту не занимать.

— За что? — Иван почувствовал, как обузданное несправедливостью сердце рвется к свободе.

— За незаконный провоз пассажиров — раз!..

— Так то дети! На дороге замерзали.— Тяжелой кровью налилась шея.

— А я говорю — раз! — рубанул рукою инспектор, в которой были зажаты документы.— За провоз пассажиров, тем более детей, в машине, специально для того не оборудованной — два!

Иван набрал в легкие воздуха, все еще не теряя разумного поведения.

— За скрытие факта аварии — три! Мало? Может быть, не по закону? А?

Иван молчал.

— А знаете, что шофер, которого вы оскорбляете, шел сообщить о случившемся в Перевальное? Его, замерзающего, подняли на дороге! Он в больнице! И еще — его с нарушениями правил обогнала машина, прижала к скале и принудила к аварии... Между прочим, «ЗИЛ — сто тридцать», с окончанием номера на «три». Он это запомнил.

Ивана понесло, Ивана вырвало на широкий простор:

— Ага! Значит, эта холява! Этот рулило и паразит... Он хочет спихать свою вину на другого. Поехал в ночь, в метель с детьми!.. Разбил машину... Эта холява бросил на дороге детей... в мороз... среди тайги. Жаль, что не встретил я его по дороге. Жаль! Я его бы не подобрал! Я его бы задавил!

— Товарищ водитель!

— Нет, не колесами! Вот этими руками!

Иван поднял громадные свои лапищи перед лицом инспектора, тот вскинул решительно руку, стараясь что-то сказать.

— Погодите, старшина! Погодите! У меня своих четверо! Четверо, понимаете? С пятым баба ходит, понимаете?

— Вы мне на это не бейте! Я вас о семейном положении не спрашивал...

— А ты, ты спроси! — гремел Иван.

— Вы мне не тычьте!

— Простите. Ты.. Вы их спросите! Их, детей! Вот ее... — Иван кивнул на Капу, увидел ее молящие, полные страха, нет — ужаса, глаза и, как это с ним бывало в сильном волнении, вдруг разом успокоился.

Капа уже не глядела на него, она смотрела на инспектора, пытаясь что-то сказать. Широкий нос ее от волнения покраснел. Она сначала хотела сразу встрять в разговор, но когда услышала, что Иван нарушает правила, обомлела вся, все в ней похолодело и словно бы оцепенело: «Ссадит. Скинет с машины. Господи, что же делать? Упаду в ноги, упаду. Сапоги целовать буду: дяденька, не ссаживай нас! Коли нельзя так ехать, так уж и не разрешит!..»

— Вы ее спросите. Ее,— уже спокойно говорил Иван.— Как ночью захладила она, как было не померла. Пальтишком-то своим детенышей накрыла, платок, шаровары — все им отдала. Ну куда мне их девать было? Куда я их дену? Обрато повезу? Я их два часа у костра отогревал...

— Чего он привязался? — слышался из кузова шепот. — Дать вот по шапке! Больно главный!..

— Чегой-то он у дяди Вани взял?

— Тихо... Слушает...

— Пускай слушает.

— А хочешь, я ему щас на шею запрыгну и задушу? — Это был Андрюшкин шепот.

Иван услышал, улыбнулся, улыбка чуть-чуть прояснила и лицо инспектора.

— Ладно, командир, поговорили. Решай сам. У тебя власть. У вас дети есть?

— Не к делу это...

— Дети всегда к делу, старшина!

— Умный ты, Иван Жаплов! Умный! Что с аварией-то делать будем?

— С какой?

— Шофер показал, что прижал его «ЗИЛ — сто тридцать» с номерным знаком, кончающимся на «три».

— Я, выходит?

— По его выходит, ты.

— А как по-вашему?

— Разберемся.

— Разбирайтесь. Я его вечером еще по свету у Перевального обогнал.

— Ага! Значит, обогнали все-таки?

— Я в Перевальное на ночевку отвернул. А он в пургу и в ночь дальше попер...

— А может быть, и ты попер?..

— Так я в Перевальном ночевал...

— Мог вернуться. Сделал аварию и вернулся. Там вот и обратная есть через сопочку...

— Ладно. — Иван махнул рукою. — Верьте холяве! Я замолчал.

— Надо будет — заговорите! У меня к вам вопросик, гражданочка, — обратился к Капе вежливо, с улыбкой. — Вы ехали в кабине той машины?

— Да.

— Эти дети с вами были?

Зяблик, Роза и Лена глядели на него исподлобья, напрягшись.

— Да.

— Когда произошла авария? Когда машину ударило в скалы?

— И в дерево, — подсказал Зяблик.

— И в дерево. — Инспектор потянулся ладонью, чтобы погладить мальчишку.

— Не надо! Не трожь Капу! — вдруг завизжала Лемочка и расплакалась.

— Он не трогает, не трогает, — уговаривала Капа, прижимая девочку к груди.

Роза заплакала тоже.

— Я не трогаю. — Сержант растерялся, и вся его строгость и значительность пропали.

— Дядю не трогай! — Зяблик едва сдерживал слезы.

— Ишь вы какие... — Сержант растерянно улыбался и сразу же стал очень молодым, губастым и добрым малым.

— А я на него прыгну... прыгну, — зажато шептал Андрюшка.

В кузове шла какая-то возня.

— Когда это произошло? — повторил вопрос инспектор.

— Вечером... Еще светло было. Но очень пурга сильная была. Я дремала.

— Так, так...

— Вдруг машину кинуло, треск раздался, гром. Шофер закричал.

— Так, так... А машина вас обгоняла?

— Не знаю. Он кричал, что бортом нас прижали... Ругался.

— А машина была? Обгоняла?

— Я напугалась... Мне показалось... — Капа виновато глянула на Ивана, сержант уловил этот взгляд.— Вроде бы обогнала,— прошептала.— Не знаю я...

— Не было машины,— важно сказал Зяблик.— Он заснул.

— Молчи, Игорек.— Капа прижала к себе Зяблика, у которого задергались губы и слезы потекли по щекам.

— Кто заснул?

— Шофер. Он дурак. Он орал, орал! — И разревелся мальчишка; его поддерживали девчонки.

— Кончай, старшина,— сказал Иван, поморщившись.

Инспектор спрыгнул с подножки, на которой стоял, пошел вокруг машины.

— Это что?

По правому борту почти от кабины до задника тянулась свежая полоса содранной краски.

— На Засае к скале притерло...

— Да, парены! Разбираться-то, оказывается, надо.

— Разбирайтесь.

— Разбермся. Детей вези в Аршан. Там жди меня. Документов я тебе не отдам. Пока не разберемся... Пока! — Поднял руку, садясь на мотоцикл.— До Аршана! Жди!

Взревел мотор, инспектор лихо развернулся, так что камушки пулеметной очередью брызнули из-под колеса. Ребята глядели ему вслед, посунувшись к заднему борту. Андрюшка, измятый, с красным лицом, стоял в сторонке. Инспектор оглянулся, помахал рукою в громадной кожаной перчатке. Костик погрозил ему кулаком, а Маня показала язык.

— Воображает,— сказала Кира.

— Эх, вы не дали,— буркнул Андрюшка.— Я бы его загрыз...

А Костик, распаляясь, крикнул:

— Чо лыбишься? Вот возьму камень — и в рожу!

— Это кто ж тут такой смелый? — Иван подошел к заднему борту, заглянул в кузов.

— А чего он... — Даже Миша, спокойный Миша был возмущен.— Дя Вань, что он тебе делает?

— Козью морду.

— Дя Вань, а мы свидетели... Хочешь, мы ему докажем? Не люди, что ли?.. Ишь, запугивает...

— Ладно! Ладно, братва! Закон уважать надо. Разберемся. А за помощь спасибо. С вами-то мне не пропасть. А ну по местам! На броню!

Он никак не был похож на обиженного, и ребята успокоились, поудобнее умащиваясь ближе к кабине на соломе и на мешке с картошкой.

— Вы мне картоху-то не поточите. Обед будет, зря крахмалом пузыри-то не набивайте,— пошутил Иван, ребята рассмеялись, а Кира с Маней восторженно переглянулись: у них была какая-то своя относительно Ивана тайна.

— Ты чего, Капитолина, перепугалась, что ли? — садясь за руль,

с улыбкой спросил.— А вы чего дядьку ревом-то пугать стали? — затормошил малышей.

— А чего он ругается? — ответил за всех Зяблик, а девочки все еще шмыгали носами.

— Страшно,— созналась Капа.— А вдруг как бы и высадил...

— Не высадил бы. Они, Капитолина, тоже люди.

Машина плавно взяла с места и покатилась, набирая скорость.

— Я тоже хорош! Психанул. А на психованных лес возят.

Бежала, стелилась под колеса дорога. Небо снова затянуло хмарью. С хребтов сваливался холодный ветер, уныло заныл в приоткрытом стекле, поволок за собою крупье.

Ехали молча, и только Леночка все еще всхлипывала, нервно вздрагивала, прижимаясь к Капе. Зяблик сопел, то и дело толкая в бок Розу, которая, засыпая, наваливалась на него.

— Что же с вами теперь будет? — спросила Капа, видно, думала об этом все время.

— А ничего. Разберутся... Потеряю только дня два в Аршане, а там вернут корочки — рули, Жаплов, нет к тебе претензий...

— А он вроде бы вас подозревает? Что машину столкнули. А я, дура, с испугу чего-то сказала. Ой, дура я, дура... Мне бы, дура, помолчать.

— Об этом не думай. У нас, Капитолина, дело правое... Чай, при социализме живем.

И оттого, что он вот уже не первый раз хорошо улыбнулся ей и назвал хорошо — Капитолина, Капе вдруг сделалось так тепло на душе, так тепло, как вроде бы и не было никогда, и она вдруг застыдилась этого. Но к еще большему стыду, вспомнила, как нес ее Иван утром на руках и как его горячая ладонь касалась ее голой ноги. Ей и стыдно было тогда и жутко, но и как-то еще, как — она не могла понять, но было по-особенному. Когда жутко и хочется, чтобы так было еще и еще... Капа от мыслей этих покраснела и отвернулась даже, чтобы он не разглядел порочной ее краски на лице, чтобы мыслей не разгадал порочных. «Господи, что это со мной? — Почувствовала, как все ее тело словно бы легчает и тянется, плывет к Ивану.— Что это я?»

Захныкала Леночка, и Капа, наклонившись, стала с ней нянькаться, уговаривая, и, коснувшись красного и мятого после слез лица девочки, охнула. Лицо пылало жаром, он обметал ей губы, ожег лоб, а в глазах у малышки стояла студенистая влага.

— Что ты, детка?

— Пить...

И Роза, услышав это, разом проснулась, подняла с плеча Зяблика страшненькое личико, басом потребовала:

— Теть Кап, дай пить!

Иван правой рукою нашарил в багажнике дорожный, в брезентовом чехле термос, протянул Капе. Та вопросительно взглянула на него, припомнив утреннее.

— Чай тут с кислицей, сладкий. Самый раз...

— Плохо Леночке, дядя Вань... захворала.

— Ты, девка, меня не старь... Меня Иваном звать. Что с маленькой-то?

— Жар у нее, горит вся...

— Не уберегли, выходит.

— Выходит.— И, глянув вмельк на Ивана, выдохнула: — Не уберегла я, Ваня...

— Ничего. Не одна, чай, ты, Капитолина. В Вазовке сестричка милосердия есть, в Аршане — фельдшер. Не одна ты... — сказал Иван совсем так, как говорил Нине. И ему до тоски, до голодной оскомины

захотелось увидеть своих малышей, рыхлую по тяжелому положению свою бабу Зайчиху, как звал он ее. Захотелось губами прижаться к белому ее плечу, услышать сладкий запах пота и коснуться пальцами, легонечко погладить большой, в синих жилках живот ее: «Кого принесешь нынче-то, Нина? Хорошо бы, Ваньку Жаплова. Давай Ваньку, мужика давай. Однако, коли судьба, рожай и девку. Я не в обиде».

«Может, и родит без меня,— подумал и покачал про себя головою.— Срок уже. А я против своего срока четвертый день в опоздании, да еще два, никак не меньше, с ГАИ потеряю. А как без меня родит! Ух ты! Не надо бы. Не надо бы без меня...» И ему вдруг за этими тревожными мыслями вспомнилась бабка Нины — крупная красивая старуха с лицом, словно бы высеченным из камня. Ходила она всегда в черных оборчатых юбках до пят, в свободных кофтах с широкими рукавами, которые все равно не могли скрыть ее богатых сильных форм. Была она хозяйкою громадной семьи, с внуками и правнуками, с зятьями и золовками. По самому скромному подсчету, семья насчитывала чуть не сто человек.

...Иван, придя в зятья к теще, жившей своим домом, но по-прежнему зависящей от слова и дела матери, необыкновенно сдружился со старухой. Пришелся он ей по сердцу.

— Ба! А сколь детей-то у тебя было? Все считаю, считаю, не сочту никак.

— Сколь? Семнадцать, Ванюшка, вырастила. Да трех недоглядела, померли в мальшестве.

— Так тебе же надо золотую медаль «Слава материнства».

— Во всю спину, сынок!

Все ее, и не только родня, звали Матерью. И до всех у нее была забота, глаз и слово.

В первые дни своего медового месяца Иван случайно подслушал ее разговор с сыном-середняком:

— Кольча, а Кольча? Сходил бы, ну, с молодым-то в баню.

— Это к чему, мама?

— Дак глянул бы... Нинка вот жалуется — больно, дескать...

— Эва,— отвечал басом Кольча.— Ничаво... В аккурат все. Дура Нинка-то, не понимает. Девка...

Иван вспомнил Нину той поры. Хорошо вспомнил, до душевного замирания. Впору была ему Нинка. Да и сейчас впору, нечего бога гневить. С такой бабой не соскучишься. Вспомнилась ему и их первенькая, названная в честь Матери Дуняшей. Не первую правнучку называли так, одних внучек Дуняш шестеро, но их с Ниной пришлось старой по сердцу. Нянькалась она с ней, с утра до вечера и ночью нянькалась, забирая и дите и родителей к себе.

Бабы с улицы приходили под окно, кричали:

— Авдоть, а Авдоть, покажи девочку!

И гордая Авдоть несла к окну Дуняшку. Считалась она на селе красавицей. И то угадали бабы — тринадцать Дуняшке сейчас, а хороша девчонка, каких и не бывает.

— Красавица! Писаная красавица! — охали бабы.

— Есть в кого! — если случалось тут быть, встревал Иван, выпячивая и без того колесом грудь.

— И то есть! — соглашались бабы, с понятием и в охотку оглядывая его.

Их всех звали от мала до велика Авдотьины. И никто не думал на то обижаться — уважали Мать, уважали старую Авдотью.

Хорошая была старуха. До сих пор глубоко в душе скорбит Иван, что не пришлось проводить ее до могилы. В рейсе был. Вернулся, а ее уже нет.

Ста четырех лет умерла Мать. Только последние два года вроде бы к яме попятилась, а так светла умом была. Но к смерти засумерничала, плохо видеть стала, путала родных, не узнавала. И дочерей и внучек, сыновей и внуков путала. Ивана до последнего от других отличала. Просила:

— Свез бы ты меня, Ванюшка, на своей каталке в Лиственничное. Мне надо Фису проведать, Маланю тоже, да и матушка, надо быть, ждет...

Лиственничное — родное село ее, где прожила до замужества, а с тех пор и не была, уж это никак не меньше девятидесяти лет прошло. А тут засобиралась, товарок своих Фису, Маланью вспомнила, те уж лет как по сорок померли. А мать и того раньше.

И собралась, увязала потихоньку в узелок пару чистого белья, полотенец, юбку да кофту еще девического покроя, хлебушка туда положила, перышко лука да соль и ушла из дому. Уже мертвую подобрали ее далеко за Сосновском. Село их было в пригороде, так она успела весь город пройти, вышла на тракт к Лиственничному и пошла по нему дальше. Присела в траву отдохнуть, а сил встать уже не осталось. Прилегла, положив голову на узелок свой, и померла.

Очень жалел Иван, что не заплакал над ее могилой, не бросил горсточку земли на крышу последнего ее пристанища.

И еще вспомнилось Ивану. Была жива тогда Мать и народилась уже Дуняшка. Пошли они с Ниной гулять к друзьям на Первоймай. Гуляли хорошо. Иван много выпил, но, по обыкновению своему, в хмелю был добр и весел. Водка над ним никогда не смеялась, он над ней смеялся. А тут вдруг как-то не так пошло. Нахлынула на Ивана тревога. Что такое? Сосет под сердцем — и все тут. Огляделся — нет среди гуляющих Нины, нет ее в доме. Встал, томясь, вышел на двор. Сосновск тогда не то что сейчас — окнами в тайгу глядел. Вышел на крыльцо, а весна в тот год такая ранняя была, что ни до, ни после такой не было. Дохнуло на Ивана свежим холодком, знобким запахом травы и сладкой прели, прохладным от черемухи дохнуло.

— Нина! — позвал, вдыхая в себя весну и слыша, как уходит из него случайная эта темная тревога. — Нина!..

Глянул вокруг, и показалось Ивану — метнулось за угол Нинино розового крепдешина платье и пиджачок чей-то метнулся. Кинулся туда разом, как очумел вроде. Никого. Дом обожал, а на крыльце вот она, жена разлюбезная. Как ни в чем не бывало стоит, только тяжело дышит и раздумянилась. В темноте увидел тот лихой румянец.

— Ты от мужа бегать? — рявкнул и пошел на нее медведем.

— Что ты? Что ты, Ваня? Я вот подышать...

— Ах подышать ты!..

Кинул Иван в сторону руку, подумать успел только: «Кулаком нельзя. Кулаком до смерти зашибу» — и хлестнул Нину открытой ладонью по лицу. Раз, другой — с левой, а потом так же с правой. Разорвалось Иваново сердце от ревности, от обиды, от любви. Кровь залила лицо Нины, и она, не закричав, не вскрикнув даже, поползла спиной по стене. Не выдержала крови.

На крыльцо повалили гуляющие — кто с намерением защитить женщину, но больше поглазеть...

— Вы что, цирку открыли себе? Да? Поломаю хребты! А ну! — еще пуще взревел Иван, загнал в один мах всех зрителей в дом. Никто на него не решился выйти. А сам рванул на себе рубаху, распластал ее, сел на колени перед женой да стал ей лицо отирать, плача и приговаривая: — Что ж ты наделала... Дура ты, дура! Дурочка моя... — А потом нес ее через весь город на руках, жалея и целуя разбухшее, в подсохшей крови лицо.

— Опустит меня, Ваня. Не надо бы так... Стыдно... Люди,— шептала она распухшими губами.

Опустил на землю, когда добрались до села, к дому подходили крадучись, думали тихонечко залечь в летней половине. Только на порог — а тут и свет разом полыхнул. Сумерничали в сенцах теща да старая Мать. Услышали сторожкий их шаг — вот и осветили.

— Господи! — глянув на дочь, закричала теща. — Господи! Убили! Убили до смерти девку! Да что же ты, ирод, с ней сделал? — Поняла, пошла на Ивана и кулаки уже у лица. — Ой, доченька, доченька!.. За что же? За что?

— За дело... — едва разлепила вспухшие губы Нина. — За дело, мама.

— Убили! Убили дитятко!..

— Молчи, девка! А ну молчи! — грозно прикрикнула Мать на тещу.

— Да как же это...

— Молчи, говорю! Ты еще по людям побегии! А ну молчи!

Теща унялась мигом, только завсхлипывала да прикрылась руками.

— Молчи, говорю, коли бьет — значит, любит. Пойдем со мной, девка. — Это уже к Нине. — Пойдем. Заговорю, замою, водицей сбрызну, краше луны наутро будешь. Саму бивал покойничек, ух как бивал... Сапожищами... А ты не слушай, не слушай, чо говорю-то. — Это уже Ивану. — Чо выпялился, иди-тко спать, голубь. Я тебе ее нынче не дам... Не дам! Зажалеешь, дурень...

...«Сколько же всего было в жизни,— думает Иван. — И хорошего и плохого. Хорошего больше. Жизнь, она как жизнь... Все обладится. И у Нины все обладится. Она баба рожала — детей, как орехи, лущит. Раз — и вот оно, зернышко, здоровенькое, ядреное, твое...»

Хорошо у Ивана на сердце. И незадача эта дорожная — чепуха. Обладится все.

Крутит на колеса «зилек» километр за километром. Убаюкалась Лена, задремали ребятишки, и Капа клюет носом. Некрасивая, одинокая девчонка, которой тоже хочется счастья, и любви, и семьи ничуть не меньше, чем красивым да бойким...

А в мире снова распогодилось, полезла весна в горы, в холодные теснины Саян, греет там теплым своим животом белые снежники, гонит в долины воды, отласкивает холодный камень. Высоко вскинулось в небе солнце, живой узелок всего живого, пуповина на теплом брюхе весны.

Разменяла дорога полдень, и вот она, Вазовка. Малое по сибирским понятиям село вытянулось в одну улицу обочь тракта километра на полтора. Тут у Ивана друзей под каждой крышей. Тут и Кольча — свояк, новым домом живет, с внуками уже. Но Иван гонит мимо. В медпункте незадача — уехала медсестра за лекарствами в город. Зато громом налетел Иван на здешнюю чайную:

— Эй вы, встречные-поперечные! Тараканы, жучки запечные!

Хорошо Ивану в жизни, везде он желанный, везде привечаемый, потому что сам к людям легок, с шуточкой, с улыбкой.

«Тараканы, жучки запечные» повылазили в раздаточные окна, лица румяные, что масленичные блины, рты до ушей, косынки белые под брови, а из халатов прут молодым да густым тестом груди, вот-вот за край перевалят.

— Не оброните, девки, — шутит Иван. — Не подымете.

Девчата и впрямь руками доброту свою придерживают, скалятся в ответ.

— Подберут кому надо...

— Больно богато, девки, не всяк и донесет.

Сама хозяйка — шеф-повар Камелия Николаевна, бабушка пудов под десять, — из кухонных дверей выплывает приветить Ивана.

— Здравствуйте, Камелия Николаевна.

— Здорово, Ваньша, — гудит басом, и рык ее глух и звероподобен.

Камелия Николаевна — великая мастерица по первым, вторым, по закускам и бисквитам. Вторую такую по всей Сибири не сыщешь. Да что по Сибири — была она на первых ролях и в столичных трестах, далеко известна была. Однако жизнь — штука игривая. Заиграла она Камелию Николаевну в Сибирь. Но и тут себе окороту не давала широкая ее натура. И мужей любила бесчисленно, и сладкую и горькую пила без меры, только что за ворот не лила. И сейчас, бывает, зальется, оттого и встала на якорь в придорожной чайной в малом селе Вазовке. Народ тут простой, коли «зальется» шеф-повар, того и не заметят, а уж коли на месте он, тут уж суп, так это суп, мясо или еще что другое, то уж что другое. Без передыху всласть умнешь обед и еще запросишь. Сегодня повар на месте, сегодня она в форме. Даже под ложечкой с великой надеждой засосало у Ивана при виде Камелии Николаевны. Сегодня он братву свою так накормит, что счастливый аппетит этот будет помниться им всю жизнь.

— Камелия Николаевна, я вам нынче бригаду едоков привез...

Не успел досказать, дошутить Иван, как команда его на порог. Вошла Капа, стеснясь, удерживая на руках Леночку, отчего задрался подол ее юбки, оголив ногу, резинку на чулке и краешек байковых голубых трусов. За ней вывертывается на костылике Зяблик, тянет за собой сухую ногу. Роза вошла: «Здравствуйте» — и улыбнулась, отчего страшное ее личико еще безобразнее. А там дылда Маня, и Кира, и Костик, и хмурый Андрюшка, ни на кого не глядя, вошел и посунулся в угол, в тень, и Миша какой-то растерянный, скорбящий вроде бы за своих товарищей. И в то же время с вызовом: «А что, они, может быть, получше многих! Не глядите, что такие вот с виду... Они хорошие...»

Лучше бы и не шутить до того Ивану, лучше бы вошли они по одному, что ли, не все сразу. Девчата-поварихи да раздатчицы попрятались в окнах, здоровья своего, силы своей постеснялись.

— Кого везешь-то Ваньша?

— С детского дома...

— Заранее бы как предупредил... — И поплыла Камелия Николаевна к ребятам белым добрым облаком. Зарокотала дальнею ласковой грозой: — Здравствуйте, здравствуйте! А ну-ка руки да морданы мыть. Чем богаты, тем и рады. — Завстречала каждого, каждому кивок, шлепок, улыбка да ласка. Светло стало в придорожной чайной.

— Покорми, Камелия Николаевна...

Больно ударил в сердце Ивану парад этот. Только сейчас и разглядел каждого. Словно застудила, ознобила их лихая погода, так бы каждого в запазухе и отогрел. «Что же вы делаете с жизнью своей, люди! — хотелось крикнуть. — Каждого из этих вот зачинали в любви, в страсти. Так чего же не хватило ее каждому! У них ведь сердечко есть, разум, глаза, которые в мир глядят... Что же вы делаете, люди!..»

Быстро распорядилась Камелия Николаевна в зале и на кухне. А там к плите, а от плиты в поварскую свою, да грудью на ларь, да в слезы: «Господи, жалко-то как, жалко! Где он их таких собрал-то, Ваньша?»

Царский обед соорудила Камелия Николаевна и с собой в дорогу накрутила что-то. Капу с деньгами прогнала, с Иваном долго торговалась, отпихивая его руку с мятыми рублевками и тройками. Наконец приняла какую-то мелочь, вздохнула:

— Куда ты с ними, Ваня?

Иван рассказал ей, как подобрал детей, как до Перевального обогнал машину, в которой они ехали, рассказал и об инспекторе, что подозревает его в аварии.

— Это кто же? — спросила Камелия Николаевна.

— Новый. Я его не знаю.

— Мордатый? Важный такой?

— Ага.

— Знаю. Ромка Утятин. Он из молодых, только что со школы. Парень он, Ваня, неплохой, только дурак. Следователя из себя строит. Попробовал на меня страху нагнать: «Ты, Камелия Николаевна, шоферам в чайной своей потакаешь алкоголем». Ну, я его и потыкала... Теперь шелковый. Ишь чего на тебя взвел. Ну хорошо, я с ним встречусь... Меня не обойдет!

— Да будет вам, Камелия Николаевна...

— Мне-то будет, а ему ох как прибудет.

И когда уже прощались на крыльце, когда глянула Камелия на машину, на ребяташек в кузове да в кабине (они ей улыбались, а Рочка махала рукою), вдруг выдохнула разом сквозь слезы:

— Ух и напьюсь я нынче, Ваньша! Ух и напьюсь...—И ушла, давась слезами.

С чего бы и давиться бывалой этой бабúшке.

Глава четвертая

Из армии (служил в бронетанковых войсках) вернулся Иван Жапов со специальностью механика-водителя. Думал сразу сесть за трактор, попластать где-нибудь в Казахстане целину, но тяжело захворал отец, да скоро и умер. Мать после этой смерти стала частенько хворать, ослепла совсем, и пришлось Ивану осесть в родном Сосновске. А хотелось ему побродить по миру, поколесить по дорогам, поворочать там, где потруднее да подальше от насиженных, обжитых мест. Мать, не прошло и года после отцовых похорон, тоже умерла. И остался Иван один-одинешенек в семье старшего брата, которому и отошел родительский дом. Брат, семейный, обстоятельный человек, вроде бы и не был против, чтобы попытал Иван счастья в дальних краях, но к тому времени крепко зацепил парня авторемонтный завод. Руки у Ивана всегда были умные, любое дело сладят, а в машине сами все видели. Как пришел из армии, так и поступил туда работать и за два месяца стал классным автослесарем. И еще сдружился Иван накрепко со своим бригадиром — Федорычем. Федорыч всего на три года был старше, но Иван кроме как учитель его не называл. Были они тогда холостыми, и Федорыч тоже мечтал о дальних далях да о неопознанном мире.

С этой ли неутоленной жаждой по миру, по дальним просторам, а может быть, от молодости своей, жили они тогда весело и беспечно.

Смену на заводе вкалывают так, что небу жарко, а вышла за ворота — свободные, что ветер. Летом на реке куражатся, под девчонок подныривают, пикники устраивают, вечером шлеңдрают по городу чуть хмельные и веселые, а то и на Стройку закатятся. Стройка — жилой массив трубопрокатного комбината, который позднее слился с Сосновском. Там для молодых парней раздолье. Девчат красивых много, два ресторана, три кафе, танцплощадка, на сопочке, среди реденьких лиственок — парк культуры и отдыха имени Горького.

Гуляли они особо. Иван купил гармошку, наладился играть несколько мотивчиков, а учитель пел. Город тогда только расти начал, понаехало отовсюду много народа разного, бывалого и любопытного, так что знакомства почти что каждый день новые. Но были среди ра-

бочих этих людей и хулиганы. Им-то и не нравились легкие, веселые друзья — Иван да Федорыч. Хулигану работяга всегда поперек горла.

Вспомнил Иван, как шли вечером вокзальной платформой чуточку выпившие и веселые. Никому не мешали. Иван поскрипывал на гармошке, а учитель, дурачась, пел:

Все пропьем, гармонь оставим,
Хоть родная мать убей,
Будем шпаться по деревьям,
Будем радовать людей...

Не заметил учитель, как под ноги ему кто-то подsunул сумочку. Драную такую, дерматиновую, может быть, ее специально для того на помойке подобрали. Но Иван-то заметил... Подцепил носком ботинка эту рвань и кинул за третий железнодорожный путь. Тут их сразу окружила компания. Жулики не жулики, блатные не блатные — рвань хулиганы.

— Ты зачем сумочку украл?

— Что?!

— Сумочку.

— Какую сумочку?

— С деньгами.

— Ах с деньгами...— Иван кинул с плеча гармошку. Сунул одному из мальчишек, увязались за ними с самого братанова дома: — На-ко, отнеси домой инструмент.— И к хулиганам: — Это, выходит, я, Иван Жаплов, сумочку украл?

— Ты!

— Да я, поганые ваши рты, честный работяга, чтобы руки на чужое наложил?! А? Да я свой кусок ем с тех пор, как от титки мамкиной отлип! Свой! Во!—И показал хулиганам тяжелые ладони.— Во! Видели, этими руками...

Недоговорил Иван, кто-то, оттерев Федорыча, ударил его сзади.

— Ах так! — пошел Жаплов грудью на хулиганье, размах у него был танковый и кулак бронебойный. Увидел, что мотают уже за платформой учителя.— Учителя бить, подлюги!

Каким образом, откуда взялся, но подвернулся Ивану под руки смонтированный мазовский баллон. Выхватил он его на вытянутые руки.

— А ну закапывайтесь в землю!

Хулиганье остолбенело от такой силищи — в смонтированном том скате никак не меньше трех пудов, — брызнуло врассыпную. Иван им баллон накатом вдогонку пустил. Кто-то и попал под него, завопил: «Задавили!» — кто-то со страху носом в землю. Осыпались, как падалица, хулиганы. А Федорыч стоит, под глазом наливается, буреет синяк, а сам хохочет:

— Вань, а Вань! Ты что, баллон с завода прихватил?

Ивану уже и самому смешно, но ярится вслед хулиганам.

Хорошее то заводское время было. И работали они и гуляли хорошо, по-мастеровому.

Многому научился Иван у друга своего. Учитель был грамотный — еще до армии кончил вечерний техникум и руки имел тоже умные. Легко читал и схемы и чертежи, мог и свое придумать. Иван около него здорово понаторел, может быть, со временем и сам бы в бригады вышел, а то и в мастера. Только не судьба. Влили их заводик авторемонтным цехом в трубопрокатный комбинат. Не впору пришлась такая реорганизация. Простой начались, перестройки да переладки. Начальство сменилось. Захромала на обе ноги организация труда, а значит, и от труда никакой радости.

Учитель собрался уезжать в Братск, звал Ивана, но в это время набирали шоферов в организованную новую автобазу дальних перевозок. Прельстили дальние перевозки, Иван туда уже и заявление отнес.

Учителя провожали всей бригадой. Шумно было за столом, хмельно и душевно. И от душевности этой плакать хотелось Ивану, понимал: прощаются они не только с Федорычем — с юностью своей прощаются. Часам к десяти вечера оказалось — не рассчитали: кончилось вино. Ивану тогда каждому добро хотелось сделать. Чтобы поняли — друг он каждому такой, что в огонь и в воду за дружбу пойдет. Потому и крикнул первый:

- Ребя, ждите, я счас горячего добуду!
- Где там! Уже десять, закрыто все.
- В ресторан... На Стройку. Ждите.
- Деньги возьми.
- У самого есть.

И бегом на волю, два квартала отмахал, вот он и родительский дом. Потайно открыл стайку, выкатил братанов «ижак», откатил подалее, без труда завел и попер по улицам во все ижаковы силы.

Чуть-чуть хмель голову кружит, но в сердце одно — не разошлись бы ребята, компания бы не поломалась; и гонит Иван мотоцикл, пригибаясь к рулю. Весь он в движении, весь в полете. Вот уже и железнодорожный переезд, а за переездом — новостройка и ресторан. Только бы милиция не засекала! Голова работает ясно, скорость Иван чувствует, дорогу тоже. Красный светофор на переезде. Машины друг за другом вытянулись в длинную очередь, обошел их по встречной полосе, ткнулся к самому полосатому шлагбауму. Последние вагоны товарняка стучат. Точно рассчитал Иван, нырнул под полосатый брусок, вымахнул на переезд и увидел — летит на него, встречу товарняку, по другому пути электричка. Тормозить — поздно! На себя газ! Ринулся вперед, в расплавленный огонь прожектора! В смерть свою. Холодком обдало сердце, словно инеем обросло оно. Обнесло Ивана нездешним дыханием. А мотоцикл уже у другого шлагбаума, как поднырнул под него, и не заметил и дальше на том же предельном газу...

Вернулся к ребятам с водкой. Веселый, радостный, что дождались, не разошлись друзья — значит, верят ему. Но холодок тот так и не прошел, не растаял. Жег, не давая забыться ни в вине, ни в веселье.

Никому не рассказал о случившемся Иван, только с тех пор к машине, даже мало выпивши, не подходил. Со временем забылся и тот вечер, и расплавленный огонь прожектора, и как обнесло его нездешним дыханием забылось, только холодок этот, когда подпирало лихо, вдруг поднимался в сердце, напоминая, что сыграл уже раз он в поддавки со смертью.

...Для чего все это рассказал Капе, и сам не понял.

Росли, приближались Саяны. Машина шла на подъем, спешила за солнцем, что убегаю от сумерек, ползших из речных долин. Успеть в Аршан хотел Иван засветло. Леночке стало хуже, снова поднялась температура. Девочка бредила. Капа после Иванова рассказа долго молчала. Ей виделся сейчас тот молодой демобилизованный танкист, веселый, с курчавым чубом. Они были ровня. Капа любила того парня, понимая, что никто не полюбит его так, как она. Только ее сердце, вынесшее столько горя и беды, может любить так, как того он достоин. И Капа любила его. Она не заметила, как положила ладонь на его руку, как стала гладить его сильные даже в покое пальцы и как слезы вдруг покатались по ее щекам, по ее покрасневшему утиному носу...

- Ты чо? — Иван по-отцовски тронул за плечо. — Ты чо, девка?
- Жалко мне вас, Ваня...

— Эк жалосты! Это почему же?

— А вдруг бы она вас задавила?

— Что ты, Капа! Я до ста лет жить буду.— Иван смеялся и верил в то, что говорил.— Мне, Капочка, пятерых только по этому году поднять надо! Пять ребенков!

Он говорил о жене, о детях, но Капа не слышала этого. Она любила первый раз в жизни, и ей было хорошо. Ей было хорошо, потому что он есть, что не собирается помирать, что сидит рядом, а потому ни с ними, ни с ним ничего не случится плохого. «Как хорошо жить на земле,— думала Капа, нежно прижимая Леночку.— Как хорошо жить!» Она гладила девочку совсем так же, как делала это и раньше, но нежность ее была другой. Она была нежностью только что зачатого в ней чувства.

Как ни старался Иван торопить «зилек», но к Аршану подъехали уже затемно.

Село это, лежащее на развилке двух трактов, было не очень большим, но широко и вольно раскинулось по долине полноводной Зей. В прошлом торговое, теперь оно жило охотой да лесосплавной конторой. Леса по Зее стояли сплошь строевые — лиственницы, кедр, корабельная сосна и береза белотелая и могучая по этим краям. В последнее время организовали тут крупную автоколонну, но дела в ней шли пока ни шатко ни валко, не хватало шоферов, автослесарей, механиков...

Одно время Иван подумывал перебраться сюда домом, нравились ему эти чистые саянские места, но оказалось — трудно вырвать корень из родного Сосновска. А как бы хорошо было жить тут.

Вот отсюда, со скального прилбочка, открывается вся зейская долина. Вся — до каждого уголочка, с тайгою, с крутыми падушками и хмурыми сиверами, с белыми до глубокого лета шапками снежников на вершинах Станового хребта, с синей Зеюшкой-рекою, что катит споро и величаво все мимо и мимо, в даль неоглядную.

Была уже ночь, но Иван все-таки остановил машину, тесно прижавшись к обочине, и выбежал к скальному обрыву и постоял одну только минуту, слушая, как из долины поднимаются сюда звуки и запахи человеческого жилья. Только минутку и постоял, а в душе уже праздник и жить ох как хочется...

«Сперва в амбулаторию, потом уже на квартиру,— думал Иван, спуская машину по крутым петлям к селу.— Встанем на ночь у Мины. Дед бобылит, изба у него большая, да и человек он легкий. Девяносто семь разменял, а все еще при силе человек...»

Хорошо у Ивана на душе при воспоминании о Мине. Всегда всем доволен, весел, в тайге неугошлив, в пиру неукротим. И выходит, что нет на него порухи. Только однажды и пожаловался:

— Слышь, Ваня! Вот как я о себе думаю — все у мене ладно, все хорошо и весь я в работе. Одно хреново — нет у меня зубов, а потому стал я шепеляв и мордой вислый.

Иван предложил старику сделать вставные челюсти. Был у него в Сосновске дружок — зубной техник. Уговорил старика поехать с ним и привез к себе. Пока пересмена была, выходные дни до следующего рейса, сделал протезист Мине зубы, да такие, что лучше своих прежних. Померил их старик, присосал, пожевал — в самую пору. И белые, как фарфор, и ровные, а улыбка — даже совестно. Мина перед зеркалом покрутился, пригладил седенькие вихры, засмеялся молодо.

— Ваньш, а Ваньш, а гдей-та тут у вас женская общежития?..

А спустя месяц снова заглянул Иван к деду.

Дому Мины не было, в тайгу ушел. В избе прибиралась тринадцатая его дочь Фея (чертову дюжину наплодил девок и только одного сына — Ганю).

— Фей, а гдей отец-то?

— В тайгу убог, безобразник. Так озорничал, так озорничал, стыдно людям в глаза глядеть... А ну его,— махнула рукою.— Озорник!

— Зубы-то впору? Носит?

— Какой носит! Эвон в коробочке на полке. Он их пуще глазу бережет, боится пьяным потерять...

...«Конечно, на ночь у Мины вставать надо,— думает Иван.— Кто еще пустит с такой оравой? Да и село все еще старой веры — чинятся перед приезжим человеком. А Мина примет... Только бы дома был и тверезый...»

Медпункт, или, как называют его тут, амбулатория, закрыт. Иван, оставив у крыльца машину, бежит на дом к фельдшеру.

Старик фельдшер, в неопрятной щетине, глуховатый, заспанный и словно бы нетрезвый, долго не может понять, чего от него хотят. С Иваном знаком он не первый год, но вроде бы никак не признает. Наконец начинает, по-стариковски суетясь, одеваться. Руки у фельдшера дрожат, голова трусится, и весь он как на разболтавшихся шарнирах.

Иван помогает ему попасть ногой в штанину, и старик принимает эту помощь как должное. От суеты и спешки дрожь колотит его еще больше.

— Петля дело, парень,— говорит фельдшер.— Сейчас одним мигом добежим.

Иван слышит густой запах валерьяновых капель и кислый запах стариковского пота. Ему становится жалко фельдшера, его хитрости. Все село знает, что он в утайку после работы пьет, закрывшись у себя дома, а сивушный запах перебивает валерьяновыми каплями.

И на селе, и в райздраве, и в области жалеют его — вот-вот исполнится старику шестьдесят и уйдет на заслуженную пенсию. Жалеют его, забыв о прошлом. А прошлое у Петли темное. Грязное прошлое.

Сразу после войны, когда запрещались законом аборт, сошелся он, вернувшись из армии, с демобилизованным капитаном. Тот из Германии вывез «опелек». У капитана «опелек», у Петли инструменты и диплом фельдшерский. Стали они мотаться по всей округе. Пили, гуляли — все с рук сходило. Бывало, что возникали осложнения, заражение крови, смерти были. Но не наступала кара Петлю. Уходил он из любой ситуации чистенький, может быть, в том и деньги виноваты были. Большие деньги в самую малую щель пролезут. А друзья все ниже и ниже катились, пока все-таки не покарала их судьба.

Капитан пьяный заживо сгорел в «опельке». А с Петлею стряслось и того хуже. Нетрезвый делал он аборт собственной дочери и проколел ее. Кровью истекла она на руках отца. Не смог остановить кровотечения. Умерла дочь. Но и тут обошла его законная кара, оставила мучиться содеянным. А следом за дочерью и жена ушла от Петли, повесилась. Может быть, с того и поговорочка эта, что у самого сил не хватило себе на шею петлю накинуть и затянуть.

Забился фельдшер в Аршан, по тем временам глушь тут была великая.

Врачевал честно, старательно, много добра сделал, но не осилило то добро старое зло. Стал он втайне попивать ночами, стал разваливаться, как заезженная колымага. Затрясло его, забило в вечной теперь дрожи...

— Говоришь, петля дело, в жару девочка-то? — спрашивал фельдшер, спеша к амбулатории.

— Простудилась, верно. Она и так хворая была... Мочилась все... А теперь, наверное, воспаление,— стараясь все объяснить подробнее,

как ему казалось, говорил Иван, едва поспевая за легким на шагу фельдшером.

— Может быть, петля дело, и воспаление...

Леночку он осмотрел внимательно. В деле своем был Петля докой. Из-за грязных тех денег, может быть, и погубил в себе большой талант.

— Воспаление у нее, петля дело, очень, очень сложное — мочевого пузырька. В больницу надо, петля дело, срочно. А еще... — Он подергал головой, дождался, когда резкая эта трусца перейдет в мелкую, добавил: — Еще двустороннее воспаление легких. Я, петля дело, порошков хороших сейчас дам ей... Надо быть, с них получает. А с утра в больницу на крыльях.

Он снова помолчал, подумал, хорошо бы сейчас сделать девочке и уколы, но инъекции последнее время он боялся делать — тряслись руки. Обходился травами, которые сам собирал, и порошками.

— Травки ей заварю. Хорошая есть у меня травка.

Снова помолчал, а потом, решившись, пошел кипятить шприцы.

— А что, может быть, сейчас и махнуть в больницу? — спросил Иван, следуя за фельдшером.

— Нет, парень, петля дело сейчас. Обходим ее, полежит, а там, глядишь, помалу и двигай...

Часам к одиннадцати управились с больной, оставили ее на единственной кровати в амбулатории. Капа легла рядом на топчане.

Иван ребят разместил у Мины. Дед был дома и к тому же в прекрасном расположении духа.

— Давай запускай их в избу. Места не пролежат. У Мины завсегда по лавкам да печкам до дюжины ребят водилось! — кричал, бегая вокруг машины и подзадоривая ребят. Потом для потехи посерьезнел, будто напугался: — Вань, а оне у тебя в бане-то мыты? Вшей мине не напустят? А то я их в стайке положу, заодно и курей насекомой накормлю.

— Они их, дед, в дороге поморозили, — смеялся Иван. — А ты, старый, боишься, что чужая твою забьет.

— Оно, конечно, беспокойство имею. Вошь — насекомая вдумчивая, она покой любит...

Так вот под путоговорочку и разгрузились и в дом пошли. А тут Андрюшка, вырвав у Ивана свой вещмешок, сказал:

— Я туда не пойду! Тут, в машине, буду.

— Почему, парень? — Иван уже привык, что ребята приняли его и легко сошлись с ним.

— Пусть сам там спит... Я вшивый, да? Вшивый? Я на его гнидниках спать не буду!

— Да ты чо, парень? Он хороший дед. — Иван облапил Андрюху. — Только шухарной он, ну!

— Не надо... не надо, — твердил мальчишка и тяжело дышал.

— Ну вот, — сказал Иван.

Мина уже позатолкал всех в сенцы и, распахнув двери, приглашал в избу.

— Вишь, Андрюх, ребята-то не обиделись...

Но что-то задержало мальчишку, что-то зацепило его. Может быть, необычная эта дорога, грубоватая ли ласка Ивана и его жеумелая к чужим нежность, может быть, невоздержанная доброта и последние слезы Камелии Николаевны.

— Пойдем Ленку попроведем, — предложил Иван, отбирая мешок с пожитками у Андрюшки и кладя свою ладонь на остренькое плечико.

— Пойдем, — легко согласился Андрюшка.

Когда они вернулись, в просторной избе деда Мины, в двух ее половинах, все ходило ходуном. Сам дед, растрепанный, с всклокоченной бороденкой, мотался по кругу обступивших его ребят и считался:

— Раз, два, три, четыре! У попа портки скочили! Кто ни едет, кто ни идет — всяк попа по ж... бьет! Выходь. — И снова начинал считать. — Раз, два, три, четыре...

Ребята хохотали, радуясь считалке, и сам Мина сиял довольный. Озорник дед.

— Чур, на старенького! — закричал Иван.

— И я на старенького! — крикнул Андрюшка и не осекся, не отошел в тенок, как прежде, а полез в круг, к самой бороде деда.

— Не, на новенького! На новенького!

— Ладно, ладно! Считайте Андрюху, а я вам шамовку пошел готовить, — сказал Иван, довольный и собой и дедом Миной.

На кухне распаковал узел, собранный Камелией Николаевной. Настряпала повариха в дорогу от всей своей могучей души — взвод солдат накормить можно.

Потом Иван пошел через все село в автоколонну. Он знал, где живет главный механик, но по темени проплутал добрый час, пока нашел его дом.

Елизар Елизарович, механик, мужик обстоятельный, жил большим хозяйством. Был он занят много и по службе и по своему дому, потому и ложился рано. Он уж досматривал пятый сон, когда в ворота заступил Иван. Незваного гостя, хоть и спросонок, приняли чинно. Хозяин усадил его за стол, сходил в спальню, надел чистую рубашку, причесался, а хозяйка заладилась с самоваром.

— Какой самовар! — замахал руками Иван. — Полночь на дворе. Я по делу, Елизарыч. Вы уж извиняйте, что попугал вас с постелей. Дело у меня как вроде неотложное... Необычное дело...

— Самовар делу не помеха, — сказал Елизар Елизарович и присел к столу слушать.

Иван как умел рассказал обо всем, что произошло в дороге с ним, рассказал, припомнив все мелочи истории, которая вдруг стала для него важной в жизни.

Он рассказал о детях как о своих, о Капе, поругал как истинный шофер сотрудника ГАИ, вспомнил добром Камелию Николаевну, на что Елизар Елизарович многозначительно хмыкнул (дескать, знаем добродетели ее), и кончил тем, ради чего и пришел.

— Машину, говоришь, до Ажайска? — Хозяин потер подбородок, и щетина поскрипела под его пальцами. — Этого, парень, обещать не могу. Нету этого.

И в свою очередь рассказал Ивану, что лесу в пойме посекали уйму, а вывезти по зиме не успели. Но в сводке выполнение плана показали и отрапортовали даже. Лес-то посекали, лежит он на земле — почему не отрапортовать? Пятилетку покрыли и сверх того, а лес лежит в пойме. И вот-вот вскроется Зея, и подымет лес, и унесет его со всеми рапортами к чертовой бабушке. Поэтому машины, бензовозы, даже «газоны» легковые — все, что может передвигаться, брошено на вывоз леса.

— Ага, — сказал Иван. — По зиме-то частную заготовочку выполняли, а теперь аврал государственный.

Хоть и пил Иван поздний чай в доме Елизара Елизаровича, хоть и пришел к нему с просьбой, но не смог не намекнуть на громадные поленицы, что стояли у каждого дома под стреху в Аршане. Такая же поленица свежесколотых, пахнущих древесным спиртом дров стояла и у дома механика.

— Зимы долгие,— уклончиво ответил тот, не услышав упрека в словах гостя.

— Значит, не дашь машины?

— Нету. Не дам, Ванюшка, не дам. Нету. А ты, парень, до свету не думай на Ажайский тракт суваться. Плохой он счас. И оползни, и камнепад, и реки вот-вот взбучатся.

— Так ты что, Елизарыч, считаешь, поехал я в Ажайск? Да? Нет, друг милый, с меня хватит. У меня тут, в Аршане, от ГАИ арест! У меня баба на сносях! Я против командировочных-то пять дней опоздания сделал! А ты, друг милый, меня еще и в Ажайск пихаешь!

Иван распалился. Однако Елизар Елизарович только улыбнулся в ответ:

— Поедешь, парень... Поедешь... С того и советую, что знаю тебя. Эх, Ванюшка, мне бы такого, как ты, парня в колонну...

— Ты меня, Елизар Елизарович, не покупай. Оно, конечно, легче на чужом-то в рай ехать! Ты мне скажи прямо — дашь машину или нет?

— Нет, Ванюшка. Я тебе сказал: нету машин у меня. Нету.

— Вы тут одичали совсем! Вы тут липовые рапорта рядите, парад устраиваете! А по-людски к людям отнестись — вас нету! Эх вы, рапортешники!

— Ну вот ты уже и ругаешься! Да кто тебя-то, тебя кто за уши тянул во всю эту историю с консерваторией лезть? Правильно тебе инспектор, дураку-то, сказал: везти надо было их на Перевальное. Там инспекция, начальство там. Им виднее, что к чему! А ты, парень, сам себя на заклан тянешь...

— Все? — спросил Иван, прерывая и поигрывая желваками.

— Нет. Не все. Сам ты верно сказал — дети у тебя. Свои дети! Понял? Пятеро! Мало? Мало тебе?

— Мало.— Иван поборол в себе раздражительность, сказал, как Христа ради попросил: — Ты машину дай! Машину... Ну выкрой как-нито и дай. А, Елизарыч? На том свете тебе зачтется.

— Ишь ты, проповедник... Мне на этом свете за невывезенный лес по шее накладывают, а не на том. Да и неверующие мы.

— Эх, Елизарыч! — Иван горько кулаком в колено ударил.— Хорейший ты мужик, только вот обстоятельный.

— А что, плохо?

— Обстоятельства ты в жизни выбираешь. По обстоятельствам живешь. Где для твоего лба гиря помене, туда и лезешь.

— Не обижай, Ваня. Ты знаешь, гирь-то на наши лбы всегда уготовано. И разных весовых категорий гирь-то. Будешь выбирать, коль не то чтобы лоб, а голова вся в шишаках.

— Оттого и в шишаках, что выбираешь. Коли в одно место били бы, не дался!..

— Нету машины, Ваня. Нету! — Теперь уже нервничал Елизар Елизарович.

— И для доброго дела нету? Слышишь — для доброго! Дети ведь...

— Нету! Нету! Нету! Не бей, Ваня, по сердцу...

— Донимает все-таки? А ты машину дай.

— Нету у меня. Ни единой нету!.. По рукам я связанный...

— Ага! Нету! Решительно?

Елизар Елизарович молчал. А Ивану было и горько и весело. Знал он, что не бросит детей, большую Леночку, Зяблика, Маню, Киру... Не оставит их в Аршане на руках у Капы, а довезет до Ажайска.

Решение это пришло к нему, когда он еще плутал меж высоких заплотов и громадных полениц дров, выискивая дом механика. Уже

тогда почему-то подумалось, что никто ему не помощник в этом необычном деле. Но очень хотелось Ивану, чтобы Елизар Елизарович вдруг ахнул по столу кулаком, выматерился бы густо: «От забодай тебя комар! Будет утром машина! Отдаю теплушку, что рабочих на деляны возит! На открытых доберутся! Обойдемся ради такого дела!» Нет, не сказал этого Елизарыч. Не сказал. Не может помочь он. План провалить куда как страшнее, чем загубить стороннюю жизнь! К жизни той ты непричастен, никто тебя не уполномочивал на нее, никто по закону не обязывал. Нет на тебе ответственности.

— Ладно, Елизарыч, гони план! Гони! Спасибо тебе за чай, за гостеприимство. Извиняй меня за все...

— Ниче, Ванюша... Ниче!

— Плохой, говоришь, Ажайский тракт?

— Плохой. Не советую туда соваться. Попробуй кружным путем.

— На окольный путь у меня время нету.

— Не торопи время, Ваня!

— Нету, Елизарыч... Боюсь, не довезу девочку-то... Заправишь меня?

— Это можно.

— Только счас, разом...

— Заправлю счас.— Елизарыч поднялся следом за Иваном, потянулся за кожушкой.— Мать, дай-ка большую связку ключей.

Вышли на волю. На дворе крепко пахло чистым древесным соком и весною. Накрапывал теплый шепелявый дождик, и прела где-то, томилась поднятая незначай рыхлая земля.

— Робята червей копали,— уловив этот запах, сказал Елизарыч.— Приладились, понимаешь, из лунок на реке рыбу таскать. У нас такого не было. Ну и сообразительный народ парнишата...

— Ты инспектора-то Утятина знаешь?

— Знаю. Новый он...

— Ты ему скажи: дескать, Жаплов-то не сбежал. Свезет малышню в Ажайск и вернется.

— Скажу... Где машина-то твоя? У Мины?

— У него...

— Так гони по Гусакову проулку, это от Фени Косой вправо, мимо Петли.

— Знаю.

— Гони, за проулком я тебя встрену!

— Ладно.

Иван шагнул в темноту, захлюпал сапогами по лужам. Сколько ни глядел вслед ему Елизарыч, разглядеть не мог, словно истаял Иван и только шаг его остался в мире. Тяжелый, уверенный шаг.

Глава пятая

Видел Иван разные дороги, на разных колдыбачился; выворачивал колеса и в хляби непролазной, и в снегах, и в рытвинах таких, что и танку не осилить, но такой, как Ажайский тракт, еще не встречал. Ни рукам, ни ногам, ни всему телу нет и минуты покоя, будто бы не Иван на машине едет, а она на нем.

Леночке под утро стало плохо. Посинели губы, хрип в горле, заострился носик, разжались пальчики, а так все сжимала в кулачке, все берегла единственную свою игрушку — губчатого зайчика. Упал на пол зайчик, легкий, какой от него шум, но Капа встрепенулась на топчане, глянула — помирает девочка.

А тут на крыльцо Иван пришел проведать, тоже глянул на маленькую — и прочь за фельдшером.

Петля не спал, сидел за столом при свете, думал о чем-то. Мигом добежали до амбулатории. Фельдшер сделал укол Леночке, облупил веко, заглянув в словно бы уже и мертвый глаз.

— В больницу надо,— сказал. Глянул на часы, покачал головой: до рассвета оставалось еще часа три.— Счас бы надо, петля дело.

— Поеду,— сказал Иван.

Фельдшер присел подле больной подежурить, а Капа побежала будить ребят.

Рассвет застал их далеко от Аршана, на полпути к Ажайску. Был он ал и широк. По всему небу заря разметала крылья, брызнула брусничным соком на белые хребты. А синее-синее небо глубоким было, без единого перышка.

И вспомнились Ивану вдруг его покосы. Вспомнились маковые поутру зори и стынувшие, как жар забытого костра, по вечерам. Глянул он на спящих малышей, на серое в сутеми и от недосыпу — две ночи подряд бессонные — лицо Капы, на порозовевшее чуточку, а до того мертвое личико Леночки, и захотелось хорошего и доброго в мире, так что и молчать невмочь.

— Капа, хочешь, я тебе про покосы расскажу?

Глянул ей в глаза, а в них радость. Потому что живы все и Леночке легче стало, потому что он рядом, такого и любить ей — радость...

— Хочешь, Капа, расскажу?

— Расскажите, Ваня...

А он уже и не слышит — весь там, в дорогом и ясном. И говорит уже будто бы миру всему в откровенье...

— Когда у меня вторая народилась, Ниночка, купил я корову. Думаю: теперь и косить надо. Приобрел косы, обладил грабли и стал сельским мужиком... Пролетариат во мне и крестьянство во мне. Стало быть, серп я и молот... А молочко детям нужно, поскольку в ту пору в Сосновске его не то что на копейки — на рубли не същещь. Ладно, как молот отваяю я честно смену, а если что по общественности, тоже не откажусь, и шлепаю домой — и давай как серп на природу. Очень я ее люблю, нашу русскую природу. Бывало, иду на покосы пехом и люблюсь...

Что-то не получалось у Ивана рассказа. Слова какие-то шершавые лезли, за язык цеплялись. А вспоминалось ему красиво. Как покрывались луга за речкой Липочкой зеленой травой, как зацветали они. И они с Ниной приходили в луга с косами и шли мимо цветов, а те так и ластились к платью, к голым ногам жены. По росному утру не было ни комара, ни гнуса, и Нина шла простоволосая, босая, легко неся над лугами крупное тело, сильная и красивая этой крупнотой и силой. На их покосных угодьях стояла старая зимовейка с полатями, с разломанной печкой, которую он все-таки ухитрялся топить по вечерам, дымом выкуривая комаров.

— Весь свой век луга буду эти помнить,— рассказывал Иван, остро следя за дорогой. Тракт получшал, и машина бежала ровно и ходко.— Поляна у меня там есть больно красивая, как ковер. Даже косить ее жалко. Однако постою над ней сожалеючи, вздохну и примуся косу точить. А знаешь, когда уже жарко делается, а мы все еще косим, то Нина так раскраснеется, такая румяная станет, как эта поляна. И пахнет от нее уже таежной да цветочной пылью. Залюбуюсь ею, да и скажу: «Нина, давай отдохнем». Схожу за водой к роднику, напьемся мы, помоемся и ляжем на природный этот ковер. Нина скажет: «Вань, помоем-от травку-то». «Ничо, Нина,— отвечу,— к завтраму выпрямится...»

Иван замолкает, а Капа и впрямь видит те луга, ту примятую траву, его в старой, но чисто стиранной рубашке... Такой вот сильный и

ладный, красивый такой, распахивающий широко для объятья руки, присев на корточки среди цветов и трав, приходил к ней в памяти, будто виденный некогда в мальшестве ли, в той ли заповеди, куда и заглянуть страшно. Может быть, то родитель ее. И сейчас повиделся он ей, только с Ивановой статью, с его лицом... И бредут они по росным травам, он впереди — Иван, она позади — Капа. И вымокший в росе, тяжелый подол платья хлещет по икрам, липнет к коленкам, она путается в нем, но спешит, спешит за своим единственным мужиком. И косит Иван не с Ниной, а с ней. И в траву ложится, и трогает, и ласкает ее тяжелой в работе, но легкой в ласке горячей рукою...

А Иван дальше рассказывает:

— Есть на покосах наших и родничок и три озерка — каждое невелико, но глубокое, настоящее. И прилетают туда, на мокрые луговины, журавли. Я раненько проснулся, еще серо все вокруг, и слушаю, как курлычут они, друг с другом разговаривают. Совсем не так, как по осени, когда на крыло встанут, чтобы лететь в жаркие страны, а так вот — по-домашнему. Как мы с Ниной, когда у нас все в согласии и любви. Поутру встанем и переговариваемся, чтобы детям сон не нарушить, вроде бы и не шепотком, а негромко. Вот они курлычут, а я выйду из зимовейки и перебежками и по-пластунски крадусь их поглядеть. Подползу совсем близко и разглядываю. Стоят они такие гордые, на головках хохолки. И отец у них очень внимательный... А мама и ребенок ловят лягушек. И так забавна жизнь их, что глядел бы и глядел. А у меня своя жизнь, у меня травы рососою обременели, мне косить пора. Вернусь, а тут уже и Нина поднялась. На теплое еще кострище понакидала сушнячку-лому, вздула угли, и вот уже рыжий да неприглядный огонек и захопотал под черным чайником, дымом обнесло. А я всегда на дым гляжу: коли столбушком бежит в небо — быть ведру. Значит, погребемса и посушимса впору. А коли тащит его, по земле стелет — жди сеногноя — вражину дождя жди. Я Нине про журавлей расскажу. А она: «Ты, Ваня, покажи мне журавлей». «Ладно», — пообещаю. А вдругорядь проснусь утром, гляну на нее спящую, и так мне станет жалко сон ее тронуть, что и уйду на цыпочках. Пусть лишний часок-то отдохнет двузильная, работающая, жалкая моя баба...

Снова трудной стала дорога. Иван замолчал. «И что это за голова такая непутевая следит за этим трактором. И ГАИ — тоже хороши, поставили знаки-то, а спросить с дорожников за безопасность движения их нету. Вот и тут знак стоит — „Только прямо“».

Не понравился он Ивану. Круто опадает дорога к реке, к зимнику. Можно было чуть левее взять, выехать на встречную полосу, тут она как объезд от основной уходит. Но знак стоит, запрещающий въезд, и по движению другой: «Только прямо». «Раз нельзя по закону, значит, нельзя. Поедем только прямо». Осторожно пополз «зилек» под кручу. Дорога скользкая — ледянка. Тут и тормозами и мотором окорот движению давать надо. Ничего не упустить, все предвидеть. На плечах своих снес машину Иван к самой береговой россыпи. Остановился у знака, разрешающего проезд рекою-зимником, пригляделся.

Река вылезла из берегов, нехорошо плещется, валом идет поверх льда мутная бешеная вода. Иван вышел из кабины, обошел все вокруг, глянул на водомерные знаки, нанесенные краской на скале, — отметка подъема воды позволяла двигаться дальше. Однако что-то смущало его, заставляло приглядеться, помедлить. «Может быть, нарушить тот знак, обойти левой полосой, — подумал и глянул на спуск, по которому только что сполз. — Нет, не подняться в обратную по нему».

Ребята проснулись, повылазили из кузова, крутятся под ногами, швыряют камни в реку.

— Дя Вань,— подошел озабоченный Миша,— а мы ее в брод форсировать будем?

— Ага!

— Во здорово! А пройдем?

— Пройдем.

— Коська, Кось! В брод форсировать будем!

— Ура!

— Чего, дураки, кричите, утопнем вот.

— Молчи, Манька! Чего, как ворона, каркаешь?

— Сам дурак!

— А ну по машинам! — крикнул Иван.— Саперные части мостов не навели! Задача: сидеть тихо! Ясно?

— Ясно! Ясно! Ура! — Ребята попрыгали в кузов.

Иван поглядел, хорошо ли уселись.

— Поехали, братва!

Машина вошла в реку, точно взяла колесами наезженный след, покатились легко, забубнила, закуржавелась пеной под колесами вода, навалилась валом. Телом всем почувствовал Иван силу реки. На газу шел он, ощущая зимник. Вешки дорожные еще не вытаяли, не посбило их, по ним и ориентировался.

И вдруг клюнула носом машина, черпанула капотом реку, покатились вода под лобовое стекло. Вовремя отдал побольше газа, вовремя уловил этот миг беды Иван. Взревел «зилок», как конь норовистый, вымахнул из промоины на твердую колею, пробежал по ней и чихнул раз, другой.

— Но-но! Простудился!

И тут уловил Иван перебой в моторе, дал ему обороты, и он вроде бы и поборол нездоровье, но раз за разом кашлянул и замер. Иван попробовал пустить машину со стартера. Тоскливо повыл пускач годным волком в пустом поле. Ни отклика ему, ни живинки.

— Дя Вань! Сели? — кричали из кузова ребята.

— Сидим пока.— Вылез на подножку, вода чуть-чуть забегала на нее.— С места не вставать, братва. К борту не подходить! Ясно?

— Ясно! Ясно!

Иван огляделся. До берега оставалось каких-то полста метров глубиной, по бедра воды. Недалеко. Но мертвенный холод воды, ее ргутная напряженная тяжесть, ее словно бы спрессованная сила неодолимы. Вода была вокруг. Она шла валом, бурля и клопоча под задним мостом, пытаясь как будто сдвинуть машину.

На стрежне, где, вероятно, просел зимник и откуда так счастливо вымахнул «зилок», ход воды был одержимо дик. «Залило бы разом, а потом и повалило бы,— подумал Иван, разглядывая место, и тот, давний, холодок коснулся сердца.— Пронесло. Опять пронесло мимо Ивана Жаплова».

Здесь, где заглохла машина, вода не доходила до кузова вершка на два. Россыпь кое-где плешила сухими затылками камней, вода прибывала. Иван отметил про себя эти сухие плешинки, на глаз определив их высоту, глянул на часы. Когда вода зальет камни, он будет знать прибывную скорость, а отсюда и время, которое отпущено ему.

— Что? — спросила Капа.— Плохо?

— Чего же хорошего, девка, коли сидим в реке.

— А как же теперь?

— Нече! Будем справляться.

Иван откинул капот, выполз на крыло и свесился головою к мотору. Мотор был горячим и сухим. Вроде бы и не захлестывала его река, вроде бы и показалось все это. Проверил свечи — сухие, тромблер... Бензин в карбюратор подается нормально... Фильтры сухие. В электри-

ке на глаз тоже вроде бы все нормально. Сверху, на осмотр, все на месте, все исправно. Вернулся в кабину. Глянул на отметины, и снова холодком обнесло сердце. Не то что сухие проплешинки, но и камни, отмеченные им, скрыла река. Но и без того было ясно: вода прибывает быстро, она уже скрыла подножку, утопила ее. Снова попробовал пустить стартером двигатель — не откликнулся мотор, не ожил.

Капа смотрела на Ивана молча, глаза большие, темные, но в них надежда и затаенная радость.

— Видно, в чем-то и согрели мы, Капитолина.

— Почему мы?

— Наказало нас. Сидим у дьявола на ладони. Кругом вода, кругом вода, а мы посередине...

— Почему же это мы согрели?

— Но не они же. — Иван кивнул на ребят.

Малыши спали, привалившись друг к другу, тихонечко подымались в дыхании их плечи. И только хрипло, с тяжелыми всхлипами дышала Леночка.

— При чем же они-то? Они еще и не жили.

Иван улыбнулся. И оттого, что был Иван спокоен и так вот улыбался, не было у Капы тревоги.

— А много еще до Ажайска осталось? — спросила она.

И он понял: девушка не подозревает, что грозит им, не слышит нависшей над ними опасности, верит, что Иван Жаплов все уладит. Ну и пусть верит. Пусть подольше не слышит опасности. Но что-то нужно решать! И в воду ему все-таки придется спуститься. В огненно-холодную, бритвою подрезающую сухожилия, кости дробящую и остужающую горячий ток крови. В эту воду ему придется войти. Надо попробовать пустить мотор заводной ручкой, с рук пустить... Стремительно летят мысли. Еще и улыбка не сошла с губ, а он уже продумал это. «А что можно сделать еще, если не заведется? Не прошло и полчаса, а вода поднялась на вершок. Через час она пойдет по кузову... Что делать? Бешеная сила реки опрокинет машину, если не вытащить ее. Надо попробовать заводной ручкой. Скину одежду и в исподнихах... Сменка теплого белья лежит в багажнике, переоденусь. Сапоги-подменка есть. А эти сниму. Ну, с богом, Иван Жаплов!»

Иван улыбается во все лицо Капе.

— Отвернися, Капитолина, разденусь я...

Капа не понимает.

— Ванну, водные процедуры принимать будем...

В глазах девушки восстает, разгорается страх. Она зябко передергивает плечами, перехватывает половчее на коленях Леночку и будто бы сторонится Ивановых глаз.

— Да ты чо, Капитолина? Чо испугалась-то? Это я ванну принимать буду. Мне ничто! Мы с Ниной моей до ноября в проруби купаемся. Моржи мы...

Ловко выдумывает Иван и снова улыбается.

— Да как же вы, Ваня? — Капа глядит ему в лицо, но видит сейчас черную, в белых обмыльшах льда жгуче-холодную реку. — Вы в нее полезете?

— А то как же? — смеется и стягивает с плеч стеганку, унимая озноб, что вдруг пошел по всему телу. — Ты вот что, Капитолина. Гляди сюда вот. Я буду ручку проворачивать, а ты вот сюда ногой жми. Как схватит двигатель, ты, не отпуская его, давай газу. Поняла?

— Поняла, — кивает Капа.

— А ну повтори.

Девушка переносит ногу на педаль газа, Иван следит за ее действиями,

— Молодец. Все поняла. А теперь отвертайся... Я не шибко люблю, когда на меня голого глаза пялят.

Капа отворачивается.

— Дядя Ваня, скоро поедем? — кричат из кузова ребята.

— Скоро...

Иван снимает с себя одежду, сапоги и остается в одном нижнем белье. Натягивает старые сапоги. Потом распахивает дверцу, вынимает из-за кабины заводную ручку и стоит несколько мгновений, вбирая телом холодный ветер снежников и острую сырость половодья, слушая, как скребется о сапоги жесткая вода. Потом ложится животом на капот, лицом к лобовому стеклу, ногами к радиатору. Захваченный противоборством той силе, которая удерживает его, остерегает от действий, Иван уже не слышит холодного, обволакивающего тело воздуха, он слышит жгучий холод металла и, стремясь избавиться от него, медленно сползает в реку, еще противясь внутренне этому движению. Но потом, разом вскинувшись, стремительно оседает в воду.

Будто опустили Ивана в кипящий вар. Не чувствует он ног, тело его словно по пояс отсекли. Горло закольцевало удушье, и на глаза набежали слезы. Потом острая, вспарывающая боль, возникшая в самом низу живота, пронзила позвоночник, ударила в виски, тяжелой ломотою заныла в затылке. Иван резко нагнулся, нашарив руками отверстие в бампере, вставил в гнездо ручку. Вода коснулась груди, залившись за пазуху, ему показалось, что от соска до соска, а потом к пупку лоскутом содрало с него кожу. Он окунулся по плечи, крутанув ручку.

— Давай отдачу, Капа! — крикнул, но голос, сдавленный холодом, прозвучал не так, как хотелось.

Мотор не отозвался. Иван, словно бы ошалев, крутил и крутил ручку, окунаясь и вырываясь из огненного холода. Теперь он слышал все свое тело — от мельчайшего капиллярчика до взбухших на шее вен.

Оставив заводную ручку в гнезде, Иван перебрел к подножке и поднялся к кабине, с трудом преодолевая разом свалившуюся на него усталость.

— Ух, хорошо... — сипло прошипел он и попросил, перебарывая зубную стукотню: — Не оглядывайся, Капа...

Капа сидела чуть боком, отвернувшись, удерживая на коленях Леночку (Зяблик и Роза все еще спали), и слушала, как тяжело дышит Иван, как унимает неумемную дрожь, как сопит, стягивая мокрое исподнее.

— Помогу я? А? — вдруг спросила Капа и услышала, как кровь ее становится во сто крат горячее. Ей и отогреть Ивана.

— Нет! Сиди там! — грубо сипит он, весь подобрившись словно бы от еще большего холода, который изойдет от Капы, если поможет она ему сменить одежду. И прежним уже голосом, но только не в меру осипшим, просит: — Поддай фляжку, ту... Не оглядывайся...

Торопясь, Капа достает фляжку и протягивает ему не оборачиваясь.

Иван свинчивает крышку, слышно, как трясутся его руки, делает несколько малых глотков, потом перекачивает водку во рту и, плеснув в ладонь, растирает тело...

— Душ Шарко, — говорит Иван, уже одевшись в сухое и глотнув еще из фляжки.

Тело его обметал добрый жар, но в этом жару есть что-то и болезненное, воспаленное. Ломит трудной ломотою кости, и холод большою нетаящей льдиной лежит внутри. Гулко работает сердце, могучим поршнем проталкивая кровь. Что-то кричат ребята в кузове, и он, высунув-

шись в дверцу, видит черную хладь воды, движение ее вызывает тошноту.

- Что вы, братва? — осияясь, кричит Иван. — Живы?
- Живы! Когда поедим?
- Скоро...
- А Коська говорит — утопнем, — пищит Кира.
- Коськ, не дури! Мужик ведь!
- Врет она, дя Вань...
- Чего врет, не вру! А вот не вру.
- Замолкни, жила...
- Сам такой...

Там, в кузове, своя жизнь, свои заботы.

Иван, одолевая кружение в голове, глядит на реку, отмечая, как быстро поднимается вода.

Курятся весенним парком сопки. Таежным угревым запахом полон день, и солнце, не щадя себя, льется на землю. Высоко в горах ослепительно белеют снежники, и катится с них ошалело буйная вода. Растут ручьи, вспухают речушки, и все они мчатся, бегут, сливаются в одну реку, на которую глядит Иван. «Ну хотя бы кто-нибудь проехал, — думает он, и желает этого, и зовет душою. — Как быть дальше? Перетаскать на закорках ребят? Нет, пожалуй, не выйдет. Подрежет вода. Уронишь — и крышка. Да и вода уже высоко — выше пояса, а где и по грудь. Нет, не перетаскать. Как же быть? — думает, морщит лоб Иван. — Судя по водомерным отметинам, тут в паводок река поднимается метра на два. Покроет, унесет машину. Силища-то какая! Есть! Есть! Есть выход!» — липким жаром ударило в голову. Что же, он это осилит. Он сейчас врубит первую передачу, спустится в реку и, вращая заводную ручку, будет выкручивать машину на себя. Его руки заставят проворачиваться коленчатый вал, заставят поворачиваться колеса. Так по сантиметрику выкрутит на берег «зилок», а там уж наверняка докопается, почему он заглох. «Выкручу, — решает Иван. — Только маленькая еще погреюсь. — И выкручу».

День потеплел, солнца стало больше, но река похолодала пуще прежнего, тянет от нее могильной замкнутостью. «Полезу во всем — в ватных штанах, в стеганке. А потом сменю. Есть сменка. Бушлат танковый, галифе, свитер», — думает Иван, а сам что-то беззаботное и веселое травит Капе. Малыши проснулись, пугливо пялят глаза на воду. «Еще, еще немножко посижу. Отогреюсь. А то ведь никак не меньше часа торчать в воде придется».

— Как маленькая-то? — спрашивает о Леночке и видит сам — плохо. Ехать надо, спешить. — Ну, братва, сейчас поедим, — говорит и слышит свой изменившийся голос: посвистывает что-то внутри. — Поедем!

- Как? — Зяблик тянет к носу палец.
- А так! Верхом на палке. Знаешь?
- Знаю... Так нельзя.
- Можно. Ты ездил?
- Зяблик думает, сосредоточенно ковыряя в носу.
- Ездил, ездил, — говорит Розочка.
- Зяблик вздыхает и признается:
- Ездил.
- Ну вот! Я тоже на палку верхом и вас повезу.
- На буксире, да?
- Ага.
- Правда?
- Света белого не видать...

Прогрелся, пронежился, не заметил, как вода подперла кузов, вот-вот в него хлынет. А там ребята. Напугаются. А ты, Иван Жаплов,

должен защищать их как своих детей. «Свои дети,— комочком подкаатило к горлу.— Где-то они там бегают, играют. Как живут они?» Нина не велит им этого, но все-таки слушаются, выбегают за город на тракт. Встанут на большаке и ждут из рейса папку.

Издали видит своих детей Иван. Дуняшка теперь редко выбегает на дорогу. Взрослая — стесняется. Теперь его Нина, Петруша и Манечка встречают. Вторая после Дуняшки — Нина несет на руках, а то и на закорках Манечку. Петруша — Пётух — вперед забегает. Вылезут на высокую обочину и глядят каждой машине в стекло. Пронесется мимо «газоны», «КРАЗЫ», «БЕЛАЗЫ», «ЗИЛЫ». Обдают их горячим паром солярки, бензиновым отрыгом, пылью и дорожным ветерком, кто-то и помашет из кабины, кто-то притормозит — дети на дороге, а может быть, куда и подвезти семейство. А они все стоят и стоят — папку ждут. Долго так будет — до вечера. А потом, не дождавшись, домой поплетутся, свои дети... Поди и сейчас на обочине стоят. Пятый день просрочки у Ивана выходит. А еще и в Аршан возвращаться надо... А если мать в роддоме? Кто их досмотрит, кто накормит?..

А эти, что в кабине, что в кузове? Они тоже выбежали бы на дорогу, они бы тоже ждали папку... Только нет у них этого... Не нужны они никому, кроме как облоно да сироте Капе. Но и она не больно нужна кому. Сама едет в облоно, поскольку не нашлось ей дела ни в Нижине, ни в других местах. И нет у нее никого, кроме памяти, а теперь вот еще и кроме шофера Ивана Жаплова. «Эх, ребята, ребята! Эх, Капитолина Ивановна, да какое же провидение свело нас? По каким заслугам награжден вами Иван Жаплов? Да уж, видно, иначе и нельзя!»

Снова идет в холодную густую воду в крошечке льда и стылой шуги Иван Жаплов.

А что же делать? Другого хода нет! Как поступишь иначе?!

...Высоко и жарко горит костер на берегу. И звезды горят тоже жарко. Но Иван не чувствует этого жара, хоть и лежит рядом с огнем. Рядом где-то грозно ревет река, но неопасно. «ЗИЛ» стоит на береговой россыпи угрюмый, виноватый. Ребята лупят картошку, выкатывают ее из костра. Дуют на пальцы, и обжигаются.

Трясет Ивана, бьет озноб, швыряет из стороны в сторону, словно бы он в кузове своего «зилка», а машина гонит по галечной россыпи, по камням. И нет звезд на небе, день все еще. Солнечный, весенний. Иван лежит на тулупах закутанный в одеяла, живой и вовсе не в кузове — у костра. Только бьет его, колотит озноб.

— Проснулись, Ваня? — улыбнулась Капа.

Хочет ответить ей, не может — замерзают слова на губах, холодные губы и внутри холодно все. Кивает. Веки становятся тяжелыми, уплывает куда-то день, костер, Капа. Нина идет к нему, легкая. «Родила, Нина?» — «Родила». — «Озяб я, укрой меня шубой, Нина...»

Снова засыпает Иван и снова над ним ночь, жаркие звезды, горит костер. «Нет, так не годится, ехать надо». Руки и ноги целы, только ломит их, выворачивает из суставов грубая сила реки. А внутри все куржаком обросло, лютым инеем. Не согреться никак. Дыхание хриплое, боль в голове. «Однако ехать надо! «Зилон» налажу — и в дорогу...»

— Сейчас, братва, поедем.

Неужели это его голос? Сбросил с себя одеяла, встряхнулся, встал на ноги. Мир скользнул куда-то, но удержал его.

— Долго спал?

— Какой долго, и двух часов не прошло.— Капа улыбается ему как малому ребенку.

— Как девочка?

— Жива. Полегчало ей. Покормили...

— Ага! — прокашлялся, потер ладонью горло.— Голос вот потерял,— пожаловался.

— Почему потерял?— Розочка подошла, как его меньшая, за штанину уцепилась.

— Пива выпил,— вымучил из себя улыбку.— Братва, давай на помощь.— И пошел трудным шагом к машине.

Как машину выкрутил, как на россыпь ее откатали, Иван не помнит. Одно помнит: как вздрагивал, как делал малый поскок его «ЗИЛ», как плескалась ртутно вода. Этот плеск и сейчас в нем, только застыл наледью...

— Сколько, спрашиваешь, отсюда до Ажайска? Километров, однако, семь.

Дед стоит на обочине, маленькое, с кулачок личико, сивенькая бороденка, шапка на брови. И весь он словно бы за дымкой. Все за дымкой...

— Спасибо, дедуля. А где там больница?

— Больница, однако, и туточки есть. Эвот за поворотом. Старая больница, добрая... Земская.

Дед подозрительно поглядел на Ивана, на лицо его в красных пятнах, на большие, будто бы шальные глаза, уловил, как трясутся руки на руле. «И как же это в таком-то виде за рулем, да ишшо с детьми! Ох, водочка, водочка»,— подумалось старику.

Машина резко, с подпрыга взяла в опор. Вот он и поворот. Ворота... Дорожка... Знак — «Проезд закрыт».

— Все, Капа, приехали! Тащи Ленку в приемный покой,— просипел одним горлом. Голова упала на руль.— Все... Приехали...

Легит, стремительно летит куда-то Земля, и никто не остановит ее. Громко кричат дети, прыгая на землю, не страшась ее стремительного движения...



ТАТЬЯНА СМЕРТИНА

★

ПО СВОИМ СЛЕДАМ ИДУ...

Хомут — моя деревня детства!
Дубняк осыпал лист с ветвей.
Сырая, черная дорога
В зеленых звездах желудей,
Такая же, как и при жизни деда.
Скользит по мокрым веткам небо,
Ему ль в следах коров густеться?
Хомут — моя деревня детства!

Тогда я не умела ненавидеть.
Дождь сеял пашню.
Знобь и холод.
Мне было страшно
Лишь от темноты в ночных углах,
Но это был мой первый страх.
Могла ли я теперешний предвидеть?
Тогда я не умела ненавидеть.

Все стало так, как быть должно.
Среди дубов густых, дородных
Ищу напоминанья о былом,
Хоть малые, но все же
Знакомые до горькоты.
Года бегут, как по лицу струя воды.
А настоящее и грустно и смешно.
Все стало так, как быть должно?

Я, может, по своим следам иду.
Здесь дед меня за руку вел,
И мы резные собирали листья,
Я красный подняла. На нем
Холодные дрожали капли.
И путалось в ногах большое платье.
Теперь же — ветер на пустой дороге
Швыряет дождь в измокшую листву.
Я, может, по своим следам иду.

* * *

Эта радость не радость,
Если быстро кончится.
Пока куры влюблялись,
Зарубили кочета.

Эта малость не малость,
Если длится лет восемь.
Я уже испугалась —
Разлюбил или бросил?

Ну а горе есть горе.
Хоть на миг, хоть навечно.
Как сгоревшее поле
Или камень на плечи.

Я тебя поджидаю.
В доме чисто и пусто.
Что случится, не знаю.
Мне сейчас уже грустно.

* * *

Знаю, клюква где растет!
Не просись, не поведу...
Ягодинку русский ждет
У деревни на виду.
Ждет тебя, а не меня,
Смотрит на окошко.
Ну а мне — росой дымя,
Дальняя дорожка,
Под калиной вековой
Мне печалиться одной
Да склоняться у ручья.
Ах ты утица моя!
Селезнюха ты моя!
Криком диким не кричи,
Глупая, не майся,
Травы поздние топчи,
В озере купайся.
Мне перо на радость кинешь,
Счастьем дальним поблажишь,
А потом и ты покинешь,
Не простившись улетишь...

* * *

Молочная ночь...
Ярко звезды белеют.
И зазимок первый
Коснулся всех трав.
Стою, шевельнуться
Даже не смею,
А ты ушел,
Ничего не сказав.
Ушел. Я одна
На открытом откосе.
Ушел, не окликнула,
Вслед не смотрю.
Совсем замерзает
Ненастная осень...
Зачем я сказала тебе:
«Не люблю!»?

МАМЕ

Не уходи за синий омут,
Туда,
Где много белых лебедей...
Пусть половицы дольше стонут
В знакомой комнате твоей,
Мне песни не слышать нежней!
Глядишь в окно — а я далека,
На письма, как и все, скѹпа...
И низко клонит ветки елка,
И в лог запряталась изба.
Когда вернусь — сама не знаю,
Я глупо выбрала судьбу:
Я душу на стихи терзаю,
Как в темный лес одна иду...
А мне бы быть к тебе поближе
И пить парное молоко,
Но так несбывчивы Сорвижи,
И так до Вятки далеко!
Но снится мне твой облик милый,
От этих снов душе теплей.
Не уходи за омут синий!
Туда,
Где много лебедей...



ТИМОФЕЙ СОКОЛОВ

★

ПЕРЕД ТРУДНЫМ ВЫБОРОМ

Повесть-быль

Глава 1

Где-то я читал, как один ученый, давая ход своей фантазии, очень сокрушался о том, что будто пяти наших чувств нам маловато, что если бы еще одно, шестое, то стали бы более определенными многие наши понятия, меньше колебался бы человек под влиянием разного рода мнений и не был бы так одинок перед трудным выбором в жизни...

Так это или не так, но по какой-то неведомой связи с прочитанным вспомнилась мне эта история.

* * *

Жили мы с женой тихо и мирно в деревянном домике на окраине Москвы, жили в том среднем достатке, когда и сыты всегда и одеты прилично,— страсти уже затихали, мечты унимались. А ведь что было! Носило нас по стране, до самых нехоженых уголков Якутии добирались. Но нашли друг друга, осели, зажили, появилась степенность, довольство, а с ними и однообразие — дни как-то выровнялись, округлились...

И вот в один из таких дней пришли мы с женой с работы, поужинали, управились с домашними делами, поговорили о том о сем и уже готовились ко сну, как вдруг кто-то постучал. Жена тревожно глянула на меня, затем на дверь — поздние стуки всегда неприятны — и пошла открывать.

А на улице было лихо — февраль как ошалел. Ветер взвивал целые полотнища из снега и неистово размахивал ими над городом, хлестал по окнам и стенам домов; скрипело крыльцо нашего старенького дома, барабанило железо на слуховом окне чердака... В такую ночь никто и ни за какие блага не выманит бы меня из тепла.

Слышу, как открылась уличная дверь, разговор и топот в коридоре. Вошли в переднюю две женщины — все в снегу, теплые платки что кудели; стали раздеваться, стряхивать с платков и с пальто снег. Вижу, сноха — жена моего погибшего на войне старшего брата — и еще какая-то женщина лет около сорока, худенькая такая, с озабоченным взглядом.

По правде сказать, не очень-то я обрадовался поздним гостям. Но делать нечего — пригласил их в комнату, а жена заторопилась с чаем.

— Это землячка наша,— сказала сноха про свою спутницу.— Ты уж не ругай нас, что так поздно,— приехали поговорить с тобой. Из

дома-то вышли рано: пока до станции добирались да поезда почти час ждали, до костей продрогли.— И она прижалась спиной к натопленной печке.— Третьи сутки метет, намело — не пройдешь. И не рассчитали, поздновато приехали, думали, что спите.

Гостья стала рассказывать, что привело ее к нам,— говорила про какого-то осужденного парня, сироту, доводившегося ей крестником. Она заволновалась, лицо покрылось красными пятнами, на лбу выступила испарина: ей неудобно было говорить обо всем этом мне, чужому человеку, раскрывать своего рода тайну.

А я уже догадывался о цели ее приезда: после войны я окончил юридический институт, она, видно, прослышала об этом, хотя и не знала, что юрист я, как говорится, самой средней руки — работаю юрисконсультантом в небольшом учреждении и уголовных дел никогда не вел. Она же, чувствую, приехала за советом.

Выслушал я мою односельчанку и сразу же, чтобы не обнадеживать, потому что ничем помочь ей не мог, адресовал к адвокату.

— Была, и не раз,— сказала она.— Глянут на бумаги — два таких преступления, дело-то уже решали в Верховном Суде — руками замажут: «Не ходите и время зря не тратьте — никто не возьмется».

Я взял у нее документы и стал читать. В копии приговора говорилось, что молодой рабочий одной из сибирских лесозаготовительных контор Константин Телепин обвинен в двух тяжких преступлениях и осужден на пятнадцать лет. В одном из преступлений он признался, а в другом не признался, но, как указано в приговоре, вина его полностью доказана как материалами дела, так и показаниями самой потерпевшей, которая его «т в е р д о опознала». А из другого документа — ответа Верховного Суда на жалобу осужденного — было видно, что дело Телепина истребовалось, проверялось и срок наказания снижен ему до восьми лет, хотя вина его признана доказанной в обоих преступлениях.

— А в колонии ему еще пять лет дали, рецидивистом каким-то признали особенно опасным и посадили к самым отъявленным,— говорила она со слезами на глазах.— Седьмой год пошел, а он все рвется, рвется, что ни письмо, то просьба: «Похлопочите, я не виновен, похлопочите!» А что я могу сделать? У меня самой трое, самого старшего в школу собираю, а младшая еще ползает...

— Зря вы о нем печетесь,— сказал я, недослушав ее жалобу,— парень-то большой преступник, и, видно, неисправимый. А вы его жалуете, хлопчете за него.

— Ну как же быть-то? — проговорила она в отчаянии.

— А так: наказание заслуженное и пусть исправляется. Они будут безобразничать, а добрые дяденьки выручать их: что же тогда получится? Власть старается искоренить преступность, а мы ей мешать будем.

— Жалко ведь: сирота круглая, отец на войне погиб — на Ленинградском фронте, а мать деревом убило на лесозаготовках. Ни братьев у него, ни сестер нет — один он на всем свете. Помогите ему, если можете!

— А чем помочь-то? Адвокаты и то не берутся. А я не адвокат. Да и куда сунешься с таким багажом: два преступления на воле, одно в колонии, особо опасный рецидивист, тринадцать лет срока...

— Я писала ему, чтобы он о помиловании начал хлопотать. А он не хочет: «Что ж, говорит, я буду просить милости, ежели ни в чем не виновен». Наговорили на него, все время в письмах об этом пишет.

— Да что там письма, когда есть документы. Вот они.— Я потярс приговором.— Дело проверялось в Верховном Суде. В Верховном! Вы

представляете? Знаете, какое сейчас положение? За каждое необоснованное осуждение голову снимут. А его судили дважды — за три преступления. И по-вашему, во всех трех не виновен? Это же смешно, согласитесь! Потому и адвокаты не берутся. И я бы не взялся, будь я адвокатом.

Даже неприятное чувство поднялось во мне против этого парня: натворил бед, а теперь хлопочи за него.

— Так вот и везде: опасный преступник, отпетая голова, а заступиться некому, — сказала она и стала рассказывать про его детство и юность, каким он был хорошим, да послушным, что и до сих пор не укладывается в ее голове: как это он вдруг стал отпетым таким?

— К людям все льнул, — говорила она, вытирая со щек слезы. — Кто бы куда ни послал — бежит: и дров наколет, и воды из колодца принесет, и снег от дома откидает. Книжки любил читать, да и сейчас посылаю ему все время. И в армии хорошо служил: благодарности ему объявляли за это, политрук ихний писал мне. А тут на лесозаготовках остался, заработать хотел: «Не на кого, говорит, надеяться, не маленький, пора уже думать о себе». И надумал на свою голову... А я и сейчас не верю, не мог он этого сделать.

Она замолчала, задумалась. Время приближалось к полночи, а на улице мело, несло и не думало униматься, отчего на душе было как-то беспокойно, тревожно. Я смотрел на ее худенькое заплаканное лицо, на грубые пальцы, нервно комкавшие концы платка, и не понимал: зачем и во имя чего взяла она на себя роль второй матери?

Женщина вдруг встрепенулась, будто ей передалась моя мысль, пристально глянула на меня и снова заговорила:

— А ведь о вас он давно мне писал — просил съездить. Да все никак не могла собраться: семья, заботы.

— Обо мне? Откуда он меня знает? — удивился я и почувствовал, как что-то шевельнулось во мне от этих слов.

— Видел он вас после войны: ему, наверно, лет восемь было. А вы к отцу повидаться приезжали. Тогда говорили, что вы на защитника учитесь.

Вон оно что! Столько лет помнит!

Не хотелось огорчать ее, но что делать: к сожалению, помочь ему я ничем не мог. Отдал ей бумаги и еще растолковал всю бессмысленность ее хлопот. Она молча выслушала, вижу, уже пожалела, что ехала издалека, только время потеряла. Гости мои заторопились уходить. Жена предложила чай, пригласила остаться ночевать, но они отказались. Как-то нехорошо получилось. Вышел проводить: ехать-то, мол, далеко, за город, в такую метель. «Ничего, доедем как-нибудь», — ответили они разом, пряча глаза в обиде...

Они ушли, а я с облегчением подумал: хорошо, что не связался ни с какими хлопотами. Было уже поздно. Посетовали мы с женой: «Какая теперь пошла молодежь» — и легли спать.

Глава 2

Проснулся я утром в каком-то дурном настроении: вроде бы и спал крепко, а чувствую что-то неприятное. Вспомнил вчерашних женщин, разговор с ними и остался недоволен собой. Нет, надо бы как-то иначе — посочувствовать, что ли, а не так, по-казенному. Ко мне никогда не обращались с такими просьбами, и я, откровенно, не знал, правильно ли поступил. Попытался оправдаться — как юрист я ведь тут действительно бессилён. Да и почему я должен участвовать в его судьбе — чужой человек, никогда его не видел. Разве есть такой долг, который бы обязывал меня? Ерунда, конечно. Какой там долг!

Весь день не выходил у меня из головы этот парень и странный визит его крестной матери. Я никак не мог взять в толк: зачем он просил ее обратиться ко мне? Ну допустим, что видел меня тогда, после войны. Но почему он решил, что именно я смогу ему помочь? Ну был бы я каким-то влиятельным лицом или известным юристом, тогда понятно. Но ехать к человеку неизвестному, ехать только затем, чтобы рассказать ему, что ее крестник рос хорошим мальчиком и не мог совершить преступления, плакать и просить заступиться за него, по меньшей мере странно. И вместе с тем что-то трогало меня в этой женщине. Пришла как к родным: вот, мол, беда случилась, а родителей у парня нет, мне тоже трудно, — своих трое, а ты юрист, к властям тут поближе — ты и помогай. Проще некуда. Но если подумать и оглянуться назад, то в этой простоте есть своя правда. Не раз я слышал от моего покойного отца: «Не спеши, сынок, отказать, ведь с нуждой идут не к каждому. А уж если пришли к тебе — значит, верят».

Такой был всегда дух деревни. Потому они и тянутся к «своим», разыскивают их в многомиллионном городе и идут с просьбами. Я вспомнил, как несколько лет назад ездил в село на могилу матери. Я видел холмики предков, теперь уже заброшенные, потому что никого из близких в селе не осталось. Видел и своих сверстников и стариков, смотрел на их лица, глядел им в глаза... и видел себя. Запомнился и разговор с дедом Сафроном. «Редко, редко ты стал на родину приезжать, Лексей. Ай забыл? Аль немилы стала?» — «Да не к кому, говорю, дед Сафрон, никого у меня тут не осталось». — «Как это не к кому? В любую избу заходи — рады будут, и накормят, и приютят. Избенки-то еще стоят — реже, правда, стали. Ну да ничего. Обличьем-то, гляжу, в отца весь, да и говор наш: сразу бы узнал, ежели бы, к примеру, встретиться пришлось... Моя внучка Танюшка в Москву загорелась ехать, учиться поступать хочет. Да, говорит, боязно, дедушка. А я стал ей перечислять, сколько там наших. Ой как много!.. Пустишь, чай, ежели к тебе придет?» «Пожалуйста», — говорю. «А то как же: свои, чай. С папашей твоим куманьками были — Анютку мою крестил, в гости друг к дружке ходили — на Миколу и на масленку»...

И я понял, зачем приезжали ко мне эти женщины и почему они в обиде прятали глаза, когда я холодно принял их. А парень-то помнит и тянется к своим. Ведь и я бегал босичком по тем же лужайкам, с охотой ел черный хлеб и запивал водицей из колодца. А жубавель над ним стоял длинный, голенастый.

Верно укорял дед Сафрон — редко я бывал на родине. Но не забыл ее, не-ет!

И закрутилось у меня в душе: стыдно стало за свой вчерашний разговор. В тот же день написал письмо этой женщине и попросил прислать адрес ее крестника. Заведу, думаю, переписку с ним, поддержу его теплым словом и, может быть, как-то облегчу его участь. А заодно с адресом попросил прислать мне все его письма, чтобы лучше понять все то, что случилось с ним.

Прошло, наверно, дней десять — получаю бандероль. Вскрываю — письма, целая пачка писем, больше сорока. Все сложены по времени получения: письма из армии отдельно, из колонии отдельно. Сберегла, подумал я, страдает как за родного сына. А ведь своих трое. Приехала в метель, бог знает откуда, плакала, просила заступиться за сироту. И почему-то именно ко мне, словно за мной было последнее слово.

В тот же вечер я принялся за чтение этих писем. Начал с армейских: письма как письма, ничего особенного. Грамотешка у парня не ахти какая, но пишет толково, мечтает учиться, так и дышит целеустремленностью.

Из первых писем я понял, что до шестнадцати лет жил он в деревне и работал в колхозе. Затем направили его учиться в школу ФЗО на каменщика. По окончании школы работал в системе Мосстроя, жил в общежитии, откуда и призвали в армию.

В одном из писем он писал: «Крестная, мечтаю поступить в институт, все силы положу. Хочу быть инженером. Сейчас у меня семь классов: сразу же как отслужу, поступлю в вечернюю школу, получу аттестат зрелости и в институт. Тогда отплачу тебе за все твое добро. Здесь политрук у нас есть, как отец родной заботится о нас, у кого отцы погибли на войне. А таких нас почти половина роты. Учебники достает, книги приносит читать, всегда поговорит, спросит о настроении. Давал ему читать твои письма. Хорошая, говорит, у тебя крестная. Будь ей настоящим сыном...»

Еще одно письмо, относящееся к началу службы;

«Получил твое письмо и был очень рад. А я уже думал, не случилось ли что с тобой: уж очень редко ты мне пишешь. Неужели тебе трудно написать? Ты не знаешь, как солдаты ждут писем. А тут ждешь, ждешь: нынче нет, завтра нет и целый месяц. И сразу видно, у кого есть какая родня, а у кого никакой, и это очень обидно. Не ленись! Пусть хотя несколько слов — живы и здоровы, новости там какие есть. А то я тебе шлю каждую неделю, а от тебя нет и нет.

Ты спрашиваешь: трудно ли мне служить? Трудности мне никакой нет, ежели, конечно, не считать дисциплину, к которой привыкать всем трудно. Но мне надо учитывать и другое: ведь рос-то я, как трава в поле, во что вывезет. Никто меня по-отцовски не учил, хорошо или плохо я делаю, и никогда я не был уверен: так или не так? Уж пусть бы лучше поругали, когда ежели не так, а то не было кому ругать и хвалить, и все я чего-то боялся и стеснялся. В лесу да в поле чувствовал себя хорошо. Правда, в ФЗО тоже было хорошо, да уж очень мало времени на учебу дали, да и то больше на практику нажимали. А на работе даже не успел разобраться и привыкнуть: за пять месяцев три раза с места на место переводили.

Ну а тут, конечно, совсем другое: тут все равны, знаешь, что от тебя требуют по уставу, и видят, кто старается, а кто волынит. Ежели заслужишь, тебя похвалят, а ежели поругают, то тоже за дело... В общем, пока я службой доволен, не знаю, как дальше будет. Но я стараюсь, и ты обо мне не беспокойся — в грязь лицом не ударю, только почаще пиши. И еще я тебя прошу — узнай, кто из моих ровесников служит, пришли мне их адрес. Напиши мне, как поживает Надя Грачева, привет ей передай, а ежели она адрес захочет, пока не давай. Я слышал, будто она с Иваном Кучиным переписывается. А уж раз переписывается с одним, то с другим ни к чему...»

Письмо политрука крестной матери Телепина:

«Здравствуйте, дорогая Мария Антоновна! Хотя мы и незнакомы, но по вашим письмам нашему солдату Константину Телепину я уже представляю вас. Я политрук роты, где он проходит службу. Думаю, что вас обрадуя, если сообщу вам, что за хорошую службу ему объявлена благодарность. Служит он хорошо, ведет себя примерно. А поскольку у него нет родителей и вы заменяете ему мать, мне хотелось бы познакомиться с вами. Напишите мне, пожалуйста, поподробней о нем — где он рос, как воспитывался, когда начал работать и тому подобное. Сейчас само время поставило перед нами довольно необычную задачу, которую мы должны успешно решить. В результате прошедшей войны много осталось сирот. Теперь они выросли и пришли на пополнение рядов нашей армии. А на формирование личности молодого человека, как известно, в немалой степени влияет та обстановка,

в которой он рос. И трудность заключается в том, что пришедшие к нам молодые люди в высшей степени разнохарактерны и подчас трудны к пониманию. А наша задача найти ключ к сердцу каждого из них, чтобы лучше подготовить его к большой жизни и как защитника Родины и как гражданина.

Напишите мне. А я, в свою очередь, буду писать вам о прохождении им службы.

До свиданья, заранее благодарен, политрук.»

Достаю из конверта еще одно письмо:

«Спасибо за скорый ответ. Я даже не ожидал. А тут приходит почтальон и показывает мне конверт: «Пляши, говорит, Телепин». Ты пишешь, что политрук тебе прислал письмо и хвалил меня. Зря это он нахваливал меня, ничем особенным я не отличился — служу как положено, и только. Но уж такой порядок — кого-то надо показать для примера, вот и выбрали из взвода нас четверых. Но ты не представляешь — это ведь в первый раз в моей жизни, похвала такая перед всем строем. И я сознаюсь — ночь не спал: неужели, думаю, я добьюсь, о чем мечтаю? Все, конечно, от себя зависит — дорога для нас открыта.

Ты пишешь, что встретила Надю Грачеву и передала ей от меня привет. А адрес она, значит, не спросила. Это уж теперь точно — она с ним переписывается. Ну да ладно, я не стану им мешать.

Напиши мне, жив ли дедушка Герасим Курочкин. Ему теперь, наверно, лет девяносто. Какие же он умел интересные сказки рассказывать! Приведет, бывало, вечером в избу и, не зажигая лампу, посадит рядом с собой на лавку и скажет: «Эй, сверчок-старичок, добрый мужичок, расскажи нам с Кастюшей басню». И я представлял, как за печкой сидит крохотный старичок с длинной белой бородой и на палочку опирается. Сначала мы сидели молча, слушали сверчка, а потом дед Герасим рассказывал мне, что говорил сверчок-старичок. И все про животных, какие они понятливые да верные в службе. «А ты, говорит, знаешь, кто сильней всех на свете? — И сам отвечал: — Запомни, говорит, самая сильная на свете — это лошадь, она землю пашет. И ни у кого нет больше силы, чтобы всю жизнь пахать. А самый умный на свете — это мужик, он умеет хлеб робить и людей кормить. А самая добрая — это коровка, она молочко дает, а самая бездомная — кукушка, гнезда не имеет и родства не знает...»

Вот и вспомнил сейчас об этом. В двенадцать часов ночи сменил товарища в сугочном наряде, буду до утра хозяином казармы. Все спят, а я сижу за столом и пишу письма. Передавай от меня привет деду Герасиму, ежели он жив, а также учительнице Маргарите Васильевне и моему бригадиру Петру Ивановичу Козыреву. Пиши, как идут дела в колхозе, посадили ли за рекой сад?»

Следующее письмо из армейской жизни:

«Получил твою посылку, спасибо. Но зачем ты тратишься? Ведь я тут всем обеспечен и не нуждаюсь. Носовые платочки ты прислала очень красивые и даже уголки вышила. И за учебник по литературе спасибо. Хотя у нас тут книг хватает, но учебник полезно иметь всегда под рукой.

Сознаюсь тебе, крестная, что с учебой я, конечно, отстал. На моем месте теперь надо было иметь уже десятилетку. Да оно так бы и было, ежели бы отец остался жив. Я бы, конечно, не отстал от других. А тут со мной служат многие с десятилетками. А ведь в армии теперь все техника, и другой раз чувствуешь, что просто знаний не хватает. А кто с десятилеткой, тому все запросто. Да и вообще они как-то уверенней себя чувствуют и на занятиях, и в разговоре с товарищами и с командирами. И я это, конечно, все понял и стараюсь не отставать: книжки читаю, тут библиотека есть, ежели чего нет, попрошу полит-

рука — он достанет. В общем, надо, конечно, учиться. И я уверен, что у меня это пойдет. Да и то сказать, чем я хуже других? А то, что немного пропустил, не важно. Тут, конечно, времени мало для себя остается, все строго по расписанию — служба есть служба, — но на общее развитие тут, конечно, нажимают сильно. И лекции нам читают, в кино ходим регулярно и театр посещаем, а газет и журналов читай сколько хочешь. Ну и, конечно, радио — всегда в курсе событий.

Ты пишешь, что Колька Самохин женился на Нюрке Овсянниковой. А какая же это Нюрка? Ведь Овсянниковых у нас много. Где они живут? Уж не дочь ли заведующей фермой? Я ведь с этой Нюркой на одной парте сидел, плакса была такая, что дотронуться нельзя было. Напиши мне, кто из ребят женился и кто уехал учиться. В общем, пиши побольше...»

Письмо, относящееся ко второй половине службы в армии:

«Пошла уже вторая половина моей службы, скоро уже отслужусь. Все, у кого есть родные, никак не дождутся этого дня. А мне что-то не радостно, уже привык к своей части как к своей семье. И самое, пожалуй, важное во всей моей службе, что тут я вроде бы вырос. А то до этого все каким-то маленьким был и все, казалось — таким и останусь. И как подумаю теперь о демобилизации, так страшновато становится: ведь опять один и опять все сначала — к людям привыкать, осваиваться. А для меня это трудней всего.

Пиши почаще, а то опять стала редко писать. Хотя теперь у тебя забот прибавилось, второй сын родился. Дети — это, конечно, хорошо, я люблю детей. Иногда я тоже подумываю, что и у меня будет семья. Но об этом пока рано мечтать. Некоторые наши ребята, у кого нет родителей, переписываются с девушками заочно, карточки друг другу посылают и из армии думают ехать к ним. А я такое знакомство не признаю: женишься, да еще пережениться придется. А это уже не дело...»

А вот особенно интересное письмо:

«Не хотелось тебе писать об этом, боялся, что станешь беспокоиться, а потом решил. Хочется поделиться, а кроме тебя, не с кем. Получился недавно у нас в части случай один нехороший, за который по уставу наказывают. Задал он мне, этот случай, трудную загадку, а как разгадать — не знаю. Вышло так: в тот момент, когда это случилось, на территории было нас трое солдат, а значит, кто-то из нас это сделал. Тех двоих уже вызывали, и подозрение с них вроде бы сняли. Ну и меня, конечно, зацепили. Вызвал командир и спрашивает: «Как же так, Телепин, получилось? Рассказывай». Я, конечно, все же не думал, что меня заподозрят, и сказал ему от души: «Вы, говорю, товарищ капитан, должны больше меня знать — мог я или не мог это сделать?» «Всякое, говорит, бывает, Телепин. Ты, говорит, еще молодой, не подумал, и поэтому лучше тебе признаться». И тут мне вдруг так обидно стало, что я не выдержал и вспылал: «А ежели, говорю, товарищ капитан, завтра вам скажут, что я человека убил, вы тоже поверите?» А он сказал мне такое, что я, конечно, никогда не ожидал: «Ежели, говорит, факты будут против тебя, то придется поверить». И я почувствовал, как что-то в душе у меня оторвалось и сразу стало мне все безразлично. «Тогда, говорю, товарищ капитан, вы правы, наказывайте». Встал и ушел.

Они, конечно, разобрались и одному там дали трое суток. А капитан мне после сказал, что я неправильно вел себя, мальчишества еще во мне много, А я, крестная, никак не могу забыть этот разговор. Что же получается — выходит, что факты выше человека?..»

Второе письмо политрука:

«Здравствуйте, дорогая Мария Антоновна. Я обещал вам сооб-

щить о прохождении службы солдатом Телепиным Константином Андреевичем. Служба его подходит к концу, и мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми моментами из его армейской жизни. Для вас они, на наш взгляд, будут интересны.

Служил он хорошо, если не считать незначительных проступков, на которых не следует останавливаться. Парень дисциплинированный и честный. В выборе товарищей осторожен и дружбой дорожит. Целеустремлен, и интересы его разносторонни: читает книги и газеты, интересуется внутренней и международной жизнью, на занятиях проявляет активность, занимается в кружке по изучению техники. В личном плане — всегда подтянут, аккуратен, вежлив.

Но вместе с положительными чертами есть в его характере и серьезные недостатки. Все еще остался в нем элемент замкнутости, обидчив и еще, пожалуй, не очень доверчив. Прямота и запальчивость в суждениях порой граничат с несерьезностью и, безусловно, неблагоприятно отзываются на его отношениях с товарищами. Все это, на наш взгляд, надо отнести к явлениям возраста и недостатку воспитания — черты, присущие многим детям, росшим в пору войны, без родителей. Мы, конечно, не теряем связи со своими воспитанниками и после их увольнения из армии, если они, понятно, сами того желают. И помогаем в трудную минуту. Вам же советуем оказывать на него влияние в сторону его большего и разностороннего общения с людьми, всячески поддерживая в нем веру в наше общественное родство, чему мы уделяем много внимания в нашей обширной программе воспитания.

При поступлении на работу ему следует взять на себя какую-нибудь общественную нагрузку, что поможет ему быстрее осознать свою значимость в общественной жизни, приобрести хороших друзей и сгладить те черты сиротства, которые в нем все еще заметны.

Очень отрадно его стремление к учебе: упорство в нем есть и он добьется своего.

В случае каких-либо неудач с его устройством в жизни пишите нам — мы не останемся в стороне.

Желаем вам доброго здоровья и больших успехов в личной и трудовой жизни.

До свиданья. Капитан Беседин».

Еще одно письмо того же периода:

«Теперь между солдатами только и разговоров — куда поехать работать после демобилизации. И я тоже думаю над этой трудной задачей — ехать ли мне в Москву на прежнее место или завербоваться куда-нибудь? Тут предлагают вербовку в разные места и условия очень хорошие, заработки обещают большие, общежитие дают, спецодежду и столовые. Особенно приглашают работать на Дальний Восток и Крайний Север. В некоторых местах есть даже средние вечерние школы. А для меня это очень важно. Я имею семь классов, и за это время можно было бы получить аттестат зрелости и заработать, а уж после и в институт. В общем, мест предлагают много. Но я тут как следует подумаю и выберу что-нибудь получше...»

Письмо, относящееся к концу службы:

«Вот, считай, и отслужился. Ты теперь меня не узнаешь. Приеду прямо к тебе, а потом в Москву на прежнее место, на стройку. По тебе я, конечно, больше всего соскучился — ведь три года не виделись. Вербоваться я не стал. Очень хотелось мне поехать на Дальний Восток, а потом раздумал — побоялся время потерять. Я твердо решил учиться и отступать от этого плана не буду. А то за двумя зайцами погонишься и ни одного не поймаешь. Правда, хотелось бы заработать хотя бы немного, солдатское сменить, но это можно и на сезонке. Тут есть такая возможность на лесозаготовках. Со мной тут москвич

один служит, мы вместе призывались. Он тоже хочет остаться. Поживу полгода в тайге, подэкономлю и немного соберу на обзаведение — костюм надо купить, пальто зимнее, ботинки. Да и на первое время, пока устроишься, тоже без денег нельзя. Надеяться не на кого... Но это тоже не окончательно. Мне, конечно, и на сезонку неохота оставаться. И без всего приехать тоже неохота, радости мало. Там в Москву надо ехать — дорога, туда-сюда: крестная, дай, крестная, дай, стыдно уже, не маленький! В следующем письме я тебе напишу, как мы решим...»

И еще одно письмо того же периода:

«Крестная, решили остаться. Теперь жди меня сразу же после Нового года — с подарками...»

* * *

На этом письме кончается армейский период его жизни. Беру письмо из второй стопки. Письмо убийственное. Не дай бог получить такое письмо. Его прислал этой женщине начальник лесозаготовительной конторы, в которой Телепин работал после демобилизации из армии.

«Многоуважаемая Мария Антоновна! — пишет начальник конторы. — Ваше письмо мы получили и тщательно изучили. За неимением времени я могу описать вам все коротко, по существу вопроса. Вас интересует, за что его судили? Как ни тяжело вам писать, но придется, так как вы просите об этом. Сообщаю, что в конце июля прошлого года Телепин, в 12 часов ночи возвращаясь с танцев домой, то есть к себе в палатку, где он проживал с другими рабочими, догнал по пути шестнадцатилетнюю девушку, назвал себя вымышленным именем Слава и вызвался ее провожать. В дальнейшем он стал к ней приставать, свалил в канаву и обесчестил.

В сентябре того же года он пытался обесчестить другую девушку. Оба эти преступления вполне доказаны. Теперь судите сами о нем. Вот все, что мы могли сообщить вам. Мы знаем, что вам тяжело, но ничего не поделаешь. Советские законы — законы народа, и мы должны их исполнять.

К вам с приветом — начальник конторы».

Читаю второе письмо, датированное мартом 1958 года, и сразу хватает за душу какая-то безысходность.

«Крестная, если бы можно было не писать тебе это письмо. Лучше бы мне было пропасть куда-нибудь совсем. Но ведь ты все равно стала бы разыскивать. Так лучше уж написать самому. 7 декабря меня осудили на пятнадцать лет за изнасилование девушки, и сейчас я нахожусь в колонии. Но я, крестная, невиновен. Поверь хоть ты мне, и то будет легче. А что и как получилось, пока не спрашивай, дай мне хоть немного опомниться. Одно только скажу, что попал я в непонятную историю, а доказать не сумел. Так уж, видно, суждено мне начать свою жизнь. И прошу тебя, никому не говори об этом. Уж очень позорное дело, за которое меня судили. С таким пятном нельзя жить на свете».

Следующее письмо, датированное апрелем того же года:

«Ты спрашиваешь, как это получилось? Ты мне, конечно, тоже не веришь. Ну, думай как хочешь. Я тебе написал, за что меня судили, а как это получилось, я даже и сам не знаю. Я совершенно не представлял, что меня осудят. А со следователем я даже поругался, когда он прицепился ко мне и стал меня на допрос таскать. Я даже не стал

с ним разговаривать. Его это, наверно, задело, и он стал собирать факты. А факты выше человека — это уж я теперь знаю. Вот и все. И ежели я все это перескажу, я тебе подробно опишу и копию приговора пришлю. А там уж твое дело — верить мне или не верить...»

Письмо от 8 мая:

«Ты задаешь мне вопрос, кто эта девушка, за которую меня судили? Но я ее совершенно не знаю. И вот хочу я написать в Верховный Суд, и все же я должен найти правду. Но я не знаю, с чего начать. И вот, крестная, я хочу, чтобы ты помогла мне. Ведь получать пятнадцать лет ни за что очень обидно...»

Письмо от 13 июля тоже интересно:

«Да, крестная, тот человек, за которого я сижу, гуляет на воле. Но все же я должен его зацепить. Как только получу адрес, так напишу в Верховный Суд. Правда, писал туда, где меня судили, но мне пришел отказ...»

Письмо от 17 декабря 1958 года:

«Прошел уже год, как я за решеткой. Но ты не можешь представить, что сижу я совершенно не знаю за что. Я уже писал тебе в отношении первой девушки, вторую же мне просто пришли. Это была моя знакомая, и мы дружили. Ну вышло так, что мы поссорились, бывает у парня с девушкой. Но потом мы помирились и продолжали дружить. Но ее следователь вызвал и заставил написать на меня заявление. Но она, конечно, наотрез отказалась. Но потом ее все же заставили. Она сама мне об этом сказала. Вот и вся моя вина...»

Еще одно письмо от декабря того же года:

«Я забыл написать тебе еще об одном факте. Сразу-то всего не вспомнишь. В приговоре сказано, что я признался. Не верь этому. Мне не в чем было признаваться. Но следователь все так подвел, что вроде бы я признался. С той девушкой, с которой я дружил, он все время добивался от меня, хотел ли я быть с ней в близких отношениях. Ну я сказал, что ничего я не хотел, а он стал надо мной подсмеиваться — ты, говорит, наивный. А я сдуру-то и ляпнул: да, может, говорю, и хотел, что ж такого, ежели она мне нравится. Но я ее ничем не обидел, спросите ее, она сама вам скажет. Так, говорит, и запишем — позорное обвинение с себя снимешь. А уж не знаю, что он там написал. Только на суде прокурор меня сильно обвинял. А защитник ему прямо сказал, что у них нет оснований судить меня, и просил освобождения. Надо было, конечно, хлопотать. Хотел тогда тебе написать, а потом подумал — откуда у тебя деньги. Ты сама едва концы с концами сводишь. А денег за это надо платить много, ехать в область надо было, а может, и в Москву. А у меня откудова деньги. Всего-то два месяца проработал. Первый месяц вывели из повременки, пока учились валить леса — второй месяц, купил себе костюм. Вот и все деньги. Так вот и получилось...»

Январь 1959 года:

«Ох и тяжело мне! Проснусь ночью на нарах и не пойму, где я. А потом как ножом обрежет, когда очнешься. И мысли уже нехорошие появляются. Брошусь, думаю, на часового, сразу прибьет — и без мороки. И правда, зачем все это? А потом подумаешь-подумаешь: сделаешь так — значит, и умрешь преступником. И память о тебе такая позорная останется. И никому ты ничего не докажешь. А я докажу, пусть хоть всю жизнь потрачу на это...»

Сентябрь того же года:

«Вот хорошо бы, ежели ты узнаешь, когда придет моя жалоба. Я ее отправил 20 сентября. Съезди, пожалуйста, в Верховный Суд и поговори...»

Письмо от июля 1960 года:

«Пришел ответ из Верховного Суда. Я просил их, чтобы они разобрались и освободили меня, так как я невиновен, но мне отказали, говорят, что моя вина доказана, а лишь сбросили мне семь лет. Но наши зеки говорят, что это для меня хуже, потому что теперь уже затвердели окончательно и жаловаться больше некуда. Теперь, крестная, прощай навеки. Не ругай меня, ежели что получится, значит, не выдержал...»

Но вскоре он пишет письмо Маршалу Советского Союза с просьбой похлопотать за него как за сына погибшего за Родину. Письмо очень длинное, написано корявым почерком на восьми страницах тетрадных листов, Парень описывает всю свою жизнь, пишет, за что его судили, и поясняет, что он невиновен.

«И вот, крестная, сегодня вспомнил, как все происходило и как судили меня, все вспомнил и написал. Может быть, найдется такая добрая душа да и отзовется. Начитаюсь книжек, лягу на нары после отбоя и долго не могу уснуть — все думаю, учусь у людей, как они крепились, когда им трудно было. И выходит так, что правда рано или поздно, а должна победить. И я верю. Может быть, это, конечно, глупо, но вроде легче, когда веришь-то. Попроси кого-нибудь переписать поскладней и отправь...»

Но было ли оно поскладней переписано и отправлено маршалу, из дальнейшего не видно.

Письмо от 5 сентября 1960 года:

«Спасибо за посылку, я ее получил 3 сентября. Но только мне всегда неудобно получать их. Ведь ты сама из последнего собираешь мне. Я тебя давно уже просил продать все, что там осталось от родителей — избу, амбар,— хотя бы кому-нибудь на дрова...»

Письмо от 10 сентября того же года:

«Крестная, я уже, наверно, надоел тебе со своими просьбами. Но ты не обижайся. Ведь нет у меня, кроме тебя, никого. Но тут получилось так, что я вдруг вспомнил об одном человеке, которого видел, когда еще маленьким был. Ты должна его знать — он по возрасту близок к твоему. Зовут его Алексей Семенович. Это я хорошо запомнил. В нашем селе у него отец жил, сторожем в школе работал. Жили они тут в середине села, неподалеку от церкчи. И вот он тогда, после войны, приезжал к своим в гости. Тогда говорили, что он в Москве на защитника учится. А я не знал еще, что такое «защитник», и спросил об этом деда Герасима. Ну он мне разъяснил тогда так: «Вот, говорит, после войны много вас сирот осталось, почитай, в каждой избе есть. А чтобы вас не обижали, государство поставит специальных людей, надежных, защищать сирот, пока подрастете». Ну я, конечно, рассказал об этом ребятам, и мы целой оравой бегали смотреть на него... Ежели бы ты сумела разыскать его. Ведь тут все зависит от того, чтобы нашелся такой человек, который бы поверил мне. Я слышал потом, что он в Москве живет. Продай все, что осталось там от моих родителей — избу, амбар,— и собери себе на дорогу. Разыщи его и съезди к нему. Расскажи ему, как все произошло. Ведь ты теперь все знаешь. Это моя последняя к тебе просьба...»

Что-то совсем уж невероятное открывалось мне. В общем народном горе, какое принесла война, рождалось нечто утешительное. Старик сказочник вселял в детвору веру, что они не одиноки и без отцов, что и у них есть сильные заступники. И я вспомнил, как действительно в то короткое мое пребывание в селе вокруг меня почему-то вилась сельская ребятня. Оказывается, вон почему! Однажды приласкал я какого-то малыша, обнял его за плечи, и он вдруг ни с того ни с сего

разрыдался. А мне и невдомек было, какой завидной и поистине сказочной роли удостоился я.

Письмо от 5 октября:

«Едва я дождался твоего ответа. Но ты меня ничем не обрадовала. Ты пишешь, что пыталась достать адрес этого человека, но у тебя не вышло. Постарайся, крестная! Ежели у него никого в селе не осталось и он ни с кем не переписывается, то, может быть, кто из Москвы в отпуск приедет — попроси их, чтобы через адресный стол достали его адрес. А то ведь я теперь не успокоюсь, все время только об этом и думаю...»

А приехала она ко мне через три с половиной года. И на самом деле странно — столько лет помнит! И даже знает, в каком городе я живу. Сколько тогда приезжало в село солдат повидаться с родными, а свои надежды он связал почему-то со мной. Будто во всем этом таилась какой-то смысл. И я невольно насторожился.

Читаю письма дальше. Судя по датам, писал он своей крестной все реже и реже. Никакими просьбами ее уже не одолевал, тогда как она продолжала посылать ему посылки и даже ездила к нему на свидание.

Вот еще одно очень любопытное письмо:

«Получил твое письмо и подумал, что ты, наверно, решила подшутить надо мной. Ведь ты же приезжала и видела мое положение. Ты пишешь, что Надя Грачева откуда-то узнала, что я в тюрьме. Я же тебя просил никому не говорить об этом. А выходит, что все село уже знает. Как же это получилось? Ты пишешь, что она жалеет меня и не верит, что я пошел на такое преступление, и просит мой адрес. И еще будто она соглашается ждать меня, а ежели я согласен, то и приехать ко мне сюда. В общем, насколько я понял, что ежели я хочу, то вроде бы могу жениться на ней. Смех, и только. Да какой же я муж? И как я гляну ей в глаза, когда на мне лежит такое пятно! Нет уж, крестная, не чуди. Спасибо ей, что она осталась такого хорошего мнения обо мне, но портить ей жизнь я не имею права. Пусть она находит свою судьбу. Она красивая, и женихов ей искать не надо. Ты пишешь, что еще в детстве нас прозвали жених и невеста. Да, помню, и она мне очень нравилась. Я даже мечтал на ней жениться, когда окончил школу ФЗО. А теперь нет, не поминай мне об этом, не жги меня. За плечами у меня еще пятилетка. Разве я могу смириться! Вот тут чуть с охранником не подрался. Зашел он в ларек что-то купить, а народа было много, и толкнул меня. может быть, нечаянно. А я уже заряжен и налетел на него. Ну и сама понимаешь, что за это бывает — трое суток ш и з о. Да это уже не первый случай. Ты, я знаю, ругать меня будешь. Да я и сам понимаю, что не в мою это пользу. По их мнению, я трудный: вызывают меня, прокачку делают, предупреждают. А ведь ты еще не знаешь и другое — такое преступление, какое навесили на меня, и в колонии считается позорным. И среди з е к о в считается я последним человеком. Вот теперь и представь мое положение. А ты там еще чудить вздумала с какой-то женьтибой...»

Вслед за этим стали приходиться письма особенно мрачные:

«Кажется, я уже окончательно выдохся. Не знаю, выдержу ли?..»

И не выдержал. В 1963 году его отдают под суд. Администрация колонии дала на него плохую характеристику как на человека неисправимого, и выездная сессия областного суда осудила его еще на пять лет, признала особо опасным рецидивистом и определила ему место дальнейшего отбывания наказания в колонии особого режима. Насколько можно верить заключенному, и это осуждение является необоснованным.

Вот письмо с нового места:

«Посылаю тебе письмо с адресом нового жительства. Можешь поздравить меня с новым сроком: мне дали еще пять лет и особь й режим: камера теперь всегда на замке, усиленная охрана, полосатая роба и одно письмо в месяц. А люди тут такие... И я теперь зачислен в этот разряд. В общем, чем дальше в лес, тем больше дров. Но ничего уже не страшно — все перегорело и все безразлично. Даже жалобу на новый приговор не сумел подать, срок пропустил. Ты опять будешь спрашивать: за что и как? Вышлю тебе копию приговора, и ты узнаешь. Только не убивайся обо мне. Люди везде живут, буду жить и я...»

Второе письмо:

«Получил твое письмо. Ты пишешь, что Надя Грачева умерла от рака. Ведь два года назад ты писала, что она была жива и здорова, хотела меня ждать, замуж за меня собиралась. А я уж теперь жалею, что не согласился тогда, чтобы ты дала ей мой адрес. Может быть, и жива бы осталась. Только, наверно, одна она верила мне, ежели не глядя ни на что хотела ехать сюда. Как же это так получилось? Как же все это в жизни получается?..»

Читаю письма дальше. Под конец попадаете еще одно довольно странное письмо, из которого видно, что парень стремится уйти от действительности:

«Крестная, у тебя, кажись, в сентябре день рождения? Ежели не ошибаюсь, то поздравляю тебя и желаю тебе всего хорошего в жизни. Выслал пятьдесят рублей. Купи на день рождения от меня подарок, а то ведь я ни одного тебе не делал. Пиши, ежели нуждаешься в деньгах. У меня есть еще немного заработанных. Все равно лежат без действия, а тебе могут понадобиться, когда ребята в школу пойдут... Недавно опять видел тебя во сне. Мне теперь каждую ночь снятся хорошие сны и такие явные, что не просыпался бы. Так что я теперь только днем в колонии, а ночью на воле. Даже настроение у меня стало лучше. Ведь работать везде надо, зато ночью я не ихний — куда захочу, туда и полечу...»

Как-то я встретил своего земляка-колхозника, приехавшего в Москву к сыну. Спросил про этого парня.

— Это вы про сына Андрея? — уточнил земляк. — Как же не знать, сосед. Говорят, в тюрьму за что-то попал?

Я не сказал, за что он попал в тюрьму, а просто спросил, что за парень.

— Да парень как парень, озорства особого за ним не замечалось, — скупно ответил земляк.

— А как насчет выпить?

— Да выпить-то кто же откажется, ежели поднесут. А так чтобы особенно, не-ет. Да и на что пить-то? Рос-то без родителей — известно. Бывало, соберемся обедать, станем ребят своих звать с улицы, а глядь, с ними Костюшка бегают. Позови-ка, скажешь жене, пусть мальчонка с нами поест. Накормишь да приласкаешь... Так и рос — не сладко. Дело сиротское, известно. Лет, кажись, до шестнадцати летом по вечерам на улицу босым ходил. А тут, помню, пристроился он помощником к нашему киномеханику. А за получкой-то в район надо. А идти-то туда — обувь ему нечего. Дело было летом, пришел он к моей хозяйке и стал просить мои тапочки в район сходить. Не хотелось ему перед начальством босым казаться. «Дай, говорит, тетя Нюра, дядь Колины тапочки». А та нешто даст: в район-то осьмнадцать верст, туда-назад — и тапочек нет. «Ну, говорит, я не стану обувать их в дорогу, а надену там, возле конторы». Сжалилась баба, дала ему мои тапочки. А туда-назад-то босичком сбегал. Да, кажись, в тот раз и ботинки себе купил, впервой в жизни. Рад-то был...»

Глава 3

За неделю прочитал все его письма. Впечатление тяжкое: так нелепо сломана жизнь. А ведь какие планы были и как трезво рассуждал. Думал учиться, большие заработки не соблазнили, когда после демобилизации из армии ему предложили завербоваться на Север,— не хотелось терять дорогого времени. Такой серьезный парень и так легко свихнулся.

Когда я попросил прислать письма, я, признаться, не думал копаться в судьбе чужого человека и уж тем более что-то обещать. Уголовных дел я никогда не вел, а то, что изучал в институте, давно уже выветрилось из головы. Так что практически никакой помощи ему оказать я не мог. Мне просто по-землячки жаль его стало, да и как участнику войны неудобно было отвернуться от сына фронтовика. Думал написать ему, поддержать добрым словом... А он увидел во мне совсем другое. Еще три года назад он писал крестной матери: «Это моя последняя к тебе просьба». Все возможности были уже исчерпаны,— Верховный Суд проверил дело и признал вину доказанной, в безнадежности отступились и адвокаты... На что же он рассчитывает? Чем же я смогу ему помочь?

В его поведении было действительно много странного: он все еще никак не мог смириться со своим положением и не переставал осаждать крестную просьбами хлопотать за него, хотя и хлопотать-то уже, по существу, некуда. И в то же время наотрез отказался возбуждать ходатайство о помиловании, что было естественно скорей для невиновного, чем для преступника. Ведь по идее сам факт помилования непременно предполагает чистосердечное раскаяние преступника в совершенном преступлении. А раскаиваться в том, чего не совершал, и получать свободу такой ценой решится не всякий... Жалуется, будто кто-то его оговорил, а товарища, с которым он якобы был в тот вечер, в свидетели не допустили. Чепуха какая-то. Пишет, что попал в непонятную историю, а оправдаться не мог. Не слыхом ли просто такое объяснение? Ведь не одно, не два, а три преступления, и в разное время. И во всех трех не мог оправдаться? Прошло уже шесть с лишним лет, пора бы собраться с мыслями и как-то более определенно выразить свои претензии правосудию. Но в письмах ничего подобного не было, кроме лишь какой-то обиды на людей за то, что они собрали против него факты, а ему как человеку не поверили.

Перечитал одно из армейских писем. Здесь, как можно предполагать, описывался первый его конфликт с жизнью и как бы невольно приоткрывался характер парня. Вот разговор с командиром. «Вы должны меня больше знать — мог я или не мог это сделать?» «Всякое бывает,— говорят ему.— Ты еще молодой, не подумал, и поэтому лучше тебе признаться». Это было уже обвинение — обида, парень не выдержал и вспылил: «А ежели вам завтра скажут, что я человека убил, вы тоже поверите?» «Если факты будут против тебя,— ответили ему,— то придется поверить». И он делится с крестной матерью, как подействовал на него такой ответ: «Я почувствовал, как что-то в душе у меня оторвалось и сразу стало все безразлично. Тогда, говорю, вы правы, наказывайте. Встал и ушел. Они, конечно, разобрались и одному там дали трое суток. А капитан мне после сказал, что я неправильно вел себя,—мальчишества еще во мне много. А я никак не могу забыть этот разговор. Что же получается — выходит, что факты выше человека?»

Сложность его поведения, пожалуй, можно понять: парень вырос без отца, а такие люди больше всего нуждаются в дружеском отношении к ним. Ему отказали в доверии и задели за самое больное место. Отсюда и естественное чувство обиды — желание что-то доказать, и

запальчивость мальчишки, готового даже принять на себя чужую вину.

Затем я сопоставил это письмо с другим, более поздним, присланным уже из колонии, и сразу обнаружилась связь: там проступок, тут преступление, а реакция одна и та же: «А со следователем я даже поругался, когда он прицепился ко мне и стал на допрос таскать. Я даже не стал с ним разговаривать. Это его, видно, задело, и он стал собирать факты. А факты выше человека, это я теперь знаю...»

Враждебными казались ему эти самые факты, против них уже нет никакой возможности устоять. «Ничего уже не страшно, все перегорело и все безразлично. Даже жалобу на новый приговор не смог подать, срок пропустил»,— писал он по поводу осуждения за третье преступление.

И невольно вставал вопрос: кто же он на самом деле, этот парень,— преступник или не преступник? С одной стороны, была неумолимая, как рок, реальность: признание высшим органом судебной власти вины доказанной, а с другой — крик погибающего человека.

Не верить первому — н е л ь з я.

Не верить второму — с т р а ш н о.

* * *

Подошла суббота, вечером мы с женой никуда не пошли. Я отобрал наиболее интересные письма и прочел ей. Она тоже росла без родителей и судьбу парня близко приняла к сердцу.

— Не хотелось бы ошибиться,— сказала она,— но по письмам не похож он на преступника. И не потому, что до этого он примерно служил в армии, мечтал учиться, нет, это еще ни о чем не говорит. Трогает тут другое — какая-то отчаянная искренность, какая бывает у людей в особенно трудные минуты жизни. И хочется верить не рассуждая. Столько лет он разыскивает тебя, просил продать все оставшееся ему после родителей имущество, чтобы набрать денег на дорогу. Похоже ли это на преступника? — спросила она.— Ты ведь сам говорил, что много непонятного в его поведении. Значит, и ты тоже почувствовал?

— Очень много непонятного,— согласился я.— Во всяком случае, верить не рассуждая проще, чем когда рассудишь. Однако одно за другим три преступления. В первом признался, а крестной пишет, чтобы она не верила. Со вторым получается еще чудней — будто кто-то его оговорил, а товарища, который показывал в его пользу, в суд не допустили. Возможно ли это? В деле участвовал адвокат, кто бы ему отказал вызвать в суд нужного свидетеля? То же и с преступлением в колонии: срок увеличили на пять лет, режим усилили, особо опасным рецидивистом признали. А он даже обжаловать не побеспокоился, срок пропустил. Как это тебе нравится? И объяснил: все равно, дескать, бесполезно — «факты выше человека». Вот и подумал, как тут верить.

— Выходит, что он лжет, обманывает эту бедную женщину, заставляет ее ходить по адвокатам, разыскивать земляков, упрашивать? Зачем это ему, если он преступник? Если дело решено, и окончательно,— значит, отбывай, исправляйся, заслуживай доверие. Так я понимаю: А он бунтует, вызываяще ведет себя. Есть ли оправдание такому поведению для нормального человека? Или он ненормальный?

Вот это как раз и было той загадкой, которая заставляла настораживаться. Я тоже не понимал смысла такого поведения для преступника.

— Требовал же адвокат освободить его по чистой,— осаждала меня жена.— Ведь заявить суду, что у него нет оснований судить человека,— не шутка: для красного словца такое не скажешь.

— Что же ему тогда мешало добиваться отмены приговора? — возразил я.

— Надо было платить: он же пишет об этом. Нужно было много денег, надо было ехать в Москву. А у него их не было.

— Ехать в Москву совсем не обязательно. Достаточно было написать жалобу и направить куда следует. А адвокат даже и того не стал делать, не имея, наверно, оснований. Я лично не могу допустить, чтобы адвокат, будучи уверенным в невинности своего подзащитного, бросил его на произвол судьбы. Это куда важнее любых денег, никто не решится оставить человека в такой беде. А если учесть, что дело проверялось в Верховном Суде по жалобе осужденного и вину его признали доказанной, то грешить на адвоката не надо...

Так я доказывал, и не столько, наверно, жене, сколько самому себе, и видел, что все было против этого парня. А нутром чуял другое.

Проговорили мы с ней допоздна. Мы уже ни о чем не спорили, ничего не выдумывали, просто говорили об известных истинах, милых сердцу человека, хотелось произнести их вслух, как бы проверяя, целы ли они еще, и с радостью подтвердить им нашу верность...

А наутро за завтраком решили сходить к адвокату и поговорить об этом парне.

* * *

Вскоре я написал письмо его крестной матери с просьбой прислать мне копии приговоров, так как они могли потребоваться мне при разговоре с адвокатом. Ждать она меня не заставила. Не прошло и недели, как получил от нее нужные бумаги, а вместе с ними четыре фотокарточки осужденного. На одной из них был снят небольшой мальчуган, стриженный и босой, около бревенчатой избы. Смотрел он с фотокарточки робко, худенький, в какой-то старой рубашонке и в штанишках с заплатами. На обратной стороне карточки было написано карандашом: «Кастюша. 10 лет, июль 1946 год».

Вот тогда он, наверно, и видел меня, в сорок шестом. Поверил детской сказке, глупый, из другого конца села прибежал с ватагой ребят. А теперь зачем-то разыскивает... Странно, как иной раз сплетаются обстоятельства, нарочно не придумаешь.

Остальные фотографии связаны с армией. Видно, что вырос, возмужал, особенно на последней: красивый парень в парадном солдатском мундире. Я всматривался в черты незнакомого лица, пытаюсь понять судьбу этого человека. Прямой, несколько укороченный нос, волевой подбородок и уверенный взгляд, даже немного с зазнайкой, какой бывает у лиц, преодолевших какой-то трудный рубеж в жизни, словно хотел похвастаться перед крестной: «Вот погляди, какой я теперь! Все силы положу, а добьюсь своего...» И политрук писал, что добьется. Неужели ошибся — не разгадал? Вот бы ему рассказать. Не поверит. Да и как поверить? Душу в них вкладывал, за отца слыл. А их было почти половина роты. А как этот парень боялся оторваться от армии, будто чуял недоброе. Никак не мог решиться, куда поехать работать — на Север ли, на Восток, или остаться на сезонке. Хотел сделать как лучше, выбирал сам, наверно, впервые в жизни. И выбрал...

И тянется это все оттуда же — издали. Был бы жив отец или мать, ни за что не остался бы он на этой сезонке.

Глава 4

Вспомнил я одного своего товарища по институту, столичного адвоката Косоворотова, уже известного и с большой практикой. Взял с собой письма осужденного, копии судебных документов и после работы отправился в юридическую консультацию.

Весь наш послевоенный выпуск юристов состоял в основном из фронтовиков, и атмосфера солдатского товарищества и сейчас возникла при встрече. В институте с Косоворотовым мы были приятелями. Мы оба любили стихи, а он особенно. Даже странно было, как это он оказался в юридическом институте, а не в литературном. Память у него была необыкновенная, целые поэмы наизусть читал. Писал и сам, ну и, понятно, читал мне. Наиболее удачные стихи дарил мне на память. На, скажет, Семеныч, береги, когда-нибудь вспомнишь Косоворотова. И случай заставил меня вспомнить. Я был уверен, что такой человек непременно заинтересуется письмами парня.

Попал я к нему очень удачно: адвокат был свободен и в хорошем настроении, о чем-то весело разговаривал со своим коллегой-соседом. Увидел он меня в дверях комнаты и заторопился навстречу:

— А-а, Семеныч! Какими судьбами?

По-дружески поздоровался и повел в другую комнату, чтобы никто нам не мешал. Мы сели за столик, и он сказал совсем по-свойски:

— Ну рассказывай, зачем пришел-то? Не меня ведь, конечно, повидать,— упрекнул он.— Теперь у всех только дела. Кого ни встретишь, не успеешь руку пожать, а он уже торопится: «Извини, по делам бегу». Да и сам я...— И он глянул на часы.

— Не вовремя я, наверно?

— Ну что ты, Семеныч! Ты мне во сто раз дороже любого клиента.— И он так хорошо улыбнулся, что тронул меня до глубины души.

А я гляжу на него и замечаю перемену: лицо напряженное, седина, пролысины, а в глазах усталость. Оживится, просияет и сразу помолодеет. А затем вдруг осечется и опять тускнеет. Одет он был хорошо: дорогой костюм, белоснежная рубашка и модный галстук. А вот тот Косоворотов был мне чем-то ближе. Жил он, помню, в большой нужде, все четыре года в институте бессменно донашивал свое армейское обмундирование — старую комсоставскую шинель, короткую полинялую гимнастерку и узкие вытертые галифе; в меню студенческой столовой выбирал что подешевле. Все это теперь у него позади, но вместе с тем остался где-то позади и тот Косоворотов-студент, которого я понимал и любил.

Косоворотов внимательно выслушал меня, расспросил о деталях, прочел копию приговора и сказал прямо, что с точки зрения защиты данное дело вряд ли кого-нибудь заинтересует. Я попытался заговорить о письмах, о том тяжком впечатлении, какое произвели они на меня.

— Все понятно,— сказал он.— Участь его не из завидных. Но меня интересует другое: каково твое-то отношение к делу, ты сам-то в чем-нибудь уверен или просто пожалел?

— Нет,— говорю,— не просто пожалел, в его поведении много странного.

— Что же именно?

И я рассказал ему, с каким упорством он отказывается возбуждать ходатайство о помиловании и в то же время продолжает осаждать свою крестную мать просьбами хлопотать за него, хотя дело уже побывало в Верховном Суде.

— Ну что я могу сказать тебе на это,— ответил мой приятель.— Во-первых, в отказе осужденного просить о помиловании при данных

условиях нет ничего странного, явление это вполне нормальное. Тот, кто совершил преступление в местах заключения, рассчитывать на милость не может. И твой парень отлично об этом знает...

И так он запросто отмел то, что казалось мне целым открытием, даже неудобно стало за свой промах, не додумался до такого пустяка.

Косоворотов заметил мое смущение и разговор повел помягче.

— А во-вторых,— продолжал он,— его упорство добиваться освобождения посредством обжалования, дорогой мой Семеныч, мне так же непонятно, как и тебе. Тут нам остается лишь гадать. Но раскинем ли мы три карты или всю колоду, получится одно и то же — пустые хлопоты при поздней дороге. Нужна серьезная зацепка, а ее нет. Ну хотя бы маленькая деталь, небольшой росток, если уж корни живы. Из того, что ты сообщил, ничего положительного не видно.

— Ну хорошо,— согласился я.— Ничего нового я, конечно, не открыл, и тем не менее никак не могу отделаться от тех чувств, какие завладели мною после чтения писем, почему и хотелось бы, чтобы ты их прочел. Ну представь себе, если действительно произошла какая-то ошибка. Ведь это же страшно: сирота, ни родных, ни близких, кроме этой бедной женщины, которую он не перестает одолевать просьбами хлопотать.

— Все представляю, Семеныч,— по-дружески сказал он.— И рад бы, всей душой рад, не в моих это правилах отворачиваться, но что же я могу сделать, дорогой ты мой! Ты просишь прочесть письма, а сам тут же говоришь, что в них нет ничего такого, за что можно было бы уцепиться. Ну прочту их и, возможно, испытаю нечто подобное тому, что испытал ты, обольется мое сердце жалостью, а что от этого изменится? Прошло уже шесть лет, все уже бальею поросло, уже не раз обревизовано, улики, как видно, неопровержимые. На основании каких же разумных доводов мы осмелимся теперь все это поставить под сомнение? Ты подумал об этом? Дело уже однажды проверялось в Верховном Суде, надо идти с повторной жалобой. А это не так просто. Надо выставить такие обстоятельства, какие в корне изменили бы все представление о деле. А где они, эти волшебные ключики? Вот в чем сложность. Потому я сразу сказал тебе, что ничего не получится. Видно, ты чем-то увлекся, старина. Так я говорю ай нет? — спросил он участливо, словно хотел меня утешить и не знал как.— Я ведь немного знаю тебя: помню, с каким ты восторгом рассказывал о Якутии. Мне всегда ты казался каким-то неуемным, все тебе представлялось просто. Не иначе и тут что-то тебя околдовало. Сознайся уж.

И я сознался, под действием какого колдовства нахожусь. Я рассказал ему, как, будучи еще малышом, этот парень поверил сказке деда Герасима о добром заступнике.

— И ты знаешь,— сказал я Косоворотову,— он, оказывается, столько лет помнит. Ты только подумай! Да и парень-то уже не маленький и хлебнуть успел соленого, пора бы понять, что ничего этого не было. А он, видите ли, уверовал. И живет теперь верой в эту иллюзию. Велел крестной матери продать все и съездить ко мне в Москву.

— И приезжала? — спросил адвокат.

— Приезжала, плакала и умоляла заступиться... Ты представляешь? Так это было странно, будто от меня и в самом деле что-то могло зависеть. Почему же, спрашиваю, вы решили приехать именно ко мне? В Москве живут еще два наших земляка-юриста. «Нет, говорит, он все время просил разыскать вас — ведь он вас видел, когда еще мальчиком был, и помнит...» Затем прислала его письма, а уже из них я узнал эти подробности.

Косоворотов слушал меня с тем особенным интересом, какой воз-

буждают у людей загадочные истории. А когда я закончил рассказ, спросил, словно все еще сомневался:

— Неужели так было?

Я хотел было прочитать одно из писем, где как раз об этом говорилось. Но приятель остановил:

— Не надо, читать не надо, я тебе и так верю. Теперь понятно, что тебя так захватило. Есть вещи, которые невольно поражают воображение. Я тебя понимаю: все это действительно выглядит очень странно. Но как разгадать — вот вопрос. Если бы его судили где-то тут поблизости, я бы съездил и познакомился с делом. Но ехать в Сибирь без каких-либо предпосылок? Ты сам понимаешь. Да и скажу тебе честно: лезть в дело после того, как оно побывало в Верховном Суде, вряд ли есть смысл.

И адвокат стал рассказывать о каком-то случае из своей практики. А я вдруг с тревогой подумал: ведь после этого разговора я должен буду что-то написать Телепину. Конечно, верней всего было бы сказать честно, что он заблуждается, полагаясь на меня: помочь ему не в моих силах. Я всегда придерживался того мнения, что отношения между людьми должны быть ясными: не можешь сделать — не обещай. Правило хорошее и стоило того, чтобы им дорожить. Но применимо ли оно в данном случае? Не лучше ли просто отмолчаться, чтобы не лишать его этой последней соломинки? А там пройдет время и человек поймет, что я не бог весть какое лицо, чтобы возлагать на меня какие-то надежды.

Так я подумал после разговора с Косоворотовым. Хотя на душе было совсем другое и мне жаль было расстаться с той завидной ролью, какую нарекли мне сами обстоятельства.

Мы стали прощаться. Мой приятель заметил мое настроение и еще раз сказал:

— Поверь мне, Семеныч. Если бы была какая-то возможность, не упустил бы я случая оказаться тебе полезным. Но ты сам видишь... Да, я видел, в его искренности я не сомневался.

Глава 5

Значение всякого разговора вполне оценивается обычно не сразу, в процессе обмена мнений, а после. Снова продумывается все сказанное, как бы заново осмысляются слова и фразы, мимика и жесты, а что осталось недосказанным — толкуется и перетолковывается. Поэтому и мне после разговора с адвокатом было о чем подумать. Через несколько дней, когда я продумал весь разговор с моим приятелем, то пришел к интересному выводу. Получалось, что даже такому опытному адвокату, как Косоворотов, поведение осужденного было непонятно. Я знал впечатлительность его натуры и видел, с каким интересом он слушал меня, даже переспросил, действительно ли все было именно так, не выдумал ли я. Так это взвинтило его воображение. Но как человек, вращающийся в мире фактов, он, естественно, должен был спуститься на землю и коснуться ее тверди. За шесть лет ничего не изменилось — все уже быльем поросло, по его меткому выражению, дело застарело, а стало быть, с точки зрения защиты, не представляет никакого интереса.

И тогда я подумал: а что, если бы на месте моего собеседника оказался не Косоворотов, а скажем, какое-то другое лицо, от которого что-то могло зависеть, ну, например, вторичная проверка дела? Моя цель была бы достигнута.

Эта мысль настолько меня захватила, что я решил немедленно идти с этими письмами в Верховный Суд СССР. Приду и расскажу о

своем впечатлении—попрошу прочитать. Демократичность нашего суда мне известна: откуда бы ни поступил серьезный сигнал, его немедленно проверят.

* * *

Улица Воровского. Новый большой особняк. В конце здания небольшая табличка: «Приемная Верховного Суда СССР». Не без робости переступил я порог приемной: просторный светлый зал, длинный стол со множеством стульев и ни одного посетителя. Я почему-то всегда представлял себе, что тут должно быть полным-полно народа, снуют адвокаты, застыли в томительном ожидании просители. И вот ничего подобного я не увидел. Да уж в урочный ли час я пришел, подумал я. Что-то уж очень тихо, даже слышно, как прыгают стрелки электрических часов. Передо мною несколько дверей, и я остановился в нерешительности: в какую из них постучаться? Ведь не угадаешь, к кому еще попадешь. Задача-то у меня уж очень необычная. Ко мне самому иногда обращаются за советами служащие нашего учреждения. И я знаю, как иной раз трудно бывает человеку собраться с мыслями и в какое волнение приводит его такой разговор. Вот и мне пришлось...

Из внутреннего коридора вышел дежурный милиционер и указал мне на одну из комнат. Я открыл дверь, попросил разрешения и вошел. За столом сидел человек средних лет. Он посмотрел на меня, предложил стул и спросил, по какому делу я пришел. Так начался этот разговор, открывший самую интересную страницу моей жизни.

Я стал рассказывать, но скоро сбился, и получилось бестолково.

— Говорите проще, — сказал работник приемной, — кто, где, когда и на какой срок осужден, куда была принесена последняя жалоба.

Я быстро перестроился и рассказал.

— Но мне не совсем ясно ваше отношение к этому делу. Вы родственник или адвокат? — услышал я вопрос.

Ну, думаю, сейчас потребует доверенность и немедленно выставит: в суды не положено ходить без доверенности по чужим делам. Да и пришел-то с какими-то письмами. Еще подумает, маньяк какой-то. И я рассказал все, что заставило меня идти в Верховный Суд.

— Ну хорошо. У вас есть какое-то заявление или жалоба? С чем вы к нам-то пришли? — спросил он.

Я ответил, что пришел не жаловаться, а просить кого-нибудь из ответственных лиц прочесть письмо осужденного.

Мой слушатель записал в книгу посетителей мою фамилию и распорядился по телефону принести надзорное производство на осужденного Телепина. Пока он ждал, я попросил разрешения прочитать вслух некоторые из писем.

— Ну прочтите, прочтите, — сказал он учтиво, но без особого энтузиазма.

Письма у меня были подобраны по порядку, но для такого случая я нашел несколько наиболее интересных и первое из них стал читать. И вдруг читая, почувствовал, что оно какое-то совсем иное, слабое и невыразительное, не было в нем этой бьющей по чувствам силы, будто его кто-то разрядил. Я читал и не понимал, что случилось. Глянул на моего собеседника в надежде уловить, произвело ли оно на него какое-либо впечатление. Но лицо его было непроницаемо, и он лишь кивнул головой, чтобы я продолжал. Я взял второе письмо, но и оно показало мне столь же незначительным, как и первое. Потом третье, четвертое, и все как бумажные хлопущки. Сразу ослабел мой накал, и следующие два письма я уже не читал, а мямлил, поняв, что все это напрасно. Понял и причину своей неудачи, но было уже поздно что-

либо изменить. Промах мой состоял в том, что мое представление о Телепине сложилось не из одного или двух писем, а из всех сорока, прочитанных подряд. Я читал их целую неделю, как бы сживаясь с судьбой парня. И то, что он столько лет помнит меня в каком-то ореоле дедовой сказки, придавало этой истории некую таинственность, возбуждающую мое воображение. Что-то подобное случилось и с Косоворотовым. По натуре он поэт. Он сразу же заразился моим чувством.

Принесли надзорное производство, и работник приемной стал просматривать бумаги. Затем он зачитал мне копию Определения Верховного Суда, в котором говорилось, что срок наказания осужденному снижен до восьми лет, хотя вина его признана доказанной в обоих преступлениях. Все это мне было уже известно, и я поинтересовался, возможны ли в таких делах судебные ошибки:

— И в таких и вообще,— ответил он откровенно,— возможность ошибки, конечно, исключать нельзя.— Но тут же добавил: для того они и здесь, чтобы не допускать ошибок.

— А уж если бывало у вас, тогда, значит, все?

— Ну как вам сказать... То, что касается дел ума и рук человеческих, нередко нуждается в совершенстве. Бывают и наши решения несовершенно, тогда и нас поправляют.

Я почему-то обрадовался такому ответу: сказал прямо... А коль так, то надо быть смелей. И я высказал предположение, что Телепин страдает зря. Сказал и сам удивился своей смелости.

Мой собеседник снял очки, откинулся на спинку кресла, как бы намереваясь взглянуть на меня издали, и едва заметно улыбнулся.

— На основании каких же фактов пришли вы к такому выводу?

— Фактов,— говорю,— у меня нет, но я чувствую: уж очень тяжкие письма, преступник такие писать не будет.

— Видите ли,— возразил он с явным желанием уберечь меня от ошибки.— Чувства есть область эмоций. Мы их, конечно, не исключаем, но и не отдаем им предпочтений. А в нашем деле они порой и просто вредны. Они мешают человеку быть объективным и нередко ведут к заблуждениям. Поэтому мы предпочитаем факты. Данное дело проверялось, люди у нас опытные... Но уж коль вы пришли, давайте для верности взглянем, есть ли что нового в этих письмах.

Он снова надел очки и стал про себя читать подшитую к делу жалобу осужденного. А когда ознакомился с ней, сказал:

— Послушайте, это он писал в Верховный Суд в пятьдесят девятом году, это его собственноручная жалоба, и, по-видимому, повторная: судя по датам, дело проверялось несколько ранее ее поступления к нам. «Товарищ Председатель Верховного Суда, я не преступник!» — зачитал он мне начало жалобы.

И далее рассказал, о чем просил в ней осужденный: он сообщал имена двух лесорубов, одного из них он называл преступником, а второго другим преступника, который якобы оговорил его. А также жаловался на то, что не был допущен в свидетели его товарищ, показания которого, по утверждению Телепина, исключали его виновность.

— Как видите,— сказал работник Верховного Суда,— вопрос поднимался очень важный, речь шла об а л и б и, и, естественно, такую жалобу не могли оставить без внимания. Дело истребовалось и проверялось. Но факты не подтвердились. А поскольку в прочитанных вами письмах сообщается о том же, что и в жалобе, нам, к сожалению, ничего нового они не дадут.

Я сразу сник: я даже не подозревал, что у них в архиве хранится его жалоба и в ней указаны те же факты, что и в письмах. Ничего нового за эти шесть лет в свое оправдание он так и не придумал.

Я держал в руках пожелтевшие конверты, не зная, что сказать:

хотелось извиниться за доставленное беспокойство и поскорей уйти. Но принявший меня юрист все еще знакомился с документами. Затем он прочел какую-то подшитую к делу бумажку, написанную чернилами на листке из блокнота, вернулся опять к жалобе и сверил даты. И я заметил, что он чем-то озадачен, что-то его смутило и он весь ушел в чтение документов. Так продолжалось минут десять. Наконец он оторвался от бумаг и глянул на меня, как бы взвешивая: говорить или не говорить мне об этом? И сказал то, что уж никак не вытекало из предыдущего разговора:

— Если у вас появится что-нибудь новое, заслуживающее внимания, приходите к нам, мы немедленно проверим.

Вот те и на, подумал я, о каком это новом, заслуживающем внимания он говорит, если дело проверено и все в нем правильно? Но я не придавал этим словам особого значения: я воспринял их за некий жест вежливости, желание оставить в душе посетителей немного места для надежды.

Он встал, давая понять, что разговор окончен. Встал и я, спрятал письма.

— Жаль, конечно,— проговорил он сочувственно.— Молодой парень, сирота...

— Ну что ж,— говорю,— спасибо и за это.— Попрощался и ушел.

Глава 6

Обращаться с письмами куда-либо еще уже не имело смысла, и я решил вернуть их по назначению, дабы не томить людей напрасным ожиданием. Но тут опять вспомнился разговор в Верховном Суде и выразительный взгляд сотрудника приемной, словно он что-то перекинул мне этим взглядом... И я почему-то воздержался отправлять письма, мне вдруг захотелось прочитать их еще раз.

По вечерам, когда жена ложилась спать, я зажигал настольную лампу и принимался за чтение, чтобы убедиться наконец — в какой же мере можно верить самому себе?

Читаю письмо за письмом, и снова много непонятного. И эта неиссякаемая вера парня в людей, в закон, «что рано или поздно, а правда победит», «что найдется такая добрая душа да и отзовется», невольно возвращала меня к прежним мыслям. И на самом деле, откуда бы это у трижды преступника, рецидивиста? Какие у него основания искать сочувствия, обращаться к правде?

И я попытался взглянуть на этого парня с другой стороны. Ну хорошо, рассуждал я, а если на минуту допустить, что он действительно невиновен, произошла ошибка, хотя и трудно себе представить такую ошибку. Но допустим, допустим! Как же в таком случае должен вести себя человек, воспитанный школой и армией, на положительных примерах нашей жизни, на торжестве наших идей? А что он воспитан именно так, сомневаться не приходится. Об этом писал политрук подразделения его крестной матери и советовал ей поддерживать в нем веру в наше общественное родство, чтобы окончательно изжить черты сиротства. И парень верит, что он не одинок, верит так, как только может верить юность. Да и кому же ему еще верить, как не этому человеку? «Как отец родной заботится о нас»,— писал он о нем... И вдруг несчастье, трагедия — страшное испытание его неокрепшего духа. Мог ли он, только вступивший в жизнь, извериться в людях и вести себя как-то иначе?

И я уже подсадовал на себя, что не мог понять этого раньше и выставить в качестве довода своему приятелю адвокату, не догадался сказать об этом и в Верховном Суде.

И вдруг попадаете одно письмо, на которое я раньше не обратил внимания. В нем не содержалось ничего определенного, хотя само по себе и не лишено было интереса. Теперь же оно дало новый толчок моим мыслям. Вот это письмо:

«Крестная, хорошо бы попытаться разыскать в Москве одного парня. Правда, я точно не знаю, где он живет, да и живет ли он теперь в Москве. Но призывался он из Москвы — это точно. Мы с ним вместе служили и вместе демобилизовались, а потом остались на лесозаготовках. Жил он в Москве не то на Курской, не то на Калужской площади. Зовут его Борис Желтухин, а отчество уже забыл. Он тебе может много рассказать. В тот вечер, когда произошло преступление, мы были с ним вместе. Его много раз вызывали на допрос по моему делу, но в свидетели не допустили: сказали, что он мой друг и я его подкупил. Если бы найти его, крестная! Посылал я ему из колонии три письма на лесозаготовки, но ответа не получил, наверно, уже рассчитался и уехал домой. Не поленись или кого-нибудь попроси, ежели самой трудно будет это сделать...»

Письмо, конечно, очень интересное — речь идет о том самом парне, о котором упоминалось в жалобе. «Он тебе может много рассказать». Любопытно: что же он может рассказать? И мне захотелось попытаться счастья, разыскать этого парня с Калужской площади. И хотя дело проверялось, а указанные в жалобе факты не подтвердились, все же интересно поговорить с живым свидетелем. Действительно ли он что-то знал или хотел удружить товарищу — показать в его пользу и выручить из беды, как это нередко бывает в подобных случаях? Но теперь уже дело прошлое, скрывать ему незачем, и он скажет правду, был он в тот вечер с Телепиным или не был.

Обратился в справочное бюро, но мой заказ не приняли: для получения справки требовались более полные данные — фамилия, имя и отчество, время и место рождения. Я же знал только имя и фамилию. Но я сообразил, что ребята вместе демобилизовались из армии и они, наверно, одногодки.

Опять иду в справочное бюро, даю заказ и буквально через полчаса получаю ответ: адресат проживает на Ленинском проспекте. Но тот ли Желтухин — вот вопрос. Отчество его не знаю, и живет он не на «Курской» и не на Калужской площади, а совсем в другом месте... Сомнение в сторону — еду. В тот же день после работы отправляюсь по указанному адресу.

Мне повезло. Даже трудно представить, как мне повезло, чтобы в Москве по таким неполным данным сразу найти человека. Я разыскал того самого Желтухина, сослуживца осужденного. Когда же я сказал, зачем пришел, он не поверил:

— Телепина... на пятнадцать лет? Да что вы! За что? Я хорошо помню эту историю, меня самого целый месяц на допрос таскали, но Телепин тут ни при чем.

Какую радость ощутил я от этих слов: Телепин ни при чем. Чуяло мое сердце.

— Прошу вас, расскажите, как же так получилось? — взмолился я.

Желтухин, видно, относился к сильно восприимчивым натурам, умеющим ставить себя в положение других, он даже в лице изменился, мял папироску и медлил с ответом.

— Сейчас все расскажу, проходите, садитесь, — говорил он, а сам, видно, не мог собраться с мыслями. — Дайте только вспомнить, с чего лучше начать. А мне все еще кажется, что вы меня для чего-то разыгрываете. Ведь такого не может быть. Как же так, ни за что... на пятнадцать лет.

— Вспомните, пожалуйста. Вы не представляете, как это важно: теперь только вы и сможете ему помочь.

И он стал рассказывать, как было дело. И получалось, что в тот злополучный вечер 19 июля 1957 года, когда произошло преступление, он с Телепиным находился до полуночи в железнодорожной столовой, где были и другие лесорубы. Этот вечер запомнился ему потому, что посещение столовой и продолжительное там пребывание было вызвано особой причиной. Всего лишь за день до этого они прибыли в поселок Медвежий с эшелонам вербованных и были расквартированы в палатках на пустыре. По дороге Желтухин простудился, почувствовал сильное недомогание. А тут еще провели первую ночь кое-как в организационной суматохе, и ему стало хуже. Весь следующий день он крепился, думал, что пройдет: кто-то посоветовал использовать народное средство и на ночь как следует выпить. Пригласил он Телепина, сначала пошли в чайную и выпили поллитровку. Но чайная в десять часов вечера закрывалась, а им показалось мало, решили отправиться в столовую, которая работала круглосуточно. Пробыли там часа два, и оба вернулись в палатку. Телепин сильно захмелел, и его товарищ едва дотащил до кровати. Выпитая водка Желтухину не помогла. Наутро поднялась температура, и его отправили на стационарное лечение в леспромхозовскую больницу. Перед отправкой он отдал Телепину на хранение документы и деньги.

Случай сам по себе очень примечательный, и спутать его с каким-либо другим он вряд ли мог. Два месяца спустя Телепина арестовали и обвинили в преступлении, которое произошло в поселке в ночь с 19 на 20 июля, то есть в то самое время, когда он с товарищем находился в столовой.

Обо всем этом Желтухин заявлял на следствии, но затем его перевели на дальний лесучасток и больше не вызывали. В поселке он не был до самого отъезда домой, ничего не зная о судьбе товарища. Когда же он приехал в контору за расчетом, то по дороге с вокзала случайно встретил следователя и спросил его, куда они дели Телепина. Тот ответил, что Телепина никуда не девали, его освободили и он уехал домой. А на самом деле в это время его уже осудили и отправили в колонию...

Рассказ Желтухина произвел на меня сильное впечатление. Я видел, с каким участием он отнесся к судьбе товарища и готов был подтвердить свои слова где угодно. Я внимательно следил за выражением его лица, стараясь уловить, не запутывает ли он меня. Нет, он не лгал... Вот и пробился желанный росток. Пусть вызовут и проверят: живой человек — это не архив...

И я снова отправился в Верховный Суд.

* * *

Принял меня тот же юрист. Напомнив ему о недавнем разговоре, я рассказал о встрече с бывшим лесорубом.

И опять, как и в тот раз, он распорядился по телефону, так же скоро принесли надзорное производство, и он опять начал читать нужные бумаги. А затем сосредоточенно подумал и сказал:

— Мне кажется, вы все же не с того начинаете. Дело это трудное. Очень. А у вас, чувствуется, нет опыта. Свяжитесь с адвокатом и посоветуйтесь. А тогда уже с соответствующими документами приходите к нам.

— Адвокаты не берутся — говорят, что ничего из этого не получится. Да и адвокату надо платить, а я сам работаю на небольшом окладе — юрисконсульт. А этот парень мне чужой, просто односельчанин. Хочется помочь ему. Я могу написать заявление, рассказать о

встрече с этим человеком, указать его адрес, а вы уж тут сами знаете, как надо поступить. Вы же заинтересованы.

— Безусловно мы заинтересованы, поэтому я и сказал вам — не с того начинаете. Вы все же юрист, учились, послушайте меня внимательно. Ваше сообщение могло бы иметь характер первостепенной важности — ведь это не что иное, как вопрос алиби. Но если мне не изменяет память, в прошлый раз мы уже говорили на эту тему. Вот его жалоба, — он кивнул на бумагу, — и в ней он прямо пишет, что его товарища в свидетели не допустили. Дело, как вам известно, проверялось, но факт не подтвердился.

— И я ему говорил, что дело проверялось. А вот он утверждает, что Телепин тут ни при чем. Человек живет в Москве, разве нельзя его вызвать и поговорить с ним?

— Могут и вызвать и взять объяснение. А затем сделают поручение прокурору по месту осуждения, сверят с делом — и опять не подтвердится.

— Почему же не подтвердится?

— По всей видимости, показания этого человека, данные им на предварительном следствии, недостоверны, если ни суд, ни адвокат не приняли их во внимание. Такого положения быть не может, чтобы главного свидетеля защиты взяли да исключили из процесса. Это же первый кассационный повод для отмены приговора. Следовательно, в деле есть какие-то документы, опровергающие эти показания. В всех же допрошенных на предварительном следствии вызывают в суд в качестве свидетелей. Далекое не всех... Вы понимаете, о чем я говорю? — Он задвигал пальцами в щепотке, подняв над столом руку, как бы указывая на тонкость этого дела. — Чтобы говорить о судебной ошибке, надо иметь твердые убеждения, основанные не на интуиции, не на словах, а на доказательствах. Не хочу спорить, возможно, этот человек, с которым вы виделись, и прольет какой-то иной свет на события, но пока это лишь догадки... Если же вы хотите по-настоящему разобраться и уяснить себе, за что осудили Телепина, вам надо прежде всего ознакомиться с материалами судебного следствия. И лишь тогда вы сможете сказать, имеют ли какое-либо значение слова его товарища. Ведь прошло-то с той поры почти семь лет, многое и забыто. Если же вы на основании каких-либо фактов, документов, показаний свидетелей и тому подобном действительно убедитесь в невиновности своего подопечного, то тогда уже со знанием обстоятельств, со ссылкой опять-таки на факты, на показания свидетелей — том такой-то, лист такой-то, фраза такая-то — напишете жалобу и принесете ее нам или Генеральному прокурору. При достаточной ее убедительности дело могут истребовать и подвергнуть вторичной ревизии. И тогда либо вам откажут, либо Председатель Верховного Суда или Генеральный прокурор принесет протест в пленум Верховного Суда... Учтите, задача не из легких, — предупредил он меня снова, — и вы заранее не стройте никаких иллюзий и не настраивайте своего парня на благоприятный исход..

Глава 7

Едва я вечером вернулся домой, как жена спросила меня:

— Ну что, был в Верховном Суде?

— Был, — говорю.

— Что же тебе сказали?

— Сказали, что все это для них не ново: Телепин сам об этом писал в жалобе пять лет назад. Тогда это произвело впечатление, поэтому запрашивали из Сибири дело и проверяли, но ничего не подтвер-

дилось. Так что я оказался несколько в глупом положении — заявился со старым анекдотом.

— А ты уверен, что этот Желтухин не морочит тебе голову?

— Ну как можно быть уверенным, когда в самом-то себе не разберешься. Показался мне очень искренним, переживал, сочувствовал.

— Тогда надо настаивать, чтобы его вызвали.

— Настаивать-то, конечно, можно, но будет ли прок? Мне сказали, что за этим дело не станет — могут и вызвать и объяснение взять, а затем сделают поручение прокурору по месту осуждения, сверят с материалами расследования — и опять не подтвердится.

— Выходит, они заранее ставят стену?

— Сначала я тоже так подумал. А когда ехал домой и поразмыслил, то получается много сложнее, чем нам кажется. Прошлый раз он очень хорошо со мной разговаривал и на прощанье даже пожалел Телепина. Официальный человек в таком учреждении — и такой доверительный разговор. Да и кого пожалел-то — трижды преступника, рецидивиста?.. Не вяжется! Тогда посчитал это как жест вежливости — сказал приятное на прощание. Если появится, мол, что-нибудь новое, заслуживающее внимания, они немедленно проверят. И тоже странно. Коль уж проверено и все верно, то о чем же еще говорить?.. А сегодня, когда рассказал ему о встрече с Желтухиным, он сразу мне — не с того я начинаю. Выходит, что и он озабочен судьбой Телепина?

— Что же он советует?

— Советует прежде всего ознакомиться с делом. И дважды предупредил меня, что задача не из легких. Какая же, спрашивается, задача, если человек осужден правильно? Никакой задачи не должно быть. Значит, что-то не так. Я видел, как он разглядывал в деле какую-то бумажку, будто споткнулся на ней. А что это за бумажка, я так и не мог догадаться, а спросить не решился; все даты зачем-то сверял на жалобе и на этой бумажке. Тонкий, видно, человек. Оснований-то нет, чтобы бить тревогу, вот он и кинул намек. А ты, мол, подумай! И что интересно: мой приятель-адвокат сказал мне, что лезть в дело нет никакого смысла после того, как оно побывало в Верховном Суде. А этот наоборот: сказал, что с этого и надо начинать. А зачем, спрашивается, начинать? Зачем?.. Я же сказал ему, что адвокаты не берутся да и парень мне чужой. А он, видно, рассудил так: коль хочешь помочь, так помогай — съезди и ознакомься с делом... Ты понимаешь? Разве так ведут себя с посетителями, когда хотят отказать?

— И какой же выход? — спросила жена.

— Выход такой, что ни к чему это нам. Одно дело куда-то сходить, с кем-то поговорить и совсем другое — браться по-серьезному. Тут надо влезать с головой. Дело хранится в архиве областного суда в Сибири, а это не ближний свет: нужны и деньги и время. А у нас с тобой нет такой возможности. Пытались помочь — не получилось... Есть еще и такой вариант — года два подождать, пока истечет срок хранения в областном суде и тогда дело направят сюда, в Госархив. Вот тогда и представится возможность проверить слова Желтухина. Но за это время много воды утечет.

Поговорили мы, поговорили и ни к какому выводу не пришли. Жаль человека, но... Если помощь требует больших усилий и связана с материальными затратами, в дело обычно вмешивается рассудок, а душа отступает.

Теперь надо было как-то поумней отойти от этого дела. Какие бы я ни вынес личные впечатления от встречи с работником Верховного Суда, в конечном счете это всего лишь мои домыслы. Возможно, и я заблуждаюсь. Факт остается фактом — сделать мне ничего не уда-

лось. Как Телепин воспримет такое известие? Поймет в конце концов, что я не такое уж всесильное лицо, чтобы связывать со мною такие надежды?..

Не хотелось, конечно, развенчивать себя, роль-то уж очень завидная выпала на мою долю — сказочная. Но что поделаешь! Недаром говорится: «Жаль тебя, но не как себя». Мудрость вековечная: «Не наш воз, не нам его и везти».

* * *

Шло время. Как-то некогда было размышлять над судьбой других людей. Мечешься изо дня в день как белка в колесе, о себе-то порой некогда подумать... И все же что-то над нами висело, что-то тревожило, была какая-то тяжесть, прорывались слова — «надо бы, надо...». Но на том и кончалось.

И вот как-то во время одного из таких разговоров жена вдруг спросила:

— Во сколько обойдется такая поездка в Сибирь?

Я прикинул, и получилось не меньше семидесяти рублей: полсотни на дорогу, пятерка на гостиницу, а остальное на еду и местный транспорт. Но главное, пожалуй, не столько в деньгах, сколько в моей неопытности: юрист без практики — не юрист. Если даже предположить, что произошла ошибка, то каким же невероятным, каким роковым должно быть то стечение обстоятельств, которое ввело в заблуждение столько людей!

И в то же время были такие минуты, когда вдруг хотелось вырваться от самого себя, от всего, что сковывает по рукам и ногам, и броситься напропалую в неизвестность. Радостно отзывалось сердце — вот никто другой, а именно я решился дерзнуть... Но проклятый рассудок брал верх, бесцеремонно ставил на свое место, в ряды обыкновенных. И снова — страшно было даже подумать...

Но странно, женщины как-то по-своему смотрят на вещи. То, что пугало меня и казалось невероятным, на жену не произвело большого впечатления. Она привела мне несколько случаев из газет и без труда доказала, что ошибки бывают. И отсутствие опыта ее не смутило. По моему мнению, каждый грамотный человек при желании во всем может разобраться.

— Другое дело расходы, — говорила она. — Ведь семьдесят рублей — это не семь. Да и то когда речь идет о судьбе человека, деньги невелики.

— Когда они есть, — возразил я.

— Э, милый мой, пожить да не крикнуть! Жизнь для того и дана, чтобы определить, к какой категории ты относишься. А то проживешь век и не узнаешь, способен ли на что-нибудь стоящее.

— Рассуждать-то легко...

— Знаю, трудно. Но чем трудней, тем заманчивей. Ведь с ума сойдешь от счастья, если удастся его выручить. Не преступник он, ты сам это чувствуешь. Возьми хотя бы этот момент встречи Желтухина со следователем. Один закончил вербовку, приехал из тайги и идет в контору за расчетом. А другой, живущий в районном центре, за много километров от поселка, вдруг тоже зачем-то приехал туда. И именно в тот же день, в тот же час и в те же самые минуты идет по той же дороге, по которой шел и Желтухин. Будто сила какая свела их. И этот вопрос: «Куда вы его дели?» — и этот ответ: «Мы никуда его не девали, давно освободили, и он уехал домой» — кажутся какими-то роковыми. Думал ли он тогда, что через столько лет кто-то разыщет этого Желтухина и тот вспомнит их разговор? Вот как бывает! Я бы лично

не решилась обвинять и судить, слишком трудное это дело. Даже в простых делах редко бывает ясно как день. Никогда не уберешься от разных толков и вечно колеблешься — так или не так? А вдруг ошибся. Это же страшно.

Она занялась хозяйством. В комнате стало тихо, и мне вспомнилось, как два месяца назад в февральскую метель, поздно вечером пришли к нам две женщины. Вспомнилось и то, как ушли они, пряча глаза в обиде.

Странно. Как все же мало знает себя человек. Живет, проникает в тайны природы, творит, управляет... И в то же время в нем есть еще что-то о с о б о е, непостижимое — «мир за стеной рассудка».

— А я бы на твоём месте рискнула, — сказала жена, возвратив меня к реальному. — Глядь, и повезет. Я сама росла без родителей и знаю цену людскому участию. Люди помогали, и тебе, наверно, помогли: ты ведь тоже с нуля начал. Кому-то же мы обязаны. Вот и сделай доброе дело. Во всяком случае, начни. А деньги подэкономим. Возможно, его крестная примет участие, двоюродная сестра у него есть, с ней надо поговорить. Хотя бы рублей сорок собрали. А уж остальное возьмем на себя: воздержимся от какой-нибудь покупки. Не все же в жизни, в конце концов, состоит из покупок. У тебя есть два дня отгула, дней пять возьмешь в счет отпуска. И поезжай. А там видно будет. В случае чего обратись к общественности.

Так после длительных раздумий и размышлений было наконец решено ехать в Сибирь. Я написал Телепину письмо, задал ряд вопросов и попросил срочно выслать доверенность на мое имя, в которой обязательно должно быть указано, что я довожусь ему родственником. А иначе дело в суде не дадут.

И вот получаю письмо с доверенностью. «Алексей Семеныч! — писал он. — Спасибо вам за отеческую заботу обо мне. А то ведь я по своей неграмотности не мог себя защитить». Какая наивность! Будто я со своей «грамотностью» немедленно выручу его из беды. Но в этой наивности было что-то такое простое и трогательное, что хотелось только одного — скорей помочь...

* * *

21 апреля дальневосточный поезд отошел от Ярославского вокзала. Жена пожелала мне удачи, и я поехал с необыкновенной целью и с неизведанным доселе чувством личного испытания. В кармане у меня лежала доверенность заключенного, а в портфеле все его сорок писем, четыре фотокарточки, несколько чистых тетрадей и учебник по уголовному процессу. Времени у меня было в обрез — всего неделя. За это время надо было успеть не только прочитать все имеющиеся в деле бумаги, но и разобраться что к чему. А как разобраться, я, по правде сказать, совершенно не представлял. Работа адвоката всегда казалась мне в высшей степени тонкой и деликатной, где талант столь же необходим, как и в настоящем искусстве.

Чтобы облегчить себе задачу, пришлось снова обращаться к знающим людям с просьбой познакомить меня с методом изучения уголовных дел. Один из адвокатов охотно рассказал мне, как это делается. Из его слов получалось, что прежде всего следовало хорошенько ознакомиться с обвинительным заключением, чтобы уяснить себе, в чем состоит обвинение. Затем надо прочитать протокол судебного заседания, приговор и, наконец, жалобу адвоката. После чего наметить вопросы и уже тогда обращаться к доказательствам. Следственное дело он образно сравнил с деревом, у которого много сухих веток в нижней части кроны. В процессе расследования преступления у следователя

может возникнуть ряд версий, которые он вынужден проверять, подчас уклоняясь далеко в сторону. В конце концов из всех версий остается одна. Она-то и проверяется в суде, приобретая как бы живой ствол «следственного дерева», от которого торчат в разные стороны «сухие» ветки неподтвердившихся версий. Поэтому адвокату нет нужды запутывать себя и лазить по этим «сухим веткам», для чего и рекомендуется изучать дело не с начала, а с конца.

Такой способ показался мне логичным и экономным по времени. В его правильности я не сомневался, потому что во всяком деле есть свои профессиональные приемы и пренебрегать ими не следует. Но получилось так, что буквально за день до моего отъезда, когда у меня уже был билет на поезд, я вдруг усомнился в законности своей доверенности. В ней говорилось, что Телепин доверяет своему «родственнику» представлять его интересы в суде; степень родства не была указана. Тогда как по закону для защиты в суде допускаются только ближайшие родственники: отец и мать, муж и жена, братья и сестры. Вот это и заставило меня снова идти в Верховный Суд.

Я попал к тому же работнику приемной, у которого я был два раза. Он не забыл меня и сразу, минуя формальности, стал разговаривать по существу. Он прочитал доверенность и сказал, что хотя с формальной стороны мой документ и не вполне отвечает требованиям закона, но, по его мнению, для ознакомления с архивным материалом препятствий я не встречаю.

— А если не разрешат?

— Тогда вам придется оформить надлежащим образом.

— Но я не являюсь его родственником. Да и в бумагах колонии родственников у него не значится. Другой доверенности я не дождусь. И выходит, что помочь человеку никто из посторонних не имеет права.

— Поезжайте, — сказал он определенно. — Если встретите какие-либо затруднения, телеграфируйте нам, мы дадим указание.

Я поблагодарил его и, пользуясь случаем, решил спросить, как лучше подойти мне к ознакомлению с делом. Он благосклонно выслушал меня, нашел мой вопрос очень существенным и пояснил, что среди юристов на этот счет единого мнения нет: одни читают дела с начала, с первого листа, а другие в подобных случаях предпочитают изучать с конца — с обвинительного заключения, с приговора, с протокола судебного заседания.

— А как вы считаете? — спросил я.

— Мое мнение — книги надо читать с начала, с заглавия. А уголовное дело — та же книга, только в документах. И пишется она по тем же литературным правилам: завязка, развитие событий и характеров, наивысшая точка развития и, наконец развязка. И задача, собственно, та же — убедить читателей в правдивости написанного, с той лишь разницей, что в первом случае речь идет о правде художественной, а во втором — о правде факта. И для всякого читающего очень важна цельность впечатления. А попробуйте-ка читать книгу с конца или смотреть фильм с середины или с последней части, а то и хуже того — вразнобой. Что у вас получится? — И пояснил мне, что он в своей практике всегда читает дела с начала. — Верно, — продолжал он, — что такой метод требует большей затраты времени. Но, с другой стороны, если уж к делу приобщен документ, то судья и адвокат обязаны с ним ознакомиться, и именно в том порядке, в каком он выполняет свою роль в цепи событий. Есть и еще очень важный довод в пользу такого метода — уже чисто психологического характера. А для вас как недостаточно опытного это особенно важно: не связывать себя чужими мнениями, или, как теперь говорят, опасаться запрограммировать себя. Надо отвлекаться от всего — и от своих эмоций, и от тех

суждений, какие имелись по этому вопросу в судах различных инстанций, стараться приблизить себя к обстановке того времени, когда состоялся суд, войти в роль участников процесса, взглянуть на все по-своему и оценить факты по-своему. Тщательно проверьте то, о чем говорил вам товарищ осужденного, намекая на алиби. Ищите новое, так как по старым основаниям истребовать и проверять дело второй раз не станут...

И получилось, что я еще больше осложнил свою задачу: один советовал читать дело с начала, а другой с конца. Мне же предстояло выбирать, что называется, с закрытыми глазами, какой из этих способов более для меня верный.

А поезд во весь дух мчался на восток. Вот и полосатый столб, разделяющий континент на Европу и Азию. А дальше — Сибирь. Не первый раз я ехал по этой дороге. Тянула меня какая-то сила в эти края с самой юности. Едва лишь подрос, как метнулся в тайгу, минуя большие города, все дальше и дальше, в самую глушь якутской земли, где два века назад прошел знаменитый Беринг со своей экспедицией. Тропа уже заросла, но вехи остались: триста с лишним километров прошел я пешком по тайге до дикого «Джугджура». Какая это была пора! Бездумная, озорная, — куда вывезет!.. Да и теперь почти так же — куда вывезет. Только бездумно уже нельзя — за каждый шаг расплата... Неотступно мучил вопрос: справлюсь ли я? Как же я буду выглядеть, если не сумею ничего сделать? Да и сама поездка в Сибирь — прогулка не из дешевых: сорок рублей привезли крестная мать и двоюродная сестра осужденного, сорок взяла своих, пять дней урвал из отпуска. И хотя я не мог ничего обещать — ехал просто ознакомиться с делом, «чтобы больше уже не думалось», как говорила крестная, — но я хорошо понимал тот огромный смысл, какой скрывался за этой простой фразой. Если я вернусь ни с чем, я убью в ней веру в этого парня. Вот, скажет, шесть лет обманывал меня, слезные письма писал — уверял, что его оклеветали. И я верила, ездила в Москву, терпела расходы, просила человека заступиться за него, денег ему на дорогу дала, от семьи отняла, а он вернулся ни с чем. Ну а теперь, скажет, бог с ним, что заслужил, то и получай, не разжалобит он больше меня своими письмами. И если парень на самом деле невиновен, я лишу его последней надежды вырваться на свободу. И как знать, чем это кончится.

* * *

Поезд пришел ночью. В Сибири было еще холодно — весна началась туго. На вокзальной площади было ветрено. После теплого вагона пробирал озноб. Медленно двигалась длинная очередь пассажиров, ожидающих такси. Угадал я в самую распутицу, а одет был легко — по-московски. Наконец-то подошла моя очередь и шофер повез меня в гостиницу, что подешевле.

* * *

Трудно передать мое состояние, когда я получил из архива дело моего парня. Молча сидел я с минуту, взирая на эти толстые тома, совершенно не представляя ни тяжести взятых на себя обязательств, ни тех огорчений, которые меня ожидали. А всего-то лишь одна судьба.

Глава 8

А бумаг-то, бумаг! Тут и протоколы допросов, опознаний, обысков, разные справки, постановления, характеристики, какие-то схемы, заключения экспертов и бог знает что. Все пронумеровано, прошнуровано и предназначено для вечного хранения. Документы уже по-

желтели от времени — почти семь лет прошло, — пахнут подвальной сыростью.

Я смотрел на эту уймащу бумаг совершенно подавленный, не зная, с чего начать, как подступиться к этой «крепости». Хотел было читать дело с конца, как советовал адвокат. Но тут же заколебался: мне как человеку неискушенному трудно будет во всем разобраться. Читать же с начала — как с этим справиться, когда это прочитаешь? А ведь надо не только прочесть, но и как-то понять, сделать необходимые выписки. А у меня всего четыре дня.

Трудное это дело — решать. Сколько бы ни было умных советов, решает человек наедине с собой, на свой страх и риск. И снова наперебой теснили доводы и соображения — то в одну сторону толкнут, то в другую. Пока наконец не решился.

Не без робости открыл я первую страницу и начал читать. Лист за листом, документ за документом заманивали меня дальше и дальше в эти бумажные катакомбы, где уже блуждал не один человек...

* * *

За два дня прочитал первый том, и удивительно... Тайна открылась. Даже не верилось: да так ли это? Все оказалось куда проще всего того, что городил я в бедной своей голове, строя разные предположения о непостижимости дела. Мое предчувствие полностью оправдалось — человек невиновен. А тот, кто совершил преступление, довольно легко ускользнул от суда и ответственности. Произошла страшная ошибка, произошла, как видно, потому, что дело читали не с начала, а с конца. Все доказательства против Телепина были собраны во втором томе, а первому не уделили должного внимания. А в нем-то и была разгадка. И я с благодарностью вспомнил о человеке, посоветовавшем мне читать книгу с начала, с заглавия.

Я торжествовал. Да и как не торжествовать при такой удаче. Вспомнил, с чего началась эта история и то, как тянулся ко мне этот парень, поверив дедовой сказке, что и у него, безродного, есть сильные заступники. А я-то называл его за это глупым... Вот так живет человек и не знает, что где-то кто-то верит в него как в свое спасение.

Я шел из суда в гостиницу. Такой он был хороший, тот вечер. Разгоряченный, я даже расстегнул пальто, и мне странно было видеть, что другие все еще кутались потеплей, будто не очень верили весне. Город готовился к первомайскому празднику — все было в кумаче, играла музыка. Вот таким светлым всегда, наверно, кажется мир удачливым людям. Что-то приснится ему в эту ночь? — подумал я о парне. А как он обрадуется, когда получит письмо. Месяца через два вернется домой, сгладится пережитое, и снова обретет веру в людей, в правду, без чего человеку не обойтись...

Вспомнил жену — необыкновенная она у меня женщина: сразу сказала — страдает он зря, и воодушевила меня на этот шаг. И даже денег не пожалела, хотя и не было лишних. Нет, у женщин чутье тоньше, нежней, любовь бескорыстней. «Я бы на твоём месте рискнула, — сказала она. — Ведь с ума сойдешь от счастья, если удастся его выручить». И если на самом деле удастся — заслуга ее, а не моя.

Зашел на телеграф и дал ей телеграмму: «Нашел. Порадуйся вместе со мной».

А нашел я в первом томе вот что.

17 июля 1957 года в лесной поселок Медвежий, в Сибири, пришел эшелон с молодыми рабочими, завербованными на лесозаготовки. Расквартировали их в палатках на пустыре. На следующее утро с соседней станции железной дороги пешим порядком пришла вторая группа вербованных и присоединилась к прибывшим накануне. Не-

подалеку от палаточного городка было огорожено небольшое поле, названное стадионом, где местная молодежь собиралась по вечерам на танцы. Танцевали обычно под гармошку, в темноте, так как электрического освещения в поселке не было.

Для местных девушек прибытие вербованных было целым событием: столько ребят приехало, свои уже надоели, будет большой выбор женихов, больше веселья по вечерам. Но начальник железнодорожной милиции по-своему воспринял пополнение жителей поселка. Он в срочном порядке провел совещание личного состава, усилил ночные наряды, чтобы уберечь общественный порядок. И не уберег.

Танцы в тот вечер были особенно многолюдными, на них пришли и вербованные со своим баяном. Начались они рано, засветло, и девушки были нарасхват. Не устояли от соблазна и две подружки — шестнадцатилетние школьницы Даша и Оля. Они явно увлеклись, не рассчитали времени и пробыли на танцах до конца, до полуночи. Ночь была темной, луны на небе не было. Вышли они из ворот стадиона и поспешили домой. Но тут какой-то парень преградил им путь. Оля узнала его по голосу, по манере вести себя. Он несколько раз подходил к ним и набивался со знакомством, совал руку и называл свое имя — Слава. Девушкам он не понравился, и они не захотели с ним знакомиться. Тогда он, наверно, решил поговорить с ними после танцев. Однако и тут у него не получилось — школьницы убежали. Но он не отстал — подождал товарища и направился следом за ними. Оля оглянулась в темноту и шепнула подружке: «Уходи скорей, за нами идут!» А сзади уже замаячил какой-то парень и молча зашел с правой стороны. Девушки ускорили шаг и, дойдя до перекрестка, бросились бежать в разные стороны, каждая к себе домой. Но убежать им не удалось. Один из них погнался за Дашей, догнал ее и снова стал приставать. Это был тот самый Слава, который весь вечер приставал к ним. Боясь худшего, она решила уступить и назвала вымышленное имя, все время порываясь уйти от него. А поселок уже спал — была полночь и не светило ни одного огонька. Дашин дом стоял в конце улицы, а там уже тайга, и легко представить, в каком она положении оказалась. Наконец она поравнялась с крыльцом и во весь дух пустилась бежать от своего преследователя. Но тот настиг ее, подставил ногу и повалил в канаву. Даша была спортсменкой и стала отчаянно сопротивляться, кричать и звать на помощь. Насильник пытался зажать ей ладонью рот, но она изо всей силы укусила ему до крови палец. Тогда он стал ее бить, и девушка потеряла сознание...

Со второй школьницей, к счастью, все обошлось благополучно. Незнакомый догнал ее, назвался Кузьмой, сказал, что они вербованные, приехали на лесозаготовки, и проводил ее до дома. Вел он себя хорошо, и они познакомились. Закуривая папиросу, Кузьма зажигал спичку, и Оля хорошо разглядела своего «проводжатога».

Таковы обстоятельства дела. К нему причастны всего лишь четыре человека: две школьницы Даша и Оля и два парня — преступник по имени Слава и Кузьма. Судя по тому, что Кузьма при знакомстве с Олей сказал, что они вербованные лесорубы, были основания полагать, что ребята знали друг друга.

* * *

О ночном нападении на школьницу почти тут же стало известно, и начальник железнодорожной милиции немедленно принял меры к розыску и задержанию преступника. Переговорив с потерпевшей и ее подружкой, он выяснил некоторые подробности и составил довольно выразительный портрет преступника: «Рост средний, лицо круглое, подбородок узкий, нос длинный и горбатый — крючком, а на нем бли-

же к кончику выделяется какая-то шишечка. Зубы редкие и гнилые, вроде бы перевернуты. Волосы черные. Ладонь широкая, а пальцы короткие и толстые. Один из них укушен до крови. Преступник был в трезвом состоянии. От его одежды сильно пахло бензином».

Не было еще и шести часов утра, как весь палаточный городок был поднят на ноги. Но увы! Человека с травмой ладони среди присутствующих не оказалось. Дашина подружка шла по рядам лесорубов, смотрела каждому в лицо и на вопрос начальника милиции, он или нет, отрицательно качала головой.

Тут же было выяснено, что основная масса людей была на месте, кроме шоферов и грузчиков, уехавших в лес накануне вечером.

На осмотре и опознании был и Телепин. Пальцы на его руках не были повреждены, а его внешность не имела даже отдаленного сходства с внешностью парня, пристававшего к девушкам на танцах. И естественно, школьница Оля на свежую память не остановила на нем своего взгляда. С работой автотранспорта Телепин не был связан, и от его одежды не могло пахнуть бензином. Все это указывало на то, что преступник по имени Слава и Костя Телепин — разные люди.

О ш и б к а с л е д о в а т е л я

На другой день в поселок Медвежий приехал старший следователь районной прокуратуры по фамилии Закрута, принял дело к своему производству и тут же один за другим сделал два таких серьезных промаха, сразу сбив себя с толку. Оставив без внимания такую важную с точки зрения розыска улику, как до крови укушенный палец, он решил искать преступника среди лиц, которые могли называть себя сокращенно Слава. Выявить их не составляло большого труда: достаточно было просмотреть списки лесорубов, на которых пало подозрение, как стали бы известны эти люди. Но тут словно кто нарочно спутал ему карты. В деле подшит удивительный документ, прямо указывающий на тот самый промах, который и привел к столь печальным последствиям. Это был очень короткий запрос начальнику лесозаготовительной конторы: «Прошу вас срочно сообщить фамилии лиц, которые имеют имя Вячеслав или Владислав».

Ответ поступил в тот же день, в нем значились фамилии двух Вячеславов и двух Владиславов. Эти четверо немедленно предстали перед потерпевшей и ее подругой. Но опознаны не были. Тогда следователь делает в высшей степени странный вывод: Слава есть имя вымышленное, указывающее на то, что преступник шел на заранее обдуманное преступление.

Я читал эти бумаги и кипел от досады. Ведь, кроме означенных двух имен, есть еще много других, от которых сокращенная форма — Слава: Ярослав, Святослав, Станислав. Все лица, носящие такие и подобные им имена, с первого дня расследования остались вне подозрения. С этого и началось...

Я сразу вспомнил одно из писем Телепина, тут же нашел его и прочитал:

«Я тебе, кажись, уже писал, что получил в колонии письмо без подписи и обратного адреса. В нем написано, что преступником был лесоруб нашей конторы — С т а н и с л а в Пустырев. В тот вечер он со своим другом Кузьмой Воронковым был на танцах, а после танцев пошли бродить по поселку и напали на двух девушек. Славка натворил, а Кузьма его скрыл. Они были друзья, вместе работали на прежнем лесозаготовке. А потом наклепал на меня. И еще этот человек написал мне в письме, почему не удалось сразу поймать этого Славку. Рано утром он уехал на машине в лес, и у него на руке видели завязанный палец. А когда пришла милиция, он уже улизнул...»

И имя Слава, и завязанный палец, и запах бензина от одежды... Все точно совпадало с показаниями девушек. И окажись следователь немного подогадливей и вовремя сообрази, что, кроме Вячеславов и Владиславов, в природе существуют и Станиславы, в тюрьме сидел бы тот, кому следовало. Да и сколько еще натворил он бед, оставаясь на свободе...

Глава 9

А во втором томе прежней версии не было и в помине: следствие пошло по иному пути. Вот я встретил имя Телепина и сразу почувствовал, что порадовался рано: не надо было мне спешить с выводами и тем более посылать жене победную телеграмму.

С каждым новым прочитанным документом второго тома обвинение против Телепина нарастало и тревога моя усиливалась, при этом я никак не мог добраться до показаний Бориса Желтухина. Внимательно читал я лист за листом, стараясь понять, что же произошло с моим парнем. Как могло случиться, что все вдруг обернулось против него, обернулось с такой силой, что и до сих пор нельзя в этом разобраться. Что это были за факты, которых он так испугался, говоря, что они выше человека?..

Я кое-что прочитал между строк «чистого криминала», и скоро мне стало ясно, как это получилось.

Телепин отслужил, мечтал учиться, хотел немного заработать и завербовался на лесозаготовки. Все нормально — вполне человеческие желания. Стал работать — все шло хорошо. Познакомился с девушкой из чайной, дружили, ходили на танцы. Дружба крепла, им хотелось подольше побыть вместе — стали задерживаться на крыльце, а затем уходили на бревна, подальше от дома. Наверно, что-то говорили, что-то обсуждали, а то и просто сидели молча и вздыхали. А однажды просидели они на бревнах до двух часов ночи. Что уж произошло между ними, точно никто не знает: то ли Таня слишком много ему позволила, то ли Костя, ошалев от чувств, слишком много вообразил... Девушка вырвалась из его объятий и пошла домой. Но парню не хотелось расставаться. Он попытался удержать ее за рукав пальто, которое было расстегнуто — дело было летом, — потянул к себе, и оно соскочило с ее плеч. Девушка ушла, а парень остался. Таня стояла в сенцах и ждала, когда он принесет пальто, а Костя сидел на бревнах в расчете на то, что она вернется. Но она не вернулась, и тогда он сам пришел на крыльцо и стал ее звать. Она вышла, и они тут же помирились.

Вот и вся эта история, совершенно обычная и ничем не примечательная. И вряд ли кто мог подумать, что она таит в себе такую беду.

В то же самое время неподалеку от них сидела в темноте вторая пара — тоже официантка чайной со своим парнем. Она все слышала и утром перед работой в присутствии официанток и буфетчицы стала потешаться над Таней, да еще с прикрасочкой. Таня была по возрасту самой младшей, а над младшими всегда потешаются. Ну потешились бы, да и только, если бы, на грех, не подошла к ним заведующая чайной, молодая одинокая женщина, у которой стоял на квартире незадачливый следователь. За два месяца пребывания в поселке он так и не сумел найти преступника по имени Слава. Были уже упреки со всех сторон, недовольна была и хозяйка своим квартирантом, которому предстоял уже отъезд домой: командировка его кончалась, а никакой остротки этим «вербачам», как называли слонявшихся по вечерам по поселку вербованных, не было сделано. Эти два месяца она чувст-

вовала себя как за каменной стеной, и отъезд следователя ее пугал. Возможно, что именно это и заставило ее рассказать ему слышанный в чайной разговор с теми, понятно, «подробностями», мимо которых следователь не мог пройти. Когда же днем позже он вызвал для объяснения самую младшую из официанток, Таня показала следующее: «Из одежды у меня ничего не было порвано... У меня на теле никаких следов — синяков, царапин или других повреждений — не было... Когда мы с ним сидели на крыльце и на бревнах, то он брал меня только за груди... Я не хочу, чтобы Телепина привлекали за это к уголовной ответственности, так он мне ничего не сделал. Никакого заявления я по этому поводу писать не желаю и не буду».

Если принять во внимание, что возбуждение подобного рода дел происходит не иначе как по заявлению потерпевшей, если она совершеннолетняя, то естественно, что вызывать Телепина следователь не стал. Но в поселке уже пошли разговоры и об этом новом «нападении» на молоденькую девушку, слух разрастался, и укротить его было уже невозможно. Население возмущалось: первое преступление осталось ненаказанным, а тут и второй случай... В район посыпались жалобы. И новое «дело» было возбуждено...

В поселок приехал помощник районного прокурора и сам занялся проверкой материала. На Телепина затребовали характеристику, и дело безусловно было бы прекращено. Но тут произошло то, чего, наверно, никто не ожидал. К прокурору пришел лесоруб Кузьма Воронков и принес заявление. Это был тот самый Кузьма, который два месяца назад вместе с преступником по имени Слава после танцев погнался за школьницами Дашей и Олей, проводил Олю домой и позже был опознан ею. Сначала на вопрос следователя, кто был второй парень по имени Слава, Кузьма показал: «Второго парня не знаю и узнать не могу, так как видел его короткое время — я догнал их около перекрестка. Ночь была темной и безлунной, и находился он от меня на большом расстоянии, он шел по другую сторону девушек. Рабочие были набраны в разных местах, съехались из разных пунктов, и мы еще не познакомились...»

Следователь тогда оставил его в покое. Когда же распространился слух, что Телепин хотел обесчестить официантку Таню, Кузьма изменил свои показания. В деле лежит новое заявление, написанное его рукой:

«Прежние мои показания прошу считать недействительными — они неправильные. Я знаю, кто был преступник. Тогда говорили, что имя его Слава. Это неверно. Имя его Константин Телепин. До этого случая Телепина я не знал и никогда не видел. Он, наверно, тоже меня не знал. Я не хотел его выдавать, потому что пожалел. Теперь я решил сказать правду. В ту ночь, когда я вышел с танцплощадки, то метрах в 25—30 от меня увидел двух девушек и одного парня. Мне стало очевидно, что один идет с двумя, и я решил их догнать. Я догнал их около перекрестка и зашел с левой стороны. Рядом со мной шла девушка, которую я проводил домой, а рядом с ней шла вторая, имя которой я не знаю, а крайний справа шел Телепин. Мы все четверо шли в один ряд. Идя сбоку, я смотрел на него и личность его запомнил...»

Вот эта фраза и решила судьбу Телепина. Его немедленно арестовали и предъявили тяжкое обвинение. Все получилось очень правдоподобно: Телепин и Воронков до этого случая не знали друг друга, личных счетов у них не было. На первом допросе Кузьма покрыл его, потому что «пожалел», а спустя два месяца решил сказать «правду». Кому же запрещается говорить правду!..

И пошло... Телепин так растерялся, что ничего толкового в свое

оправдание сказать не мог. Он пытался вспомнить, где был в тот вечер — два с лишним месяца назад, — называл имена каких-то ребят, но те не подтвердили, и следователь уличил его во лжи. Затем ему вдруг показалось, что он был на танцах и возвращался домой с ребятами из своей палатки и даже нес баян, принадлежащий одному из них. Следователь проверил, и... опять ложь. Парень явно путал, потом стал дерзить и наконец совсем отказался разговаривать. «Я невиновен, — заявил он, — и никаких показаний давать вам не буду. А если у вас есть право — судите меня».

Это был тот самый Телепин, характер которого проявился еще в армии. Он не понимал, в какое невыгодное положение ставил себя этой глупой выходкой...

И я уже терял терпение: да где же наконец показания Желтухина? Ведь он уверял меня, что его целый месяц на допрос таскали. Ведь ради этого я и поехал сюда.

Наконец-то Телепин вспомнил, где он был в тот вечер 19 июля. И передо мною открылась желанная страница — показания Бориса Желтухина, данные им в защиту своего товарища. Я не читал, а по-жирал каждое слово. Можно было удивляться, насколько свежо сохранился у Желтухина в памяти весь этот эпизод. Нет, он не лгал. Не может человек столько лет помнить ложь. Долго живет только правда, а у лжи век короткий.

«18 июля утром я вместе с группой вербованных пришел в поселок Медвежий с соседней станции железной дороги, — показал Желтухин на следствии. — Шли всю ночь по таежному бездорожью и очень устали. И сразу же как пришли, повалились спать. Проспали весь день. Разбудили нас только на ужин. Я поужинал и опять лег спать, так как почувствовал недомогание. 19-го утром я встал уже с повышенной температурой, думал, что за день разгуляюсь, но к вечеру температура поднялась. Мне посоветовали использовать народное средство — на ночь как следует выпить. Я пригласил Телепина, и мы перед ужином пошли с ним в чайную: выпили, показалось мало. А чайная в десять часов вечера закрывалась, и нам пришлось отправиться в железнодорожную столовую, которая работала круглосуточно. Там еще посидели, добавили и около двенадцати часов ночи пошли домой. Телепин сильно захмелел и с трудом дошел до палатки. Но выпитая водка мне не помогла. На следующее утро поднялась температура, и меня направили на стационарное лечение в леспромхозовскую больницу».

Тут же была подшита к делу справка: «Рабочий Желтухин поступил на излечение 20 июля в 10 часов утра».

Два человека — Кузьма Воронков и Борис Желтухин — дали совершенно разные показания по одному и тому же делу. Но свидетельство Желтухина появилось в очень невыгодное для Телепина время, когда он окончательно запутался в своих показаниях, нагрубил следователю и испортил о себе впечатление. Видно, поэтому, подумал я, показания Желтухина не возымели действия. И я уже готов был ополчиться против такой необъективности, как следующий документ срзил меня, что называется, наповал. Это был протокол очной ставки Телепина с Желтухиным в присутствии какого-то лесоруба. И тут выясняется интересная вещь: приятели-то, оказывается, «лечились от простуды» в столовой не 19 июля, когда произошло преступление, а 18-го. В подтверждение этого факта под протоколом стоят их подписи. И Желтухин выбыл из игры.

Это было так неожиданно и так невероятно, что сразу-то я даже не сообразил что к чему и стал читать протокол второй раз. Все верно: оба согласились, что в столовой они были не 19-го вечером, а 18-го;

Я был ошеломлен — не самим, конечно, фактом, нет, от него никуда не денешься, а поведением этого человека. Более глупого положения, в каком я оказался, трудно было представить. Какую же злую шутку сыграл со мной этот Желтухин! Как я мог поверить рассказам человека, которого совершенно не знаю, и очертя голову мчаться в Сибирь! Потерять время, израсходовать последние деньги, обнадежить парня и заставить его снова хлебнуть горечь разочарования. Какой же я проstack, ругал я сам себя и от злости кусал губы. Вот оно, наше растяпство! Говорил же мне Косоворотов: «Лезть в дело и копаться в бумагах нет смысла». Вспомнил и разговор с работником Верховного Суда, когда я рассказал ему о встрече с бывшим лесорубом. «Ведь семь лет прошло,— сказал он мне откровенно,— многое и забыто. Возьмут объяснение этого человека, сделают поручение прокурору по месту осуждения, сверят с делом — и ничего не подтвердится». А я еще усомнился: почему же, спрашиваю, не подтвердится? «Да потому что в деле безусловно есть документ, опровергающий эти показания...»

И что ж! Такой документ действительно есть. То, на что я рассчитывал по пылости своего наивного воображения, не подтвердилось. Но Желтухин-то, Желтухин! — кипел я от негодования. Уж если он до малейших подробностей помнит все, что происходило с ним оба эти дня 18 и 19 июля, то как же он мог забыть об очной ставке со своим приятелем? Ведь он же уверял меня, что не видел Телепина с того момента, как его арестовали. А выходит, что видел, да еще на очной ставке. Он говорил мне, что его целый месяц на допрос таскали, тогда как в деле всего лишь один протокол с его показаниями. Кто же тянул его за язык? Вот как верить людям.

А дальше уже читать не хотелось. Прочитал еще один очень-очень веский документ против моего парня — лабораторный анализ крови. Его кровь оказалась одной группы с кровью преступника. И даже младшая из официанток чайной, Таня, которая два месяца назад наотрез отказалась подать на Телепина заявление, не хотела, чтобы его судили, потому что он ей ничего плохого не сделал, теперь пришла к следователю и написала собственной рукой буквально полторы строчки: «Прошу привлечь Телепина к уголовной ответственности, так как чувствую себя оскорбленной».

Так появилось второе тяжкое обвинение — «покушение на изнасилование официантки чайной».

Администрация лесочастка тоже поспешила отмежеваться от Телепина и дала на него незаслуженно плохую характеристику: это, дескать, не наш кадровый рабочий, а сезонник, да еще безотцовщина, что от него ждать хорошего. «В бедного Ванюшку полетели камешки». И наконец в деле подшит самый важный документ обвинения — протокол опознания личности. Потерпевшая твердо опознала Телепина...

Затем я прочитал обвинительное заключение и протокол судебного заседания. Чувствовалось, что стороны неравносильны: прокурор все время оперировал доказательствами, а адвокат был как-то пассивен и суд постепенно склонился на сторону обвинения.

В обвинительной речи прокурор охарактеризовал Телепина как преступника-рецидивиста, личность крайне опасную для общества, и присил суд осудить его на пятнадцать лет.

Читаю выступление адвоката. Оно очень короткое, но смелое: «Граждане судьи! В меру моих возможностей я ознакомился со всеми документами, добытыми на предварительном следствии, внимательно слушал выступления участников процесса, в результате чего я позволяю себе утверждать, что в распоряжении суда нет ни одного сколько-нибудь убедительного факта, доказывающего вину моего подзащитно-

го ни в одном из предъявленных ему обвинений. А поэтому прошу суд самым внимательным, самым критическим образом отнестись ко всем собранным по делу доказательствам...»

Последнее слово подсудимого было еще короче: «Я не знаю, за что вы меня судите, я невиновен и прошу освободить меня».

Прочитал приговор суда. В нем говорилось, что подсудимый Телепин в первом преступлении — в попытке изнасиловать официантку чайной — признал себя виновным, а во втором — в изнасиловании шестнадцатилетней школьницы — хотя и не признался, однако суд нашел его вину вполне доказанной как материалами дела, так и показаниями самой потерпевшей, которая его твердо опознала.

Телепина осудили на пятнадцать лет. Жалоба адвоката была всего лишь на двух страничках и не производила серьезного впечатления. Областной суд отклонил ее и приговор оставил в силе. С этого момента убеждение адвоката в невинности человека стало его частным делом. И наконец — Определение Верховного Суда на жалобу осужденного, поданную им из колонии. Верховный Суд хотя и снизил ему срок наказания до восьми лет, однако вину его в обоих преступлениях нашел доказанной.

* * *

Так сложилась версия обвинения. Стало наконец понятно, почему это дело прошло таким тараном через все судебные инстанции. Все, что удалось мне откопать в первом томе в защиту моего парня, сразу как-то померкло, и я остался ни с чем.

Узнал и еще одну неприятную для себя вещь. Тот самый следователь, который шесть лет назад вел дело Телепина, стал теперь прокурором области... Руки у меня опустились, и я упал духом.

* * *

Спал я в ту ночь мало и много передумал. Какой сложной стала жизнь! Образованность обязывает к гуманности. А иначе какой смысл всякого образования. Мучила мысль: адвокат оставил в беде своего подзащитного. Получил деньги, те самые гроши, ради которых парень остался на сезонке, произнес смелую речь и отступил. А как же дальше? Дальше-то как? Денег у парня нет, родителей нет, грамотешка слабая... А я-то уверял жену, что такого не может быть, никто не решится на такой шаг — оставить человека в беде. А выходит, что и так бывает. Что-то уж очень сложно, не понять мне, наверно. А может быть, я усложняю? Возможно, я не прав. Ведь есть границы обязанностей по службе, та самая емкость, тот самый пай, что мы вносим за наше участие в жизни. Чего же еще?.. Да, верно. Все верно. Но вот вопрос: а вдруг есть что-то еще за этими границами? Есть или нет? Вдруг наш пай окажется мал — что тогда?.. Лучше не касаться этого, запутаешься. Рассуждай теперь сколько хочешь, все уже случилось, и очень давно: докажи попробуй! А тут еще как нарочно: бывший следователь очень успел по службе и стал прокурором области. Человек он, видно, сильный. Затрагивается личный престиж — кому он не дорог?

Боже мой, как все сложно завязалось, столько узлов. Не развязать, не разрубить...

* * *

Поезд отходил в полдень, и у меня оставалось немного времени, чтобы осмотреть город. Я встал пораньше, расплатился с гостиницей и отвез на вокзал свой чемодан. Затем решил походить по городу. А у самого на душе камень. За ночь немного прошел вчерашний шок, вызванный напором «улик» против моего парня, и снова полезли в голову

разные мысли. Я никак не мог понять, зачем Телепин упрашивал крестную мать разыскать в Москве этого Желтухина, если оба они на очной ставке согласились, что в столовой были не 19, а 18 июля? Неужели они оба забыли об этом? И как Желтухин мог теперь заявлять мне без каких-либо колебаний, что Телепин тут ни при чем? И наконец, зачем понадобилось следователю вводить этого Желтухина в заблуждение, что Телепина освободили и он уехал домой? Откуда вся эта несурязица? Да и как вообще могло возникнуть это нелепое обвинение? Как могли опознать человека, внешность которого не имеет даже отдаленного сходства с внешностью преступника?.. И я опять вышел из равновесия. Нет, тут уж не до осмотра города. Я ускорил шаг, остановил такси и помчался в областной суд. Вбежал на второй этаж, времени у меня мало, в полдень поезд, а мне еще надо купить билет. Секретарь суда удивленно смотрит на меня:

— Что-нибудь забыли?

— Да,—говорю,— не уточнил одну деталь. Дайте, пожалуйста, дело.

Мне было необходимо сопоставить два документа и понять — какому из них верить? Один из них находился в первом томе, другой во втором. Оба относились к одному и тому же — опознанию личности преступника. Один был в пользу Телепина, другой против него.

Беру первый том и нахожу этот документ. В самом начале расследования, всего лишь через несколько дней после происшествия, следователь вызвал буквально всех проживающих в поселке лесорубов, показывал их группами в пятнадцать—двадцать человек и каждый раз задавал девушкам вопрос: «Есть среди них преступник?» В одной из таких групп был и Телепин. Под протоколом написано: «В данной группе преступника нет». И следовали подписи потерпевшей и ее подруги.

Спустя два месяца после того, как лесоруб Кузьма написал на Телепина заявление, появился второй протокол опознания личности. Положенный затем в основу обвинения. Нахожу его во втором томе. Выглядит он так: в верхней части листа наклеены четыре фотокарточки размером шесть на девять сантиметров и на каждой стоит круглая гербовая печать, как на удостоверении личности. Следователь ссылается на статью закона, будто бы так можно: никакие сомнения в правильности его действий не должны возникать. Эти фотокарточки были предъявлены потерпевшей. В конце протокола написано: «Изображение под номером три похоже на того человека, который совершил преступление...»

Два документа. Какому из них верить? Судебные органы поверили второму, и я оказался перед трудным выбором. Согласиться с обвинением — значит, признать Телепина преступником, оставить все хлопоты о нем и спокойно возвращаться домой.

Если же вопреки всему отдать предпочтение документу из первого тома, тогда, естественно, последний протокол опознания надо поставить под сомнение. Но как это сделать? Вот он, весь передо мной, признан людьми ответственными и знающими, не мне чета. И заблуждение исключалось — столько людей не могло заблуждаться. Оставалось лишь одно — усомниться в самом себе: увлекся, затаил мечту и уверовал... в то, чего нет. И если бы не сбил меня этот Желтухин, ни за что бы я не рискнул на такой шаг.

И тем не менее что-то во мне сопротивлялось такому ходу мысли, словно я с кем-то устраивал торг за спиной бедняги Телепина. Гляжу, не могу оторвать глаз от листа с четырьмя фотографиями и все-таки не понимаю: зачем они тут, если речь идет об опознании личности?

Изучая дело, я уже знал, что до Телепина подозрение падало еще

на двоих. Как-то потерпевшая прибежала к следователю и рассказала, что видела преступника: это был шофер грузовика, проехавшего по улице. Шофера сняли с машины, продержали несколько дней под арестом, а когда представили для опознания, то Даша и Оля не признали в нем преступника.

Был и другой случай. Следователь вдруг узнал о таинственном исчезновении одного из вербованных, по описанию очень похожего на парня по имени Слава. Объявили розыск, вербованного нашли и привезли в поселок. Но школьницы опять сказали, что это не он. Самому мне всегда казалось, что опознать личность можно, только глядя на человека. Я не мог понять, почему для Телепина избрали метод опознания с помощью фотокарточек. В юности я очень увлекался фотографией и знаю ее возможности. Ни за что я не взял бы на себя утверждать, что человек и его фотография — одно и то же.

Бросалась в глаза и еще одна странность: на трех фотографиях были явные блондины с короткими носами — карточки получились серые, изображения нечеткие, тогда как фотография Телепина была очень резкой, отпечатана на контрастной бумаге, в результате чего он получился ярко выраженным брюнетом. Но смысл до меня все еще не доходил — меня лишь удивляло плохое качество снимков, предназначенных для такого важного дела.

Стал снова рассматривать карточку Телепина. Затем достал из портфеля четыре его фотографии, привезенные из Москвы. Гляжу на них, сличаю, но не нахожу между ними сходства. На тех, что были у меня, нос у парня не длинный, нормальный, даже немного укороченный, прямой. А на карточке в деле он совсем другой — длинный, с утолщением на конце, будто неопытный фотограф фотографировал с очень близкого расстояния и получилось искажение. Чувствую что-то не то, а уловить не могу. Голова пошла кругом: зачем эта канитель с фотографиями, когда Телепин находился тут же в милиции под арестом? Что же мешало следователю показать потерпевшей живого человека? И почему, наконец, столь различные снимки — три блондина и рядом один брюнет, он как нарочно выделен. Случайно это или нет?..

Время летит, до отхода поезда осталось немного, а я продолжаю ломать голову над загадкой следователя. И вдруг какой-то толчок... Да неужели?.. Преступник был брюнетом с длинным носом, и Телепин тоже. А остальные трое курносые блондины. На кого же девушке было обратить внимание, как не на этого «черного» парня. Значит, он и преступник. Хотел этого следователь или нет, но получилась подсказка.

Следующий документ полностью подтвердил мою догадку. В деле был подшит второй протокол опознания личности. На этот раз девушке показали не фотографии, а самих ребят в том же составе: трое блондинов, а четвертый брюнет. И она не задумываясь показала на Телепина, чью фотокарточку видела накануне...

Был во втором томе и еще один любопытный документ в пользу Телепина — показания начальника снабжения лесозаготовительной конторы. Я нашел этот протокол и сделал следующую выписку: «17 июля вечером я назначил Телепина в суточный наряд ответственным дежурным по пищеблоку. В течение 18 июля я его несколько раз видел. Сдал он дежурство после ужина». А в показаниях Желтухина ясно говорится, что пошли они с Телепиным в чайную перед ужином. Этому противоречию никто не придавал значения. Улики против Телепина были настолько велики, что о подобной шероховатости не стоило и говорить. Но я цеплялся за все, за что только можно было зацепиться, дабы честно отчитаться, по крайней мере перед самим собой, за свою необычную «командировку»..

Отдал дело секретарю, поблагодарил его, а он и говорит:

— Вами интересуется прокурор области. До него дошел слух, что вы приехали из Москвы, чтобы ознакомиться с делом, которое он вел много лет назад, будучи следователем районной прокуратуры.

— А почему же он интересуется? — спросил я и почувствовал, как где-то в душе заворочался страх. Боже мой, какое это гадкое чувство! Вот уж чего не подозревал за собой.

— Советую вам сходить к нему на прием, его кабинет внизу, под нами, — мучил меня секретарь.

Даже пот прошиб — стою, моргаю, не знаю, что сказать. А он в том же духе:

— Попросите его помочь разобраться. А то, я вижу, вы совсем запутались. Адвокату тут на полдня работы, а вы просидели четыре дня и вряд ли что поняли...

Нет-нет, думаю, скорей-скорей отсюда! И помчался на вокзал.

Глава 10

С тяжелым чувством сел я в поезд. Выводы, какие я мог сделать из своей поездки, не были утешительными. Кажется, я все больше и больше начинал понимать, что сунулся не в свое дело. Предстоял разговор с крестной осужденного, бедной доброй женщиной, возглавлявшей на меня такие надежды. Что я скажу ей? Что напишу Телепину? Расписаться в своей слабости и сказать, что правду доказать нельзя? Что я скажу жене после той весты, какую я два дня назад на радостях ей послал, — нашел, дескать, порадуйся... Теперь придется ее огорчить. Ей очень хотелось помочь парню. Но, пожалуй, еще больше хотелось увидеть меня в трудном деле. Я угадывал ее тайные мысли: представлялся случай увидеть меня в некоем и н о м свете, за пределами обычного, и сверить в душе, то ли ей грезилось в свою пору... Она еще верила в меня и многое упрощала. Ей казалось, что достаточно быть грамотным, чтобы во всем разобраться. Но разобраться — это одно, а доказать — совсем другое. Умение доказать — это и есть то искусство, то главное в адвокатском деле, о чем я не имею понятия.

Тяготило сомнение — словно я что-то проглядел, что-то ускользнуло от меня очень важное в этой куче бумаг, еще денек — и я нашел бы концы. Но теперь это «что-то» убежало от меня все дальше и дальше с каждым промелькнувшим телеграфным столбом. Временами хотелось сойти с поезда и вернуться назад, чтобы снова залезть с головой в это заколдованное дело.

Какой страшный поклеп на человека, а доказать нечем. Нет, надо что-то делать, искать, нельзя опускать руки. Надо снова проверить «все швы и заклепки», есть же тут слабое место...

Где тот поселок Медвежий? — мелькнула мысль. Далеко ли еще до той станции, откуда идет к нему ветка? Неплохо бы съездить туда и взглянуть...

И мысль лихорадочно заработала. Иду к проводнику, а он с фонарем мне навстречу. Спрашиваю его про станцию, от которой идет ветка на Медвежий.

— Да вот, подъезжаем к ней. Стоянка минута.

Даже оторопь взяла меня от неожиданности.

— Неужели от этой! Дайте скорей мой билет, я схожу.

— Тут у меня никто не сходит.

— Я до Москвы, но мне нужно здесь.

А поезд уже простучал по стрелкам и вильнул на боковой путь. Проводник недовольно проворчал, взял папку, вынул из кармашка би-

лет и сунул мне в руку. А дальше уже совсем бездумно забежал в купе, схватил чемодан, попрощался с попутчиками. А вслед слышу:

— Куда же вы?

Махнул рукой и выскочил из поезда.

* * *

По-местному десять вечера. Хлопьями валит снег, под ногами сыро. В пустом зале ожидания прочитал расписание поездов: в сторону Медвежьего будет не раньше полудня следующего дня. Сел на холодный вокзальный диван и только тогда подумал: зачем я это сделал? что даст мне эта поездка за триста километров от большака? что можно найти через шесть с половиной лет? Наверняка ничего не осталось.

Деньги кончались, кончалось и время — пора выходить на работу. Не лучше ли со следующим поездом домой?

На станции гостиницы не было. Устроился поближе к печке и малость вздремнул. Ночью прошел экспресс на Москву: тепло, уют, чистая постель... Нет, решено так решено. Добрую волю укрощать нельзя. Еду в Медвежий.

И через сутки уже был там.

Слабо светили электрические фонари, сумрак незнакомых улиц, деревянные заборы, настораживающая тишина, какая бывает в таежных поселках. Сдал в какой-то чулан свой чемодан на хранение, вышел из вокзала и спросил у местного жителя, где у них находится стадион.

— Да какой у нас стадион,— ответил он.— Там, у леса, летом ребята играют в футбол.— И указал рукой вдоль дороги.

Поселок оказался небольшим, очень скоро кончился деревянный тротуар, и я отчетливо услышал шум тайги. В конце улицы два вкопанных в землю столба и пустырь. Это и был тот самый «стадион», о котором упоминалось в деле. Стал я у ворот, оглядел поле и подумал: вот здесь все и началось...

Было уже поздно, погасло электричество, а я все продолжал стоять у ворот «стадиона». Но ничего не прояснилось, ничего не открылось. Продрог и отправился обратно на вокзал. Дошел до перекрестка, остановился — темь кромешная. Вспомнил слова лесоруба, давшего показания против Телепина: «В тот вечер, когда я вышел со стадиона после танцев, то метрах в 25—30 от меня увидел одного парня, идущего с двумя девушками. Мне стало завидно, что один идет с двумя, и я решил догнать их...» Ложь. Даже рядом ничего не видать.

Послышались чьи-то шаги по гулкому дощатому помосту. Это было так кстати, что лучше не придумать. Гляжу во все глаза: шаги приближались, а человека не видно. Наконец-то какой-то сгусток темноты придвинулся ко мне, поравнялись: гляжу ему в лицо — вот-вот, совсем рядом, едва ли не нос с носом, — но черт не различаю. Если бы завтра потребовалось его опознать, ни за что бы не смог.

Иду за ним, пытаюсь разговаривать.

— Ночь-то,— говорю,— какая темная.

— Да не ночь, а пропасть,— отвечает он,— без фонаря никак нельзя. Задержался у знакомых и забыл, что электричество в двенадцать гасят.

Он свернул за угол и исчез в темноте. И никогда, наверно, не узнает этот человек, какую неоценимую услугу оказал он мне, случайно задержавшись в гостях...

* * *

А через час я уже ехал домой. Ждать утра я не стал — боялся растерять ночные впечатления. Это была удача. Получилось нечто подоб-

ное эксперименту на опознание человека в темноте. Но, могут возразить мне, велика ли удача и надо ли ездить за триста километров, чтобы увидеть человека в темноте? Нет, для меня это была удача, хотя я даже не отдавал себе отчета, в чем именно она состояла. Мне сразу стало легче.

А когда пересел на московский поезд и вволю отоспался, то почувствовал себя способным разобраться уже в некоторых деталях. Сам собой напрашивался вопрос: если мне не удалось рассмотреть человека в темноте на таком близком расстоянии, то с какого же расстояния лесоруб Кузьма «видел незнакомого ему парня», если он твердо заявил на следствии: «Идя сбоку, я смотрел на него и личность его запомнил»?

Нашел выписку из показаний этого Кузьмы: «Я зашел с левой стороны, а Телепин шел крайний справа. Мы все шли в один ряд. До этого случая я Телепина не знал и никогда не видел. Он, наверно, тоже меня не знал...»

Сделал простой расчет: две ширины плеч школьниц шестнадцатилетнего возраста — девушки были спортсменки, рослые. Обычно в таком возрасте носят одежду сорок шестого — сорок восьмого размера, а это по ширине плеч тридцать шесть — тридцать восемь сантиметров. Я это знаю, потому что моя жена носит одежду такого же размера. К этому расстоянию я прибавил пятнадцать сантиметров — промежуток между подружками — и наконец пространство между девушками и незнакомыми парнями, не менее, конечно, четверти метра с каждой стороны. В результате получилось довольно внушительное расстояние для видимости в темноте — сто сорок один сантиметр.

Тогда же возник и второй, не менее важный вопрос: в течение какого же времени свидетель смотрел на незнакомого парня, если условно поверить, что в тот вечер он догнал девушек у перекрестка не со своим приятелем Славой, а с кем-то другим, незнакомым.

Нашел в своих выписках показания по этому вопросу. Школьница Оля: «Мы уже подошли к перекрестку улиц Пушкина и Ермака. Я хотела сворачивать к себе домой, как слышу, кто-то нас догоняет. Я оглянулась в темноту и сказала Даше: «Уходи скорей, за нами идут»...» Показания потерпевшей: «Нас догнали два парня около перекрестка...» Показания лесоруба Кузьмы: «Около перекрестка я догнал двух девушек и одного парня...»

Как видно, все трое утверждали один и тот же факт — свидетель догнал девушек около самого перекрестка, наверно, метрах в десяти — двадцати от него. На перекрестке девушки расстались и побежали домой.

Теперь необходимо установить приблизительное время, в течение которого лесоруб Кузьма шел вместе с девушками и парнем. Взял ориентировочно расстояние в двадцать метров, потому что «около перекрестка», значит, близко, рядом, посчитал время, необходимое для прохождения этих двадцати метров из расчета скорости пешехода пять километров в час, ведь девушки спешили уйти от своих преследователей. И получилось всего лишь четырнадцать секунд.

Но если учесть ту цель, ради которой парень догонял девушек, то надо полагать, что в центре его внимания была прежде всего та из них, рядом с которой он оказался. На нее он и смотрел, стараясь понять, какова она — хороша или дурна. Несомненно, он попытался разглядеть и ее подружку, чтобы сравнить, какая из них лучше, какое-то время смотрел себе под ноги, ведь ночь безлунная, а дорога незная, и наконец глянул на парня, шедшего по другую сторону девушек. Восемнадцать секунд следовало разделить на четыре объекта внимания. И получилось, что лесоруб Кузьма мог видеть «незнакомого ему

парня» в течение каких-нибудь трех секунд с расстояния в полтора метра. А если вспомнить, что ночь была темной, то станет понятно, сколь нелепо его утверждение: «Идя сбоку, я смотрел на него и личность его запомнил».

Если бы участвовавший в деле адвокат критически оценил эти слова, ему ничего не стоило бы убедить суд назначить судебный эксперимент на опознание человека в темноте. И ложь этого Кузьмы сразу бы обнаружилась.

Глава 11

Вернулся я домой полный решимости хлопотать за Телепина. Не очень уверенный в себе и для большей гарантии успеха я решил обратиться в московскую коллегия адвокатов с просьбой поручить дело одному из опытных юристов на общественных началах. Основания для этого были: средств у Телепина нет, сирота, сын погибшего за Родину, мать тоже погибла на лесозаготовках. И с юридической стороны, на мой взгляд, были некоторые основания для повторной жалобы в Верховный Суд. Но в то же время меня охватили сомнения: правильно ли я поступаю, если передам дело адвокату на общественных началах, достаточно ли он будет заинтересован в успехе? И хотя я слышал, что адвокатура успешно ведет подобного рода дела, сам я при этом боялся рискнуть: малейший неверный ход или недостаточное усердие могли испортить все начинание. Нахлынули на меня эти мысли и прямо-таки раздвоили: не получилось бы хуже, не промахнуться бы. В таких случаях, конечно, хорошо поговорить с опытными людьми — ум хорошо, а два лучше. Помню, как мой отец, простой мужик, никогда не начинал нового дела, не посоветовавшись с соседом или с кем-то другим. Запряжет, бывало, лошадь и скажет: съезжу я в такое-то село и посоветуюсь...

Моего однокашника Косоворотова в Москве не оказалось, и мне пришлось обратиться к другому моему однокурснику. Я знал, что он очень занят — работает над кандидатской диссертацией, — и все же я рискнул побеспокоить его. Рассказал о моих опасениях и попросил совета. Но вместо хорошего совета услышал такое, чего никак не ожидал. Из его слов получалось, что у меня вообще нет никаких оснований поднимать вопрос о пересмотре дела, так как я не прибавил ничего нового к тому, что уже известно.

Я, конечно, на дыбы.

— Как же, — говорю, — нет оснований, когда в деле столько прощух, изучали его с конца и многое проглядели, опознание вели по фотокарточкам. И если бы...

Но он не дал мне договорить и перебил:

— Да какая разница, как его изучали, с головы или с хвоста. Важны факты: вина осужденного признана доказанной высшей судебной инстанцией, весь материал проверен, взвешены все за и против. А ты вздумал копать: не с того конца изучали да не так опознали — плохие, видите ли, карточки наклеили. Какое это теперь может иметь значение?

Колотил он меня почему зря и с каким-то злом. Я пытался возражать, отчего он еще больше злился.

— Ерунда, ничего это не стоит, — отшвыривал он меня и загонял в угол. — За серьезные дела надо браться по-серьезному, а не так, с налету: съездил, прочел бумаги и открыл Америку. Так бывает только в кино... Ты меня извини, но я не могу иначе. Оставить тебя в заблуждении — это значит обречь на муки, заставить ходить по кругу. А я честно... тычешься, как котенок, лазейки ищешь... Несерьезно, понимаешь! Мышиная возня получается...

— Ну подскажи, за этим я и пришел к тебе.

— Подскажу. Надо расковать лесоруба. Тогда потянется и то, за что ты сейчас цепляешься. Вылезет натяжка, и все доказательства против осужденного перескочат из области достоверных в область вероятных. Качнутся весы, и, возможно — подчеркиваю: возможно, — Верховный Суд склонится к мнению направить дело на дополнительную прокурорскую проверку.

— А что его расковывать, этого лесоруба? Не так уж крепко он подкован! — горячился я. — Дело было ночью, а он разглядел все в какие-то считанные секунды.

— Значит, разглядел. Критерием истины в данном случае является внутреннее убеждение судей. Всем известно, какова видимость в темноте, однако его показания произвели впечатление. Зачем же ломиться в открытую дверь? О г о в о р — страшная вещь, и не такие, как ты, обкусывали локти.

— Ну хорошо, — говорю, — может быть, ты возьмешься?

— Об этом не может быть и речи. Прежде чем браться за такое дело, надо составить о нем свое собственное мнение. А это потребует больших расходов: самолет туда и обратно, суточные. Я только после этого могу сказать, есть ли смысл начинать. А наши мнения могут не совпасть, и тогда плакали твои денежки. Лично я не возьмусь за проигрышное дело. Ты, например, хлопчешь из каких-то побуждений, родственных или свойских, ну и хлопочи на здоровье. А для меня это работа, сдельщина, что потопашешь, то и полопашешь.

— Получается, что я зря затеваю?

— Ты просто заблуждаешься по неопытности. Не обижайся, конечно. Роль адвоката — трудная роль. И даже с опытом иной раз оказываешься в таком глупом положении, что не знаешь, куда деться. Никаких гарантий, я полагаю, ты не давал своему земляку?

— Нет, не давал.

— Вот это и важно. Ты понимаешь!

— Как не понимать...

Под конец разговора я спросил у него, что мне делать с тем материалом, который я привез из Сибири.

— Пока забудь о нем. Ищи любую возможность отместить показания лесоруба. На этом гвозде держится все дело. А иначе у тебя ничего не получится...

* * *

Ушел я от него в полном смятении. Я и сам понимал, что обвинение держится на показаниях лесоруба Кузьмы. Но мне казалось, что опытному человеку нетрудно будет разбить их, ведь они не выдерживали серьезной критики. Но получалось значительно сложнее.

Обращался еще к нескольким адвокатам — результат тот же, как будто сговорились: «Не открылось новых обстоятельств — нет и оснований обращаться с повторной жалобой в Верховный Суд».

Чувствую — вязну. Надо как-то выпутываться, и чем скорей, тем лучше. Решил писать жалобу сам с указанием в ней тех фактов, которые, на мой взгляд, заслуживали внимания. А там уж что будет...

Вскоре тут получил письмо от крестной, она спрашивала, есть ли надежда. Не знаю, что отвечать. Вслед за этим пришло письмо из колонии: писал, что ночей не спит и не переживет, если опять откажут. Письмо заканчивалось просьбой: «Постарайтесь, Алексей Семеныч, не бросайте меня!» Верит-то как, боже мой! Постарайтесь! А то я не стараюсь: наивный-то, как ребенок. И мне вдруг страшно стало обмануть его надежды. Бросил писать жалобу, решил повременить — подумать...

Прошла неделя, и ничего не придумал. Да и что можно придумать?

Прав адвокат: оговор — страшная вещь; страшная тем, что ложь обернулась истиной и спряталась за спину закона. И вряд ли тут что-нибудь поможет. А в тебя верят, считают тебя сильным. Какое нелепое положение! Как же в таком случае должен вести себя человек? Честно признаться, что ты совсем не тот, за кого тебя принимают, или попытаться пересилить себя и оправдать надежду людей?

Это были трудные дни...

* * *

Шел я как-то по улице Герцена мимо своего бывшего института, в помещении которого находится теперь юридический факультет Московского университета, и подумал: а что, если поговорить с кем-нибудь из преподавателей, из тех, у кого учился? Приду и все расскажу: одно дело мнение адвоката, а другое — ученого.

Так я и сделал. Пришел на юрфак, зашел в кабинет уголовного процесса и встретил там бывшего своего преподавателя, доцента Якубовского. Память о нем осталась хорошая, он всегда был внимательным, особенно к нам, фронтовикам, студентам-переросткам.

Рассказал я Якубовскому все подробно.

— А какова же была цель у этого свидетеля? — спросил он. — Возложить напраслину на человека решится не всякий.

— Есть, — говорю, — еще и такие, ходят по земле и не проваливаются. Дружка вытащил, а этого утопил. И не так что нечаянно, а нарочно.

— Что-то уж очень упрощенно: один оговорил, а другой не мог доказать своего алиби. Чего-то вы недоговариваете. Какие-то, наверно, более сложные обстоятельства определили исход. А то непонятно. Ошибка в субъекте преступления — самая неприятная ошибка: настоящий преступник не наказан, преступные действия не пресечены и могут продолжаться. Поэтому всегда, когда речь идет о человеке, отрицающем свое участие к преступлению, оценка доказательств производится особенно тщательно. Дело проверялось в Верховном Суде, компетентность его работников очень высокая...

— Ошиблись и они.

— Не знаю. Но если вы находите, вам следует доказать.

— Но как? Ведь семь лет прошло. А у меня нет опыта — уголовного дела ни разу в руках не держал.

— Вот уж с чем не могу согласиться. Опыт, понятно, имеет большое значение, но не менее важна и теоретическая подготовка. Вы окончили столичный вуз, учили вас неплохо, и это вас обязывает. Опытный адвокат скорей вас разберется в любом деле. Но он при этом ограничен во времени. А здесь-то, возможно, оно как раз и необходимо — нужны поиски, исследование. Вас же никто не торопит, никакими сроками вы не связаны, и никто не собирается давать оценку вашей работе. И уж если говорить об опыте, то вам он здесь необходим всего лишь в объеме одного конкретного случая. Поработайте как следует и найдете решение. Посоветуйтесь с криминалистами, почитайте труды старых и современных юристов, поговорите с учеными других отраслей знаний — возможно, и они подскажут. Дело это, как видно, не рядовое и стоит того, чтобы над ним поработать...

Совет, конечно, был общего порядка, и я спросил его о более конкретном: есть ли какой-нибудь смысл обращаться с повторной жалобой в Верховный Суд, если останутся непровергнутыми показания свидетеля, положенные в основу обвинения?

— Ни в коем случае! Идти с повторной жалобой в Верховный Суд имеет смысл лишь тогда, когда опровергнуты все пункты обвинения, не говоря уж о показаниях главного свидетеля. Их надо не просто опровергнуть, а отбросить начисто. Надо сказать что-то новое, пора-

зительное... Жалоба должна быть сильной. В противном случае она не возбудит к себе интереса...

Итак, я окончательно зашел в тупик. Сказать что-то «новое и поразительное» в оправдание человека я, конечно, не мог, я располагал лишь тем, что было в деле. Доцент Якубовский подтвердил мнение адвоката о слабости моей позиции. Правда, заслуживал внимания один его совет, брошенный как бы вскользь и не совсем уверенно, — обратиться к ученым других отраслей знаний. Заручиться поддержкой ученых очень заманчиво. Но как это сделать? И кто из ученых захочет связывать себя с судебным делом?..

Шло время. Опять было взялся за жалобу и опять бросил. И тогда стали мы с женой ломать голову над тем, как лучше сформулировать вопрос, который можно было бы задать ученым, если удастся встретиться с кем-нибудь из них. Мы понимали, что от самой его постановки зависит очень многое. А потому он должен быть возможно конкретнее и исходить из тех данных, которые имелись в деле. После долгих поисков нам наконец удалось подыскать подходящую формулировку. Выглядела она так: может ли человек, видевший незнакомое лицо в темную, безлунную ночь на расстоянии полутора метров в течение каких-нибудь трех секунд, запомнить его настолько, чтобы спустя некоторое время точно опознать его в дневных условиях? Если на этот вопрос наука даст положительный ответ «да, может», то показания главного свидетеля обвинения («Идя сбоку, я смотрел на него и личность его запомнил») опорочить нельзя, а следовательно, и нельзя доказать судебную ошибку. Если же на этот вопрос наука даст отрицательный ответ «нет, не может», тогда представится возможность просить Верховный Суд о вторичной проверке дела.

Все как будто верно: и сама постановка вопроса и дальнейшие в этом направлении рассуждения... Но где найти такое авторитетное лицо, которое захотело бы погрузиться в это дело?

Глава 12

Сама эта попытка осложнялась еще и тем, что я не совсем представлял себе ту область науки, которая могла иметь прямое отношение к моему вопросу. И порой натыкался на полное недоумение людей, к которым обращался.

— Помилуйте! — воскликнул один ученый. — Я совершенно не представляю, о чем вы говорите! Да и какое я имею к этому отношению?

Мне показалось, что он даже испугался меня, а когда пришел в себя, то очень рассердился. И уже из-за двери его кабинета до меня донеслись его слова, сказанные ассистенту: «Черт-те что творится! И чем только люди занимаются!»

И несмотря на это, я все больше и больше начинал понимать, что если и можно доказать столь давнюю ложь свидетеля, то не иначе как с помощью науки. Если человек, допустим, плохо ориентируется в темноте, то несомненно есть какие-то научные объяснения этому факту. Эти объяснения и хотелось узнать, но узнать не удавалось.

Как-то мы с женой поехали за город в гости к своему родственнику, инженеру Даурову, научному сотруднику одного из институтов. Я рассказал ему о своей неудаче, рассказал просто так, чтобы облегчить душу. Но, к моему удивлению, он назвал мне имя одного известного ученого, члена-корреспондента Академии наук СССР, профессора Кравкова, с которым, по его мнению, мне следовало встретиться и поговорить.

По правде сказать, тогда я не придавал значения этому совету, обращаясь к такому ученому было страшновато. И не окажись я в один из майских дней в районе Ленинского проспекта, я вряд ли воспользовался бы советом Даурова. Но проезжая в троллейбусе, я увидел в некотором отдалении особняк Президиума Академии наук. Немедленно сошел с троллейбуса и направился к особняку. В секретариате обратился к одной из сотрудниц:

— Как попасть на прием к члену-корреспонденту Кравкову?

Она заглянула в небольшую книжицу и с удивлением посмотрела на меня.

— К сожалению,— ответила она,— профессора Кравкова вы не сможете увидеть... Он скончался в пятьдесят первом году.

Мне не везло. Я спросил, где он работал, и мне назвали Научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца, где покойный профессор руководил лабораторией. Смутно я догадывался, что эта лаборатория и есть то учреждение, в котором я смогу получить ответ на мой вопрос. Но как идти к ним с таким деликатным делом? Мысль эта приводила меня в уныние. Я сразу же представил себе, какое вызову у них недоумение: почему, мол, к нам? Упаси нас бог от этого! Затем станут думать, как этого требует порядок: что ты за человек, внушаешь ли доверие, не проходимец ли какой? А зачем... Кто же знает, что будет затем?

И все же я решил съездить в этот институт.

* * *

На этот раз судьба, наверно, сжалилась надо мной: я попал на прием к очень отзывчивому человеку, главному врачу института, и рассказал о своей «болезни».

— Что ж, в принципе подход верный,— сказал он просто, по-деловому.

Еще сравнительно молодой, сухощавый, с острым смелым взглядом, он прямо-таки обласкал меня своими словами. Бывает же в человеке такой талант человечности.

— Если мы сможем помочь установлению истины, мы это сделаем с удовольствием.

И рассказал мне, как несколько лет назад ему пришлось выступать экспертом в суде в городе Владивостоке по делу капитана судна, сделавшего крупную аварию. Перед экспертом был поставлен вопрос: «Мог ли капитан не видеть предупредительный сигнал в темноте?» И я с радостью почувствовал, что наконец-то попал туда, куда мне было необходимо попасть.

Главный врач повел меня на второй этаж, в лабораторию физиологической оптики, поручив одной из научных сотрудниц заняться со мной. Я рассказал, зачем пришел. Но женщина настороженно глянула на меня и даже как бы плотнее уселась на своем стуле: мой визит был ей явно не по душе.

— А чем же я могу помочь вам? — спросила она.

— Опровергнуть показания свидетеля, они ложны. С тех пор прошло уже семь лет, и я не представляю, как это теперь сделать.

— И я не представляю,— ответила она.— Мы работаем в области зрения, а доказывать, ложь или не ложь, не наше дело. Есть Институт судебной медицины, им такие вопросы ближе, обратитесь туда, если вы считаете себя вправе оспорить какой-то факт. А мы если и даем какие-то заключения, то не иначе как по официальным запросам соответствующих учреждений.

Мне показалось, что она спешит выпроводить меня; вот, думаю, опять ниточка оборвется. И я прямо-таки взмолился:

— Доктор! Я пришел к вам за советом как к человеку, как к ученой. Этот парень мне такой же чужой, как и вам. Я никогда его не видел, а два месяца назад даже не подозревал о его существовании. Это глубоко несчастный человек. В детстве лишился родителей, а не успев встать на ноги, попал в тюрьму на восемь лет. В колонии ему еще пять прибавили. А на самом деле он невиновен. Поверьте мне, доктор! Не стал бы я помогать злодею. Вы только представьте себе — еще шесть лет!..

— Ну хорошо,— ответила она, несколько смутившись.— Все это, возможно, и так. Но какой же совет хотите вы получить от меня? У вас даже вопрос-то как следует не сформулирован.

— Вопрос сформулирован, только выслушайте, пожалуйста.

И я изложил ей мой вопрос так, как мы с женой его составили. Женщина опустила глаза и, немного подумав, сказала:

— Боюсь огорчить вас. Ваш вопрос носит настолько общий характер, что дать на него определенный ответ вряд ли возможно. И вот почему. В основе каждого научного исследования лежит конкретный факт или явление. В данном случае, как мне представляется, речь идет о физиологической способности субъекта к восприятию в сумерках окружающего мира. Но тут появляется масса неизвестных: во-первых, кто этот субъект — его возраст, его способность к темновой адаптации, характеризующей остроту ночного зрения; во-вторых, нам ничего не известно об освещении местности: было ли при этом искусственное освещение и какое, светила ли луна и тому подобное.

Я объяснил, что, согласно показаниям свидетелей, ночь была безлунной и темной.

— Это субъективные данные,— возразила она,— они подлежат проверке. Но дело даже не в том. Если бы такие данные и были, то все равно наша наука не может полностью ответить на ваш вопрос. Способность человека видеть, изучением чего занимаемся мы, это лишь часть проблемы, ее начальный этап. Понятия «видеть» и «опознавать» — разные вещи, и дистанция между ними огромная. Вы, чувствуете, совершенно не подготовлены ко всему этому.

Я, конечно, согласился, что для меня это все ново.

— Так вот, уважаемый, коль вы пришли за советом, могу сказать только одно: не надейтесь ни на кого. Постарайтесь хотя бы поверхностно, в той мере, в какой это касается вашего дела, ознакомиться с данными науки о зрении. И тогда вам многое станет ясно.

И она порекомендовала мне прочесть книгу покойного профессора Кравкова «Глаз и его работа».

— Это капитальный труд,— сказала она.— Для вас он, пожалуй, будет тяжел, поскольку вы не медик. Но при желании разберетесь. Обратите особое внимание на характеристику ночного и дневного зрения человека, на количество и качество получаемой нами информации при восприятии окружающего нас мира днем и ночью. Поройтесь в каталоге Ленинской библиотеки, и уверяю вас — вы там найдете для себя много полезного. Это будет самое правильное.— Она встала и протянула мне руку.— Дело это, чувствуется, интересное, тем более что вы свою защиту хотите строить на данных нашей науки. И мы будем очень благодарны, если вы не посчитаете за труд сообщить нам о результате ваших стараний.

Я поблагодарил ее и ушел. Консультация была очень полезной. Наконец-то я напал на верный след. То, что эта женщина посоветовала мне самому познакомиться с научной литературой, очень ободрило меня. Зачем бы ей советовать мне копаться в книгах, если бы в них не было ничего для меня полезного, подумал я.

Потерпи, Костя, потерпи, голубчик...

Глава 13

То, чего не сделал участвовавший в деле адвокат, пришлось делать мне — семь лет спустя.

Прежде чем браться за литературу о зрении, надо было уточнить один очень важный факт: действительно ли ночь с 19 на 20 июля 1957 года была безлунной и темной?

Какого-либо официального документа на этот счет к делу приобщено не было, а показания лесоруба Кузьмы весьма противоречивы. На первом допросе в качестве свидетеля он показал, что ночь была темной и безлунной и он не мог разглядеть второго парня по имени Слава, который совершил преступление, — он шел по другую сторону девушек. Теперь нам известно, что разделявшее ребят расстояние было в пределах полутора метров. А во втором томе было собственноручное заявление того же свидетеля Кузьмы, где он утверждал совсем иное: он вышел со стадиона после танцев и увидел впереди себя на расстоянии двадцати пяти—тридцати метров одного парня и двух девушек. Ему стало завидно, и он решил их догнать.

Напрашивался вывод: если свидетель не мог разглядеть человека на расстоянии в полтора метра, то бесспорно ночь была очень темной. Если же в полночь он имел возможность хорошо разглядеть на расстоянии в двадцать пять—тридцать метров впереди идущего парня и двух девушек, то ночь была очень светлой. В поселке в то время электрического освещения не было, и единственным источником света могла быть только луна.

Прискорбно, конечно, что дело читали не с начала, а с конца и столь грубое противоречие в показаниях главного свидетеля обвинения осталось незамеченным. Иначе вряд ли кто-нибудь решился строить на них такое тяжкое обвинение. Теперь же необходимо установить: что же было в действительности в поселке в полночь с 19 на 20 июля 1957 года?

Стал думать, есть ли где-нибудь такой источник, по которому это можно узнать, а если есть, то как его разыскать.

Начал я с Исторической библиотеки. Получив разовый пропуск, я направился в каталог. Две молодые сотрудницы сидели за столиками, а несколько читательниц — наверно, студентки — что-то выписывали из карточек.

Я подошел к одной из сотрудниц и спросил:

— Из каких источников можно узнать, была ли на небе луна в двенадцать часов ночи с девятнадцатого на двадцатое июля пятьдесят седьмого года?

Вопрос ее явно озадачил. Она как-то недоверчиво глянула на меня, стараясь, видно, понять, не шучу ли я. Уголки ее губ дрогнули.

— Луна? — переспросила она. — А зачем вам луна?

— Да вот, — говорю, — пишу стихи, хотелось бы знать, какой она была летом пятьдесят седьмого года.

Студентки, перебиравшие карточки каталога, услышав наш разговор, подняли головы и с нескрываемым любопытством оглядели меня. Краешком глаза я уловил, как одна из них ткнула пальцем в висок и небрежно крутанула, а ее соседки тихонько приснули и снова уткнулись в свою работу.

Сотрудница удалилась в соседнюю комнату и привела старшую. Та тоже не без недоверия оглядела меня и в свою очередь спросила, что мне надо. Я повторил свой вопрос.

— Назвать вам такую литературу трудно, — ответила она. — Может быть, вас устроит отрывной календарь за пятьдесят седьмой год?

Там обычно указывается время восхода и захода солнца и говорится о фазах луны.

Я написал требование и через полчаса получил из фонда отрывной календарь за 1957 год. Нашел июль: восход луны в 23 часа 20 минут и размер ее — последняя четверть. Иными словами, серп... Танцы в ту ночь закончились около двенадцати часов ночи. Обстановка полностью соответствовала показаниям лесоруба Кузьмы на первом допросе: «Ночь была безлунной». Но была ли она темной? Иной раз и луны нет, а небо чистое и яркость звезд на небе как бы рассеивает темноту. Меня интересовало, был ли облачный покров, от которого особенно темно. Не хотелось пренебрегать и этим.

Иду в газетный зал, заказываю газету «Сельская жизнь» за 20 июля 1957 года. Читаю сообщение бюро погоды и недоумеваю: в ночь с 19 на 20 июля, начиная от Прибалтики и сплошь до Урала и за Урал, через область, куда входит территория поселка Медвежий, прошли обильные ливневые дожди. Но в поселке не было дождя, об этом говорится в схеме места происшествия: «Земля была сухой». Кому же верить — был дождь или нет? Это очень важное обстоятельство. Если он был, то танцы не могли продолжаться до двенадцати часов ночи на открытом воздухе. Какая-то путаница: не кроется ли за ней что-нибудь важное? Надо обязательно уточнить, противоречий не должно быть.

Как-то поехал в Госарбитраж по делам службы и на обратном пути заехал в Институт прогнозов. После непродолжительного ожидания в приемной мне предложили пройти в кабинет заместителя директора. На табличке читаю: «Зам. директора профессор И. Г. Пчелка».

Небольшая комната, за столом, около окна сидит пожилой человек с усиками бабочкой. Знакомимся. Интересуюсь возможностью получить неофициальную справку: были ли осадки в поселке Медвежий, Н-ской области, в Сибири, в двенадцать часов ночи с 19 на 20 июля 1957 года?

Думал, что такой вопрос его обескуражит. Ничуть. Выслушал он меня, спросил, кто я и для какой цели потребовалась мне эта справка. Я пояснил, показал свой паспорт и доверенность осужденного. Ну вот сейчас начнет умно отказывать. Нет. Гляжу на него и вижу — не об отказе он думает. В глазах явное сочувствие и желание помочь. Ни слова он еще не вымолвил, а я уже знал, что не откажет.

— Такой информацией институт располагает, — сказал он несколько глухим голосом. — Но в данную минуту дать вам такую справку я не имею возможности: весь материал того периода находится в хранилище за городом. Если вас устроит, завтра после пяти.

— Конечно, — говорю, — устроит.

— Тогда пожалуйста.

Он немедленно куда-то позвонил и распорядился доставить ему на завтра материал из хранилища. А мне сказал, чтобы я сразу же после работы приехал. И так это просто, легко, словно речь шла о каком-то пустяке.

Я поблагодарил Ивана Григорьевича, попрощался и ушел, унося в душе самые теплые к нему чувства.

На другой день в условленный час я снова приехал в Институт прогнозов. Карты были уже доставлены из хранилища. Иван Григорьевич взял один из рулонов и раскатал на столе. Множество каких-то круговых и эллипсообразных линий, значков и карандашных растушевок... Он нашел интересующую меня область и район поселка Медвежий.

— Вот видите, — он округлил район на карте обратной стороной карандаша, — в том месте, которое вас интересует, осадков не обозначено, хотя поблизости, с запада и востока, обозначен дождь.

— А облака? — спросил я.

— Облака были — сплошной облачный покров над всем районом...

Фактические данные говорили о том, что в полночь с 19 на 20 июля 1957 года над поселком Медвежий небо было затянуто сплошным облачным покровом. Луна была в последней четверти своей величины и еще не поднялась над горизонтом. Показания главного свидетеля обвинения Кузьмы Воронкова, данные им на первом допросе, полностью соответствовали обстановке: «Ночь была темной и безлунной». Про такие ночи на Руси говорят: «Темь, хоть глаза выколи».

Глава 14

И вот предстояло самое важное: как же наука объясняет известное всем нам явление — плохую видимость в темноте, и в какой мере мы можем полагаться на наше зрение в смысле достоверности виденного в таких условиях?

Я горел от нетерпения скорее прочитать рекомендованную мне книгу, хотя знал, что для меня она будет тяжела. Но выхода не было. Отложив все домашние дела, в один из дней, после работы, я направился в Библиотеку имени Ленина. Нечасто я бывал там. Но всякий раз, когда я приходил, мною овладевало какое-то странное чувство робости. Возможно, оттого, что я слишком мал перед этой громадой человеческих знаний. Или попросту слаб, чтобы постичь хотя бы капелку того, что там хранится, не имею силы воли, чтобы обречь себя на тот труд, какой для этого нужен. А может быть, все, вместе взятое, заставляло меня робеть как перед чем-то непостижимо святым. А в этот раз и тем более...

В каталоге библиотеки я нашел эту книгу, а через час уже держал в руках. Книга толстая, тяжелая, в добротном переплете, с глубоким тиснением на лицевой стороне: «С. В. Кравков. Глаз и его работа». На титульном листе указано, что покойный профессор является членом-корреспондентом Академии наук СССР, членом Академии медицинских наук, ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки. Книга издана Академией наук, под редакцией академика Вавилова и удостоена премии имени Авербаха. Я с радостью вцепился в эту книгу, возлагая на эти добрые имена уже потерянную надежду.

Устроился в общем читальном зале и начал читать: масса специальных терминов из области медицины, физики, оптики, формулы, схемы, графики. Да, это правда — без специальной подготовки очень трудно понять. Но бросать не хотелось: ведь это было то последнее, на что я мог рассчитывать.

Читаю второй вечер, третий, четвертый. А в выходной день с утра. Начинаю прозревать, и настроение поднимается. Так прошла неделя, вторая, третья. С каждым днем все уверенней шагал я вверх по широкой мраморной лестнице в читальный зал и все удовлетворенней возвращался домой в свой пригород в первом часу ночи. За ужином делился с женой своими успехами.

И вот узнаю удивительные вещи: оказывается, наш глаз вмещает в себя два различных аппарата зрения, один из которых работает днем, а второй ночью. Вот так штука! И тут я вдруг вспомнил — что-то подобное читали нам в институте. Сколько я мучился, обивал пороги, не зная, куда кинуться, а нас, оказывается, учили этой премудрости. Ну не обидно ли!

Но для чего же нам два аппарата зрения? Почему мы не можем обойтись одним? Если верить ученым, такая необходимость действительно есть. Связано это, по всей видимости, с делением суток на

световые периоды — день и ночь. Так, наверно, и глаз приспособился. Днем работает его центральная часть и дает нам возможность видеть все как есть в природе — цвет, форму, размер. Но с наступлением темноты аппарат дневного зрения выключается как бы на подзарядку, и тогда вступает в работу аппарат ночного зрения. Но как он работает, из книги было не совсем для меня ясно. И самое главное: я не смог найти точной характеристики ночного зрения. А мне хотелось побольше узнать о нем.

Решил порыться в другом месте. Принес целую стопку книг и журналов, написанных учеными по этому вопросу в разное время. Стал просматривать: не то, не то, не то. Открыл журнал «Советский вестник офтальмологии» за 1935 год. И в нем-то я нашел что искал. В статье одного научного работника был описан интересный эксперимент, проделанный с большой группой лиц в полевых условиях на опознание предметов в темноте. Эксперименту подверглись пятьдесят человек примерно такого же возраста, как свидетель по делу Телепина. И тут же дана характеристика ночного зрения человека.

Но не устарела ли эта статья, написанная в 1935 году? Заглянул в конец книги профессора Кравкова «Глаз и его работа» — там помещен огромный список научной литературы, которой пользовался профессор. Статья из «Вестника» значится в этом списке. А книга издана в 1952 году, и надо полагать, что материал не устарел.

Вот как видит нормально зрячий человек предметы в темноте: «Полное обесцвечивание всех цветов, отсутствие контраста между предметом и фоном, расплывчатость очертаний предметов и тому подобное».

Вот оно что! Получается, что в темноте мы не различаем цветов? Недаром говорится, что ночью все кошки серые. Мудрость народная опередила науку. И контрасты отсутствуют и очертания предметов расплываются. Да это же находка, ценнейшая для меня находка!

Отодвинул в сторону все журналы и снова взялся за книгу профессора Кравкова. И тут уж, как говорится, повезет так повезет. Нападаю на исключительно важное для меня место. Ученый дает определение, что значит видеть предметы вообще. Читаю раз, перечитываю второй. Вот оно, наконец-то! Только не надо спешить, надо как следует разобраться, с какого конца лучше ухватиться, какой стороной кинуть на зуб, чтобы раскусить этот крепкий орешек. Полностью переписал. «Чтобы видеть предметы,— говорит ученый,— это значит видеть их форму, их размеры. Чтобы видеть форму, нужно достаточно четко различать очертания предмета, его границы. Е с л и, н а п р и м е р, п е р е д н а м и п и л а, н о з у б ь е в е е м ы н е р а з л и ч а е м, м ы н е в и д и м и е е ф о р м ы. Чтобы отчетливо видеть контуры, глаз должен реагировать на малейшую разницу в раздражении, объективно имеющемся в поле зрения. Лишь при этом условии малейший выступ, малейшая выемка или перерыв в очертании будут заметны. Эта способность глаза и есть то, что называется остротой зрения. Острота зрения характеризуется обычно тем минимальным промежутком между двумя объектами, которые мы в состоянии видеть. Чтобы видеть две точки отдельно, нужно чтобы между их изображениями на сетчатке оставалось некоторое пространство, возбуждение которого вызывает ощущение иное, чем те места, на которые падает изображение этих точек...»

Насколько я понял из этого, вторым раздражителем на наш глаз является то, что находится позади наблюдаемого предмета — так называемый ф о н, имеющий какой-то иной цвет или контраст.

Начинаю рассуждать. Что же получается? Если пространство между двумя точками не вызывает на сетчатке глаза раздражения,

значит, мы не различаем контраста между точками и фоном? Иными словами, мы не видим фона и не видим точки раздельными? А как же эти самые точки будут выглядеть ночью в темноте? Возьмем да и «подвесим» их в воздухе. Контраста между предметом и фоном нет, говорят ученые, характеризующие ночное зрение человека, и, следовательно, темные точки, попросту сказать, сольются с темнотой.

Идем дальше. Переношу это положение на внешность человека. Как известно, днем наше лицо, кроме определенной формы, имеет некоторую комбинацию цветов. Ночью эти цвета исчезают, из-за чего ночью лицо человека будет выглядеть темным и монотонным. А если принять во внимание, что контуры нашего лица представляют собой определенные кривые линии, а линии в элементарной геометрии принято понимать как след движущейся точки, то остаются те же темные точки, слившиеся с темнотой. Значит, определить контуры лица, а следовательно, и его форму, не представляется возможным. Поэтому ночью мы ничего не можем сказать о лице человека, о его деталях: было ли оно круглым или удлинненным, какой был нос — длинный, короткий, прямой или горбатый. Какой цвет кожи, волос и глаз, были ли на лице морщинки, родинки, веснушки. Короче говоря, в условиях темноты наше зрение способно воспринять лицо человека как неясное и совершенно бесформенное, лишенное какой-либо детализации.

Но понятия видеть и опознавать — разные вещи, и дистанция между ними огромная, говорила мне женщина из лаборатории физиологической оптики Института глазных болезней. Задача состоит как раз в том, чтобы ответить на мой вопрос. Приведу его еще раз: может ли человек, видевший незнакомое лицо в темную, безлунную ночь на расстоянии полутора метров в течение каких-нибудь трех секунд, запомнить его настолько, чтобы спустя некоторое время точно опознать его в дневных условиях?

Пришлось мне в поисках ответа ознакомиться еще с некоторой научной литературой из области психологии, оптики и теории информации. В результате у меня сложилось кое-какое представление о том, что значит опознавать предметы вообще.

Совершенно ясно, что понятие «опознавать» — это значит слышать образ ранее виденный и заложенный в память человека с образом вновь полученным. Если при этом количество и качество информации о прежнем образе будет соответствовать количеству и качеству информации вновь полученной, то соответствующие мозговые центры дадут нам сигнал на точное опознание. И мы поймем, что перед нами одно и то же лицо, виденное нами в разное время. Если же вновь полученная информация ни по количеству, ни по качеству не будет соответствовать уже хранившейся в нашей памяти, то, естественно, опознания не произойдет.

Ночное зрение человека позволяет заложить в нашу память очень скудную и неточную информацию о ночном образе человека: неизвестна форма лица, цвет кожи, волос, глаз, форма носа. Нет информации и о других особенностях лица — шрамах, морщинах, родинках, веснушках, всего того, что являет собой индивидуальную и отличительную особенность человеческой внешности.

В противоположность этому дневное зрение имеет куда большие возможности: оно позволяет нам видеть все как есть в природе и закладывать в память очень обширную и разностороннюю информацию о внешности человека. Мы четко видим форму лица и можем прямо сказать, какое оно. Мы видим цвет кожи, волос, прическу и тому подобное. И наконец, мы видим выражение лица, ту неповторимую его особенность, которая подчас запоминается больше всего остального. Понятно поэтому, что совместить информацию о том или

ином образе, полученную нашим зрением в темноте, с информацией, полученной в дневное время, невозможно. Совпадения ночного образа с дневным не произойдет никогда, а следовательно, и не будет точного опознания.

«Но позвольте! — могут мне возразить. — Ведь ночью-то мы видим и узнаем людей!» Да, видим и узнаем. Но видим очень плохо и узнаем лишь знакомых. Но даже хорошо знакомого человека в темную ночь мы можем узнать только на очень близком расстоянии и то как бы условно. Увидим кого-нибудь ночью и обычно проверяем себя: «Это не вы ли, Иван Иванович?» И нередко на наш вопрос слышим чужой голос: «Вы ошиблись, я не Иван Иванович». В данном же случае речь идет не об узнавании в темноте знакомого человека, а о запоминании в темноте незнакомого человека. А это разные вещи...

Итак, данные науки говорят о том, что человек, увидевший впервые незнакомое лицо в темную, безлунную ночь, точно опознать его в дневных условиях не может. Показания лесоруба Кузьмы: «Идя сбоку, я смотрел на него и личность его запомнил» — являются, таким образом, недостоверными и не могут быть использованы в качестве судебных доказательств.

Глава 15

Наконец-то я с радостью вздохнул. Тот гвоздь, на котором держалось все дело, оказался не таким уж прочным.

Теперь у меня были все основания утверждать, что Костя Телепин непричастен к преступлению, что преступник по имени Слава есть реальное лицо, ускользнувшее от суда, что свидетель обвинения Кузьма Воронков дал ложные показания. Что же касается второго обвинения, оно также не выдерживает критики, ибо факт признания, если он даже и был, не имеет никакого значения, поскольку в поведении парня не было ничего преступного.

Оставалось теперь сочинить жалобу. К адвокатам я не пошел: ведь они говорили, что для повторной жалобы в Верховный Суд требовались «новые обстоятельства», то есть такие факты, какие не были известны раньше, а «старое трясти бесполезно». Я же ничего нового не открыл, а всего лишь пытался подвергнуть сомнению достоверность старых доказательств, положенных в основу обвинения. Иными словами, мне необходимо было убедить Верховный Суд по-иному взглянуть на это дело.

И тут-то пришлось попотеть. Я даже не подозревал, какой это адский труд — последовательно и логично излагать мысль. Бился я долго: обилие фактов, множество лиц — все скопом вырывалось наружу и не было никакой возможности с ними управиться. Наконец я кое-как въехал в колею и так раскатился, что не мог остановиться. Получилась не жалоба, а целая повесть — семьдесят две напечатанных на машинке страницы. Жена пришла в ужас:

— Да кто же ее читать будет? Невыносимо длинно и совсем неубедительно.

— Но ведь два обвинения, дело застарело: надо осветить, сопоставить... Не так это просто — добиться поворота решения, — сердился я.

— Как хочешь сопоставляй, но сократи до половины, до трети. Пришлось уступить: сделал еще один вариант и все равно длинно — сорок четыре страницы. Жалоба начиналась словами: «В апреле сего года я выезжал в Сибирь и подробно ознакомился с делом Телепина, в результате чего пришел к твердому убеждению: осужден невиновный. Значит, правда не восторжествовала». И заканчива-

лась просьбой: «Мы просим Верховный Суд СССР приговор Н-ского народного суда от 6 декабря 1957 года отменить, Телепина из-под стражи освободить и дело о нем прекратить. В случае необходимости каких-либо следственных действий мы просим не поручать их прокурору Н-ской области, так как он семь лет назад был следователем по данному делу».

* * *

И вот я снова на улице Воровского. Прошло уже три месяца с тех пор, как я был здесь. Тогда у меня, кроме писем осужденного, ничего не было, если не считать того подспудного чувства, которое толкало меня к действию.

Принял меня тот же юрист по фамилии Завенягин. Я напомнил ему о своих прежних посещениях, рассказал о поездке в Сибирь и теперь вручил жалобу. Он взял мои бумаги, молча прочитал заголовок, кинул взгляд на первую страницу, затем открыл последнюю.

— А бывший следователь по этому делу стал теперь прокурором области? — спросил он.

— Да, — говорю, — вырос товарищ.

Добрый человек этот Завенягин. То он кажется бесконечно официальным — короткие вопросы, сухие ответы. А то вдруг вспыхнет в глазах сочувствие.

— Будете на приеме у председателя Верховного Суда, на это не жмите, — сказал он. — Запомните — апелляция к личности не является доказательством. Сосредоточьте все свое внимание на фактах, а то из жалобы получится кляуза.

Он видел мою неопытность и остерегал от ошибки.

Жалобу мою принял и велел позвонить через неделю. Звоню через неделю и узнаю: председатель Верховного Суда отсутствует и мне назначен прием у председателя коллегии. Делать нечего, надо идти к нему.

Теперь для меня каждый шаг имел значение. Я вспомнил, как наставлял меня доцент МГУ Якубовский. «Успех, — говорил он, — подчас зависит не от того, как написана жалоба, а скорей от того, как она доложена. Поэтому вы должны знать материал назубок, определить возможные вопросы со стороны вашего собеседника и подготовить на них короткие и исчерпывающие ответы. И конечно, полнейшее самообладание...»

А этого последнего мне как раз и не хватало.

Поднялся на лифте не помню уж на какой этаж: небольшой зал, легкий, рассеянный свет неоновых ламп, высокие панели из светлого дуба и полная тишина. Начальник приемной указал мне на глубокие кресла, велел подождать, а сам удалился за стеклянную перегородку.

Жду один во всем зале. Медленно тянется время: никак не могу успокоиться и взять себя в руки. Встану, постою немного, опять сяду. Скорей бы!

Никогда, конечно, не думал, чего будет стоить мне участие в судьбе человека. И если бы кто спросил, зачем мне все это, вряд ли бы сумел ответить. Сначала просто какой-то укор совести за холодный прием односельчанки, потом жалость и, наконец, письма, по которым я стал героем сказки. А мне, видно, польстила такая роль — быть сильным. Дальше — больше, на попятную уже нельзя, как нельзя уйти от самого себя...

Наконец-то меня позвали. В просторном кабинете за большим рабочим столом сидел человек средних лет в светло-сером костюме. Это был председатель одной из коллегий Верховного Суда СССР. Никогда мне не приходилось бывать на таком приеме.

Он коротко глянул на меня и довольно обычно сказал:

— Проходите, садитесь.

Я сел на предложенный мне стул, а сопровождавший меня работник приемной расположился за небольшим столиком, стоявшим Т-образно по отношению к столу хозяина кабинета.

Председатель коллегии знакомился с надзорным производством по делу Телепина, а рядом лежала моя пухлая жалоба.

Прошла томительная минута, как в угаре стучало сердце. Что он скажет мне? Как он воспримет мою дерзость — оспорить решение, принятое ими несколько лет назад? Ведь, по существу, я жалуясь и на него.

Оторвавшись от чтения, председатель посмотрел на меня. В его глазах была озабоченность.

— Ну что ж, — проговорил он, — ваша жалоба не лишена интереса. Чувствуется, вы хорошо поработали.

Много ли человеку надо? Скованность моя стала спадать, и я начал излагать суть дела. Долго он слушал меня, не проявляя никаких признаков нетерпения. Начинало казаться, что он вообще не задаст мне ни одного вопроса, а просто выслушает, да и на том все и кончится. Но он вдруг перебил:

— Вы сказали, что по делу проходил всего лишь один свидетель обвинения и не было ни одного свидетеля защиты?

Вопрос очень важный, и я понял, насколько внимательно он меня слушал. Я подтвердил сказанное и добавил, что показания этого свидетеля в ущерб истине не были подвергнуты сомнению.

— Значит, они не вызвали сомнений, — как бы шутя отметл он этот довод.

— Если бы так, товарищ председатель. Дело было ночью..

И я пересказал то, что узнал из книг об особенностях дневного и ночного зрения.

— Данные науки говорят о том, что опознание в таких условиях могло носить всего лишь характер вероятности с очень низкой степенью точности. Тогда как для осуждения человека нужны факты достоверные.

— Это верно, — согласился он. — Но ведь суд принимает решение не только на основании показаний свидетелей, а на совокупности всех доказательств. В приговоре, например, сказано, что обвиняемый твердо опознан самой потерпевшей. Разве это не доказательство?

— Выводы суда ошибочны. Потерпевшая не опознала Телепина и опознать не могла: преступник по имени Слава и Костя Телепин — разные люди.

— То есть как не опознала? — спросил он и кинул на меня довольно острый взгляд. — Разве в деле нет протокола опознания личности?

— Протокол-то есть, но...

— Так в чем же дело? Какие у вас против него возражения?

И я подробно рассказал, как с помощью фотокарточек было достигнуто это «твердое» опознание. Применяя столь рискованный метод, следовательно, видимо сам того не замечая, заложил в память потерпевшей новый образ «преступника», который и был опознан.

Председатель задумался и побарабанил пальцами по столу.

— Ну хорошо. Мы вторично истребуем дело и разберемся самым тщательным образом...

Этот человек умел, как видно, располагать к себе. И я уже не мог утаить того, что не имело к данному случаю никакого отношения, — третье обвинение Телепина в колонии. Некоторые товарищи не советовали мне касаться этого дела при разговоре в Верховном Суде, чтобы не усиливать и без того невыгодное впечатление о личности осуж-

денного. Но я решил иначе. Здесь не игра. Я пришел искать правду. А где же ее искать, как не у самого правосудия?

— Это,— говорю,— далеко не все, товарищ председатель. Тут его беда не кончилась. Его еще в колонии судили — прибавили пять лет, признали о с о б о о п а с н ы м рецидивистом и отправили отбывать наказание в о с о б ы й режим как неисправимого преступника.

Я заметил, как у моего слушателя тревожно сдвинулись брови:

— В колонии? За что?

Я достал и передал ему копию приговора и обвинительного заключения. Оба эти документа были очень кратки, и он принялся их читать. В них говорилось, за что добавили парню срок...

Находясь уже пять лет в колонии, он, видимо с тоски, решил выпить и отдал кому-то из obsługi свои новые брюки стоимостью в четырнадцать рублей за пол-литра водки. Но тот его обманул и вместо водки принес двадцать граммов наркотического вещества анаши. Телепин не брал, но тот сунул ему в руку и ушел. Вечером заключенные большую часть ее раскурили, отдавая парню за каждую закрутку по пятьдесят копеек, а несколько граммов осталось. Кто-то донес администрации, и вечером охрана изъяла у него остальную анашу. Стоимость ее по тем же ценам, как указано в обвинительном заключении, составляла четыре рубля пятьдесят копеек. А тут как раз вышел новый закон, направленный на борьбу со спекуляцией наркотиками, Телепина причислили к пособникам спекулянтов, к тому же он не выказывал признаков перевоспитания, дерзил и считался «трудным». Все это, вместе взятое, обеспечило ему еще пять лет прибавки к сроку. Теперь за ним было три преступления, тринадцать лет срока и клеймо рецидивиста.

Председатель коллегии прочел оба эти документа, приколот их к жалобе и сказал мне:

— Оставьте их у нас, мы истребуем и это дело...

Глава 16

Как и следовало ожидать, дело вторично затребовали из Сибири, о чем я получил извещение: «Вашу жалобу по делу Телепина Константина Андреевича Верховный Суд СССР направил для проверки в прокуратуру СССР, которая и поставит вас в известность о результатах проверки».

Известие хорошее — жалобе дали ход. Со дня на день я ждал положительного ответа. Я написал обо всем Телепину и его крестной — где я был, с кем разговаривал. Каждый день по окончании работы я спешил домой, чтобы взглянуть в почтовый ящик и увидеть там желанный конверт. Но конверта не было. Наконец я не выдержал и отправился в прокуратуру Союза. И вдруг узнаю совершенно невероятное: мою жалобу направили в Сибирь прокурору по месту осуждения, тому самому человеку, который семь лет назад был следователем по этому делу. Круг замкнулся. Сказали, что на проверку дан месячный срок, после чего мне пришлют официальный ответ.

Настроение сразу упало: ничего хорошего от этой проверки я не ждал — не захочет человек в ущерб самому себе распутывать дело. Вольно или невольно, но ошибка произошла по его вине. Чего я только не передумал за это время, какие сны не терзали меня по ночам! Да и понятно. Теперь уже вопрос касался не только этого парня, но меня самого. Слишком верил я в правду, слишком близко принимал к сердцу всякое глумление над ней.

Так прошел месяц, и я опять отправился в прокуратуру. Опять долгое ожидание в коридоре, потом «кто, откуда да по какому делу»,

звонки по телефону. Наконец узнаю, дело из Сибири не возвратилось — проверку продлили еще на месяц.

А тут пришло письмо из колонии, подтвердившее мои опасения. Телепин писал, что к нему приезжал старший следователь областной прокуратуры и дал ему снова подписать его прежние показания: «А я растерялся и опять подписал. А когда опомнился, он уже уехал. Разговаривал он со мной не больше десяти минут. А наши дураком меня обозвали. Да я и сам после-то сообразил — не надо бы подписывать. И не знаю, что мне теперь делать...»

Вот ужас — опять признался! Да он ненормальный! Теперь понятно, почему и тогда его запутали. А может быть, сам запутался и ввел людей в заблуждение. Не-ет, с меня хватит. Пусть сам выпутывается как знает. Хорошо помогать тому, кто сам себе помогает. Все дело испортил!

Сгоряча написал ему письмо: «Что же ты наделал, глупец? Опять признался. Неужели ты не понимаешь, что все это против тебя! Ты же писал своей крестной, чтобы она не верила твоему признанию, что ты ничем не обидел свою знакомую, а просто поссорились, как это бывает у парня с девушкой, и в тот же вечер помирились. И ты в действительности ничего преступного не сделал. Зачем же опять признался? Надо же думать, что делаешь. Сам запутываешь дело и ждешь освобождения? Жди — освободят!»

И такое зло на него взяло, был бы рядом — избил. А потом подумал и порвал письмо: а то еще в петлю, дурак, влезет. Какой-то слабый и беспомощный, со сломанной волей человек. Нет, такого бросать нельзя...

Прошел еще месяц, и я снова направился в прокуратуру. Мне велели подождать в коридоре, кто-то должен прийти с ответом на мою жалобу.

Минут через двадцать меня позвали. Человек в форменной одежде с двумя большими звездами в петлицах — если считать по-военному, подполковник, — с наградными колодочками на груди за участие в войне пригласил меня к своему столу. Перед ним лежали уже знакомые мне два толстых тома уголовного дела Телепина, а рядом с ним третий том — дополнительной проверки. И в старых томах и в новом торчали хвосты закладок из полосок белой бумаги с какими-то пометками. И я сразу сообразил, для чего эти пометки: сейчас он по пунктам будет доказывать, что черное есть белое.

Он вежливо отрекомендовался:

— Прокурор Швецов.

Лет ему было около сорока, светловолосый, голубоглазый, с очень располагающей внешностью человек.

— Садитесь, поговорим, — сказал он.

Я настороженно сел по другую сторону стола, приготовясь к худшему. Но прокурор не спешил. Вместо ответа на мою жалобу он зачем-то стал интересоваться мною — кто я и что, где и кем работаю, кто писал жалобу, что побудило меня вступить за осужденного и какое я имею к нему отношение. Выяснив все, что его интересовало, он наконец сказал:

— Ну а теперь слушаю вас.

— А я, — говорю, — хотел вас послушать. Пошел четвертый месяц, а ответа нет.

— А какого же вы ответа ждете? — спросил он.

Вот те, думаю, и на, неужели он не читал жалобу? И я сказал, какого ответа я жду.

Прокурор промолчал. Его поведение выглядело несколько странным. Пришел с ответом на жалобу, а ответа не давал. Возможно, он хотел несколько повременить, как бы разрядить меня, а затем посте-

пенно убедить в необоснованности моих требований и заставить сжиться с поражением. Тем более что мне уже было известно из письма Телепина о его вторичном признании. Оставалось лишь формально довести это до моего сведения. Так я подумал, но промолчал, зредоставив ему возможность как-то отреагировать на мои слова. Но он снова глянул на меня:

— Продолжайте, продолжайте.

Что он, думаю, крутит? Зачем ему этот разговор? И я решил говорить начистоту.

— Давайте говорить откровенно, товарищ прокурор,— сказал я.

— Пожалуйста, говорите. Я затем и принял вас, чтобы выслушать.

— Вы, конечно, читали мою жалобу.

— Безусловно.

— Зачем же в таком случае продолжаете держать в тюрьме невиновного человека?

Это был первый человек из работников прокуратуры, принявший меня для делового разговора, и я не мог оставить в нем ни малейшего сомнения в моей решимости добиться правды. После столь обнадеживающего посещения Верховного Суда мне показалось слишком длинной вся эта процедура с дополнительной проверкой. Я считал уже дни и часы, когда наконец придет радостное известие. Но прошли месяцы, а известие не приходило. И я невольно настроил себя на худшее.

Прокурор не перебивая слушал меня. Чувствовалось, что это умный и опытный человек.

Вопрос о необоснованном осуждении после семилетнего нахождения в тюрьме, вопрос, поднятый лицом посторонним, сам по себе был довольно необычным. Но и доводы мои были достаточно основательными, от них нельзя отмахнуться так просто. Поэтому затяжка с пересмотром дела тревожила меня и заставляла думать о причинах.

Это, конечно, понимал принявший меня человек. Даже не исключено, что исход этого дела в какой-то мере связывался с тем, кем является этот сидевший перед ним жалобщик. Думает ли он о «правосознании гражданина», о принципах добра и зла, в объективном решении которых заинтересованы все? Или он один из тех, кто ради мелкого тщеславия решился на красивый жест?

— Я считаю, товарищ прокурор,— продолжал я,— что доказательства невиновности находятся в самом деле, которое лежит перед вами, и затея с дополнительной проверкой семь лет спустя ничем не оправдана.

Прокурор пододвинул к себе дело, перебирая закладки, открыл его.

— Скажу вам откровенно,— начал он,— тут много неясного. В одном из преступлений, как вам известно, он признался. Вы же в своей жалобе пытаетесь опровергнуть этот факт. Поэтому мы решили его проверить. Передо мной материал дополнительной проверки, из которого видно, что осужденный подтвердил свое признание.

Вот оно что! Так обернулась эта проверка! Ну нет! И я зачитал ему показания «потерпевшей». Повторю их снова: «Из одежды у меня ничего не было порвано... У меня на теле никаких следов — синяков, царапин или других повреждений — не было... Я не хочу, чтобы Телепина привлекали за это к уголовной ответственности...»

— Возможно, я не совсем разбираюсь в этих тонкостях,— продолжал я,— вы специалист и объясните мне, пожалуйста, где здесь преступление. Вот он дважды признался в том, чего не совершал. Ведь в подобных «грехах» можно обвинить любого парня!

— Вы напрасно горячитесь,— возразил он.— Дополнительная

проверка, пожалуй, еще больше осложнила задачу. Я принял вас, чтобы познакомиться и уточнить ваши требования. Но поскольку они остались прежними, мы их рассмотрим и дадим вам ответ.

— И когда же?

— Пока не могу сказать. После получения жалобы из Верховного Суда два месяца назад она была направлена в Сибирь и недавно возвратилась. Находилась она на исполнении у одного нашего товарища. Но сейчас он серьезно болен и ее передали мне. Насколько я успел ознакомиться с делом, оно мне кажется интересным. И наш разговор я отношу к полезным. Но что-либо сказать вам по существу пока не могу: будем проверять. Теперь этим делом займусь я, как только немного освобожусь. Сейчас я очень загружен, а с этим делом, я чувствую, придется повозиться...

* * *

Прошел еще месяц. Наступил декабрь. Установилась настоящая зима. Костя писал все реже и реже. Письма были очень мрачные: сообщал, что ослабел, жаловался на боль в спине и лопатках, на сильное головокружение. И я, едва дождавшись декабря, снова отправился в прокуратуру. Но в приемной мне сообщили, что прокурор Швецов в командировке, и советовали прийти после Нового года.

Приходил я и после Нового года, приходил и в середине января, и в начале февраля — ответ был один и тот же: «Проверка не закончена, прокурор Швецов в командировке».

Настроение тяжкое. Вспоминались слова адвоката: «Оговор — страшная вещь, и не такие, как ты, обкусывали локти...»

Прошел и февраль. Прошел целый год с той поры, как поздним вечером пришли к нам две женщины. И опять, как и тогда, над городом бушевала метель, взвивала целые полотнища из снега и хлестала по стенам домов. Скрипело крыльцо нашего старенького дома, стучало оторванное железо на слуховом окне чердака... Долгим мне показался этот год — сколько пережито. А всего-то лишь одна судьба. Что это в целом мире? Капля дождя. Испарится ли она на лету или упадет на оскудевшую землю...

А если откажут? Нет, лучше не думать. Надо верить и не настраивать себя на худшее. Ведь я не слабый — это уже точно. А те из людей, у которых я был по этому делу, не оставили по себе плохих чувств. Я верю им и не хочу обмануться...

Но бывало и так, что начинал я терять надежду и таяла тогда моя вера в возможность добиться правды, уходило из-под ног то, на чем крепко стоял всю жизнь.

И тогда я отчетливо понял, что ждать нечего, надо идти на прием к Генеральному прокурору. Я написал ему заявление и отправил, а через неделю отпросился с работы и опять направился по знакомой дорожке...

— Все это, уважаемый, делается не так, — сказал мне работник приемной. — Генеральный прокурор принимает лишь тогда, когда есть для этого основания.

— А у меня их разве нет?

— В том-то и дело, что нет.

— Осудили невиновного...

— Для нас он пока что виновный. Да и вообще, утверждать в таком тоне вы не имеете права, — говорил он поучительно. — Жалобу вашу проверяют, а каков будет результат, сейчас вам никто не скажет. Дождитесь ответа, а уж тогда, если откажут, запишем вас и к Генеральному. А сразу — так не делается. Есть форма, порядок. Занимаемся мы не одним вашим делом.

— Тогда,— говорю,— допустите меня к заместителю Генерального. Но и к нему, оказывается, нельзя.

— А к кому же можно? Сил уже больше нет ждать. Да и боюсь за парня, не выдержит он.

Работник приемной кому-то позвонил. А затем предложил мне пойти на прием к Государственному советнику юстиции, который якобы будет принимать решение по моей жалобе.

* * *

В сопровождении работника приемной поднялся по лестнице. Вошел в большую секретарскую комнату. Пошли докладывать, а я остался. Ждать не пришлось, и меня пригласили в большой кабинет с длинным столом для заседаний. В конце стола сидел невысокий, плотно сложенный человек лет пятидесяти, с двумя генеральскими звездами. Я поздоровался. Он предложил мне стул рядом с собой. А несколько в отдалении стоял его большой письменный стол с двумя глубокими креслами для посетителей. И то, что Государственный советник юстиции принял меня за столом заседаний, как бы в непринужденной обстановке, сразу расположило меня к этому человеку. И мне вдруг захотелось пожаловаться ему, как маленькие жалуются большим, на нестерпимую обиду. Жесткий ком подступил к горлу и сдавил дыхание.

Государственный советник вынул из папки мое заявление, адресованное Генеральному прокурору, положил его перед собой и молча прочитал длинную резолюцию, кем-то написанную крупным размашистым почерком наискосок, почти до половины страницы.

— Ваше заявление я прочитал,— сказал он,— но при всем нашем желании дать ответ вам пока не можем. Вот уже четыре месяца мы ведем проверку на уровне прокуратуры Союза: этим вопросом вплотную занимается один наш товарищ. К концу марта, видимо, удастся ее закончить, и тогда примем решение. Придется вам подождать, осталось немного.— Он замолчал, неловко глянул на меня и, немного подумав, добавил: — Вот, собственно, и все, что я могу вам сообщить. Ответ вы, очевидно, получите в первых числах апреля.

Я сидел и глотал сухую горечь. Хотелось сказать многое, а не мог вымолвить и слова. Какое-то странное безволие сковало меня. Наступило молчание: надо было уходить. Нет, думаю, слабость — плохой помощник. И я пожаловался ему на медленный разбор жалобы. Он выслушал меня и опять очень спокойно и обстоятельно стал отвечать, словно сам ждал этого разговора.

— Я вас вполне понимаю,— сказал он.— Но быстрее, к сожалению, не получается. Дело это непростое. Вы оспариваете не только правильность вынесенного приговора народным судом семь лет назад, но и уже сложившееся мнение о нем Верховного Суда. Вы пытаетесь доказать невиновность человека, осужденного за два тяжких преступления. Это смелая попытка. И надо сказать, ваши доводы выглядят очень убедительно. А поэтому отказать вам, а равно и принять вашу точку зрения без серьезной проверки всего следственного материала не представляется возможным. Одно дело освободить неосновательно осужденного и тем самым исправить ошибку, в чем мы, понятно, очень заинтересованы, а другое дело освободить и реабилитировать преступника. Прежде чем принимать какое-то решение по вашей жалобе, нам необходимо разыскать всех, кто в свое время давал показания против осужденного, и снова допросить их, уже с учетом вновь открывшихся обстоятельств. А это сложно. Прошло много времени, люди разбрелись по стране, и поиски нередко затягиваются по целому ряду не зависящих от нас причин. Затем надо кому-то поехать к ним

на их местожительство и взять показания. Не станешь же в таком деле давать поручения местным органам прокуратуры. Вот почему и долго. Но лично мне непонятно другое: почему этот человек столько лет молчал?

— Что вы, он не молчал. Куда он только ни обращался — и всюду получал отказ.

— Почему же он к нам ни разу не обратился?

— Возможно, не знал. Парень простой, грамотешка не очень большая. А вот моя жалоба попала к вам, и тоже толку мало. Взяли да и направили ее прокурору по месту осуждения, хотя мы и просили не посылать ее в Сибирь.

Мой собеседник глянул на меня с явным укором и ответил:

— Вы уж слишком предубеждены, так нельзя. Вашу просьбу мы учитывали. Но не могли не учитывать и другое: прокурор Н-ской области в свое время был следователем по данному делу и, естественно, при желании мог лучше других разобраться в нем. Мы поставили перед ним определенные вопросы и обязали его дать на них ответы. Что это за вопросы, как они поставлены, какие преследовали мы цели, ставя их так, а не иначе, известно только нам. И безусловно интересы осужденного полностью ограждены. Вам известно, что он опять признался? — спросил он.

— Да, — говорю, — известно.

— С формальной стороны данное обвинение нашло свое подтверждение. И несмотря на это, мы решили сделать глубокую проверку. Какие же у вас основания бросать нам упрек? Наша цель — выяснить истину. Если этот парень невиновен, мы его немедленно освободим, а тех, кто повинен в ошибке, больно накажем, как бы высоко за это время они ни подмялись по службе. Если же выдвинутые вами доводы в его защиту не подтвердятся, — ну что ж, будет отбывать наказание, несмотря на все ваше сочувствие ему...

Жутко прозвучали его слова «будет отбывать наказание». Неужели им не ясно, что он невиновен? Неужели мне не удастся ничего доказать?.. И я забеспокоился еще больше. Лучше бы не ходить к нему. Ведь, в сущности, я теперь жалуюсь на медлительность того самого прокурора, который ведет проверку. Ведь он просил не торопить его...

* * *

И опять никакой ясности. Устал уже, а конца не видно.

Как-то встретил в метро адвоката Косоворотова. Напомнил ему об этом деле.

— И что же? — спросил он.

— Проверяют — вот уже восемь месяцев.

Он ничего не сказал, только крепко сжал губы. Но в глазах я увидел безнадежность.

— Думаешь, откажут?

— Все, дорогой мой Семеныч, хорошо делать вовремя. А доказывать через семь лет...

Для меня эта встреча была лишним грузом на душу: и без того тяжело. И я злился на таких людей, злился за их неверие в свою же правду...

Глава 17

4 апреля 1965 года навсегда останется в моей памяти как самый светлый и радостный день в моей жизни. Во второй половине дня я опять пришел в приемную прокуратуры. Сотрудник, к которому я обратился, скользнул по мне взглядом и кому-то позвонил:

— Жалобщик по делу Телепина — сам придешь или мне ему объявить?

Тот, видно, сказал, что придет сам. Мне велели подождать. Это было самое долгое ожидание в моей жизни — тридцать две минуты показались мне вечностью. В коридор вышла секретарь и молча кивнула мне. Я вошел в приемную. За столом сидел прокурор Швецов и издали улыбнулся мне усталой улыбкой. Я сел на стул.

— Ну вот,— сказал он со вздохом облегчения,— и кончилась эта эпопея. Мне поручено объявить вам ответ.

Ваша жалоба,— говорил он с расстановкой, словно хотел, чтобы я лучше уяснил,— полностью удовлетворена.

Он сообщил мне, что в результате дополнительной прокурорской проверки, сделанной прокуратурой СССР, были открыты «новые обстоятельства», с помощью которых установлено, что Телепин невиновен ни в одном из предъявленных ему обвинений и осужден неосновательно. Два дня назад состоялось решение Верховного Суда СССР, по которому приговор Н-ского народного суда от 6 декабря 1957 года был отменен, дело прекращено и Телепин полностью реабилитирован.

— Кроме того,— сказал он,— сегодня утром состоялось решение Верховного Суда РСФСР в отношении третьего обвинения. По протесту заместителя Генерального прокурора СССР приговор, по которому Телепин был осужден в колонии дополнительно на пять лет и признан особо опасным рецидивистом, тоже отменен. Он признан невиновным из-за отсутствия в его действиях состава преступления. В колонию дана телеграмма о его немедленном освобождении...

Боже мой! Как беден язык человека! Потому и вы, читающие эти строки, не можете пережить и тысячной доли того потрясающего чувства, какое охватило меня в эти минуты. Ошалев от радости, я вскочил со стула, схватил руку прокурора Швецова и стал ее жать и трясти. Что уж я при этом говорил, какими благодарностями его осыпал... Да и в благодарности ли дело? Он и сам был бесконечно счастлив. Восторжествовала правда, ради которой он так усердно потрудился.

Земной поклон тебе, добрый Человек!

* * *

В жизни все мне давалось с большим трудом, и когда этот труд приносил радость, она уже не имела той сладости, какая бывает от легких удач. Но все равно это была моя радость, ни с чем не сравнимая, радость на всю жизнь, потому что для меня уже никогда и ничего подобного не повторится. Остается лишь гадать: почему, по какому закону этот выбор пал на меня и как отыскались ходы решения почти неразрешимой задачи? И удивляться — как мало знает себя человек и как слабо чувствует свою непомерную силу и возможности.

* * *

Прошла неделя. Ох и длинной она нам показалась! И вот в воскресенье к вечеру послышался робкий стук в дверь. Я вышел открывать. Высокий, стриженный под машинку человек с изможденным лицом стоял передо мной. Я представлял его совсем другим — жизнерадостным пареньком, каким он смотрел на меня с фотографий своей юности.

— Извините,— проговорил он тихим простуженным голосом,— мне бы надо Алексея Семеныча.

Да он ли это? — подумал я. Но сердце подсказало, и я кинулся к нему:

— Здравствуй, Костя! Заждались мы тебя. Пойдем скорей!

Выбежала жена, заплакала... Нет, этого не передать. А он стоял и смотрел на нас, как-то странно морща лоб. В его глазах что-то сверкнуло. Но только не слезы...

ПОСЛЕСЛОВИЕ ЮРИСТА

Повесть Тимофея Соколова «Перед трудным выбором» не выдумана автором. В ней описывается подлинная история молодого рабочего Константина Телепина. Автор изменил только фамилии участников этого дела, все остальное написано в полном соответствии с фактами жизни.

В этой вещи читателя привлечет не только рассказ о постепенном распутывании сложного дела, о победе справедливости и правосудия, но и образ рассказчика, за которым угадывается сам автор, с такой скромностью и бескорытием погрузившегося в чужую жизнь. Рассказчик, человек неопытный в судебной практике, не сразу решается на свое расследование дела Константина Телепина, но память об отце Константина, погибшего на фронте, чувство гражданской ответственности за судьбу молодого своего земляка оказываются сильнее нерешительности. В этой готовности прийти на помощь, не считаясь со временем, с занятостью, с повседневными обязанностями сказалась не просто доброта и отзывчивость рассказчика, но высокое понимание идеи советского гуманизма, ответственности за судьбу каждого гражданина своей страны.

По делу Телепина, как это видно из материалов Верховного Суда СССР, была допущена судебная ошибка. Подобных ошибок в практике работы советских органов прокуратуры и суда не много. Но это вовсе не значит, что о них не следует говорить. Факты необоснованного привлечения невинного, а тем более осуждение его являются самыми серьезными, самыми грубыми ошибками, за которые виновные несут строгую ответственность.

Главное, что характеризует трудную и ответственную профессию следователя, это умение распутать клубок сложных и острых вопросов, касающихся судеб людей, их доброго имени, чести и нередко свободы и жизни.

Уметь в любых, даже самых трудных ситуациях найти истину и определить, виновен человек в преступлении или нет, распознать, кто находится перед тобой — опасный преступник или случайно оступившийся, сбившийся с правильного пути человек, — все это бывает подчас очень трудно и сложно, требует от следователя высокой коммунистической идейности, хорошего знания законодательства и неукоснительного его выполнения, всестороннего развития, большой общей культуры и профессионального мастерства.

Это требует также и высоких душевных качеств. В работе следователя не может быть формализма, бездушного и казенного отношения к делу. Чувство высокой партийности и принципиальность, человечность и внимательное отношение к людям — непрменные качества, которыми должен обладать советский следователь. Бездушные чиновники — редкое исключение в среде советских юристов, но их не должно быть вовсе, ибо такие люди не могут правильно решать стоящие перед ними задачи. В деле Телепина оказался не на высоте и защитник, он отнесся к своим обязанностям формально, не выполнив до конца своего служебного долга, нарушив адвокатскую этику.

Читая повесть Т. Соколова, радуешься, что справедливость восторжествовала, невинность Телепина была доказана. Вера в справедливость, вера в торжество законности победила. Иначе и не может быть в условиях нашего социалистического общества, где Коммунистическая партия, органы прокуратуры и суда, советская общественность стоят на страже законности и строгого соблюдения прав и законных интересов советских граждан.

Н. Ф. ЧИСТЯКОВ,
генерал-лейтенант юстиции.



ГОЛОСА ДАГЕСТАНА

ОМАР-ГАДЖИ ШАХТАМАНОВ

★

С аварского

* * *

Моя река Кара-Койсу,
Куда несешь свои потоки?
Пусть на пути Гуниб высокий,
Но ты не остановишь бег.
С тобой соединен судьбою,
Власть дней приемлю над собою,
Спешу, влюбленный человек.

Окно распахнуто одно,
Меня к себе влечет оно.
Туда, где, в облаках качаясь,
Стоит Гуниб, луны касаясь.
Приходят песни в ранний час —
Моей любви и боли строки,
А на пути Гуниб высокий,
И звезды гаснут, как свеча.

Мне ближе расставаний — встречи,
Дорога,
 путь луной подсвечен,
Вверх по тропе среди камней
Спешу.

 И горская природа
Подарит мне в часы восхода
Любовь, пришедшую ко мне.

Когда иду тропой отвесной
В Гуниб,
 цветы, мой свод небесный,
Горят, как звездные огни.
Когда порою предрассветной
Спускаюсь вниз тропой заветной,
В слезах,
 в слезах стоят они.

Любимая,
 порой случалось,
Любовь о камни разбивалась
И гибла, не пустив корней.

И слушает и волн и чаек крик.
 На берегу, пустынном берегу
 Крутые волны застывают на бегу
 И лижут пальцы задубелых рук,
 Сменяя радость встреч на плач разлук.
 Он, словно нарт¹, перед броском застыл,
 И сон его на берегу застиг.
 То ветер словно бьет по волосам,
 То, затихая, гладит по глазам,
 Теряя силу, скачет по воде
 И застревает в жесткой бороде,
 Со дна морей привет тот ветер шлет
 От кораблей, что не вернулись в порт.
 В дыханье ветра вдруг заговорит
 Корридою захваченный Мадрид,
 И вопль обреченного быка
 Как шквал обрушится на берега.
 И капли крови на рубашке налились,
 Как острова, куда бросала жизнь,
 И среди них отчаянный челнок —
 Свободной Кубы красный островок.
 Он не убит. О нет, он не убит!
 Под рокот моря, утомленный, спит...
 Но спущен роковой курок,
 Из дула вырывается дымок.
 И днем и ночью карандаш и карабин
 Везде и всюду вместе были с ним,
 Везде и всюду с ним ходили в бой:
 Испания, Мадрид, тридцать шестой...
 Лежит Хемингуэй на берегу,
 Крутые волны застывают на бегу.
 Вот он лежит, спустились облака,
 И в белый саван завернули старика.
 Он не убит, он лишь на миг вздремнул,
 Седой старик, он слышит моря гул.
 Сердца бушуют, как штормящий океан,
 Не заживают от обид и ран.
 Хемингуэй добро и зло постиг,
 Он стал седым от козней и интриг.
 Еще колокола его звонят,
 Зовут на бой бойцов интербригад.
 Как кони, волны на дыбы встают,
 С размаху о песчаный берег бьют...

Перевел В. РАВИЧ.

АМАЛДАН КУКУЛЛУ

С татского

СТИХИ О РАЗЛУКЕ

Глаза свои сомкнул закат устало,
 и по небу пошла гулять луна;
 серебряным лучом своим она
 морскую гладь светло защекотала.

¹ Н а р т — витязь горских легенд.

Потом рассвет.

Волны окровавленность.
Вновь помани, попробуй позови!
О нет, не мимолетная влюбленность,
а чувство безысходности в любви!

Где серебристость лунных волоконец
мерцает на агатовой волне;
а я ушел в бессонницу бессонниц
быть с именем твоим наедине.

А я ушел, угрюмый, нелюдимый,
терзаться и курить в своем углу,
где лунный свет мерцает на полу,
где озаряю я томленья мглу
неповторимым именем любимой,
где светозарным именем любимой
я сметаю расставанья мглу!

ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗЕМЛИ

Ветер, ветер в каспийских причалах,
жгучий ветер вблизи и вдали,
ветер, ветер в объятьях песчаных
держит бремя воды и земли,
он всему сейчас полный хозяин,
повелитель — видать по всему! —
с гребней волн, с белопенных окраин
он жемчужную сдернул кайму.

Гневной силой он переметил
гребни волн в этих пенных мирах:
разыгрался на Каспии ветер,
вихрь, вселяющий ужас и страх.

В черных тучах, как в бурке косматой,
завывает он — пан иль пропал! —
к темным кольцам травы необмятой
тонкий стволик в смятеньи припал.

Гневный вихрь на каспийском причале
извивается в знойной пыли;
ветви гибкие в страхе припали
к материнскому телу земли.

Вихрь угрюмой напитанной злобой
разыгрался, ветвям на беду.
Только я — это случай особый, —
против ветра я смело пойду.

Я не деревце
в травах духмяных,
я не стебель, не хрупкий побег —
нет, испытан во всех ураганах,
я хозяин земли — человек!

Я стихия — мощнее могучих,
я утес — всем дающий отпор,
воздымаюсь в грохочущих тучах
вихрям яростным наперекор.

Черный вихрь, как небесная кара,
колобродит в причалах Хазара.

В блеске градин и в шелесте льдинок
пляшет ветер вблизи и вдали,
но выходит с ним на поединок
человеческий разум земли.

Ветер, ветер с низин и поречий
затекает дурную игру;
расправляет спокойные плечи
человек на каспийском ветру.

К исполинам отнюдь не причислен,
он стоит в средоточье борьбы,
и его повелительным мыслям
подчиняются вихри судьбы.

И своим пронизательным взором
видит все — и вблизи и вдали,—
сопричастный каспийским просторам,
человек — повелитель земли!

ДРУЗЬЯМ

Горы надменные заголубели,
волны мгновенные кинулись в бой,—
как же я к этой привык колыбели,
древней, младенческой и голубой!

В небе здесь молний трагический росчерк,
в кручах — шоссе наподобье змеи...
Как там живете в березовых рощах
вы, россияне, собратья мои?

Внятен ли вам мой рассказ напряженными,
будто негромкого эха раскат?
Как там Москва, где Василий Блаженный
врублен во вздыбленной площади скат?

Помню я лекции, помню спектакли,
помню я все, у чего я в долгу...
...Вот я сижу в своей низенькой сакле,
свет не зажгу, керосин берегу.

Слышу, как тихо-назойливый дождик
шлепает вслед отплавшей судьбе.
Вот я затерян в земных раздорожьях,
вы меня, братья, возьмите к себе.

Как мне знаком ваш студенческий норов,
как по душе мне и нынче, как встарь,
вся бесконечность ночных разговоров,
неповторимой заварки январь!

В ваших квартирках, о б щ а г а х, светелках
вы далеки от заоблачных льдин...
Спят мои книги на узеньких полках,
я по ночам их читаю один.

Это восточная наша истома,
это народ мой, как малый росток...
Вдруг меж страниц позабытого тома
вспыхнул осенней чинары листок.

Так вот, пожалуй, и мне бы, и мне бы,
сердцем в растаявшем в заоблачный дым,
в чьей-нибудь памяти вспыхнуть, как небо,
блеском зарницы, листком золотым!

Впрямь, может, кто-нибудь сердцем сродни мне?
Что, если, злые заботы гоня,
я сохранюсь в этом шелесте, в нимбе,
в этой крупнице осеннего дня?

Это глаголов моих колыханье,
это все гроздь, что зреют вокруг,
это мое золотое дыханье,
В Книгу Веков зароненное вдруг!

Может, потомок, в проеме оконном
пламенным лбом припадая к стеклу,
скажет, что жил по величья законам
татский поэт Амалдан Кукуллу?

Вовсе не принадлежа к запевалам
и не пленясь ни рублем, ни грошом,
он постигал, как великое в малом,
мудрость в народе своем небольшом.

Осень Чудес, кружевные бульвары,
и на Тверском к ветровому стеклу,
словно листок дагестанской чинары,
сердцем приник Амалдан Кукуллу!

Где-то он в горном, в морском мирозданье,
в древнем краю, в первозданной стране...
...Как там живете, друзья-москвитяне?
Не забывайте, друзья, обо мне.

Перевел А. ГОЛЕМБА.



ИЗ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ПОЭЗИИ

В. ЗАВАДА

★

В ПОЛЕТЕ

Из зенита небес,
Где нет ничего, кроме солнца и синевы,
Начинаем скользящий спуск
Через все этажи августовского неба.
Через розовый слой,
Через слой золотой,
Через снежно-белые облака,
Через дымно-серые облака —
Со ступеньки скользим на ступеньку
К посадочной полосе аэродрома.

Через овальный иллюминатор салона
Смотрю на огромную живопись,
Расстилающуюся внизу.
Сочная, яркая живопись маслом,
Нет, не маслом —
Полями, лесами, хлебами, озерами,
Черным асфальтом, зеленой травой,
Кубическая абстрактная живопись,
Квадраты, треугольники и трапеции
Соединяются в картину летней земли.

Тянутся, разветвляются жилки
Тропинок, дорожек, дорог
От города к городу, от селенья к селенью,
От жилья человеческого к жилью,
К ним тянется сердце мое,
Я сам в самолете, а оно на земле.

Шагаю ногами, ласкаю ладонями,
Блаженна босая нога.
Впиваю глазами своими бездонными
Просторные эти луга,
Босыми ногами протоптанные тропинки —
Словно места на древних святых иконах,
Где краска выцелована за столетия
Странниками,
Верующими людьми.

ЖАТВА

В золотом и синем сиянии лета
Все цветы дымятся, словно один цветок,
Все потоки искрятся, словно один поток,
Все росинки сверкают как одна волшебная призма
И даже люди все — как один земной организм.

Издали они мне кажутся хорошими и счастливыми.
Они не задумываются о том, что было до них,
Не заботятся о том, что наступит потом.

Они вырастают среди цветов, чертополоха, камней,
Десятилетиями ходят по одним и тем же тропинкам,
Протоптаннм среди полей.

Всю жизнь они ходят, пригнувшись
Под какой-нибудь ношей,
Всю жизнь они пашут и сеют.
На коленях помогают земле при родах,
На коленях выпальвают злые плевелы,
Чтобы очистить от них поля, сады, огороды.

Все идет своим чередом. Лишь во время жатвы
Усилие натягивают подобно луку,
Плечами, пружинами спин, черенками вил
Они поддерживают возы колосистого золота,
Как будто удерживают над пропастью
От падения мир.

В солнечные поля они выходят словно на праздник,
Под сияющим небом они не видят, сколько вокруг смертей
Птиц и рыб, жаб и змей,
Растоптаннх трав и сбитых колосьев,
Сколько ран и шрамов имеет земля
Под этой пышной травой по колено.

Деревенские кладбища, где цветы как свечи,
Полны тишиной, не считая щебетания птиц,
Земля обетованная
Для этих и будущих поколений.

Невидимо стоя за барьером деревьев,
Невидимо сидя за колосьями на меже,
Невидимо затаившись в уголке сердца,
Я соединен со всеми, как свет, как воздух.

Я никому не мешаю.
Я только слушаю и только смотрю,
Как облако переходит в облако,
Как женщины с детьми выходят на свет из тени
И все становится реальным, выпуклым, зримым.

Я брожу босиком в дымящемся синем утре,
Оставляя извилистый след на росистой траве.
Мое сердце — как рыльце цветка,
Готовое воспринять пыльцу красоты земли.

Чудо жизни!
Я — фокус света.
Все лучи вселенной перекрестились во мне.

Каплю за каплей роняю янтарные слезы,
Словно раненая сосна.
На ветру ломаюсь, подобно сухому бурьяну.
Вымолачиваюсь, как перезревший колос,
Если осень, если кончилось лето.
Сжигаемый любовью, рассыпаюсь на пепел.
Я — чудо жизни, я — фокус света.

Перевел ВЛ. СОЛОУХИН.

ИВАН СКАЛА



ДОМ

Есть у каждого в сердце, на дне, в глубине
и деревня, и роща густая,
травы детства, где тени листвы при луне
словно мех горноста.

И в душе не погаснет заброшенный сад...
Липы греют над кузней ладони.
И все те же глаза из оконца глядят
сквозь цветы пеларгоний.

Кто б ты ни был — однажды с души соскоблишь
сушь и ветошь, как делает каждый,
чтоб домой, в эту глушь, в этот сон, в эту тишь
возвратиться однажды.

Я вернулся на Гурку,
в родные места,
обошел вековые
надгробья.
На Баварию предки мои неспроста
из окопов глядят исподлобья.

Гамбург в эту же ночь нагружал поезда:
танки, лязг оглушительный стали...
Я вернулся к своим,
у которых всегда
на корню урожай отбирали.

Я дождался. Я жатву снимаю за них.
Не забуду их горькую долю.
Так сквозь вешнюю слякоть
пробился родник
к деревенскому полю.

Над колосьями ветер баварский поет.
Позабыты снаряды и копья.

Только бунт вековой в моем сердце живет.
На Баварию, в сторону бывших господ,
я гляжу исподлобья.

Есть у каждого в сердце, на дне, в глубине,
и деревня, и роща густая,
травы детства, где тени листвы при луне
словно мех горностоя.

В сердце каждого — сад в переблеске росы,
домик,
скрип деревенской телеги...
Если грудью тот дом заслонишь от грозы —
он пребудет вовеки.

МОЯ ИСПАНИЯ

Бутыль вина испанского.
Алая струя.
Испания горячая,
Испания моя.

Родит земля больная
вино тяжелей беды:
не сок,
а кровь людская
плюс капелька воды.

Но не даются даром
тугие гроздьи в ладони.
Слышишь? В Гвадалахаре
ржут мавританские кони.

Певчий в соборе древнем —
ангелом белокурый.
А рядом гниют деревни
расстрелянной Эстремадуры.

Травой поросли траншеи.
Американский крейсер
утро пушками ранит.
Но гонят Франко в шею
шахтеры и крестьяне.

А поутру в Мадриде
выходит на двор тюремный
моя Испания с песней.
Поет, звеня кандалами!
И собирает сходки.
И назначает время,
когда над Мадридом вспыхнет
зарю алое знамя.

Там, в закоулке испанской
географической карты,
осиротевшая девочка,
измученная вконец,

никак не выплачет горя
 в свой единственный фартук,
 который вчера подарил ей
 убитый сегодня отец.

Помни, хотя об этом
 на этикетке ни слова,
 и пьется вино кровавое,
 как кисленькая вода:
 жандармы Франко хватают
 людей на улицах снова.
 А жандармерия Франко
 расстреливает без суда.

Но светит в ночи кромешной
 песни резкое пламя
 и слышно, как голос Лорки
 зовет и плачет надрывно.
 Мерцают дарохранительницы
 огнистыми цветами.
 И зреет в шахтах Астурии
 красное семя взрыва.

Перевела ВЕРА ИГЕЛЬНИЦКАЯ.

ЖЕЛАНЬЕ

Кто ни разу еще не желал
 взять под уздцы двух каштановых лошадей,
 напоить их звездами из ночной реки,
 слушать звучанье воды, что течет бесконечно?

Кто ни разу еще не желал
 ночь, словно чашу, прижать к наболевшему сердцу
 так, чтобы — капля за каплей — кровь источалась в нее?

Так ожидаю тебя по ночам. Под окном —
 взрывы моторов, неоновое сиянье
 искрами осыпает бульвары,
 голубизной зажигая бархатный луч темноты.

И — ты! Долгожданная — ты
 с юной своею тревогой, радостным ветром просторов,
 что не уместятся в этих пустынных стенах.

Уличную брусчатку, точно клавиши, перебираешь,
 ступаешь по белым, не касаешься голубых,
 словно бы в детской игре... Это — ты!

По столу между книг и бумаг
 ты неслышно проходишь и стихи, точно желтую хвою,
 отгребашь босою ногой.

Медный казан луны тихо шипит в вышине.
 Ты лежишь на траве и, раскинувшись, спишь, все спишь.
 Первая, слабенькая звезда на стебельке лисохвоста
 качается подле твоих ресниц.

Плечами удерживаю над твоей головою мир,
закованный накрепко в панцирь, ленивый, игривый,
цветастый, как ярмарочные шатры, чуть сладковатый,
как хлороформ, после которого с ампутированной ногой
пробуждается человек.

На плечах я держу над твоей головою мир,
чья тяжесть тебя раздавила б, наверно,
и рукой отвожу от тебя я виденья
Апокалипсиса, написанного на ночных небесах.

Ты... Где-то здесь... Где-то рядом,
в мире зеленом, разнеженном
хлеб нарезаешь, играешь на фортепьяно,
и, как копытца овечек, горит на плече у тебя
красный рисунок, оттиск моих зубов.

Если бы, если б ты мне подарила всего лишь
струйку вечернего дыма над крышей Итаки,
дыма в слепом небосводе моей полуяви,—
я стремился бы вечно к извечной отчизне своей.

Как захотелось мне в это мгновенье
взять под уздцы двух каштановых лошадей,
напоить их звездами из ночной реки,
слушать звучанье воды, что течет бесконечно.

Перевела Т. ГЛУШКОВА.

КОЛОКОЛА

Где в далекой жизни детской
слышал я когда-то
с колокольни деревенской
мощный гул набата?

До сих пор еще блуждаю по песчаным склонам,
по траве зеленой,
детскою душой внимаю колокольным звонам,
потрясенный.

Не всегда и силы хватит
выдержать такое,
память детская накатит,
словно вал прибоя.

Из одних воспоминаний мы плывем в другие,
где потомки раздувают паруса тугие,
между нами столько счастья, горестей, усилий
и всего, что мы своею волей изменили.

Уходя, ты тоже станешь лишь воспоминаньем,
пусть оно не отзовется звоном погребальным,
пусть звучит оно в сознание поколений новых,
словно всадников летящих звонкие подковы.

Перевела Г. АНДРЕЕВА

Д. ШАЙДЕР



МОЙ ДЕНЬ

Я спрашиваю — что такое день?
 Мгновенье перед солнцем?
 Порханье птиц?
 Цветение цветов?
 Туман, плывущий над рекой и лугом?
 Или под плугом черные поля?

Но как же быть с мгновеньями, что ныне
 Ко мне приходят из веков далеких?
 Ну, например, —
 С последним взмахом Спартака?
 С последним выдохом Джордано Бруно?
 Иль с возгласом Колумбова матроса:
 — Земля!!!

Вмещает день
 И смерть раба и крепость пирамид,
 Падение тиранов, что случилось
 Пять тысяч лет назад,
 Приказ в атаку командира Жижки
 Совсем недавно.
 (И побежал в атаку и сраженным
 Упал солдат.)

Вмещает день
 Крик роженицы где-нибудь в Китае
 (Во Франции, в Египте, в Аргентине...)
 Вмещает день творенья Рафаэля.
 Бах для меня писал хоралы, фуги,
 Маркс для меня писал бессмертный Манифест
 (Поставил точку грозный залп «Авроры».)
 Вмещает день
 Глаза творцов, сердца, рабочих руки,
 Улыбки, скорбь, тревоги, радость, муки,
 Газеты, книги, разговоры, споры...

И все же день — мгновенье перед солнцем,
 Когда глаза я поднимаю к небу,
 Когда я вижу —
 Порханье птиц,
 Цветение цветов,
 Туман, плывущий над рекой и лугом,
 Или под плугом черные поля.
 Мой день — моя земля.

ИЮньСКИЙ ДОЖДЬ

Если б только созвучья,
 Если бы только рифмы и ритмы
 В песнях, которые мы поем...
 Но июньский дождь — это тоже песня.

Дождь проливается песней,
А песня льется дождем.

Деревья в июне ликуют,
Земля любит воду,
А корни — те просто жаждут воды.
Надо, чтоб были зерна,
Чтоб молоком доились коровы,
Чтобы загоралась радуга
(Под которую подлетает ласточка) —
Красно-сине-зелено-оранжевый дым.

Деревья в июне смеются.
Они пылают огнем зеленым.
Как сладка их влажная, их стройная дрожь.
На пламя брызгает дождик.
Что же, он его потушит?
Нет, только сильнее, пышнее и ярче
Становится пламя
Оттого, что — июньский дождь.

Пусть молодость — это тяжесть.
Ее один не утатишь.
Но для двоих это песня.
А еще зеленое пламя,
Которое рвется кверху
Под июньским светлым дождем.
Песни полны созвучий,
Полны ликованья песни.
Которые мы поем.

ГОЛОВУ ОБНАЖИВ...

Голову обнажив,
Я привожу вас туда,
Где смешаны яркие краски —
Зеленого леса,
Синего неба,
Красного солнца,
Где птицы поют
В зелени, в алоści, в синеве.

На колени! Обувь долой!
Здесь ковры, по которым надо ходить босиком.
Наклоните головы, слушайте:
Кузнечик даст к началу звонок —
И все, что живого есть на земле.
Все, что красивого есть на земле,
Страстно поет —
Осанна!

Голоса звучат зелено, сине и ало.
Слова!
Вереск стоит на коленях,
Кроны деревьев молитвенно вскинуты в высоту,
Горы — звуки хорала.

Мы уходим. Подождите.
Сначала лес я на ключ запру,
Лес, полный драгоценных вещей,
Зеленых, синих и алых.

НА РОДИНЕ МОЕЙ...

На родине моей
Зерно всегда найдет себе приют в земле.
Всегда найдется и ладонь,
Чтобы погладить колос.

Сквозь время дни мои растут,
Точь-в-точь как движется в земле
Ржаной росток,
Предчувствует он влагу.
А влага в том же страстном нетерпении
Предчувствует его
И, прикасаясь к корешку растенья,
Уходит в стебель,
В колос и в зерно.

И вот уже коленце за коленцем
Выбрасывают злаки над землей.
Они уже шумят.
Они уж созревают.
Уже набухли тяжкие колосья,
Уже для них как бы девятый месяц.
По деревенским тропкам и дорогам
Бежит та новость как по проводам:
Пора. Еще немного — и пора!

Сквозь время дни мои растут и созревают...
Ну что ж, всегда на родине моей
Ладонь найдется,
Чтоб погладить колос.

Перевел ВЛ. СОЛОУХИН.



О ЧИСТОТЕ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

В. ДЖАЛАГОНИЯ, Б. ЧЕХОНИН

★

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

ДАВНЯЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ

На рубашке Людвиг Марциньяка, рельефно облепившей его крепкую грудь, выведено большими буквами: «CLEAN AIR» — чистый воздух. Впрочем, это английское выражение можно перевести и так: очищайте воздух. В смысле оздоровляйте, мол, окружающую среду. Лозунг, рожденный издержками века НТР.

Людвиг широко разводит руками, как бы заключая в объятия сосновую рожицу и озеро, в котором стынет ее перевернутое отражение, и с удовольствием повторяет:

— Чистый воздух!

Воздух здесь, в Прикамье, действительно удивительно чист и вкусен. От реки, которая неслышно катит свои воды где-то совсем рядом, за леском, веет вечерней прохладой и каким-то первозданным, былинным покоем.

— Clean air — это то, что больше всего надо человеку второй половины двадцатого века, замученному смогом и стрессами, — философски замечает Марциньяк и добавляет: — И в быту и в политике...

С Людвигом Марциньяком, инженером из Швеции, представляющим на строительстве КамАЗа фирму «Флэкт», мы беседуем на борту «Аркадия Гайдара».

«Гайдар» — пароход, точнее бывший. Некогда эта посудина, хлопотливо вертя колесами, курсировала с пассажирами вверх и вниз по Каме, а выйдя на пенсию, получила новую профессию — оседлую, более соответствующую ее почтенным годам, стала гостиницей. «Гайдар» отбуксировали к озерам, запрятанным среди лесов, в двухстах метрах от Камы, и поставили на прикол. Сейчас здесь загородная база отдыха иностранных специалистов, работающих на КамАЗе.

По субботам их доставляют сюда автобусы «Интуриста», и «Аркадий Гайдар» на два дня становится для них домом на плаву. В каютах-номерах чуть старомодный, но добротный уют: красное дерево, мрамор умывальников, зеркальные иллюминаторы в полстены. Комфорт и природа под рукой! Хочешь — если день такой же теплый, как сегодня, плескайся в Каме или валяйся с книжкой на ее песчаных отмелях; хочешь — отправляйся в лес по грибы; хочешь — уди рыбу с лодки: случается, клюет.

Для бесед и дружеских встреч — салоны все с тем же красным деревом и мрамором. В одном из таких салонов мы и сидим сейчас с Марциньяком, попивая из банки датское пиво «Карлсберг» — ассортимент местной «Березки»...

Итак, clean air и политика. Что ж, само присутствие шведского инженера здесь, на берегах Камы, — одно из проявлений очищения международной атмосферы, оздоровления политического климата нашей планеты, которой так нужен, жизненно необходим чистый воздух.

В деловых кругах Швеции, как и всего западного мира, за последнее время заметно возрос интерес к экономическому сотрудничеству с СССР. Марциньяк сообщил нам, что в состав Шведского комитета по развитию взаимной торговли с Советским Союзом, основанного в 1968 году, вошло около ста семидесяти фирм и банков.

Важной вехой в развитии деловых контактов двух стран стало соглашение между советскими организациями Совтрансавто и Союзвнештранс и шведскими фирмами «АСГ» и «Линьебус» об открытии транзитной автомобильной магистрали Швеция—СССР—Иран. По этой трассе, прочертившей с севера на юг весь европейский континент, катят через советскую территорию товары напрямик из Швеции за Аракс, в Иран. Вполне возможно, что не в столь далеком будущем на гудроне этой автострады отпечатается резиновый след «КамАЗов» — мощных, быстрых и удобных в управлении грузовых автомобилей, в подготовке к выпуску которых участвует и инженер из Швеции Людвиг Марциньяк.

Наш собеседник не только выразитель деловых интересов определенных кругов шведского бизнеса. Это человек из плоти и крови, со своим путем в жизни, со своими взглядами и привязанностями, достаточно устоявшимися к пятидесяти годам. Что привело его в нашу страну?

Людвиг уже говорил нам, что фирма предложила ему выбор: Мексика, Аргентина, СССР. Он выбрал СССР.

Почему?

Марциньяк трогает высокий, с залысинами лоб, ищет ответа поточней.

— Потому что мне интересна ваша страна. Потому что у меня давняя привязанность к советским людям.

Людвигу можно верить. Он не из тех, кто станет выдавать комплименты в угоду дипломатическому протоколу.

— Да, — твердо повторяет Людвиг, — привязанность и благодарность...

В пояснение он рассказывает нам историю своей жизни. Она полна драматизма.

Людвиг родился в Польше. Когда гитлеровцы оккупировали его страну, ему было четырнадцать лет. Однажды ночью в городке, где он жил, эсэсовцы устроили облаву. Хватали без разбору всех молодых мужчин, не тратя времени на изучение документов. Людвиг был мальчишкой, но рослым — для организаторов облавы этого оказалось достаточно. Вместе с остальными арестованными его погрузили в вагоны для перевозки скота и отправили в Австрию — батрачить.

Род спустя до Людвига дошла весть, что родители его тоже схвачены, работают в Германии. Он не выдержал, сбежал от хозяина. На попутных машинах, товарных поездах, а чаще просто пешком добрался до своих.

Кто-то проявил «бдительность» — донес, и ровно через неделю глухой ночью за ним пришли из гестапо. Так для него начались самые страшные дни, память о которых может вдруг и сегодня отозваться ночным кошмаром, сдавленным криком сквозь сон, когда просыпаешься весь в холодном поту и долго не можешь унять гулких ударов сердца...

Тюрьма в Виттенсбурге, тюрьма в замке Гистроф, концлагерь в Гамбурге, военный завод в Брауншвейге «Герман Геринг-верке» — круги Дантова ада.

В Брауншвейге Людвиг впервые познакомился с русскими.

— Это были настоящие парни, — вспоминает Марциньяк. — Мужественные, с широкой душой, всегда готовые прийти на помощь товарищу. В лагере это было так важно, быть может, важнее всего! Без этого не выдержать той жизни, которой нам приходилось жить... Признательность к советским людям мы выражали по-разному. Во время марша нас заставляли петь, ну а мы пели «Катюшу» — песню, которую знали все. Так продолжалось до тех пор, пока не нашелся гитлеровец, музыкальной эрудиции которого хватило, чтобы распознать «вражескую» мелодию. «Катюша» была запрещена, а запевалы нашего спевшегося хора расстреляны.

Репрессии не сломили узников. На заводе участились случаи диверсий,

в лагере набирало силы сопротивление. И русские всегда были в его первых рядах.

— Нас поражала в них какая-то особая стойкость, — говорит Марциньяк. Он словно вглядывается сквозь годы в то, что осталось далеко за чертой времени, но продолжает волновать, наводит на размышления. — Думаю, что это шло от не покидавшей их ни на минуту веры в победу. Ради нее они жили, боролись, умирали.

Однажды из лагеря сбежали 12 советских пленных. Их поймали и повесили на плацу перед общим строем. Они встретили казнь мужественно, без стога. Один за другим подходили к виселице с высоко поднятой головой и, прежде чем петля захлестывала их, успевали кинуть проклятие палачам, слова ободрения товарищам. Даже смерть свою они подчинили борьбе.

На заводе Людвиг сильно поранил себе руку. При крайнем истощении организма это могло кончиться смертью от потери крови. И тогда один из русских снял с себя рубаху, разорвал ее на полосы и перевязал Людвигу рану.

— Я знаю, у вас есть пословица: своя рубаха ближе к телу. Тот парень действовал не по пословице. Его рубаха — последняя, да что последняя — единственная: одну рубаху выдавали на целый год...

Вынужденный перерыв в рассказе. Марциньяк нащупывает в кармане пачку «Винстона», у него красные глаза. Струйка газа пляшет в его зажигалке, и сигарета слепо тычется все мимо, мимо. Крутой, тяготеющий к квадрату подбородок этого человека, столько повидавшего на своем веку, совсем по-детски дрожит, и некоторое время он просто не в состоянии разговаривать...

— Что помогло мне выжить? Надежда на скорый конец мучений. И надеждой этой я тоже обязан русским. В феврале сорок пятого мы узнали, что Советская Армия освободила Польшу, пересекла границу Германии и неудержимо движется вперед.

15 марта — день этот запомнился всем заключенным — охрана, трусившая все заметнее, сломала виселицу, зловещая тень которой так долго нависала над лагерем. Неужели свобода уже близка? Но радость оказалась преждевременной. Из Брауншвейга заключенных перебросили в лагерь смерти Бергенбельзен. Уже на подступах они убедились, что мрачная слава его заслуженна: их встретили штабеля трупов. Сжигать их не успевали, не хватало солдат.

Линия фронта все приближалась. Здесь, на западе, гитлеровцы сражались совсем не так фанатично, как на восточном фронте. 15 апреля в лагерь ворвались американские танки.

Но долгожданная свобода далеко не для всех означала жизнь. Через две недели из 100 тысяч заключенных в живых осталось лишь 40 тысяч. Люди продолжали гибнуть от истощения, от болезней. У американцев не хватало врачей, медикаментов...

Людвиг Марциньяка комиссия Международного Красного Креста отправила на лечение в Швецию. Здоровье вернулось только через два года. Собрался было домой, в Польшу, но тут на пути встала первая любовь. Дальше все решалось само по себе: женитьба, дети, работа для них.

Так Швеция стала второй родиной Марциньяка. Но и первая живет в его сердце и время не в силах вытравить память о ней.

Людвиг показывает паспорт. Он весь в штампах с отметками виз ПНР. Когда его фирма заключила контракт с Польшей на продажу и монтаж оборудования, Марциньяк проработал на родине около года. Потом четырнадцать месяцев был в Чехословакии. Сейчас — КаМАЗ.

— Русские люди дороги и близки мне по-прежнему, — говорит Людвиг. — С ними приятно жить, хорошо работать. Думаю, на КаМе будет создан отличный грузовой автомобиль. На уровне самых высоких мировых требований.

Мы выходим на палубу. Уже совсем темно, и бортовые огни ложатся на озеро полосками золотистой фольги. Людвиг тушит сигарету о латунную пасть паровой урны и полной грудью вдыхает упругую свежесть прикамской ночи.

— Clean air, — говорит он. — чистый воздух...

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ КАМАЗА

Людвиг Марциняк — один из 170 зарубежных инженеров и техников, работающих на КамАЗе. Говорят, скоро их будет больше.

Иностранцы живут в отелях, приемы которых тремя вертикалями поднялись над крышами одного из новых районов Набережных Челнов, формируя его высотный силуэт. Каждое утро к подъездам гостиниц подкатывают автобусы «Интуриста», чтобы развезти зарубежных специалистов по их рабочим местам. В течение дня машинам предстоит вернуться сюда дважды: в обеденный перерыв и по окончании рабочего дня — ровно в 16.30.

В городе шутят, что по этим машинам можно проверять часы все равно что по сигналу точного времени. Иностранцы уважают режим и лишней минуты не переработают. «Поставим грузовик на поток — тоже так будем работать», — сказал нам один из советских инженеров, провожая интуристовский автобус взглядом, в котором легкая зависть и чуточку иронии.

Днем разыскать иностранцев на строительной площадке немногим легче, чем осуществить известный эксперимент с иголкой и стогом сена. Как-никак Камский автомобильный разросся уже на добрых сто квадратных километров. А вот вечером почти всех можно застать в баре перед телевизором или за игрой, изобретенной здесь же, на КамАЗе. Кто именно является ее автором, установить нам не удалось, но он несомненно заслуживает патента — таким успехом пользуется его выдумка. На пол ставится хрустальный фужер, а играющие, сидя в креслах за несколько метров, пытаются забросить в него пинг-понговый шарик. Приз — бутылка шампанского, купленная в складчину.

Под цоканье пластмассового мячика, приземлявшегося на паркете куда чаще, чем в «корзине», мы и познакомились с представителями зарубежных деловых кругов. В основном это люди, и прежде бывавшие в нашей стране, имеющие опыт технического сотрудничества с советскими коллегами. Как они оценивают этот опыт? Самый убедительный ответ в том, что они вновь приехали по контракту в СССР. Раз возвращаются, значит, нравится, значит, оценивают положительно.

Белый шарик берет Зигфрид Кюршнер из ФРГ. Он подбрасывает его в руке, щурит глаз, долго прицеливается, и лицо у него становится таким сосредоточенным, будто ему предстоит решить сложную техническую задачу. Но не решил. Мимо...

Кюршнеру доводилось уже работать на наших автомобильных заводах. На КамАЗе он планирует провести год. Наши производственные порядки изучил досконально и уверенно ориентируется в непростой для иностранцев административной и общественной иерархии, сложившейся на стройке. При возникновении конфликтных ситуаций предупреждает: «Буду жаловаться в партком». Говорит, помогает.

Француз Жан Ородикид предпочитает расчету вдохновение. Он бросает шарик с ходу, без прикидки, и тот, описав плавную дугу, неожиданно плюхается прямо на доньшко фужера. Даже ободка не задел! Знаете, как это бывает при особенно точном броске в баскетболе: только шорох пробитой сетки — и мяч в корзине.

Успех снайпера Жана встречается аплодисментами. Он вскидывает руки над головой и раскланивается со снисходительным достоинством олимпийского чемпиона. Официантка Ира отправляется за шампанским...

Удачливый француз представляет в Набережных Челнах фирму «Рено». До этого он два с половиной года работал в Москве на заводе малолитражных автомобилей имени Ленинского Комсомола. С КамАЗом контракт на два года.

— Советские коллеги — отличные партнеры, — говорит Жан, — умелые, знающие, доброжелательные. Хотя мы говорим на разных языках, общий язык находим легко.

Эрнст Иекель в мяч не играет и вообще поглядывает свысока на шумную и довольно безалаберную компанию одиноких мужчин. В отель он заглянул на минутку, чтобы прихватить какие-то вещи из номера. Эрнст спешит к жене-учи-

тельнице и детям, которых он выписал на три каникулярных месяца и сегодня отвозит на дачу-временку, построенную им самим на камских озерах.

Иекель представляет на КамАЗе наших друзей из социалистических стран. Инженер фирмы «Эрфурт» из ГДР, он много лет работал в Советском Союзе, занимался монтажом на Павлодарском и Харьковском тракторных, Ижевском и Кременчугском автомобильных заводах.

От КамАЗа он в восторге — масштабы, темпы, новейшие технические решения.

— Заказы для Набережных Челнов, которые мы выполняем совместно с советскими специалистами, — говорит Эрнст Иекель, — дали хороший импульс техническому прогрессу на нашей фирме.

Главная задача иностранных специалистов — участие в монтаже и отладке оборудования, поставленного Камскому заводу их фирмами. Оборудование это частью находится уже в цехах, частью еще в пути. Многие станки хранятся на складе. Составить некоторое представление о его размерах можно только взобравшись на площадку подъемного крана в порту. Кругом насколько хватает глаз — огромные контейнеры. Чтобы доставить в Набережные Челны этот груз — сотни миллионов овеществленных золотых рублей, — год назад пришлось поднимать на несколько метров уровень воды в Каме. Иначе к причалам не смогли бы подойти большегрузные суда типа «река-море», оставившие за кормой не одну тысячу миль.

Надписей, выведенных жирной черной краской на бортах контейнеров, хватило бы на добрый географический атлас. Какова же она, география КамАЗа?

Прежде всего это география наша, отечественная. 5 тысяч советских предприятий, все республики, образующие многонациональное Советское государство, поставляют оборудование для автогиганта на Каме, стройки подлинно всенародной.

Широким потоком поступают в Набережные Челны станки из стран — членов СЭВ, две трети внешнего товарооборота которых приходится ныне на взаимную торговлю. Строительство Камского автозавода — немаловажная веха в осуществлении комплексной программы социалистической экономической интеграции. На прессово-рамном заводе, одном из важнейших технологических звеньев в производственном комплексе КамАЗа, к примеру, треть всех станков поставлена социалистическими странами.

В больших масштабах, чем на какой-либо другой советской стройке, представлены на КамАЗе фирмы индустриальных стран капиталистического мира. «Чиустина, Турин, Италия», «Ингерсол, Иллинойс, США», «Комацу, Токио, Япония»... — читаем мы надписи на бортах контейнеров.

Состояние экономических отношений между Восточной и Западной Европой западногерманский исследователь Г. Целлентин довольно метко назвала «индикатором политического климата». Здесь, на КамАЗе, показания этого индикатора вселяют оптимизм.

Камский автозавод часто называют витриной самого современного автомобильного оборудования. С этой оценкой согласны и многие специалисты на Западе. Поставка станков в Набережные Челны — отличная реклама для любой зарубежной фирмы, и это обстоятельство играет не последнюю роль в интересе, который проявляют к стройке на Каме многие воротилы западного бизнеса.

По сути дела, в Набережных Челнах проходит негласное соревнование зарубежных фирм, проверка их конкурентоспособности. Но кто бы ни победил в этом соревновании, дело международного экономического сотрудничества от этого только выиграет.

В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ

«КамАЗ — начало в миллиард долларов» — так была названа книга, знакомящая американцев с проектом строительства автозавода в Набережных Челнах. Ее выпустила компания «Чейз уорлд информейшн корпорейшн», созданная при банке «Чейз Манхэттен».

Уже в самом названии книги — выраженная на американский лад оценка камского проекта, восхищение его масштабами. Такого крупного промышленного комплекса не создавалось еще нигде в мире, и деловая Америка с самого начала стала проявлять к нему пристальное внимание.

Большим и принципиально новым событием в развитии советско-американских экономических отношений явилось создание в Нью-Йорке закупочной комиссии, которая поставила своей задачей содействие советским внешнеторговым организациям в размещении заказов на оборудование и разработку технологических процессов для КамАЗа.

Комиссия, работающая в одном из командных пунктов американского бизнеса — небоскребе компании «Дженерал моторс», развернула энергичную деятельность. Контракты о поставке оборудования в Набережные Челны были заключены примерно с 70 американскими фирмами. Самым значительным оказалось соглашение с фирмой «Суинделл-Дресслер» в Питтсбурге, специалисты которой проектируют литейный завод для КамАЗа и изготавливают для него плавильные печи. Фирме «Холкрофт» были заказаны термические печи. Фирма «Си-и-Кэст эквипмент» в Кливленде поставит на Каму автоматические формовочные линии, фирма «Ингерсол» из Иллинойса — автоматическую линию для производства блока цилиндров, фирма «Нэшнл инджиниринг» — автоматическое смесеприготовительное оборудование...

И та перечитываешь этот далеко не полный список, невольно думаешь, что продажа СССР большинства значащихся в нем товаров еще несколько лет назад была бы квалифицирована в Америке как подрыв национальной безопасности. Дело в том, что все эти печи, станки и линии, как и множество иных, были отнесены к товарам «запретным», ибо, по твердому убеждению идеологов военно-промышленного комплекса США, они могли опасно усилить оборонную мощь потенциального противника.

Дичь? Конечно! Та самая несусветная дичь, которая пышно расцветала в питательной среде «холодной войны». Это недоброе время и вспоминать бы не стоило, если бы его идеология, густо настоянная на истерии, подозрительности и ненависти, канула в прошлое вместе с ним. Но, к сожалению, и сегодня за океаном есть немало политических деятелей, которые исповедуют тот же символ веры и пуще огня боятся того, что народы мира, уставшие жить в атмосфере военного психоза, назвали разрядкой.

«Национальным самоубийством» — ни больше и ни меньше! — окрестил научный сотрудник Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете Энтони Саттон развитие торгово-экономического сотрудничества между Америкой и СССР и вынес эти хлесткие слова на обложку своей книжки.

И этот «ученый муж» не одинок. Вновь и вновь раздаются в определенных кругах США голоса о том, что Советский Союз якобы извлекает одностороннее преимущество из делового сотрудничества с Западом, а коль скоро это так, надо заставить его платить полную цену своим «благодетелям». Эти бредовые мысли лежат в основе концепции «экономических санкций», которые, по мнению ее авторов, следует применять к СССР и другим социалистическим странам, дабы активно влиять на их политическую и экономическую жизнь, приближать ее к западным образцам.

Добро бы эти идеи оставались голым теоретизированием, так сказать, игрой воспаленного ума. Но ведь противники развития советско-американских связей попытались облечь их в законодательную форму и в известной мере преуспели в этом малопочетном занятии. Им удалось заблокировать в конгрессе США представление СССР режима наибольшего благоприятствования, предусмотренного Соглашением о торговле 1972 года. При обсуждении в конгрессе закона о торговой реформе в него были включены положения, являющие собой недвусмысленную попытку вмешательства в сугубо внутренние дела нашей страны. Ясно, что пойти на это Советский Союз не мог, и торговое соглашение между нашими странами так и не вступило в силу.

Позиция СССР в отношении экономического сотрудничества с капиталистическими странами, и в первую очередь с Америкой, была определена еще на заре советской власти В. И. Лениным. «Мы решительно за экономическую договоренность с Америкой,— подчеркивал основатель Советского государства,— со всеми странами, но особенно с Америкой»¹. По-ленински коротко, четко и мудро.

Деловые люди Америки тоже хорошо понимали жизненную важность для нее прочных деловых связей с Советской Россией. Так, известный американский публицист Пакстон Гиббен, побывавший в 1920 году в нашей стране, предсказывал, что «Америка будет со временем зависеть от природных ресурсов России», и энергично высказывался за развитие торговли с ней. «Восстановление России— условие для процветания всего мира»,— подчеркивал Гиббен. Но этот свой тезис он выдвинул со... скамьи подсудимых, на которую попал в 1923 году как раз за то, что публично призывал к признанию Советской России и установлению с ней дружественных отношений.

Развитие событий на мировой арене подтвердило справедливость утверждений Гиббена. В годы второй мировой войны СССР и США стали боевыми союзниками и вместе с другими странами антигитлеровской коалиции и народно-освободительными движениями в оккупированных странах Европы спасли мир от угрозы фашистского порабощения.

На годы войны приходится и высшая стадия развития разносторонних отношений между нашими странами, в том числе экономических. Успешно продолжали они развиваться и в два первых послевоенных года. В октябре 1945 года было заключено межправительственное соглашение о поставках из США в СССР на основе долгосрочного кредита в размере 244 миллионов долларов материалов и оборудования. Они были в свое время заказаны по ленд-лизу, но не получены к моменту прекращения поставок.

Казалось, была заложена хорошая основа для долговременного, взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Однако в 1946 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке аннулировали соглашение, заключенное год назад, и прекратили обещанные поставки. В марте 1948 года под более чем сомнительным предлогом «обеспечения безопасности» американская сторона прекратила выдачу лицензий на экспорт оборудования в СССР, а лицензии, выданные ранее, были признаны утратившими силу. Так начиналась затяжная эра «холодной войны».

Дискриминационный курс правительства США, вводившего одно ограничение за другим в торговлю со странами социализма, привел к быстрому сокращению советско-американских деловых отношений. В 1951—1955 годах импорт СССР из США, по существу, прекратился, а экспорт был сведен до чисто символического минимума. Чтобы яснее представить себе темпы, которыми сворачивались наши коммерческие отношения, напомним, что объем товарооборота между СССР и США упал с 303,9 миллиона рублей в 1946 году до 21,9 миллиона рублей в 1955 году.

Несколько увеличившийся в последующий период объем товарооборота между нашими странами все же продолжал находиться на низком уровне вплоть до 1972 года. Новый этап в советско-американских отношениях был ознаменован переговорами на высшем уровне, которые состоялись в Москве в мае 1972 года. В «Основах взаимоотношений между СССР и США», которые были подписаны во время этой встречи, торгово-экономические связи характеризуются как важный и необходимый элемент упрочения двусторонних отношений. Обе стороны заверили, что будут способствовать сотрудничеству между предприятиями и организациями обеих стран и заключению соответствующих соглашений и контрактов.

Одной из таких акций стало участие американских фирм в строительстве НамАЗа.

Нормализация советско-американских экономических отношений, хотя еще далеко не полная (торговое соглашение 1972 года, как мы уже отмечали, не вступило в силу до сих пор), заметно активизировала наши деловые контакты.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 209.

В 1974 году объем товарооборота между СССР и США увеличился примерно до миллиарда долларов.

Что стоит за этими позитивными сдвигами? Каков их скрытый механизм?

Конечно, огромную роль в придании новых импульсов советско-американскому сотрудничеству сыграли усилия Советского правительства, последовательно проводившего курс на мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Но нельзя недооценивать и давления, которое было оказано на американское правительство из сферы бизнеса.

Потеря выгодных советских заказов стала одной из причин снижения деловой активности в США. Статистика свидетельствует, что за минувшее десятилетие США по темпам роста экономики опустились на семнадцатое место среди 20 развитых капиталистических стран. Все это не могло не вызвать самой серьезной озабоченности у американских предпринимателей. Озабоченность эта возрастала все более по мере успешного развития торговли СССР со многими западноевропейскими странами и с Японией. В сфере торговли вакуума, как известно, не бывает, и американцам пришлось убедиться в этом на собственном опыте.

В общем, решающее слово оказалось за законами экономического развития, с которыми не поспоришь. Как здесь не вспомнить слов В. И. Ленина, который дал положительный ответ на вопрос о возможности развития широких экономических связей между социалистической страной и странами капитала. «Есть сила бóльшая, чем желание, воля и решение любого из враждебных правительств или классов, — говорил Владимир Ильич, — эта сила — общие экономические всемирные отношения, которые заставляют их вступить на этот путь сношения с нами»².

Вступают на этот путь, потому что выгодно. Им выгодно. Вот о чем свидетельствуют уроки истории. И если кое-кто о них забывает, нелишне об этом напомнить.

МЫ МОЖЕМ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

— Наше экономическое сотрудничество выгодно для обеих сторон. Это бесспорно. Раз американские фирмы, в частности наша, заключают контракты с советскими партнерами, значит, это им выгодно. Хотел бы я посмотреть на бизнесмена, который, начиная дело, не прикидывает, какую прибыль это ему принесет!

И мистер Шмидт не может скрыть улыбки. До того уморительной представляется ему сама мысль о бизнесмене-бессребренике. Мы тоже улыбаемся.

Джон Шмидт, представитель фирмы «Суинделл-Дресслер», хорошо знает законы американского бизнеса. Он не рядовой специалист, а один из руководителей проектно-монтажных работ, выполняемых американцами.

Из московского офиса, где Шмидт нас сейчас принимает, он подгоняет свою «команду», работающую в Питтсбурге, контролирует ход работ на строительстве литейного производства КамАЗа, совершает инспекционные наезды в Набережные Челны. В общем, забот у него хватает, что подтверждает настойчивая трель телефонных вызовов, то и дело прерывающих нашу беседу. Что ж, это по-своему отражает пульс нашего сотрудничества на Каме. Нормальный рабочий пульс.

За окнами люкса в отеле на площади Маяковского, где расположилась московская квартира-офис представителя американской фирмы, шумит Садовое кольцо. И это тоже по-своему примета времени: американский офис на одной из самых оживленных магистралей советской столицы. Нормальная рабочая примета.

— Заказ на проектирование и оснащение литейного завода на Каме — очень крупный, а потому очень выгодный заказ. Любая фирма может только мечтать о таком, — говорит Шмидт. — Выгоду экономического сотрудничества с Советским Союзом я мог бы проиллюстрировать и на примере другой американской компании — «Олбани машин» в штате Нью-Йорк. В трудное время депрессии и инфляции, характерных для сегодняшней деловой жизни Америки, наши коллеги благодаря заказам на кузнечное оборудование для КамАЗа сумели поправить свои дела, более того — расширить производство. А это помимо других

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 304—305.

очевидных преимуществ означает дополнительные рабочие места, что важно, очень важно для Америки...

Да, это важно для страны, где число безработных достигает 9 миллионов. А ведь только первые заказы на оборудование для КамАЗа обеспечили занятость десяткам тысяч американских рабочих. Пусть вдумаются в эту цифру те, кто берет на себя смелость — воспользуемся этим эвфемизмом — утверждать, что деловые связи с Советским Союзом ничего не дают Западу!

Мы спрашиваем, как оценивает представитель фирмы «Суинделл-Дресслер» сотрудничество советских и американских специалистов.

— Отлично! — говорит он. — Несмотря на различные методы работы и языковой барьер, американские и советские инженеры хорошо понимают друг друга, трудятся весьма эффективно. Я убедился в очень высоком уровне профессиональной подготовки инженерно-технических работников в Советском Союзе. Их отличает широта инженерного мышления, хорошее знание технологии.

Джон Шмидт имел возможность наблюдать совместную работу специалистов двух стран по обе стороны океана. В Питтсбурге над проектом литейного завода на Каме вместе с 300 американскими проектировщиками трудилось около 70 советских. Поработали они, надо сказать, на славу: выдали примерно 4 тысячи рабочих чертежей! Вместе работают коллеги и на монтажных площадках КамАЗа. Только здесь, конечно, советских специалистов несравненно больше, чем американских.

Ну а что думает наш собеседник о самом грузовике, который сойдет с конвейера КамАЗа?

— О! — оживляется Шмидт. — Я сам сидел за рулем опытного образца «КамАЗа», прощупал его в работе и как старый автомобилист получил истинное удовольствие. Это надежная, производительная и — что немаловажно! — красивая машина с мощным двигателем и удобной кабиной. Новый советский грузовой автомобиль будет несомненно одной из лучших машин этого класса в мире. Не побоюсь предсказать ему хорошие перспективы для экспорта.

А вот мнение о советских партнерах представителя крупнейшей японской фирмы «Комацу Сейсакусё» Ямамото Кунихико:

— Сотрудничество с советскими специалистами принесло нам большую пользу. По сути дела, мы были лишь техническими исполнителями их идей. Позволю себе признание: своими силами наша фирма не смогла бы сконструировать столь современные прессы, как те, которые мы изготовили для КамАЗа по советским проектам. С помощью специалистов из СССР, которые в течение года работали на нашей фирме, мы освоили новую перспективную технологию. Это несомненно повысит нашу конкурентоспособность на мировом рынке.

Одному из авторов этого очерка довелось в течение нескольких лет работать корреспондентом в Токио, и он хорошо знает мир японского бизнеса. Можно не сомневаться: фирма «Комацу Сейсакусё» выжмет все что сможет и еще чуть больше из опыта работы над заказами для КамАЗа, и мы искренне желаем ей успехов. Ведь это закономерные плоды международного сотрудничества.

Итак, мы выслушали суждения представителей зарубежных деловых кругов. Теперь самое время предоставить слово их советским коллегам. Как говорили древние, «*audiat et altera pars*»³.

Беседу с Николаем Ивановичем Федченко, руководителем автоматизированной системы управления КамАЗом, мы начали с того, что прочли ему выдержку из статьи американского экономиста Сэмюэла Лизара, опубликованной в «Нью-Йорк таймс». Вот она: «Только индустриальное партнерство с крупнейшими американскими компаниями в состоянии помочь русским добиться выполнения их новых экономических планов в достаточно короткий срок».

— Вздор! — коротко, но энергично прокомментировал эту цитату Федченко. А потом пояснил, почему именно вздор: — Наша страна — высокоразвитая индустриальная держава с огромным внутренним рынком, вполне способным удов-

³ Пусть будет выслушана и другая сторона (лат.).

летворять весь комплекс ее потребностей. Это знает каждый школьник! — температурно продолжал Николай Иванович. — В семьдесят третьем году, экономические итоги которого были вполне успешны, наш импорт из всех промышленно развитых капиталистических стран составил менее полпроцента к общему объему валового общественного продукта СССР. Этого, возможно, каждый школьник и не знает, но люди, пишущие о том, что индустриальное партнерство с Западом для нас якорь спасения, знать обязаны. Мы и без этого якоря можем двигать требуемым курсом корабль советской экономики. И, между прочим, двигали! Но аваркия, замкнутость национального хозяйства, не наш идеал. Мы вступили в век международного разделения труда и, конечно же, желаем жить по его законам. Если мы проявляем готовность приобрести оборудование или новую технологию за рубежом, это вовсе не означает, что обойтись своими силами не можем. Можем, но не считаем рациональным! В данном конкретном случае для нас более выгодно обратиться к зарубежному рынку. Это нормальный процесс международного обмена, к которому прибегают все развитые страны. Никто не станет оспаривать, и мы тем более, что Соединенные Штаты — крупнейшая автомобильная держава. Но это не мешает американцам покупать в больших количествах японские и западногерманские автомобили. И пусть покупают себе на здоровье, раз это им выгодно! Может быть, и почти наверняка, они со временем будут покупать наши «КамАЗы», и мы с удовольствием будем их продавать. Но разве это хоть в какой-то мере ставит под сомнение индустриальные возможности Америки? Почему же к нам считается возможным подходить с другой меркой?!

В полемическом пылу Федченко посмотрел на нас так, будто ответ на его вопрос должны были дать именно мы. Но, пожалуй, более справедливо переадресовать этот вопрос «Нью-Йорк таймс». Так сказать, в порядке международного обмена.

— Взять хотя бы нашу АСУ, — продолжал Николай Иванович. — Вычислительную технику для нее мы закупаем в Соединенных Штатах. Значит ли это, что у нас нет своих ЭВМ? Есть, и очень неплохие. Но потребность в них слишком велика. Как-никак с начала пятилетки в СССР пушено около десяти тысяч новых предприятий, а современному производству без компьютеров не обойтись. И мы решили закупать их для КамАЗа за рубежом. Американская вычислительная техника великолепна. Я год проработал в Америке, был на промышленных предприятиях Питтсбурга, Детройта, Дирборна и видел американские ЭВМ в работе. Это машины высокого класса. Потому-то мы их и покупаем.

Но вот что интересно! Автоматизированной системы управления такого масштаба и сложности, какой она будет на КамАЗе, нет еще нигде в мире. И в самой Америке тоже нет. Фирме «Эй-Би-Эм» впервые пришлось выполнять подобный заказ.

И дело тут не в одной скорости, хотя сама по себе она будет очень высокой (самая крупная в центре управления ЭВМ выполняет миллион операций в секунду). Автоматизированная система управления на КамАЗе уникальна комплексом своих возможностей. Она не только держит в своей памяти эталоны технических стандартов, следит за тем, чтобы детали и узлы автомашин в точности им соответствовали, выдает информацию о состоянии производственных процессов или наличии различных материалов на складах. Система ЭВМ идет дальше. В случае нехватки деталей она в состоянии, к примеру, подсказать немедленно генеральному директору, какой из 12 модификаций необходимо заменить собираемый на конвейере грузовик.

А план? Без новой АСУ немисливо ни его составление, ни реализация. Вычислительный центр составляет график выполнения плана всем шести заводам Камского комплекса, их отраслевым цехам. Он проверяет обеспеченность плана и графика людскими и материальными ресурсами, держит в своей бездонной памяти нормы расхода материала, оснастки, инструмента, контролирует фактические возможности и обеспеченность выпуска автомобилей со сборочной ленты в каждые полторы минуты.

— Вот какой будет автоматизированная система управления КамАЗом — система, созданная в Америке, но в ней самой невиданная! — заключает Федчен-

но. — То, что мы заказали нашу АСУ американцам, это, если хотите, наш вклад, и немаловажный, в технический прогресс одной из ключевых отраслей американской индустрии.

Аналогичную мысль высказал и другой наш собеседник — директор литейного завода Камского комплекса Аркадий Васильевич Лобанов.

То, что сотрудничество с СССР обеспечивает Америке дополнительные рабочие места, способствует наращиванию производства, конечно, важно, считает он. Но не менее важен другой аспект нашего промышленного партнерства. Советские специалисты привнесли в практику американской индустрии, высокий уровень которой общеизвестен, яркие и зачастую революционные технические идеи.

Американцы, к примеру, считают, что в Камском автомобильном гиганте превышены оптимально допустимые размеры. С их точки зрения, достаточно традиционной, децентрализация предприятий предпочтительней.

— Наша идея экономической эффективности концентрации в одном месте группы заводов, которые являются составными частями единого технологического комплекса, — вызов техническим убеждениям американцев, — говорит Лобанов. — А такая встряска в высшей степени полезна для инженерного творчества. Специалисты в Питтсбурге с увлечением занялись проектированием литейного завода для Набережных Челнов, но далеко не сразу осознали всю грандиозность камского проекта. На первых порах это не могло не отражаться на их работе. Вот взгляните, — протягивает нам рабочий чертеж Аркадий Васильевич. — Видите, сколько пометок красными чернилами? Это просчеты американских инженеров. Не обнаружь мы их в Питтсбурге, сроки монтажа оборудования возросли бы в несколько раз. Когда мы сработались, таких ЧП уже не было. За три года работы в США бок о бок с американскими инженерами мы переняли у них немало ценного и сами многому их научили. Произошел обмен техническими идеями.

И в заключение еще одно интервью. Мы берем его у директора прессового завода, входящего в комплекс КамАЗа, Валерия Николаевича Соколова.

Есть нечто общее между всеми тремя советскими специалистами, которых мы поочередно представляли читателям. Они принадлежат к новому типу советского технического руководителя. Пожалуй, самое правильное было бы сказать, что это деловые люди эпохи НТР в лучшем смысле этого понятия. Все они обладают широким кругозором, и не только техническим, знают языки, работали за границей, знакомы с зарубежным опытом и ценят его, но знают и себе цену, мыслят нестандартно, работают творчески. Что еще? Пожалуй, самое главное — умеют руководить коллективом, не подавляя, а гибко направляя его. В общем, у них есть чему поучиться и иностранным коллегам, и нашим, отечественным.

Итак, слово Валерию Николаевичу.

— Выгоды экономического сотрудничества... Они шире непосредственных тактических интересов партнеров, их недостаточно измерять суммами заключенных торговых сделок, — делится мыслями Соколов. — Более важны, так сказать, стратегические цели сотрудничества. Экономике двух систем должны не только мирно сосуществовать. Жизнь заставляет их перенимать друг у друга лучшее в интересах обеих сторон. Что мы можем взять у Запада? — спрашивает сам себя наш собеседник. — Прежде всего организацию труда на предприятиях, в научно-исследовательских институтах, наконец, механизацию трудоемких работ. Западу же стоит поучиться нашим методам проектирования в широких масштабах, комплексному применению новейших достижений науки в производстве, темпах строительства и, конечно, комплексному решению экономо-экологических проблем. КамАЗ, к примеру, не изуродует природу. Проблема очистки среды решена таким образом, что огромный конгломерат заводов возвращает воду в Каму чище, чем оттуда ее берет.

Людвиг Марциньяк может быть спокоен: чистый воздух Прикамья будет сохранен!

Все? Нет, естественно, этот перечень можно было бы продолжить. Но имеется и тот предел, который та сторона не в состоянии перешагнуть. Это предел — разница социальных систем. Попробуй, скажем, сконцентрировать усилия эконо-

мики всей страны в какой-то определенной области, что в наибольшей степени отвечает национальным интересам. Из этого ничего не выйдет. Капиталистическая система не запрограммирована для подобных ситуаций, ибо в ее характере плановость подменена безраздельным господством стихийности.

Впрочем, это уже иная тема...

Если же вернуться к нашей, к теме международного экономического сотрудничества, то итоговый вывод может быть только один: пример КамАЗа убеждает — различия в социальном строе не помеха для развития делового партнерства. Мы можем и должны работать вместе. Это взаимовыгодно. Это веление времени.

Плодотворность идей мирного сосуществования и сотрудничества двух систем, столь впечатляюще продемонстрированная рукопожатием в космосе экипажей «Союза» и «Аполлона», получает не менее наглядное подтверждение на Земле на берегах Камы.

В реализации камского проекта особенно убедительно проявляется справедливость положения, сформулированного в решениях XXIV съезда КПСС: добрососедское экономическое сотрудничество с развитыми капиталистическими державами полностью отвечает интересам нашей страны. В усовершенствовании внешнеэкономических связей СССР, подчеркивал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, кроются большие резервы повышения экономической эффективности общественного производства. И наша страна будет стремиться использовать их полностью.

Новые возможности для дальнейшего расширения и активизации всестороннего международного сотрудничества в области экономики, науки, техники, охраны окружающей среды и в других сферах экономической деятельности открывают итоги Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Заключительном акте, скрепленном подписями высших политических и государственных руководителей 33 европейских государств, США и Канады, подчеркнута, что развитие такого сотрудничества способствует укреплению мира и безопасности на европейском континенте и во всем мире. Но для этого важно, чтобы неукоснительно соблюдалось и другое положение заключительного документа: международное сотрудничество должно развиваться на основе равенства и обоюдного удовлетворения партнеров. В этом тоже дух Хельсинки.

Набережные Челны — Москва.



ПЕТР РЕБРИН

★

В МУРОМЦЕВСКИХ ДАЛЯХ

I

...**С**редь хвойного леса льется широкая песчаная лента дороги. Всю ночь над полями и лесами шумел тяжелый дождь, и оттого песок темен. Гребенные места меж многочисленными дорожными колеями поросли травой, и если смотреть вдаль, то представляется, что это грива зеленого змея, зарывшегося в песок. Эти змеевы загривки делят дорогу на русла. То и дело попадает застойная вода, лывы, заваленные ветвями, и тогда машина перебирается из одного русла в другое, а то и в третье.

Далеко впереди, там, где зеленые стены как бы сливаются, мелькнуло что-то белое, громоздкое, исчезло, снова появилось — протянулась горбатая хребтина. Догоняем колонну рамовозов с железобетонными конструкциями. Восемь машин везут рамы, несущие балки, панели и перекрытия, движутся осторожно, переваливаясь и кряхтя. Радостно глядеть на это шествие индустрии по дороге, ведущей в подтаежную глубинку.

В пятом часу вечера я увидел на песках сплошь деревянное село в окружении хвойных лесов. В отдалении, где-то в середине улицы, дом побольше и просторнее соседних, светится восковым, сосновым, над ним флаг — правление колхоза. Рядом второе такое же сооружение — клуб. Игрушка игрушкой — бревешко к бревешку, гвоздочек к гвоздочку. «Край сосновый, избяной». Не хватает только дыма над лесом. А вон! Струйкой поднимается из середины бора (наверное, там лесная сторожка) и медленно растворяется в синем небе...

Меня давно привлекали наши северные места как зона весьма напряженной жизни. Когда-то давно в Муромцевском районе была тайга, лесные промыслы, охота, но пашня, поначалу размещившаяся на прииртышских черноземах, двинулась в леса, и таежная зона стала лесостепной, получила новое хозяйственное назначение: главной заботой людей стал хлеб и скот.

Изменилась зона, но природа осталась по-прежнему суровой: до предела сжатый безморозный период, 5—10 июня — отзيمок, а 15—20 августа заморозки уже бьют кукурузу. Осталось бездорожье. До города триста километров, до асфальта — семьдесят. И надо к нему через реку на пароме добираться. А тут еще нехватка рабочих рук — известно ведь, что миграционный поток из дальних районов особенно силен. А скидок на это все в планах нет. Мне казалось, что в обстановке этих трудностей по-особому закаляются характеры.

Что же касается муромцевского колхоза «Рассвет», на землю которого я только что вступил, то к нему у меня особый интерес. Народу из Рязанов, знаю я, уезжает много меньше, чем из других деревень, и это будто бы связано с особым микроклиматом деревни, о которой тамошний секретарь парткома Камнев рассказывал на бюро областного комитета партии. Вот и хотелось посмотреть, что там за микроклимат. Самоотчеты коммунистов у них приняты.

Мне хочется отдаться течению здешней жизни, уподобиться колесу арбы, чтобы впечатления набирались сами собой, постепенно, чтобы поменьше характеристик из чужих уст.

Иду в правление. Возле двери с табличкой «Секретарь парткома» сидит невзрачного вида сухощавый человек лет сорока, в стоптанных сапогах и рыхловатый детина в форменной фуражке лесника. Я приоткрыл дверь и увидел худощавую молодую женщину, сжавшуюся у окна в комочек, и стоявшего над ней приземистого круглолицего человека. Женщина оглянулась на скрыт двери. Глаза — в слезах, губы шнурочком. Увидев меня, мужчина слегка наклонил голову. Я спохватился, что заглянул не постучав, и поспешно прикрыл дверь. Пошел дальше. Дверь с табличкой «Председатель колхоза» чуть приоткрыта, и слышен громкий голос. Захожу. На ручке кресла сидит человек лет тридцати с небольшим, с длинными русыми волосами, спускающимися на один бок, и кричит в телефонную трубку.

— Ну что ж, обещают погоду!.. Ха-ха! Ну конечно, «ха-ха», вот посмотришь... Пилораму тебе? Сейчас я запишу. Кужелева там нет? Дай-ка ему трубочку... Алексей Петрович, ты?.. Что, что? Ты, я смогру, хочешь запаниковать, что ли, скиснуть раньше своих сливок. Сливки надо привезти сюда... Потому, Алексей Петрович, что в Горячевку «Беларусь» пойдет, будет сопровождать всю молоковозную процессию.

Я разглядываю таблицу на стене и узнаю, что за последние шесть лет колхоз удвоил производство продукции. Легко догадаться, что такой успех не в последнюю очередь связан и с этим молодым человеком. Знакомимся. Председатель колхоза Копейкин. Зовут Василием Ефимовичем. О себе он рассказывает бегло, впроброс. Окончив восемь классов, учиться дальше не стал, как он выразился, «по идейным соображениям»: только поступил в девятый, тут «целина загремела» и он, бросив школу, пошел на курсы трактористов. Потом армия, этот период его биографии оказался поворотным. Ему пришлось служить на локаторе, а в команде было три солдата и девять офицеров. Вот тогда стало ему «до боли ясно, к чему жизнь идет, — такая серьезная серьезность появилась, до скрипа зубами».

Вернувшись из армии, Копейкин взялся за учебу: курсы механиков, заочно девятый и десятый классы, потом совпартшкола. Как окончил, его отправили в отдаленный колхоз на должность секретаря парткома, «усмотрели, значит, качества, которые позволяли стать воспитателем людей, хотя сам этих качеств в себе не замечал, но раз усмотрели...». Потом сюда, в Рязаны, выбрали председателем.

Телефонный звонок.

— Алло. Копейкин... Ты откуда звонишь-то?.. Сидишь? Так, так. Паром ходит? Нет? А мы со скотом машину отправили. А вторая твоя машина куда пошла?.. Так, так. А там паром работает?.. Тоже нет? Берег размыло. Так, так. А «Беларусь» вас возьмет... Я сейчас тоже выезжаю.— Он положил трубку.— Ну есть ли какой-нибудь бог, который бы увидел наши мученья? Одних тягачей на буксировку машин штук десять надо.

Поговорили о северных трудностях. Отдаленность. Бездорожье. Месяц зимой район отрезан из-за снежных заносов. Месяц осенью из-за грязи, да еще в ледостав паром не ходит. К этому добавляются трудности хозяйства, расположенного на стыке зон. Земли бедные — супеси, сероземы, подзолы, — а процент изъятия такой же, как у хозяйств, расположенных в прииртышской части, па черноземах.

— Но ничего, выкручиваемся. Планы все перевыполняем. И доходы подняли. Многие годы с убытками жили, а теперь устойчиво-рентабельные, — в губах его добавилось улыбки, — хоть мы и на подзолах.

За окном стукнула дверца машины. У крыльца стоял «газик». Копейкину надо было ехать. Он извинился, сказал, что приглашает меня к себе ночевать, предложил сейчас же отвезти домой, но я попросил, чтобы он познакомил меня с секретарем парткома.

— Интересно, что там за народ у него, чем он занимается?

— Он самоотчеты коммунистов к партийному собранию должен был готовить, а я гляжу, вроде бы разбирается с одним четырехугольником.

Выяснилось, что женщина в кабинете Камнева и мужчины, сидевшие в приемной, повязаны одной веревочкой. Их историю Копейкин характеризовал как «житейское дело». Тянется оно больше года. Были драки, слезы, побои, разбирательства. С податливым на дешевую любовь лесником разбиралась партийная организация. Он пообещал исправиться, все вроде бы затихло, но вот совсем недавно жена его, та, что плакала в кабинете Камнева, пришла с новыми жалобами. Я поначалу не собирался углубляться в эти дела, но оказалось, что они с совершенно неожиданной стороны обрисовывали Камнева. Когда я спросил Василия Ефимовича, какое отношение к этой истории имеет секретарь парткома и почему женщина плачет в его кабинете, Копейкин сначала объяснил все с деловой точки зрения. Мужчины, замешанные в этой истории, коммунисты, а в колхозе с коммунистов спрос особенно велик, через них прежде всего налаживается микроклимат деревни. К тому же каждый человек на счету, а тут пропадают два хороших работника. Один пьет, а жена его в слезах живет. Так что наладить нормальную жизнь двух семей — прямая забота Камнева.

Я попросил Копейкина рассказать о самоотчетах, что это такое, с какой целью они проводятся.

— Когда я принял колхоз, бросилась мне в глаза разница между результатами работы отдельных колхозников. Вот ведь что было — он изобразил в воздухе зигзаг, — вершины и провалы. Разница между лучшими и худшими работниками — это огромный резерв, который причем не требует вложений капиталов, зато требует капитальных вложений. Вот я начал с того, что задумался об этом зигзаге, а тут оказалось — у секретаря парткома Камнева в голове было то же самое. Мы с ним почти в одно время к руководству пришли. Решили так — ввести в дело эти резервы через партийную организацию: прежде всего добьемся, чтобы каждый коммунист был примерным во всех отношениях, не только примерным работником, но и вообще... Вот коммунисты наши один по одному и рассказывают на партсобрании, как работают, как детей воспитывают, как живут. А остальные... оценивают.

Так-так, размышлял я, цель поставлена значительная: укрепление нравственного здоровья коллектива. Человек подотчетен обществу, и, значит, самоотчеты эти имеют право быть. Но что-то в душе моей противилось такой форме воспитания. Копейкин поднялся, ему надо было уходить. Я спросил, нельзя ли пригласить Камнева, чтобы я, переговорив с ним, мог зайти в кабинет. Через минуту вслед за Копейкиным вошел Камнев. Лет ему так тридцать пять. Лицо тугощее, глаза зеленоватые, руки держит прижатыми к плотному крепкому телу, кажется, очень собран. Он улыбнулся приветливо, но как-то мелко, одними губами. Копейкин поправил прядь волос.

— В приемной что-то у тебя скопление...

Камнев ответил сдержанно:

— Я сегодня не предполагал с ними заниматься. Я к партсобранию готовился, главного оратора пригласил над его выступлением посидеть, а потом хотел в Вятку поехать на ферму, насчет комсомольско-молодежной группы-то... Ну а тут женщина, слезы: не могу, говорит, ни работать, ни жить, и что-нибудь делайте... Может, разобраться с ними до конца сегодня? А в Вятку уже после. Как по моему?

— Ну, вряд ли ты до конца разберешься, — ответил Копейкин. — Займись, раз они тут, сколь время позволит, а с Вяткой не затягивай... Ну ладно, а после вот наш гость хочет с тобой побеседовать.

Через час, когда я вернулся в контору, в кабинете Камнева перед раскрытой чистой тетрадью сидел темноволосый кареглазый мужчина лет сорока пяти, а хозяин кабинета прохаживался. Я поздоровался с кареглазым мужчиной и деликатно спросил у Камнева, чем они сейчас занимаются.

— Готовимся к самоотчету. Это Смертин Прокопий Гаврилович, наш слесарь «летучки», его отчет будет.

Я попросил Камнева рассказать о самоотчетах. Он оживился. Округлое румяное лицо его стало очень серьезным.

— Мы стремимся навести порядок в своих рядах. А то некоторые коммунисты довольно-таки безотчетно живут, думают, что работать хорошо — это все. А ведь каждый коммунист воспитателем должен быть! Вот такую задачу мы поставили. И воспитывать надо прежде всего собственным примером. В труде, в личной жизни. И чтобы честность во всем, даже хотя бы в малом.— Он повернулся к Смертину: — Так, Прокопий Гаврилович, говорю?

— Верно, — поддакнул Смертин. — Только мысли разбегаются.

В лице Прокопия Гавриловича спокойствие, основательность, но сейчас был он отчего-то не в своей тарелке. Руки очень чинно лежали перед тетрадью, словно испытывали недоверие к бумаге, и если уж коснутся ее, то по необходимости.

— Что-то ты трудно сидишь? Расскажи, как живешь, как работаешь, почему от шофера отказался и сам водишь «летучку».

— Так что... Оно должно входить в обязанности слесаря.

— Хотя ты не получаешь за это ни копейки. Другие сварщики работают с шоферами, а ты сам водишь.

— Так и самому нетрудно доехать.

— Вот это все и скажи, как ты за любую работу берешься, когда минута свободного времени есть.

— Ну не без дела же стоять.

— Расскажи про семью, как ты таких хороших детей воспитал.

— Да они возле моих сапог да материнной юбки растут. В деревне детей легче воспитывать, все мы тут видим друг друга, дети прислушиваются, как о родителях отзывается общество. А так какое у нас воспитание! В доме каждый знает свое дело, вот и все.

— О том и речь: воспитание собственным примером! Это и есть самое лучшее воспитание,— продолжал терпеливо внушать Камнев.

Что это он так размазывает, как ребенку разжевывает? А Смертин играет, что ли? Вглядываюсь в его лицо и вижу, что он прост и, очевидно, жить так, как он живет, для него естественно, поэтому не испытывает человек потребности выступать с самоотчетом.

Смертин глянул в окно и, подобравшись, вздохнул.

— У тебя сено-то поставлено?— спросил Камнев.

— У меня плохого сена вроде не бывало... Свалил уже. Послезавтра грести да ставить.

— Ну а что тогда вздыхаешь?

— Да просили послезавтра со сваркой в Игоровку подъехать, емкость чуток подтекает, а я как раз на тот день у бригадира лошадь попросил.

— Ты на «летучке» съезди на сено,— предложил Камнев,— быстрее обернешься.

— Да нет,— тихо, словно бы смутившись, ответил Смертин,— как-нибудь на лошади обернусь. В ночь поеду заварю.

Он не рисовался ни одной ноткой в голосе, не было ничего подчеркнутого в его словах.

— Ну ладно,— почему-то шумно поднялся из-за стола Камнев.— Поезжай на лошади. А пунктики все же набросай для самоотчета.

Я сказал Прокопию Гавриловичу, что хотел бы съездить с ним на сено: погрести да копен с десятков поставить — детство вспомнить.

— Правда?— Губы Прокопия Гавриловича раздвинулись в улыбке,— Ну айда, поедем.

Когда Прокопий Гаврилович ушел, я признался Камневу, что не понял, чем именно обеспокоен Смертин.

— Чем?— Тонкие губы Камнева шевельнулись в улыбке,— Ему надо чтобы и сено было поставлено не хуже, чем у людей, и чтобы емкость была заварена, коль просили, чтобы и то и другое было сделано на пять.

Камнев уже глядел на меня доверительно, неловкость первых минут исчезла.

— Вот хороший мужик Прокопий, работник добрый, семьянин, по уму живет, по уму все делает, а не можем на должность завгара его уговорить. Работает на «летучке» и тем доволен.

— Может быть, он по характеру не подходит в руководители?

— Да он упорный! И такой это... хоть и молчун, а подход к людям имеет.

— Он один с самоотчетом будет выступать?

— Да нет, еще Парохонько будет, заведующий игоревским производственным участком. У него на ферме зимой пожар был, и работает он не совсем как нужно, и дома у него не очень ладно. Вот и назначили два отчета сразу, чтобы противопоставить. А Парохонько просит снять его отчет, стыда боится.

Что-то в душе моей противилось тому, чтобы люди выставлялись перед народом так — один со знаком плюс, другой со знаком минус. Я спросил Камнева, что же именно неладно в семье Парохонько.

— Да видите ли, дети у него не так хорошо воспитаны, как у Смертина. И учатся похуже.

После этих слов я почувствовал уже настоятельную потребность поглубже осмыслить эти самоотчеты. О чем, собственно, идет речь? Человек — существо сложное. Он нуждается и в том, чтобы быть на людях, тяготеет к коллективу, но ему необходимо и уединение. То есть говоря языком философских категорий, в человеке борются две противоположности: то, что составляет его коммуникативность, способность к связям, и то, что выключает его из этих связей. Эти два начала, два желания борются, и если одно возобладает — другое страдает. Не ущемляется ли при этих самоотчетах индивидуальное? Припомнилось, что говорят социологи. Они утверждают, что деревенскую молодежь город манит тем, что там можно жить свободнее, потому что связи в городе более анонимны.

В деревне все, что делает человек, куда ходит и зачем, с кем у колодца встречается, от кого получает письма, что читает, к кому ездит, знают все, и это служит предметом пересудов. В пересудах рождается общественное мнение. Живут в деревне, как в стеклянном доме без перегородок, и можно сказать, что там общественное мнение почти то же, что мнение коллектива. А в Рязанах еще и самоотчеты. Выходи на трибуну и рассказывай, как живешь, как работаешь, каковы твои помыслы...

— Конечно, жизнь дело сложное, — продолжал Камнев, словно бы угадав мою мысль. — Оно конечно, вроде бы задевает самолюбие того, у которого минусов побольше. Ну так ведь это смотря как коллектив разговаривает с человеком. Да и потом, если у меня все чисто, так что мне посторонний глаз? А у коммуниста должно быть чисто все! А если не чисто, так нет ничего плохого, если общество тебя поправит. Нет, не может же человек быть неподотчетен обществу!

Я понимал: цель в Рязанах самая гуманная. Но мне казалось, что какую-то опасность эти отчеты все же таят. Ведь нельзя, чтобы хоть на каплю пострадало достоинство человека. А какие гарантии? Или вдруг кто-нибудь захочет вывернуться наизнанку и окажется посмешищем. В общем, порассуждав, я отказался от каких-либо выводов и решил, что надо побывать хотя бы на одном из самоотчетов.

Камнев украдкой глянул на часы, перехватив мой взгляд, сказал, как бы оправдываясь:

— Дел по горло, а в Вятку надо ехать завтра-послезавтра, никак не позднее.

— А что там? — полюбопытствовал я.

— Да ихняя ферма последнее место занимает. С нас за каждые сто грамм молока спрашивают, звонки из района идут, а в Вятке молочный долг нарастает. Из-за них весь колхоз теребят, сотрясать начинают. А я вот никак не могу один ихний узел развязать.

Камнев чуть свел брови.

— Там человек, понимаете ли, очень честный во главе, инвалид, фронтовик, бывший боцман, сейчас до пота и соли старается, Клещенок его фамилия, а

молоко поднять не может в силу ряда причин. И там есть такая передовая доярка Носкова... Я задумал комсомольско-молодежную группу организовать, Клещенко поддержать, он, между прочим, там единственный коммунист, бьется, а Галя упорно не хочет эту группу возглавить. — Он вздохнул тихонько, сам того не заметив. — Вот умница, человек вообще хороший, а неотзывчивая теперь. Была отзывчивая, а стала неотзывчивая. Вот это особенно беспокоит.

«Вятский узел» — сделал я пометку в блокноте, и мы договорились с Камневым, что он возьмет меня в Вятку.

Несколько нерешительно он пригласил меня к себе домой поужинать, и вскоре мы подошли к темному от времени крестовому дому. У сенных дверей стояла круглолицая старуха с плотно сжатыми губами. Она была под стать дому — крупна и темна лицом, не кожей, а выражением замкнутости и суровости.

— Люба дома? — с порога спросил Камнев.

— У ей вроде ни дома нет, ни детей, — с сердцем сказала старуха и быстро, так, что я не успел поздороваться, скрылась.

Камнев с обидой поджал губы, провел меня в горницу и исчез где-то в закутке. Вернувшись, он объяснил, что жена его Любовь Михайловна, учительница местной школы, — пропагандист, постоянно ездит по бригадам, а мать Камнева сердится на сноху.

— Почему? — как-то легковесно бросил я.

— Ну, взгляды такие. Старшее поколение не всегда понимает, что сейчас надо. А мы воспитательной работе придаем большое значение. Сейчас работник растет быстрее, чем человек. А некоторые считают, работать хорошо — это все.

Стукнула калитка, и на пороге появилась женщина роста среднего, с мягкими движениями и очень живым лицом.

— Ну что, — спросил Камнев, — что так долго? Познакомься, Люба.

Женщина улыбнулась:

— Коров пришлось доить.

— Что случилось?

— Да ничего особенного.

Люба ушла на кухню и оттуда, занимаясь своими делами, прислушивалась к нашему разговору.

— Материальная заинтересованность — это хорошо, — проговорил Камнев, расставляя тарелки, — но если она в голом виде, то это плохо. Сейчас встретишь и таких — бесплатно пальцем не ударят.

Появилась в дверях Люба с ножом в руке.

— Это, наверное, везде. В прошлом году приехали студенты на уборку, заработали кучу денег, а потом лекцию прочитали и потребовали плату. Я хотела пристыдить ихнего руководителя, а он мне отвечает: «Вы несовременный человек, в городе сейчас бесплатно работают только пропагандисты, а это лекция, не беседа, не доклад». Я говорю ему: «А общественные начала где?» А он улыбнулся: «Вот вы и опять отстали, общественные начала давно задавлены материальной заинтересованностью». С этим-то мы как раз и боремся.

— Пытаемся бороться, — уточнил Камнев. — Хочется, чтобы человек дальний, государственный рубль видел. А если он живет только своим рублем, тогда в нем в первую очередь растет работник, только работник.

— И давно вы это подметили? — спросил я Камнева.

Разговор становился все более интересным для меня, и хотелось, чтоб хозяин это почувствовал.

— Да, пожалуй, тогда, когда ввели гарантированную денежную оплату. Дело это очень хорошее, только есть и но.

— Но? — переспросил я. — Какие же но? Ведь рубль развивает профессиональные способности, хватку, делает человека добытчиком?

— Вот именно. — В дверях опять стояла Люба. — Только чем больше людей голым рублем заинтересовываются, я примечала, тем пассивнее к общему делу. Своё сделает, рублик получит — и все. Я об этом как раз в беседе только что

говорила. Понятие «мое» становится слишком узким. В телятнике потолок подтекает, и никто не залез на крышу, не прибил железо, ждут, когда бригадир занарядит человека, рубль кому-нибудь выпишет. А там и надо-то пять гвоздей вколотить.

— Это где? Во второй секции, что ли? — встревожился Камнев.

— Ну! Вот я им говорила про понятие «мое»: моя рубашка, моя лопата, а ферма — это уже не мое. Так у вас получается. Дождь сквозь крышу льет, а вы торгуетесь, кому пять гвоздей вбить. Ты залезь да прибей, если бригадир воронит, а потом тебе рубль выпишут. Мы все внушаем, что живем одной общей копеечкой, одним общим рублем, что доходы государства — это и наши доходы, что есть ближний рубль, который каждый может положить в карман за счет своих рук, своих способностей. Но есть еще рубль, который мы создаем все вместе, сообща, который рождается в результате общих усилий...

— Хозрасчет надо вводить по бригадам, — вставил Камнев. — Мы обязательно будем вводить. А то оторвали в человеке хозяина от работника. Надо, чтобы человека воспитывали сами условия производства.

— Понятно, — поддержал я. — При хозрасчете люди требовательнее относятся друг к другу.

— Само собой, — сказал Камнев, — воспитывать будет сам коллектив. А еще вот что. Я замечаю, что некоторые люди вроде бы в себе замыкаются стали, ничто не интересует, кроме работы и семьи. Откуда это? Да, пожалуй, от высокого материального уровня жизни, от сытости.

— Кто-кто, а уж мы завоевали право на такую жизнь, — возразил я, но Камнев продолжал свое:

— Я как-то на юг области ездил, на черноземы. Там колхозники очень богато живут, и вот заметил я — некоторые друг перед другом вроде бы выхваляются. Ага, у него «Урал» — так мне «Москвич» нужно! У него большой телевизор — так и мне большой надо. Это как раньше: чтобы у меня сапоги громче скрипели, чем у соседа, и чтоб у дочери кружева из-под платья белее выглядывали. Сейчас что-то вот такое, похожее на эти кружева из-под платья, из иных людей вылезает.

Стол был накрыт. Тут как раз пришел с улицы мальчик, сдержанный и аккуратный, умылся, поужинал вместе с нами, ушел в горницу и уткнулся в книги. Камнев пошел дать корма скотине на ночь, и вскоре через кухонное окно я услышал его разговор с матерью. Мать сердилась. У них сено еще не кошено, хоть уже середина августа, а у добрых людей давно копны поставлены. Она говорила раздраженно и скрипуче. Камнев же отвечал спокойно и вразумительно:

— Ничего, ни разу еще скотина не оставалась без корма.

— Того б еще не хватало, такие слова говоришь! Над нами люди смеются.

— Кто же это над нами смеется?

— Да те, у кого сено июльское. У нас одни палки будут. Твой-то отец уж что-что, а сено... В колхозе и то раньше, чем мы накашиваем.

Любе этот разговор был неприятен. Она подошла к окну, закрыла створки, села к машинке.

Примеряясь с шитьем, Люба говорила, что Анатолий, конечно, чересчур увлекается работой, вот и ее втянул, раньше она, пока с ним не познакомилась, ничего, кроме уроков, не знала. Мать-то его кое в чем и права. Мужу особенно достается, когда Копейкин уходит в отпуск или по какой другой причине отлучается из хозяйства и передает Анатолию печать. Впрочем, деревенская жизнь, наверное, уж вообще такая, что человека всего требует.

Разговор как-то сам собой перешел на Копейкина. Когда Василий Ефимович принял колхоз, ему было двадцать пять лет и его звали Васей. В то время ни одного механизированного скотного двора не было в хозяйстве. А вот за «его» годы поголовье скота удвоилось и по удоям колхоз вышел на первое место в районе. Но это были годы и Камнева, подумал я, они ведь почти в одно время здесь начали.

— А как Анатолий Александрович на партийную работу попал?

— Он окончил геологоразведочный техникум. Поработал немного, а потом зарустил, говорит: «Понял я, что мне нужна не вся земля, а одно место на ней». И тогда опять пошел учиться — в педагогический техникум, окончил, приехал в родное село. А потом увидели у него другой талант... Его ведь на бюро областного комитета партии приглашали. Он делился опытом массовой работы, порекомендовали ему выступить со статьей в «Блокноте агитатора»...

Вернулся Камнев, принес с собой запах сена, хлева, затринькал умывальником. Люба вскоре принялась укладывать сына. Мы посидели с Камневым еще полчаса, договорились, что в Вятку поедем вместе, затем он проводил меня к Копейкину, показал, где лежит ключ, и мы расстались. Заходить в дом не хотелось — вечер был очень хорош.

...Тепло, тихо. Чистая ранняя луна меж редких летучих облаков. По земле бегут их быстрые тени. В светлом уличном ряду домов погасло первое окно. Но деревня еще не спит, парадно, всеми окнами светится клуб. Иду туда. Двери гостеприимно открыты. Где-то близко за дверью слышна с крыльца балалайка — рассеянная, с неожиданными перепадами: то остановится на одной ноте, то побежит. Откуда-то из глубины доносится еле слышный стук костяшек домино. В фойе пол чистый, свежeweымытый, но шорканый-перешорканый, наверное, по воскресеньям трут его десятки пар ног. По краям фойе две комнаты за зелеными бархатными занавесками. В одной читальный зал, там много народу разных возрастов — читают, двигают шахматы. В другой комнате «игральная» — столы, столы, и за ними бьют костяшками домино человек двадцать. В фойе молодежь кучками. Возле балалаечника группка побольше. У окна модницы с челками, при них парни в солдатской форме.

Видя такие картины, можно понять, сколь велика потребность человека в общении с себе подобными. У человека есть потребность выразить себя, а удовлетворить эту потребность он может только на людях, и лучше всего в обществе таких же, как сам.

Постоял, посмотрел, опять вышел на улицу. Луна как фонарь. В тени бегущего облака идет человек. Я узнал Копейкина. Шагает неторопливо, словно бы отдыхает под луной. Остановился, увидев меня. Я говорю, что понравилась мне атмосфера в клубе. Он отвечает, что микроклимат не только клуба, а всего села — дело очень важное.

— Молодежи у нас не скажу, что вполне достаточно, но побольше, чем в других селах. Кое-чем привязываем, да наши возможности весьма ограничены. Земли бедные, доходы невелики, поменьше, чем, скажем, в приречных хозяйствах, на черноземах. Мало еще строим, все у нас деревняное. Условия труда и быта похуже, чем кое у кого, так мы вот об условиях общения думаем. Хороший микроклимат — наша большая забота.

— Надо, чтобы каждый коллектив, — продолжал Копейкин, — находил внутри себя силы для всего — и для пополнения и для самосовершенствования. А начинать надо с забот о хорошем микроклимате в коллективе.

— Это и есть основа вашего замысла выравнивания?

— Ну, — ответил он чисто по-сибирски. Вздохнул протяжно. — У нас тут по соседству чудаки живут, до сих пор в колхоз не вступили, остатки от Покровки. Мне раза два в год приходится мимо проезжать, возьму да и сверну глянуть на них, с нашей жизнью вдруг сравнить захочется.

— Постойте-постойте, как это в колхоз не вступают? А чем же они живут? Работают где?

— Вы статистические отчеты по переписи видели? Там отражено, что есть у нас единоличники, не помню уж, какая доля процента, многосоттысячная. Так вот это они...

— Вы их чужаками называете...

— Да, в общем-то, жалко их. И немножко так это тошно на них смотреть. Поезжайте да посмотрите.

Я вспомнил, что действительно, знакомясь с итогами очередной переписи

населения, каждый раз замечал, что есть какая-то микромизерная доля одиночников, но почему-то никогда не спрашивал сам себя, что это за люди.

А тут — вот они. Я уже отчетливо понимал, что главное в жизни рязановского колхоза — созидание, прежде всего нравственное. А что покровским надо? В чем их-то суть? Захотелось мне у них побывать.

— Пошли отдыхать? — спросил Копейкин.

— Я еще погуляю.

— Приходите, когда хотите, дверь не заперта.

На следующий день я поехал в Покровку.

II

Из хлеба машина вынырнула прямо к серой бревенчатой стене. Улица с краю однорядная, а дальше дома и по той и по другой стороне, но редко, с вышибами. У первого с краю пятистенника мотоцикл со сбитой набор фарой. Из палисадника из-под черемухи выглянули грязные, нечесанные ребятишки и отпрянули. У них было там какое-то дело, это я почувствовал по их лицам. На той стороне дороги вместо крайнего дома был небольшой пустырек, засеянный пшеницей. Отсюда начиналось большое хлебное поле и за огородами растекалось по задам деревни — колхоз вклинивался в самую Покровку. За полем стоял угрюмый сторожкий березовый лес.

На этой стороне улицы не было второго дома и четвертого, огнездя заросли бурьяном, паслась корова, привязанная к колу, а на втором пустыре в грязной луже лежала свинья с поросятами.

В Покровку меня отвез Копейкин — договорились, что здесь я заночую, а поутру, часам к десяти, он заедет за мной. Машина развернулась, фыркнула, и я остался один посреди улицы. Огляделся, вижу, что в окно сквозь черемуху на меня смотрит кто-то лохматый. За его спиной появилось лицо молодой женщины, не то удивленной, не то испуганной. Дети под черемухой как-то странно передвигались — ходили друг за другом по кругу. Я подошел и увидел два небольших свежих холмика с маленькими крестиками из щепок.

— Это что у вас тут? — Я указал на маленький холмик.

— Птичка похоронена.

— А тут?

— Кошка похоронена. Она птичку поймала, мы ее палкой убили.

— Зачем же вы кошке крест поставили?

— Дедушка велел, она все равно животная.

Я взялся было за тяжелое кованое кольцо калитки, но почему-то отшагнул и еще раз поглядел на дом. Повернув кольцо, я ощутил не столько его старинную тяжесть, сколько ветхость калитки. Ступеньки в сенцах были ходкие и писклявые. Собираясь шагнуть через порог, я испытал чувство человека, вступающего в незнакомую воду, где можно ухнуть в яму или разбить ногу о камень.

В доме в красном углу большой кухни сидел старик под образами, сухопарый, с той легкостью в облике, какая бывает у пасечников, а у окна мужчина лет сорока, черноволосый, нечесаный. Он смотрел на меня с пьяной тупостью, но в глазах его нетрудно было уловить тревогу. И были еще две женщины: высокая костистая старуха с какой-то размазанностью в движениях (при моем появлении она судорожно вытянула обе руки и пошла к скамейке, словно бы обкурилась) и молодая лет тридцати двух, очень простенькая и лицом и повадками. Обе одеты в просторные рубахи из грубой ткани.

— Вот услышал про ваше поселенье и решил посмотреть, — заговорил я деликатно, и голосом и всем видом выказывая миролюбие, — хочу побеседовать с вами.

— Пожалуйста.

Старик ответил суховато, а старуха стала судорожно просовываться по скамейке. В глазах ее я уловил смиренность и тоску.

— А для чего? — спросил пьяный.

— Да просто так.

— А кто ты такой?

— Присаживайтёсь,— предложил старик.

Надо было чем-то их расположить к себе, но мне мешали сосредоточиться цветы, свисавшие космами из жестяных банок, прибитых прямо к стенам, мешали разноцветные флажки и фольга, нанизанная на нитки и протянутая по стенам. Мешали восковые цветы над иконами, керосиновая лампа под потолком, свежие газеты и журналы, лежавшие на столе. Глаза мои лазали по всему этому.

— Здорово окружил вас колхоз пшеницей — хлеб под самые амбары. Где же вы скот пасёте?

— А что такое? — спросил пьяный и положил ногу на ногу.

В моем голосе не было сочувствия. Я произнес эти слова добродушно, и только, но неожиданно для себя попал в какую-то очень важную точку, задел в душе старика те струны, которые заставили его сказать тоже добродушно:

— Огороду нам по двадцать соток на двор отведено. У нас семья десять человек — двадцать соток, у стариков вон Спарыгиных двое — и тоже двадцать соток.

Он не жаловался, не искал сочувствия, он просто информировал меня, и в голосе его была та же смиренность и тихость, какую источали глаза старухи. В нем, кажется, все уже откипело и устоялось.

— А что же вы не разъединитесь? В деревнях же сейчас больших семей почти что нет, дети только семью заведут и отделяются, чтобы иметь скотину и приусадебный участок.

— Да нет уж...

— Почему все же не хотите разделиться? У вас кто в семье?

Я достал блокнот и записал: глава семьи — Михаль Дмитрий Миронович, семьдесят два года, жена Мария Лукинична — шестьдесят шесть лет.

— А вы сын Дмитрия Мироновича? — обратился я к пьяному.

— Нет. Я заезжий.

— А фамилия, звать вас как?

— Ч. Б. запишите.

Молодая женщина Анна Федоровна оказалась невесткой Михалей, она вышла за их старшего сына, дорожного мастера, обслуживающего тот самый участок, по которому мы с Копейкиным только что проехали. Она родилась в соседней деревне, в восемнадцать лет вышла замуж и с тех пор нигде не работала, занималась только тем, что «детей носила», и к тридцати годам родила уже шестерых.

Я записал, что у Михаля есть еще три сына — один работает машинистом в Краснодаре, другой учительствует, а третий служит в армии, — записал, что старший сын Анны Алексей учится в районном центре в девятом классе, второй за ним, Михаил, — в седьмом, в соседней деревне, и там живет в интернате, остальные при ней.

— А Иван где?

Михаль ответил с заминкой:

— На работе.

— Как же вы содержите семью в десять человек, коли один работает? Сколько Иван-то получает?

— Сто восемь да плюс сибирские.

— Мало, — сказал я, — в колхозах сейчас доярки по сто восемьдесят рублей зарабатывают... Интересно, а что вы сегодня варили?

Хозяйка застеснялась и махнула рукой:

— Щи с капустой да хлеб, молочко.

Молодая стояла, прислонившись плечом к печке, и со странной полуулыбкой глядела никуда, просто перед собой.

Михаль смиренно пожал плечами:

— Коровку держим, пчел немного. Корове сена из лесу носим, а пчелы сами корм добывают.

— Та-ак, — протянул я и вздохнул, словно подвел итог, хотя мало что еще узнал, — почему же вы в колхоз-то не захотели вступить?

К этому времени они все уже глядели на меня дружелюбно, и даже Ч. Б. порывался что-то сказать уже без угрозы на лице. Каждый этот его порыв начинался с мычания.

— А оно так получилось... Мы прежде санничеством кормились, — охотно отозвался старик, — по деревням ездили с товаром и понасмотрелись колхозной жизни, поперву-то она, сами знаете, какая была.

— Ну, всякое дело поперву не гладко складывается.

— Оно верно. Может, сбило нас, что мы мастеровые были. Мастеровые люди порядок знают — нам заработать надо, а мы что видели: приедем — они соберутся в одной избе и балабонят.

— Ну, в те годы нельзя было без того, чтобы не поразмыслить, дело новое, ощупью шли.

— Ну, оно так... Порядка мало было. А у нас порядок, хоть с ремеслом, хоть в семье.

— Ммы-ыи, они-и и счас по сигналу обедают, — проговорил Ч. Б. хрипло, — Михаль как ложкой по миске стуканет — так начинают.

Он двинул шей и выставил вперед подбородок: дескать, вот так вот, порядочек у них. В семье этой, знать, были свои принципы, а Михаль держался с достоинством, как всякий человек, обладающий какой-то правдой. Правда эта, очевидно, заключалась в преобладании порядка одной семьи, клана над порядком в обществе в тот период времени, когда в клане все было давно сложившимся, а общество еще только устраивалось.

— Значит, мы посмотрели, как в колхозе живут, да и решили: мы люди свободные... Дай, думаем, попробуем при советской власти самоличным честным трудом жить... Сначала нас не шибко тревожили, а потом, как колхозы-то пообразовались кругом, процент по населению на нас и показал: кто такие? Будто там бумага пришла. Тогда из сельсовета наладились к нам ездить, в колхоз вовлекать. А мы уперлися.

— Почему все же уперлися?

— А санничеством все обольщались сильно. Мы им: «Покажите нам закон, по которому своим трудом нельзя жить». Вот и все. Закона-то такого нет. Закона нет, а процент им покоя не дает. Тогда они на нас с горлом, прозвище нам приклеили: страна страмота. И пошло: откуда, мол, этот мужик? Из страны страмоты. А какая у нас страмота? Мы честным трудом живем. Вот так и жили, пуцай поихнему в страмоте, санничали, в колхозах подряды на постройку, на ремонт брали. И нечем нас взять было.

— Ну а дальше?

— С сельсовету того чаще ездят, вот-то. Я им: а ну покажите, где у нас страмота? чему мы плохому учим? У меня десять детей, у сына шестеро, аборты я не разрешаю делать, потому что может отразиться на здоровье матери, стране народ нужен, государству помогать мы должны! Я смотрел постановление: прибавить зарплату многосемейным. Значит, я правильный курс в своей деревне держу.

— Вы что, по радио слышали об этом законе?

— Газеты я выпиываю, «Правду» и «Красную звезду».

— А зачем «Красную звезду»?

— Как же. Сын мой в Красной Армии служит... Еще журнал «Крестьянку», «Пчеловодство» и журнал «Здоровье», потому что у меня и у жены здоровье шаткое, кое-что подскажут. Еще «Наука и жизнь».

— А этот зачем?

— Тоже много полезного, про йогов узнал, как они без лекарства болезни изживают.

«Вот так-то, — подумал я, — неблагополучие явное, и они его не скрывают, оно в лицах, на столе, и такие неожиданные связи с жизнью».

Из книг старик узнал, как делать крапивные котлеты, как квасить на зиму крапиву, которая богаче витаминами, чем черная смородина, как с помощью «позы

льва» избавиться от самой злой ангины. Безусловно, такие связи с жизнью вызваны чисто практическими потребностями. Ну что ж, это свидетельствует об определенной цепкости русского человека. Но ведь эти связи стали возможными только потому, что живет он в гуманном обществе. Он бросил вызов обществу, но общество не обрубило с ним связи.

Старик чувствует, что произвел на меня впечатление, и на лице его написано: вот, не такие уж мы дураки, какая же мы страна страмота! Но почему-то голоса их тихи, мягкость разлита в лицах. Тишайшая среди них старуха. Она, точно, похожа на обкурившуюся, и глаза у нее пусто-бессильные. Впрочем, это объяснимо — у нее плохое сердце. Но ведь и старик и все остальные тоже тихие, все они вроде бы уставшие, словно бы что-то гнетет их, грызет изнутри. Интересно, почему же они с их укладом, если верить их словам здравым, не приняли уклад колхоза и после того, как он доказал свою жизнеспособность? Что-то старик от меня утаивает.

— Ну а что все же потом?

— Они под нас долго подкопы вели. У нас было много молодежи, мы, старшие, им внушали: не поддаемся, ребята! К нам тогда как на мед лезли из соседних деревень, приезжали на гульбища, шибко песенные были наши девки, хороово хорошие водили, гулянья тут были развеселые.

— Их-хы,— замычал Ч. Б.,— че было, то было. Пошшупать было кого... или еще что.

Михаль даже головы не поворотил в его сторону, продолжал со старческой монотонностью:

— Потом стал приезжать другой сорт. Напиваться приезжали. Место глухое, кому работать неохота, он на мотоцикле вжик с глаз начальства. Да мы их отваживали, выгоняли, водой плескали в морды...

Я сказал Михалю мягко и спокойно:

— Вот вы обществу ничего не даете, сами едва концы с концами сводите, общество же дает вам многое. Вашим детям все предоставлено.

— Да ить... Что уж, совсем нас в щель, что ли, как тараканов, да кипятком шпарить?

— Вашим детям все дано, и этим общество как бы подает вам руку, а вы даже благодарность не чувствуете.

— Дак ить...

Сказать ему было нечего, он замолчал.

Мне не давала покоя керосиновая лампа, висевшая на железном крючке над самой серединой стола.

— Электричества у вас так и не было, что ли?

— Сроду не было...

— Значит, так и не загорелась у вас лампочка Ильича? — сказал я с намеком, но ответа не получил. — И, значит, младшие Михали еще и не видели электричества?

— Шибко дорого до нас проводка. — Губы старика сложились в мягкую гримасу. — Да мы привыкли!

...На улице я увидел круглое солнце, уже заметно клонившееся к лесу за пшеничным полем. В стихию каких семей мне углубиться сейчас? Заночевать бы у Михаила Груздева, старожила этих мест, что новый дом поставил, у него, очевидно, дух этого, еще не разгаданного мною поселения содержится в наиболее концентрированном виде.

Мелко перебирая ногами, пересекал наискось дорогу старик в широких портах цвета хаки. Я настиг его у ворот. Издали он показался мне приземистым, на самом деле был пухлый.

Через два дома на скамейке сидела старуха, и перед ней в траве играл заметно хромавший мальчик лет десяти с повязкой на голове. Я подошел, поздоровавшись, спросил, что с мальчиком.

— Да вот корова будучая, — ответила охотно женщина, — напала да катала.

— А мальчик кто вам?

- Внучек, в гости из городу приехал.
- Как же так случилось? И родители, поди, еще не знают? Вот беда!
- Беда, парень, уж кака беда.
- Зачем же вы такую корову держите?

— Да кабы наша!

— Да хоть бы чья, разве можно такую корову держать?

— А кому скажешь? Паранька сама ее забить хочет, до зимы вот только додержит.

— Кто эта Паранька?

— Да больная лежит.

— А где у вас тут самая большая семья? У Михалья?

— Пошто! У Бегуновых девять ребятишек. — Старуха указала на дом, дико заросший черемухой.

Присмотревшись к деревне, я заметил, что самым характерным в ее облике была запущенность и разнობой. Все дома, кроме дома Груздева, старые, один осел углом, другой разошелся в связях, у третьего край набивного карниза оторван. Впечатление запущенности создавалось оттого, что в домах и службах ничто не подновлялось.

В доме Бегуновых я увидел в кухне нечесаных детей и коренастую женщину, похожую на татарку, с гладкой кожей шоколадного цвета, заметно обмякшей на пухлом лице.

— Здравствуйте. Ого, это все ваши? Сколько же их?

— Да девят,— ответила женщина с акцентом.

— А вам сколько лет?

— Тридцат шест.

— Еще рожать будете?

— А не снаю. Мы греховодством не санимаемся.

— Кто не разрешает? Михаль, что ли? Может, он у вас старший?

— Все у нас одинаковые, друг друга не слушаемся, а кое-чего каждый сам по себе придерживается. Как можно дите в себе убить? Коли человек готов в себе дите убить — значит, он подлость сделает.

— Родить нехитро,— возразил я.— Вам не трудно с такой семьей?

— А что мне еще? Для чего еще жить-то тут, в лесу?

Вышел я на улицу и увидел, что к дому Груздева кто-то подъезжает в тарантасе. На пустынной зеленой улице тарантас и седок казались нездешними, приблудными. У ворот человек бросил на лошадь вожжи и скрылся в калитку. Тут непонятно откуда вывалился на улицу пьяный богатырь. Он был широк и плотен, куль, туго набитый мышцами, едва передвигал толстые ноги в кирзовых сапогах, и его тяжелая кудлатая голова то вскидывалась и открывала рот, будто ему не хватало воздуха, то свисала на грудь, словно от собственной тяжести. Шагах в десяти от меня он остановился, поглядел тупо и вдруг пошел в обратную сторону, на углу обернулся, и мне показалось, что где-то я видел это лицо.

...Двор у Груздевых был замусоренный, вразброд ходили по нему куры, у ворот, в сыром месте, земля шоколадного цвета вся в четырехпалых отпечатках. Возле сарая, недалеко от собачьей конуры, овца жевала сено, а рядом две девочки, нечесаные, в длинных желтых грязных платьях, играли с ягненокм, вплетая ему в шерсть розовую ленточку. Животные, птицы здесь как бы смешались с людьми, осталось у меня такое впечатление. Верхом на конуре сидел мальчик и грыз морковку. Из-за конуры вышла пегая гладкошерстная собака с глазами цвета ягоды-пьянки и пошла ко мне. Из-под крыльца вылезла еще одна такая же голубоглазая красавица, и мне оставалось только одно—замереть на месте. Собаки подошли ко мне и стали обнюхивать, не проявляя ни дружелюбия, ни дурных намерений. На крыльце появился мужчина лет сорока, в косоворотке, крепенький, жилистый. В глазах его была отчужденность, которую я должен был сейчас преодолеть. Это был Груздев. Он провел меня в дом. Тут был бедлам. В кухне посреди пола играли щепочками и палочками дети, чумазые, с масленисто-ласковыми глазами. Как и прежде, я коротко и с участием в лице которое диктовалось все нарастающей

жалостью, объяснил, что в Покровку меня привело желание понять, почему вот так по-особенному они живут.

Груздев присел к пустому, без клеенки столу на самодельную скамейку, и тотчас же самый маленький мальчик, лет трех, забрался к нему на колени, склонив голову, приник к груди. Другой мальчик, лет десяти, очень похожий на отца глазами, сел рядом и снизу запустил руку под руку отца, а отец залез ему пальцами в волосы. Странно, я не умилился, только снова куснула жалость: их сближало-то одиночество!

Спросив Груздева, почему он не вступает в колхоз, я услышал ту же самую историю и в тех же выражениях, что слышал от Михалы. Он не тайл и того, как уговаривали их:

— К нам не раз приступали исполкомовские: вы, говорят, единственная в Советском Союзе деревня. Нас ублажали даже — дома вам перевезем, работу хорошую дадим.

— Я думаю, райисполком просто хочет, чтобы вы жили по-человечески. Ну а что же вас так привязывает к вашей Покровке?

Он вздохнул глубоко, тоскливо:

— На производстве лучше, чем в колхозе, пенсию лучше заработаешь.

— А вы ни в колхозе, ни на производстве.

— Я в сельпе по договору работаю.

— Сколько вы зарабатываете?

— Я с ихним человеком на пару работаю. Рублей сто у меня выходит.

Я стал убеждать его, что если бы он был в колхозе, то мог бы зарабатывать в два раза больше, но он не слушал — продолжал свое:

— Налог берут вдвойне против ихних. У напарника остается на руки девяносто три рубля, а у меня восемьдесят семь, — говорил он спокойно, уставшим голосом.

Я спросил, как же он содержит такую большую семью, но он промолчал. Я присматривался к дому. В горнице неприбранная кровать с грязным одеялом, наволочки почти серые, с темными пятнами, на шестке грязные вилки, на окне кринка и на ней булка хлеба, похожая на лепешку, — расплывшаяся и тонкая.

— А что ж теперь в колхоз не идете? Детей учить-то будете? Тяжело ведь вам в интернате их содержать.

Стукнула калитка, и вошла женщина лет сорока, изможденная и потная. В темной руке с набрякшими жилами она держала клеенчатую сумку. За нею вошли с улицы дети, и тогда мальчик, сидевший на коленях у отца, проворно соскользнул на пол и устремился к сумке. Усталым движением женщина извлекла из сумки пустую поллитровую банку с остатками масла на стенках и обгрызенный кусок лепешки. Дети окружили сумку и, не ссорясь и не ругаясь, полезли в нее все враз. Они были похожи на птенцов, которые долго ждали свою мать с добычей. Но в сумке ничего не оказалось, и дети спокойно разошлись. Ни взглядов, ни жестов разочарования — порылись наперегонки и отпали.

Жена Груздева, оказывается, ходила с отцом в лес, пилила дрова на зиму.

— Что это у вас булки такие тонкие? — спросил я.

— Мука плохая. — Женщина села, раздвинула колени и устало бросила руки на широкую юбку. — Тут с семьей бьешься — разве наберешься булками. А муки коль где выпросишь, так продадут что похуже. Отходы в колхозе покупаем да печем. Ребятишек учить надо, денег нету, продажи нету. Корова плохая, пять литров дает, а хорошей не найдешь.

На кого же она жаловалась? Нет, она не жаловалась, она просто рассказывала, и оттого мне еще тоскливей стало — эта покорность в худшем виде, покорность судьбе, покорность перед обстоятельствами.

— А что же вас удерживает здесь? Поехали бы в деревню.

Она глянула на мужа:

— Мише уж видней. Сестра моя в степях живет, привозила показывать пшеницу в узелке, за три рубля им продают центнер. Они птицу кормят. Золотая пшеница! Мы бы сами такую ели всласть.

Это тоже было сказано со смиренностью.

Ночевать я пошел к Михалю. Признаюсь, старик этот, глава клана, был мне симпатичен, очевидно, здравым рассудком, цепкостью, пристрастием к порядку в семье. Но все же он водил меня за нос. Ни в разговоре с ним, ни теперь вот, уже обойдя полдеревни, я так и не уяснил, может быть, самого главного — их социальной природы. Они воображали себя мастеровыми, но мастеравые — это устроители жизни, толкачи прогресса. А они... Что же остается тогда? Порядливость, здравомыслие. Очевидно, есть какая-то несовместимость их духа и духа коллективной жизни.

Я подошел к дому Михалю в одиннадцатом часу. В кухне под иконой с восковыми цветами горела лампада, и спокойный свет ее играл на фольге, развешанной по стенам. Щекою на столе лежал Ч. Б. Из горницы вышел Михаль и притворил дверь, но одна половинка уползла, и я на неразобранной кровати увидел того черноголового богатыря, недавно блуждавшего пьяно по деревне. Это, знать, был Иван Михаль, дорожный мастер. Он лежал лицом кверху, неподвижно, как может лежать только мертвецки пьяный. Старик притворил дверь.

— А этот товарищ, — указал я на Ч. Б. — он кто, покровский?

— Нет, это так, — замылся старик, — просто приехал.

— Я еще спать не хочу, — сказал я, — пойду постою на улице. Вы только покажите, где спать.

Старик показал мне место за печкой на лежанке и ушел в горницу. Я вышел за ворота. В отдалении мелькал одиночный неяркий свет — наверное, кто-то ехал по лесу на велосипеде с фонариком. Деревня без собачьего бреха, без стука калитки, без девичьего взвизга, серые, как бы размытые дома стоят, словно бы ждут чего-то. Недалеко ухала выпь, я долго слушал, и в голову пришло дурацкое: как хорошо, подумал я, что птица эта живет одна, если бы их было две по разные стороны болота и они бы перекликались, так хоть в петлю лезь.

Лежак оказался шатким и скрипучим, от шабура воняло козлом, и когда я стал раздеваться, почему-то захотелось, чтобы кто-то представил, как я снимаю ботинки, и готовлюсь ко сну среди незнакомых и непонятых мною людей, и тщуся разгадать их загадку. Только стал засыпать, как раздался тяжелый грохот — Ч. Б. упал со скамейки на пол. Не знаю, сколько я спал, но вдруг услышал знакомый голос Михалю, только помолодевший, словно умытый. Он говорил о детях, которых надо спасать — спасать от невежества, от бескультурья, — и о других детях, появления на свет которых надо бояться, и о том, что за появление на свет слабоумных детей должны отвечать не только родители, но и общество.

Я понял, что не сплю, когда услышал вздох и знакомый голос старого Михалю:

— Господь должен простить слабых.

— Разве это слабости! — ответил шепотом молодой голос. — Ты не говори так, папа, это безответственность. Раз последний ребенок недоразвитый, то ясно ж, что Иван стал алкоголиком. Теперь дети слабоумные у них родиться будут, и надо прекратить это издевательство над родом человеческим. Папа, ты же умный человек!

Тут я понял, что разговор идет об Иване Михале, который трупом лежал в горнице на кровати, и о его детях. Скребануда ложка о железную миску, и старик спросил:

— Молочка выпьешь?

— Принеси.

У них там, наверное, горела лампа с убавленным фитилем, потому что даже здесь, за печкой, противно воняло керосином. Молодой Михаль (я догадался, что среди ночи явился сын Михалю, учитель из Седельникова) спросил, как пчелы, как взятки, и старик ответил, что взятки плохой, потому что лето холодное и дождливое, и что придется давать пчелам подкормку сахаром. Потом гость спросил, все ли куплено старшим детям Ивана для школы. Ответа я не расслышал, но после недолгого молчания Михаль-младший сказал:

— Вот тут на сахар и на книги!

Потом свет померк, и они ушли спать.

Утром с Михаилом-младшим я сошелся у колодца. Мы вместе достали воду и поливали друг друга. Идти к умывальнику в дом не хотелось ни мне, ни ему. Александр был худощавый высокий человек лет тридцати пяти, очень похожий на отца, с мягкостью в лице, в глазах, в жестах. Он прожил в Покровке недолго — когда учился в школе, больше жил в интернате, чем дома, потом поступил в институт и домой уже не возвращался, приезжал только летом на каникулы. Работать его направили в районный центр Седельниково, откуда он изредка приезжал проводить родных. Он не раз пытался повлиять на отца, убедил его вступить в колхоз, брату Ивану говорил, что тот должен уехать отсюда в большое село ради детей, которым надо дать образование и воспитание, а тут они растут тупыми и невежественными. «Какой же ты отец,— стыдил он брата,— если не думаешь о том, что дети должны жить и расти среди людей, а то они вон из всех игр больше всего любят в похороны играть, жучков, мышей и птичек хоронят, сами убоют и хоронят».

Я поливал Александру из ковша на руки, он плескал в лицо, говорил возбужденно, очевидно, был рад, что нашел кому излить душу.

— Ну а есть польза от ваших уговоров? — спросил я. — Что за человек ваш брат Иван?

— Нету пользы. — Александр стряхнул мокрые руки и взял у меня полстенец. — Теперь поздно... Брат Иван? Он алкоголик законченный, а алкоголикам присуща безответственность. Он потому и не уходит отсюда, что тут, в глуши, сам себе хозяин. Для них для всех, для покровских, как раз характерна безотчетность.

— Почему? — воскликнул я, не улавливая связи между этой характеристикой и тем, какими они мне тут представлялись.

Они были людьми работающими, ремесло давало им некоторую свободу, независимость от земли и, значит, вообще независимость. А при чем тут безотчетность?

Я поделился с Александром своими мыслями.

— Конечно, были работающие, — ответил Александр. — Они, как волю, работали, как кроты, но заработав, хотели быть независимыми. Им деньги были нужны для того, да и ремесло тоже, чтобы чувствовать себя независимыми. Сани продадут или сруб по найму поставят, заработают, а потом надо было им неделю или полмесяца отдыхать и чтоб спросу никакого. Каждый что хочет, то и делает. Гуляют, пьют, веселую жизнь ведут. А в колхозе надо чего-то придерживаться, там надо каждый день работать. Бесконтрольность — вот что им нужно, вот что их манило.

На шатком крыльце появился старик и, махнув рукой, крикнул слабым голосом:

— Айдайте завтракать!

Александр договаривал уже торопливо:

— Я бы это чувство, если оно живет в людях, вытравил каленым железом. Досада берет на отца, на Ивана, за детей больно, дрожь берет, когда подумаю, что мои дети тоже могли быть такими же... Я-то все получил, и дети мои все получили для развития, а эти ведь нищие... во всем, хотя государство им говорит: нате, идите, берите. Особенно сладко им сочетание накопительства и безотчетности. Они ведь тут поперву имели помногу земли, кругом колхозы, а у них земля в собственности, особенно они в войну развернулись, до гектара посева имели. Колхоз же зсего не засеивал, они и пользовались. А война кончилась, колхозу земля потребовалась — и пошли конфликты. Некоторых судили за незаконный захват колхозной земли.

Пошли мы завтракать. На столе были крапивные котлеты, приготовленные по моей просьбе, высказанной вечером, и затируха. Еще было пахучее ярко-желтое растительное масло в миске, похожее на рыжиковое, — очевидно, из сурепки, сорняка, особенно сильно плодящегося у нас в северных районах. Приправой ко все-

му-этому были не менее постные выражения лиц, как бы говорящие: вот видите, как мы живем, чем питаемся.

Старуха, пододвинув мне котлеты, немо вопрошала меня: как, мол, на вкус? Испытывая необычные ощущения, надо сказать, очень приятные, я, естественно, пришел в некоторое возбуждение и, как положено гостю, да еще напросившемуся именно на эти блюда, воскликнул: «Это интересно! Вот не ожидал!» — и что-то еще вроде. Но я не мог смотреть на детей и почти ненавидел старого упрянца Михалю, его тихую, но с вызовом смиренность и благообразие, за которыми было так много сокрыто.

— Все нам годится, — вздохнула хозяйка, — хоть свирепка, хоть крапива.

Мне было тоскливо, я жаждал вылепить в глаза Михалю то, что о нем думаю, и жалел, что Ивана уже не было дома. Я ждал только, когда разойдутся дети, чтобы сказать все. Но тут под окнами остановилась «Волга».

С тяжелым чувством распрощался я с хозяином и вышел. Копейкин глядел на меня мило-улыбчиво, и странно — это его выражение лица как-то оттеняло убожество Покровки.

— Почему вы не зашли? Не хотите знать, что это такое?

— Да я насквозь их знаю, — отмахнулся Копейкин неопределенно. — Вот хотели им помочь... Помучились, помучились, да и оставили, видно, — ну их, там совсем крохи теперь. Старики, век доживающие, да два-три упрянца. Одумаются, так пускай приходят.

— Вы куда сейчас?

— На лен надо бы заехать. А как вам Покровка? — спросил Копейкин.

— Почти невысказанная в нашей стране разновидность одиночества! К тому же это неуправляемый клан.

— Ну а по сути-то что это такое? Я не про состояние. А что в основе у них лежит? Так сказать, суть их духа? Как по-вашему?

Вспомнились мне слова младшего Михалю, что им сладко было накопительство, безответственность и безотчетность и что именно вот это привело к конфликту с обществом. И я сказал это Копейкину.

— А наше-то общество сильно как раз ответственностью... За все и за всех. — Копейкин проговорил раздумчиво: — Представьте, что было бы, если бы мы по ихнему уставу жили? Нет уж!

После непродолжительного молчания улыбка его как бы качнулась.

— У нас в колхозе тоже накопительство, но при отчетности... Лен, между прочим, наша золотая жила.

Ему, кажется, не хотелось больше говорить о Покровке, да и мне тоже.

— Вы знаете, в чем проблема льна на сибирском Севере?

— Низкие урожаи?

— Это мало. По урожайности зерновых мы давно обогнали дореволюционную деревню примерно уже в два раза, а по льну никак догнать не можем. Знаете почему?

— Нет.

— Вот и мы долго не знали. У нас в районе одиннадцать хозяйств сеют лен, и везде он убыточен. И у нас был убыток. А теперь это наш конек.

Дорога шла через рощи на падшем листу. Попадались поля голые или занятые овсом и рожью, луга возле маленьких речушек. Жадно вглядываюсь. На паровых полях земля обнажена, она сера — подзолы, супеси, сероземы, песок. А хлеба высокие, что рожь, что пшеница, с хорошим колосом. Значит, хорошо удобрили почву, а влаги здесь достаточно, вот и урожай.

— Да, влаги у нас хватает, — согласился Василий Ефимович. — Но то, что для других благо, для нас оборачивается бедой. Из таких земель дожди легко вымывают питательные вещества. Если где-то норма навоза сорок тонн на гектар на три года, то мы сто двадцать вывозим.

Впереди за березняком я увидел льняное поле, похожее на зеленое озерцо, и рассыпавшихся по нему людей. Дорога свалилась в ложок, врезалась в осинничек, и за ним уже близко, на восточном склоне ложка, открылось еще льняное

поле с людьми, большая часть которых стояла склонившись. Копейкин остановил машину.

— Ну, как работается? — крикнул он женщине, дергавшей лен с краю и при нашем приближении распрямившейся.

— Да хорошо дергается.

— А остальные где? — Копейкин обвел взглядом низкое облачное небо.

— Вон там и там, — махнула рукой женщина вдоль ложка.

— Что-то лен размещен у вас на таких маленьких участках, ведь технику использовать затруднительно? — поинтересовался я.

— Хороших машин нам пока все равно мало дают, — ответил Копейкин, продолжая изучать небо, — в основном руками дергаем, а участки небольшие ради повышения урожайности.

— Как это? — удивился я. — Разве влияет?

— Еще как. Мы часто страдаем от забывчивости. И еще нас мучит отсутствие точных знаний. Все на Севере давно знают, что лучший предшественник под лен — это клевер. Раньше клевера были тут богатейшие! Потом урожай упали. А почему — никто понять не мог. Бросились других предшественников искать. Пар не идет, другие травы — получше. Особенно пошел костер. Но ведь костер дает десять центнеров с гектара, а клевер — тридцать пять. Вот и считайте... А мы бьемся над костером как над предшественником, а про клевер забыли, вроде списали его. Скверная привычка идти по линии наименьшего сопротивления. Семена костера легче получить, легче размножить — сюда и устремились. А клевер скинули со счета. Слово никогда и не рос он на наших землях. Только несколько лет назад сообразили, в чем дело. Применение гербицидов сократило численность шмелей, а они почти единственные опылители клевера. Пчелы-то своими короткими хоботками в пышный цветок клевера проникнуть не могут. А без шмелей и клевер не шел.

— А почему участки все же маленькие?

— Нам один старик подсказал: шмель, говорит, тяжелый, далеко лететь не может, а раньше межи были, он с межи на клеверище. Вот мы и создали ему участки разнотравья, на них он и гнездится и отсюда летает работать на клевер. По межам посадим ивы — шмелиным маткам нужна ранняя подкормка.

Объехав льняные плантации и удостоверившись, что работа идет нормально, Копейкин отправился в игоревскую бригаду. Там размыло почву под доильной площадкой, и Василий Ефимович застрял почти на три часа. В Рязани мы вернулись к вечеру.

III

Следующим утром я отправился к Смертину, чтобы поехать, как уговаривались, на сенокос. Воздух в пустых улицах мягок, бор стоит за деревянной задумчивый и спокойный. За плотно сколоченной калиткой я увидел небольшой двор с тесовым сараем, бревенчатой стайкой и банькой. В промежутке между ними за жердевым заборчиком с воротцами виднеется зелень огорода. Посреди двора стоит тарантас, женщина в белом платочке устанавливает в него ведро, повязанное василькового цвета тряпицей.

— Жбанчик не забудь! — кричит она пареньку лет пятнадцати, который открывает ворота на огород, надо быть, в погреб идет.

Из прохладных сумерек сарая, сдержанно-приветливо улыбаясь, выходит Прокопий Гаврилович. В руках у него грабли, обернутые синей тряпицей. Он ставит их к стене дома, чуть зарозовевшей от поднимающегося солнца, здоровается со мной и обращается к появившемуся на крыльце мальчику в черных трусиках и кирзовых сапожках, еще не оклемавшемуся со сна:

— Чего ты не спишь? Без тебя не уедем.

— Не спится что-то.

— Ну иди умывайся.

— Ладно, — встряхнулся малец. — Я сейчас Зорьку напою.

— Да подожди уж, скотина уйдет, — говорит ему как равному Прокопий Гаврилович и обращается ко мне: — Садитесь, дожидайтесь, уже вот поедем.

С огорода возвращается старшой с куском копченого сала в одной руке и небольшим жестяным жбаном в другой.

— А «Тайгу» положили? — спрашивает Прокопий Гаврилович.

— Положили, — отвечает старшой, — в ведре она... Ну, я за лошадей.

Я присел на доски крыльца, еще хранящие ночную свежесть. Послышалось мычание приближающегося стада, меньшей открыл ворота стойки, скрылся там, а вскоре из стойки выскочила нетель и устремилась к открытой хозяйской калитке. Сквозь калитку в розоватом от поднимающегося солнца пыльном воздухе видны коровьи тела. За нетелью ловыпрыгивали овцы.

— Сынок! — кричит хозяйка. — Зорьку здесь попой, выгоняй, выгоняй ее!

Из стойки выходит большая рыжая корова с крохотным, недавно родившимся теленочком, а за ними мальчик. Мать выносит из дома ведро болтушки и вместе с сыном поит корову.

— Тпрука, тпрука, тпрука...

Появляется старшой, в поводу он ведет карего мерина и серую кобылу, рядом с которой трусит жеребенок. Стали запрягать, Прокопий заводит кобылу в оглобли, сын надевает хомут.

— Умница, послушная, — хвалит паренек кобылу и, упершись сапогом в хомут, затягивает супонь.

Оба мальчика делают все толково, со спокойной размеренностью, как бы повторяя отца...

Что-то знакомое из далекого детства встает в этих картинах. Я вспоминаю, как отец первый раз взял меня на пашню работником. Уже по теплу деревня собиралась на отруб. Во дворах стояли брички, и хозяева укладывали все, что понадобится на две долгие напольные недели. И мы собирались. Уже уложены борона и букер, лукошко, топор, пила, сырмять, шило, мешок с мукой, крупа, соль, веретке, спички, сало, подушки, одеяла, поставлена уже лагушка и бочка с водой, подвешена банка с колесной мазью. Уже мать принесла рядом и с отцом вместе накинула на телегу; мать пошла поить телушку, а отец с веревкой в руках отходит от воза — окинуть, ладно ли уложено, — а я стою рядом и знаю, что вместе со своим неулыбчивым, но добрым отцом сейчас буду затягивать укладку. «А ушивальнику-то ладно положили? Спроси-ка мать. Я сказывал, чтоб добавила». «Положили, поди, — отвечает я. — Вот он», — и тычу под рядно. «Тпрути, тпрути, тпрути», — доносится голос матери с огорода. Я бегу к ней, кричу: «Мам, ушивальнику-то добавили, батька велел спросить?» «Добавила, сынок». И я несусь, говоря отцу: «Добавила» — и гляжу, как сивый маленький жеребенок, вытянув через оглоблю шею, тянется к кобыле. «Ах, будь же ты живой, пострел», — говорит отец и ласково подталкивает жеребенка.

На деревне, оказывается, уже многие тронулись. Богатые мужики выезжают на двух или трех парах, мы на паре, а кто и на одной лошади. Одни уже за околицей, у иных домов в раскрытых воротах укладки увязываются. У других ворот, провожая, стоят старики, старухи, малые дети. Все спокойны, озабочены и серьезные. И так же озабоченно и серьезно, с вожжами в руках восседаю я на передке. Мне и гордиться-то нечем, потому что на других подводах также восседают такие же, как я.

И вспоминаю я, как потом, уже в поле, подсаживая меня на Серуху, запряженную в борону, отец наказывал: «Борозду ладом держи, да не торопись, назад посматривай, чтоб на два зуба заходило». Он идет по краю следом.

«Ровней, ровней держи, сынок, ровней!» — кричит, лотом отстает, а я, поглядывая назад, чувствую, как лошадь тянет ровно и споро, и успокаиваюсь, и полегоньку повсвистываю, а отец все дальше и дальше остается и наконец уходит оправлять шалаш.

Уже сколько прошло, и уже всяко мне было — и хорошо и плохо, и сколько раз при смерти был, и ликовал победу, а до сих пор слышу голос отца: «А ну пошла, пошла! Ступай, Серуха, ровней, сынок, держи».

И вот до сих пор я вижу наше поле, парящее под жарким солнышком, и как

на том краю его появляется отец и мащет мне фуражкой, и теплый ветер доносит его голос: «Сы-но-оки! Айда обе-е-даты!»

Еще я чувствую тепло земли у ицки, когда рядом с отцом прихожу на пашню и он учит меня узнавать, поспела ли земля, пора ли сеять: Помню, как он наклоняется, смотрит, не появились ли шильца сорняков. И я смотрю вместе с ним.

И вот я слышу через сорок лет те же интонации, вижу столь же озабоченные лица...

Особенно серьезен старший мальчик. Он подошел к небольшой укладке на задке тарантаса, закинул брезентом и принялся увязывать.

До чего же знакомо! Мне захотелось встать, подойти увязать укладку, но я удержал себя, подумал: ладно уж, нагребусь еще досыта. Большой стал взнуздывать кобылу, потрепал по загривку крутящегося у ее ног жеребенка — кобыла ответила тихим благодарным ржаньем. Был подпряжен мерин, и Прокопий пошел открывать ворота.

Сенокосный участок Смертиных был километрах в двенадцати от деревни, в глухом, но нечастом лесу. Меж кустов черемухи, рябины и берез лежало в рядках сено. Извиваясь, огибая кусты и деревья, рядки сходились, расходились, терялись, прерываясь, опять сходились; меж рядками там и здесь торчали грибы.

— Слава тебе, что дождя давно не было, — проговорила Татьяна Павловна. — У наших рядков-то уже грибы выросли!

— Это закононо, — ответил шуткой Прокопий Гаврилович, — кто старается, о том и бог заботится.

Позавтракали на разостланном под березами брезенте и принялись за работу. Ребятишки и Татьяна сгребали сено в кучи, а мы с Прокопием на вилах таскали его в копны и укладывали. Когда копна вырастала в полтора человеческих роста, Прокопий вершил ее и очесывал. И все копны у него выходили одна к одной аккуратные, как игрушечные. Я старался побольше подцеплять на вилы, не избегал ходить к дальним от копны кучкам. Нести на руках навильник сена в два размаха рук, ощущая не только его тяжесть, но и форму (больше всего они были похожи на крылья), было мне удовольствие. Дети и Татьяна работали споро, сходясь, переговаривались и пересмеивались, и голоса их мягко разносились по окрестности.

Я присматривался к Прокопию. Он тоже старался побольше подцеплять на вилы, но шел к копне не торопясь, порожним возвращался побыстрее, когда вершил и очесывал, движения его делались мягкими и осторожными, он словно бы ласкал копну, работа, видимо, доставляла ему удовольствие не только физическое. Изредка он останавливался, чтобы свести с лица пот, ставил вилы к березе и затаил, очевидно вслушиваясь в лес. А кругом стояла тишина, в которой крик кукушки, писк лесного конька, маленькой серой птицы, голоса ребят, ушедших далеко по рядкам, словно бы прорезывались для того, чтобы вслед быть поглощенными вязким прозрачным беззвучием. И топот изредка перескакивающих с места на место спутанных лошадей тоже прорвется и канет.

Пообедали. Опять каждый делает свое дело.

Когда ребята с матерью оказываются близко, Прокопий прислушивается к их разговорам, и рот его нет-нет да и растянется в улыбку. Потом он опять берется за вилы — лицо делается спокойным и счастливым. Голоса людей, птиц, редкий топот копыт и резвый перебег жеребенка, звяк железной кружки о край жбана — все эти звуки, возникая по очереди и попеременно, как бы живут в недвижимом пахучем воздухе меж берез, кустов и копен.

Копны прибывают, лес наполняется их телами, меняется пейзаж, удлиняются тени, и все вокруг принимает пестрый вид. Люди спокойны и умиротворенны, они счастливы всем, что вокруг, счастливы работой, друг другом. И приходит мне в голову — сила Прокопия в том, что он умеет быть счастливым тем, что им создано. Тихая его улыбка, понимаю я, это улыбка доброго хозяина, делателя жизни. Не этим ли чувством был заполнен сегодня утром маленький его двор?

Ужинали дома. Сразу из-за стола Прокопий отправился на походке в Игоревку. Я тоже с ним собирался, но, признаться, спасовал, чувствовал себя усталым и не поехал...

— А ты что на его сторону не встанешь?
 — Он же при должности,— голос ее взыграл бесцветными нотками,— у него права есть.

— Вот-вот,— сказал Камнев с укором.— вот-вот.

Опять помолчали. Галя занялась девочками.

— Ротики почище вытирайте.

— А моя Люба что, вчера коров доила?

— Да, Плугина заболела... Вылезайте, мои хорошие, и бегите гулять.

— Ну и что? Вы не разобрали ее коров, что ли?

— Я так понимаю: Любовь Михайловна хотела с девочками побыть, побеседовать. Вот вместе с ними и разобрала недоеных, поблизилась, в общем, к новеньким.

— Ну и как? Как доярки отнеслись?

— Так, а что,— Галя отвечала без раздумий,— к нам на ферму-то с чем приходят: с «на» да с «дай». Хорошо доишь — на тебе премию, а ты похуже — «ага! смотри, с фермы уберем, как только доярки будут». А Любовь Михайловна увидит, кто нахмуренный: «У тебя что? Случилось что?» Она знает, у кого ребенок заболел, у кого дома неладно.

Камнев успокоился. Помолчали.

— Ну так что, Галя?

— Ой, Анатолий Александрович, я как с вами познакомилась,— в лице Гали появилась кислинка,— так вроде сама не своя стала. Честное слово. Сколько раз вы залезали мне в душу...

Легкая обида и игривые нотки слышались в ее голосе — трудно было понять, говорила ли она серьезно, и, наверное, поэтому Камнев ответил подчеркнuto значительно и мягко:

— Ну ты прости, если я когда тебе больно сделал. Если и сделал, так хотел-то добра.

Она не приняла мягких ноток его тона и говорила уже серьезно, с обидой:

— Я помню, Анатолий Александрович: только пришла на ферму, совсем молоденькая, чуть побольше стала доить, а вы тут как тут: «Тебе на собрании надо выступить, ты уже хорошо доишь, авторитетно скажешь». Я выступила, а те, которых критиковали, на меня с зубом. Вы же тут как тут: «Ты их можешь победить, бери обязательство две восьмьсот». Я взяла и выполнила, а вы опять: «Поедешь на зональное совещание, обратись там к северным дояркам с призывом».

— Тебе от этого плохо было, Галя?

— Плохого-то что? Мне работа не страшна.

— Так что же?— сказал Камнев еще более мягко, и она вдруг тоже ответила в тон ему:

— Да я вроде как запродалась вам.

Сказала вот такое, а взгляд словно бы в себя устремлен, но устойчивый: вроде бы то сказала.

— Что ж, Галя,— огорчился Камнев,— получается, что если я даже и залез к тебе в душу, то вложить, что хотел, не смог. Вот не сумел! Смотрю я на тебя: муж тебя любит, работается и живется тебе хорошо, семья у тебя, дети хорошие. Благополучие, в общем! Хорошо вроде. Но у тебя и на сердце благополучие. А это плохо!

Зеленовато-серые глаза встревожились:

— Плохо?

— Благополучия сердца не должно быть! Вообще. Может ли быть благополучие, если есть боль хотя бы где-то? Вообще в мире или на ферме. В Чили боль и у вас тут боль, она же есть на ферме, боль, ты же знаешь. Есть боль большая, есть боль маленькая, а все равно боль!

Подобного рода образчики деревенского пропагандистского красноречия с очень смелыми переходами обычно заставляли меня настораживаться. По мысли правильные, они тем не менее очень уж хлестки и бойкость в них чрезмерная.

Камнев между тем продолжал:

— У тебя есть чужая боль? Ты загляни в себя! Ну вот за Клещенка? Или за кого? Есть? Инвалид; в годах уже, огрузнел, с костылем живет, а ведь душу кладет!

Эти слова, кажется, встревожили Галю.

— Ему и так тяжело, — продолжал Камнев, — а тут еще такие задачи стоят, за молоко каждый день трясут. Я тебя еще вот так спрошу, Галина: у тебя есть человек, который бы к тебе прибился? Понимаешь? Пристал как к берегу? Ты думаешь, у этих новеньких доярок так уж все кряду хорошо?

Галя свела брови:

— Да нет. Ругалась уже одна из них, втянулась в свару.

— Ну вот видишь!

Он словно бы припечатал что-то этими словами. Походил молча, спросил другим тоном:

— Не сладко, значит, молодым?

— Да вот отматерили Люду маленькую, — сообщила Галя спокойно. — Она плакала.

— Из-за чего же придираются?

— Я вам говорила, ни из-за чего. Молоденькие-то лучше работают, и те вроде злость срывают.

— А ты в стороне стоишь?

— Ну ладно, Анатолий Александрович. — Галя еще сильнее свела брови. — Ладно, пойду, раз уж вы так просите.

Камнев поджал нижнюю губу, тень досады легла на его лицо.

— Ну почему ты так ставишь вопрос — раз я прошу? Ну что? Говори...

Галя не сразу ответила, сидела с опущенной головой, наконец подняла глаза.

— Мать-то моя, знаете, как жила, уже после войны сколько лет в опорках ходила, и я вместе с ней горе хлебала, голодом сколько раз сидели. Так что же мне не понаслаждаться теперь?

— Ну и наслаждайся! Наслаждайся! У меня у самого и ковры, и телевизор, и, честно сказать, на машину денег хватит. Но это не значит, что я...

— Так вы начальник!

Я, признаться, не мог предположить, что так пойдет у них разговор.

— Разве я начальник? Мотаюсь с утра до вечера по фермам да по полям. Чем вы кипите, тем и я киплю.

— Вот только что кипите. А вы... Вы хоть раз спросили: «Тебе хорошо?» Мы ведь, поди, заслужили, чтобы не только сытыми быть, а чтобы нам хорошо было.

— Та-ак, — протянул Камнев, — интересный разговор. — Та-ак, очень интересно. Тебе, значит, плохо. Премии ты получаешь, чувствуем тебя как передовика — на виду всегда, флаг в честь передовиков поднимаем, торты преподносим, на чаепитие созываем, цветы пионеры дарят. Тепла, кажется, достаточно. И деньги и тепло, если уж так-то говорить. Или не так? А?

Он спрашивал довольно-таки напористо, а она опять склонила голову, молчала. Не дождавшись ответа, Камнев стал прохаживаться, изредка бросал на меня взгляды, наконец остановился возле Носковой.

— Ну а что значит по-твоему «хорошо»? Всего этого нет, что ли?

— Есть, — Галя подняла глаза, — а чего-то вот не хватает!

— Чего же?

— Вы все с «на» да с «дай», я же говорю. А мне почему-то на субботах хорошо бывает, или когда всей деревней колхозу сено косим, или на помочах, когда кому-нибудь хату складываем. Старшие рассказывают, что на целине было очень уж хорошо.

Я подумал, что и вправду есть нечто общее между целиной, субботниками, коллективным сенокосом и помочами. На целине-то как было? Жили в палатках, неустроенность, трудности. Но все понимали, что делается большое, государственной важности дело. Очевидно, решил я, нужно Гале обеспечить хорошее состояние души, может, такую атмосферу, когда в каждом человеке будет расти быст-

рее, чем работник. И определённые шаги для создания такой атмосферы уже сделаны: решение мартовского Пленума Центрального Комитета партии, развязавшее инициативу хозяйственных работников, создание хозрасчетных коллективов, звенья и бригады на аккордной оплате, в которых каждый — и исполнитель и руководитель, поскольку он отвечает за работу товарища, всего звена. Нужна атмосфера, в которой организационные формы будут служить не тому, чтобы подталкивать — это как раз и не устраивает Галю Носкову, — а чтобы организовывать.

Камнев остановился передо мной:

— Ну, в общем, поехали на ферму.

Собрались. Поехали. По дороге Камнев особым тоном, каким деревенские любят рассказывать о своих односельчанах, чем-либо примечательных, сказал, что Клещенок — человек очень занятный, что, будучи наделен львиной силой (в молодости поднимал лошадь, подсев под нее), он очень чувствителен, и когда в компании поют «Раскинулось море широко», плачет, а на словах «к ногам привязали ему колосник» уливается слезами. И еще он стеснительный: если на ферме ругаются женщины, смущается и отходит.

В красном уголке фермы было темновато, потому что окна его выходили к одной из стен коровника, имевшего форму буквы «п». В углу я увидел черноволосого богатыря с бакенбардами, который сидел под маленьким настенным шкафом с ячейками, туго забитыми какими-то документами, и мягкими движениями перебрассывал косточки счетов. Стены за его спиной были увешаны плакатами, очень далекими друг от друга по содержанию: они рассказывали, сколь прекрасен отдых на Черноморском побережье Кавказа, убеждали в преимуществах воздушного транспорта и искусственного осеменения коров перед естественным, призывали беречь лес от пожара, собирать лекарственное сырье. Но было между ними общее: все они двух тонов — синего и зеленого.

Клещенок на вопросы мои отвечал охотно.

Я спросил, где легче ему работалось — на море или здесь, на ферме.

Клещенок осклабился, но быстро посерьезнел.

— На море. Там дисциплина и сознательность военного положения, а тут... Сейчас если только на сознательность курс держать, так быстро на мель съедешь. Сейчас бы старые морские порядки. Линька некоторые просят!

Говорил он шутливо, но глаза его были «не на месте». Бакенбарды пышные, а из них выглядывает совсем чуждое им лицо — человека мягкого, мечтательного. И не говорит ли преобладание синевы и зелени на плакатах о романтическом устройстве души старого боцмана? Я начинаю понимать, что бакенбарды Клещенку служат не для украшения, а чтобы создать впечатление мужества. Ну а коли человек старается произвести впечатление, то его уже нужно жалеть. Видно, он от природы мягок и деликатен и его военная карьера была только вспышкой в особых условиях. Возможно, будучи очень исполнительным, он держал команду корабля в руках волей вышестоящих командиров. А тут иные отношения, все кругом свои, деревенские, другие формы влияния, вот Клещенок уже и не на высоте.

— С женщинами, очевидно, труднее работать, — сказал я. — Мне рассказывали, вы уходите, когда женщины ругаются.

Он словно бы обрадовался моим словам, шевельнулся, и табуретка хлипко под ним заходила.

— Женщины ведь! Вот не могу, как засадит кто, так я — костыль, костыль, костыль от них. Ага! Не могу вот.

С этими словами с души его словно бы свалилась тяжесть. Этой своей особенностью (надо сказать, для деревни редкостной), решил я, он прикрывает существенные слабости. Суть-то в том, что какая-то женщина с сильным характером вышла из его подчинения, за ней вторая — пришла на работу пьяная да на него же и наорала. И, почувствовав слабину, эти бабы верховодят на ферме. А в деревне все это знают, и Клещенок, очевидно, сам себя презирает и поэтому охотно выставляет напоказ свою чрезмерную деликатность.

Камнев сказал Клещенку, что с Галей Носковой он договорился — она согласна возглавить комсомольско-молодежную группу.

— Уж чего лучше — комсомольская группа, — обрадовался Клещенко, — я бы, прежде чем выносить любой вопрос на коллектив, с ними решил. — Он ожил. — Партгруппы у меня нет, я на ферме один коммунист, а тут бы — опора.

Вошла Галя и вслед за ней стайкой шесть девушек, все простенькие, мелконькие. Живенько расселись по широкой лавке вдоль стены. Держатся скованно и без того чувства достоинства, которое присуще хорошему работнику. Я поначалу отнес это за счет того, что их тут придавили старшие, но оказалось, что все они пока работают подменными доярками и в сводках, где подводятся итоги соревнования, их фамилий нет, немного они еще значат. Присматриваюсь к ним с особым интересом: ведь они будущее вятской фермы. Узнаю, что почти все с десятилетним или восьмилетним образованием, все уже замужем и что большинство из них приезжие. Что же привело их в Вятку? Вот Лидя. Приехала из Тары, вышла здесь замуж. Почему приехала? Услышала, что здесь хорошо. Что значит «хорошо»? Оказалось (дальнейшее было зообщено под улыбки), здесь парней много. Отслужив в армии, парни в город не стремятся, возвращаются домой, потому что здесь место хорошее и люди душевные, вроде вот Николая Филипповича. Сначала приехала посмотреть, правда ли, что парни есть, потом прибыла насовсем и вот устроила судьбу.

Надя жила с мужем в Большеречье, муж ее «блукал»: село большое, рабочий поселок, где и с кем он — концов не найдешь. Разошлась, приехала в Вятку с ребенком и нашла здесь себе подходящего. Живется ей с новым мужем хорошо.

Люда работала в Омске на шинном заводе, зарабатывала до ста пятидесяти рублей, но мать написала, что чувствует себя плохо, часто болеет, и Люда вернулась в родной дом, тоже вышла замуж — парень один как раз из армии вернулся.

У другой Люды — она худенькая и бледная — порок сердца. Она приехала с мужем и двумя маленькими дочерьми из Большеречья, потому что в Вятке живет ее родная сестра и помогает ей детей растить, одной ей с больным сердцем детей трудно поднять.

Клещенко усиленно хвалит молодых, лицо его серьезно, говорит, что они «команда» (он с особым удовольствием произносит это слово) надежная, молодухи же переглядываются, перешептываются. Я спрашиваю: «Что вы, девушки?» — и Люда, та, у которой больное сердце, смущенно посмеиваясь, отвечает, что Николай Филиппович, видно, их за дурочек считает, коль в глаза хвалит.

— Да какие вы дурочки? — бодро поднимает голос Клещенко. — Вы у меня самые умницы, самая верная команда и работаете неплохо и, если будет надо свистать всех наверх, так первыми прискачете.

Молодым не нравится, как складывается разговор, кое-кто опустил голову, испытывая неловкость, другие, судя по глазам, что-то хотят возразить.

Наконец Люда — та, что из Большеречья приехала, — решается:

— Я сначала так радовалась, Николай Филиппович нам как отец, а оказывается, тут тебя и отмастерят и ни с того ни с сего набросятся, обзовут как хотят. Все подозревают, что коли я подменная, так, значит, не стараюсь ихних коров выдаивать. А сами опаздывают и пьяные могут заявиться.

— Кто, ты говори конкретно, — возразил Клещенко, — зачем же ты старшее поколение в одну кучу валяешь?

— Ну Джусь, ну Щеглова. Вот Люда ругаться с ними начала, попробовала отбиться, так они ее до слез довели. Вредные!

— Нам тоже надо научиться лаяться — только это остается!

Поднялся шум. Одни, смотрю, посмеиваются, другие сердятся. А мне грустно и больно. Две женщины, из тех, что утверждают себя бранным словом, задают на ферме тон. А ведь пришли молодые доярки, чему же они тут научатся? И молоко ферма недобирает, Копейкина и Камнева за это трясут, колхоз, чего доброго, в отстающие угодит. Мелькнула мысль, что окажись на месте Клещенко человек покрепче характером, то все бы быстро стало на свои места. Я склонился к Камневу и сказал это. Он покосился, придвинулся ко мне:

— Ему же недалеко до пенсии... С чем же он уйдет? Ничего... Перетерпим немножко. Вот комсомольскую группу создадим... А как девчонки освоятся — кое-кого уберем. Может, мы молока пока и недоберем, зато по-человечески все будет сделано.

Он сел прямо, потом опять склонился ко мне:

— Мы с Копейкиным не раз ситуацию обсуждали.

Вот это, подумал я, действительно из области капитальных духовных вложений, вот на моих глазах сшиблись рационализм сегодняшнего дня и человечность.

— Николай Филиппович, — обратился Камнев к Клеценку, когда шум утих, — а почему ты собрание не соберешь и не обсудишь этих скандальных?

— Да что! — Этот возглас был как взмах руки. — Я собрал Щеглову обсудить, а она объяснение дает: у нее, видишь ты, годовщину справляли и, мол, по такому-то случаю да не выпить. Она, значит, сказала, а тут захихикали. И вы, девчонки, тоже хихикали! Вот так и сошло на нет.

Наступило неловкое молчание. Камнев встал и принялся ходить, поджав губы.

— А Галя что? — спросил он Клеценка.

— Промолчала.

— Вот так. — Камнев остановился возле Носковой. — Вот так, Галя! Сколько мы молока потеряли из-за здешних склок?

Носкова почти с мольбой смотрела на секретаря парткома.

— Ну я же сказала, Анатолий Александрович, — все ясно мне!

Галя уже сердится, а я люблюсь ею. Она такая же, как час тому назад была возле детей. Там, дома, все было объято ее лаской, заботливостью, спокойным чувством хранительницы очага. И этим чувством она как бы отгораживалась от всего, что было за пределами ее уюта, а сейчас она опять полна сильным спокойным чувством, и это сближает ее с молодыми доярками, она ласково смотрит на товарок.

— В общем, девочки, — говорит она, — нам надо комсомольско-молодежную группу создавать.

Никто не возражает. Камнев говорит слова напутствия, и мы собираемся. Клеценков на костыле провожает нас до дверей.

У

К началу партийного собрания я не успел. Шло собрание в сельском клубе. Народу было много. На трибуне стоял Смертин, а за столом президиума сидели человек шесть — очевидно, члены партбюро. Председатель молодежавый, аккуратно подстриженный. Он сидел рядом с Камневым перед графином с водой. Из глубины зала, из-за голов был слышен спокойный густой голос, рассудительный и вопрошающий. Я начал пробираться вперед, но меня остановили слова оратора. Он говорил, что собрание очень уж односторонне к Смертину подходит. Работник он, слов нет, каких мало, семьянин хороший, но несколько лет назад партийная организация рекомендовала его на должность помощника бригадира комплексной бригады, а он отказался. Коммунисты тогда отнеслись к этому принципиально, так как осень была тяжелая, хлебу создавалась угроза и было решено выделить бригадире помощника, а Прокопий Гаврилович отказался.

Продвигаясь, я увидел мужчину лет пятидесяти. Лицо цвета сосновой коры, пышные усы.

Смертин сказал тогда, продолжал оратор, что не считает себя способным к руководящей работе, ему ответили: рекомендуют-то его не бригадиром, помощником, и он имеет возможность поучиться — может, дело и пойдет. Однако Прокопий так и не дал согласия.

Коричневолицый сел, но что-то вспомнил, басанул, чуть приподнявшись:

— У меня вопрос к секретарю парторганизации. Вы знали, Анатолий Александрович, об этом факте?

Протискиваясь в первые ряды, я увидел пустой стул в углу возле сцены, сел, глаза мои бежали лица тех, кто был поближе, и я заметил, что все в зале очень оживлены.

— Не знал, — ответил Камнев. — Я знал, что председатель колхоза недавно предлагал Смертину заведование гаражом, а он отказался.

— Вас, Анатолий Александрович, в колхозе вроде тогда не было, это правда. Но вы должны знать все о каждом коммунисте.

Попросил слова Копейкин. Он недавно предлагал Смертину принять заведование гаражом. О первом же отказе он, как и Камнев, не знал, потому что тогда в колхозе не работал. Но вот получается, что есть необходимость делать кое-какие выводы.

Торопясь погасить поднявшийся шум, председательствующий застучал по графину карандашом, дождался тишины и сказал, что ему эти факты тоже известны и получается, что коммунист Смертин — вроде бы как человек для себя. Конечно, сказать такие слова значит обидеть хорошего работника, однако говорить надо, для того и собрались.

Объяснение Прокопия Гавриловича началось из такого далека, что я насто-рожился. Есть у него брат Иван, все его знают, и с ним было такое вот дело: выдвинули его бригадиром и велел он одному трактористу кое-что подделать в машине, а тот послал его подальше. Тогда Иван сделал сам что надо, а тракторист сел да поехал. Иван такой, что ему проще самому сделать своими руками, чем кого-то заставлять. Вот и он, Прокопий, такой же.

Лицо его с неизменно добрым и спокойным выражением было замутнено чувствами, неожиданными для меня.

Собрание загудело продолжительно и настойчиво, и под этот шум Смертин внезапно опустил голову, явно собой недовольный. Это был домашний, комнатный жест, и он подсказал мне, что люди, собравшиеся здесь, друг другу очень близки. Чей-то голос пробился сквозь затихающий шум:

— Квасная это откровенность, Прокопий! Слушать неохота.

Спросили Смертина, не из-за того ли он не пошел завгаром, что в зарплате поначалу немного должен был потерять.

— Да что там десятка какая-то! — бросил обидчиво Прокопий Гаврилович в зал. — Жинка бы поворчала неделю — и все. В деньгах разве дело!

Морщинистый мужчина с «золотой» в волосах огляделся и сказал, что, конечно, Прокопий — работник цевный и человек путный, но живет-то он только для своей семьи, обществу силы полностью не отдает, забыл, что есть обязанности перед коллективом.

Собрание все более оживлялось. Из первого ряда поднялась девушка с пышными волосами, молоденькая, умненькая по виду, наверное, учительница. Лицо серьезно и оживленно. Я опять всмотрелся в зал и снова не увидел ни одной пары равнодушных или скучающих глаз.

Конечно, говорила девушка, сейчас желающих идти на руководящие должности не так-то много. Кому охота тратить нервы, отвечать за других? В деревне не просто подобрать доброго человека на должность бригадира или завмастерской. Но если создалось такое положение, что потребовался завгар, то кто как не коммунист должен помочь коллективу. Сейчас каждый должен жить с полной выкладкой! Надо брать ношу потяжелее, а то жизнь проживешь и не узнаешь, на что способен.

— А если он не способен к руководящей работе? — сказал кто-то с места.

— Это другой вопрос. — Девушка обернулась на голос. — Руководители колхоза почему-то ему предлагают. А Прокопий Гаврилович должен хотя бы попробовать свои силы!

Все, казалось, было обговорено, но никто не двинулся и все молча смотрели на Смертина. А он, в позе смиренности и согласия, такой тихий, принадлежащий всем, понимающий, что собравшиеся относятся к нему с уважением, любят его, желают добра, но и не понимающий чего-то, никак не мог собраться и сказать то, чего от него ждали. Но вот он заговорил голосом тихим, продирающимся, кажет-

ся, через сомнения. Когда в тот раз ему предложили должность помощника бригадира, он растерялся. Он знал свою «летучку», свой дом, а тут — хлеб, большой коллектив. Хлеб был под угрозой, и какая там разница, бригадир он или помощник, все равно отвечать надо. Он ведь не умеет так это, сторонкой идти: если браться за что, так браться! А тут столько хлеба в опасности было...

— Он привык, чтобы у него все на пять было,— пояснил Камнев.— А вдруг бы не получилось на пять. Этого, что ли, ты опасался, Прокопий?

— И этого.— На лице Смертина прорезалась улыбка, просящая снисхождения к слабостям человеческим.

Поднялся Копейкин.

— Конечно, жить надо с полной выкладкой, это правильно. Но не перестарались ли некоторые товарищи, не чересчур ли требовательно к Прокопию Гавриловичу отнеслись? Нам надо оценить как следует то, что он сам, один, несет людям, оценить его высокую требовательность к себе, его честность, его большую совесть. Он такой-то вот и нужен людям, обществу — как человек высокой требовательности к себе!

Зал притих.

— Ну вот давайте честно: много ли найдется у нас в районе таких, чтобы «летучку» самому водить и доплату не получать? Нам надо поклониться Прокопию Гавриловичу как человеку большой совести и попросить помочь людям в качестве завгара. А у нас в гараже есть кого воспитывать! Попросить, я подчеркиваю. По рядам пошел оживленный шумок.

— Ну, попросим,— сказал кто-то из зала,— правильно, в общем-то, все.

Заключил Камнев. Он признался, что поворот в ходе собрания был для него неожиданным. Да, он не заметил кое-каких перемен, и это стало особенно ясно сегодня, после поездки в Вятку, где есть человек, похожий на Смертина своим отношением к жизни,— Галина Носкова.

И Камнев рассказал, с чем мы столкнулись в Вятке.

— Спрос с людей такого типа, как Носкова или Смертин, строже. Верно подметили товарищи. И не понимать этого, особенно коммунисту, выходит, уже нельзя.

Человек становится все сложнее, подумал я, да еще дает себя знать рационализм сегодняшнего дня, и деловая жизнь рабочего человека насыщается все более глубоким психологическим содержанием. Такой, как Прокопий Гаврилович, очевидно, задается вопросом: а хватит ли у меня сейчас, когда для многих главным двигателем стал рубль и никто бесплатно не хочет пальцем шевельнуть.— Хватит ли у меня душевных сил с других спросить как с себя?

Камнев говорил, что перевод сельского хозяйства на промышленные рельсы и материальная заинтересованность — дело хорошее, но у этих прогрессивных явлений есть побочные отрицательные стороны, а партийная организация колхоза, по его мнению, ничего не сумела им противопоставить, даже и не задавалась такой целью. А вот коммунист Смертин противопоставил!

И Камнев еще раз сказал, что Прокопий Гаврилович отказался от шофера для своей «летучки», сам машину водит, а «за баранку» ничего не получает, и что если бы прикинуть в масштабах государства, где можно уплотнить кое-какие обязанности, то получились бы миллиарды рублей. Но главное не перспективы материальных накоплений, а то, что Прокопий Гаврилович показал пример совестью. Мы теперь хоть поняли, на каких путях наступать на рубль. Но товарищи ждут от Смертина еще большей отдачи. Так пусть размышляет, как дальше жить.

Я подумал, что из этого вот разговора видно, в каком качестве выступает у нас общество перед человеком. Экзистенциалисты говорят, что общество — это нечто безликое, стремящееся вторгнуться в жизнь человека, чтобы разрушить его, сделать песчинкой в море людей, говорят, что человек, как песчинка, гонимая чуждой силой, предоставлен сам себе. Но разве эти люди в зале нечто безликое и разве они хотят разрушить личность? Очевидно, все зависит от целей, которые ставит общество. В данном случае цель гуманна: они стараются наладить жизнь

каждого человека изнутри. И, в общем, то, что здесь происходит, можно определить как воспитание сердца.

Мои размышления были прерваны ударом карандаша о графин. Председательствующий объявил, что следующий самоотчет через месяц — секретаря парткома Камнева и тракториста Матуса.

...На улице была ясная луна и летучие белые облака, похожие в темно-синем небе на запоздавших лебедей. По земле быстро бежали их тени. Они двигались подобно живым существам, уходили за село и там терялись. Я с Копейкиным выбрался из толлы у крыльца на середину дороги, где-то чуть сзади шел Камнев.

— Ну вот после собрания мне понятно, что такое Покровка, — сказал я, — и понятно, что она потеряла! Она потеряла возможность совершенствования человека. Мы все имеем право на особицу, но не на обособленность. Поскольку человек живет в обществе, то, во-первых, подотчетен ему, а во-вторых, он должен соизмерять свои запросы с интересами коллектива. А желание этой самой обособленности, между прочим, подвело кое-кого и из ваших рязановских!

— Да ясно! — ответил Копейкин.

— А я, признаться, сомневался и Анатолию Александровичу говорил об этом. — Я оглянулся через плечо, Камнев приблизился к нам. — Сомневался в правомерности такого публичного отчета. Очевидно, как горожанин прежде всего сомневался. Ведь деревня — это жизнь на миру, и такие самоотчеты сельским человеком воспринимаются совершенно естественно. Самоотчет как критическая оценка личности обществом и самокритическая оценка личностью самого себя. А что? Думаю, в этом повсюду будет необходимость, когда главной потребностью людей станет потребность жить по законам совести. Вы понимаете меня? Здоровая совесть — это прежде всего совесть, которая не дает тебе покоя, ибо нельзя быть счастливым в кругу людей, среди которых далеко не все обладают счастьем, душевным спокойствием.

— Что ж тут непонятного? — сказал Копейкин.

Мы остановились возле дома Камнева. Надвинулась большая тень, перехватившая улицы с домами и огородами, и понеслась, словно бы играя с белыми трубами на крышах и пугалами на огородах. Стукнула где-то калитка, другая, загорелся под теменью кустов возле чьего-то дома огонек — кто-то, видимо, решил покурить перед сном на скамеечке. Летучие облака, собрание и разговоры о нем и последние перед сном штрихи деревенского быта оставляли во мне впечатление прекрасного потока жизни.

— Ну, до завтра, — сказал Камнев.

— До завтра, — ответил Копейкин.

Мы потихонечку побрели с Василием Ефимовичем к его дому.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СБОРНЫЙ ПУНКТ СТОЛИЦЫ

«**Д**ве недели тому назад мы отмечали 25-летие первой социально-революционной демонстрации в России 6 декабря 1876 г. на Казанской площади в Петербурге и указывали на громадный подъем демонстрационного движения в начале истекающего года»¹, — писал Ленин в «Искре» 20 декабря 1901 года.

«Две недели тому назад...» Ленин имеет в виду статью «Юбилей Казанской площади в С.-Петербурге», напечатанную в «Искре» 6 декабря 1901 года. В ней рассказывалось о демонстрациях на площади у Казанского собора, ставшей, как писала газета, «обще-признанным революционным сборным пунктом столицы». А начиналась статья с упоминания об организованной рабочими и студентами первой политической демонстрации 6 декабря 1876 года в знак протеста против произвола самодержавия. Один из «бунтарей» — Г. В. Плеханов произнес тогда страстную речь, рабочий Яков Потапов развернул красный флаг. Полиция напала на демонстрантов, и произошла схватка. Несколько арестованных были осуждены на каторжные работы сроком до пятнадцати лет, другие сосланы в Сибирь и заключены в тюрьмы.

И вот на площади соборной
В столице русского царя
«Земли и воли» флаг народный
Взвился шестого декабря,—

пелось в революционной песне того времени «Красное знамя».

Еще много раз после 6 декабря 1876 года Казанская площадь видела демонстрантов — рабочих, интеллигентов, учащихся.

«Громадное впечатление», как писала «Искра», произвела повсюду состоявшаяся на Казанской площади 4 марта 1897 года Ветровская демонстрация (в знак протеста против произвола царских властей, сгубивших в Петропавловской крепости слушательницу Бестужевских курсов Марию Ветрову).

«Студенты и студентки, участвовавшие в «Ветровской» демонстрации, — писала «Искра», — пострадали очень легко. Правительство Николая II еще не сочло возможным бросить вызов солидному «обществу», стоявшему решительно на стороне протестовавших. С тем большей поспешностью оно бросилось наказывать невольную попуштительницу стольких «беспорядков» — соборную площадь. Градоначальник внес в думу «предложение» (читай — приказ) разбить на революционной площади сад, который, правда, должен был исказить своеобразную красоту этой площади (самодержавию не нужны широкие перспективы!), но зато, предполагалось, насажденные мощной рукой помпадура Клейгельса деревья загромят движение будущих демонстрантов.

Но — гнилые деревья реакции растут медленнее, чем молодые побеги революционного движения. Прошло ровно четыре года, и 4 марта 1901 г. многие тысячи демонст-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 369.

рантов явились на Казанскую площадь протестовать перед заранее собранным царевым воинством против нового проявления произвола...»².

Это была одна из тех демонстраций, которые имел в виду Ленин, когда писал в «Искре», что в начале 1901 года наблюдался «громадный подъем демонстрационного движения».

Демонстрацию 4 марта 1901 года царские опричники превратили в жестокое побоище. Нагайками, шашками, кулаками расвирепевшие казаки и полицейские разгоняли студентов и «посторонних лиц» (так в документах охраны именовались участвовавшие в демонстрации рабочие и интеллигенты).

Два красноречивых документа, выявленных недавно в ленинградских архивах, проливают дополнительный свет на события, связанные с этой демонстрацией. Перед нами письмо, с которым 9 марта 1901 года к министру внутренних дел обратились руководители комитета Союза взаимопомощи русских писателей при «Русском литературном обществе». Вот выдержка из этого письма:

«Отдельные представители литературной профессии были и свидетелями событий, происходивших 4 марта на площади Казанского собора, и отчасти лицами, от них потерпевшими. Как видно из объяснений, сообщенных Комитету Союза, на их глазах казаки, окружив безоружную толпу и таким образом лишив ее возможности разойтись, врезались в нее, топтали ее лошадьми и увечили нагайками, а полицейские вырывали из толпы отдельных лиц и набрасывались по нескольку человек на одного, нещадно били их кулаками и шашками. На их глазах избитые и совершенно обессиленные женщины, сами выходившие к полиции, подхватывались ею и тут же предавались дальнейшему избиению. Несколько членов Союза взаимопомощи русских писателей, не принадлежавших к волновавшейся толпе, подверглись таким же насилиям. Так, Н. Ф. Анненский, всеми уважаемый деятель литературы, человек уже очень почтенных лет, обращавшийся к полицейскому офицеру с просьбой удержать подчиненных от нанесения побоев безоружным и беззащитным людям и в то же время желавший уговорить ближайшую к нему часть толпы успокоиться, получил от городского сильный удар кулаком по лицу около глаза и был повергнут на землю. Точно так же и при таких же условиях подверглись насилию и несколько других писателей. Известие об этом избиении наполнило негодованием всех, в ком живо чувство человеческого достоинства...»³.

Далее в письме выражается мысль о том, что необходимо дать возможность литераторам и публицистам открыто обсуждать в печати важнейшие общественные проблемы, и в частности «вопрос о внутреннем устройстве и внешнем положении студенчества».

12 марта 1901 года петербургский градоначальник генерал-лейтенант Клейгельс писал им: «По распоряжению господина министра внутренних дел, изложенному в предложении от 12 сего марта за № 2814, Союз взаимопомощи русских писателей закрыт, о чем объявляю Комитету для сведения и соответствующих распоряжений»⁴.

А днем раньше, 11 марта 1901 года, воинствующий градоначальник, раздосадованный тем, что его «гениальная» мысль о «древозаслоне» успеха не имела, издал секретное распоряжение, определявшее другие методы борьбы с крамоллой на Казанской площади. Вот некоторые пункты этого полицейского документа:

«...п. 4. Как скоро будет замечено движение рабочих в город в большем, чем обыкновенно, числе, остановить движение пригородных конок...

п. 5. Осмотреть заранее Казанский собор, озаботившись устранением всех предметов, могущих послужить оружием;

п. 6. Из сквера у Казанского собора убрать все скамейки и закрыть его для публики;

п. 7. Колоннаду собора занять нарядом полиции, совершенно не допустивши туда публику;

² «Искра», 6 декабря 1901 года.

³ Ленинградский государственный исторический архив (ЛГИА), ф. 113, оп. 1, д. 1208, лл. 206, 206 об.

⁴ Там же, л. 207.

п. 8. Всех лиц, обращающих на себя внимание на улицах, направляющихся к центру, задерживать и осматривать...»⁵.

Но даже и такая сверхбдительность градоначальника не помогла, и еще много революционных схваток видела Казанская площадь — «общепризнанный революционный сборный пункт столицы».

В той статье «Искры», где приведены эти знаменательные слова о площади у Казанского собора, отмечена многозначительная деталь: в числе тех, кого выслали из Петербурга за участие в демонстрации 4 марта 1901 года, оказалась одна курсистка, отец которой был сослан на каторгу за участие в первой российской политической демонстрации 6 декабря 1876 года. В связи с этим фактом «Искра» писала: «Так второе поколение протестующих проходит уже мимо могучих колонн Казанского собора... Суждено ли этому поколению сделать то, чего не могли сделать его отцы?»

История показала, что да, было суждено, и оно сделало это в Октябре 1917 года.

И. БРАЙНИН.

⁵ Центральный государственный исторический архив (ЦГИА), ф. 1045, оп. 1, д. 45, л. 12.



ПУБЛИЦИСТИКА

К 70-летию революции 1905—1907 годов

А. КОСТИН,

доктор исторических наук



ПЛАМЯ РЕВОЛЮЦИИ НАД РОССИЕЙ

Революции по праву называют «локомотивами истории». В этом классическом определении, впервые сформулированном К. Марксом, заключена самая существенная черта революционных свершений, подчеркнута их выдающаяся роль в закономерном процессе общественного развития.

Марксизм-ленинизм исходит из того, что революции не возникают по воле случая и не делаются по заказу. Будучи следствием крайнего обострения глубочайших внутренних противоречий эксплуататорского общества, они, подобно весенним грозовым разрядам, внезапно обрушиваются на головы господствующих классов, очищая социальную атмосферу от застоя и разложения. Именно поэтому каждая подлинно народная революция всегда приносит людям труда радость обновления жизни, служит праздником для всех угнетенных и эксплуатируемых.

Первая русская революция, происходившая семьдесят лет назад под руководством рабочего класса и его партии, не представляла в этом отношении какого-либо исключения. Напротив, она дала новое, более яркое подтверждение великой правоты марксистско-ленинского учения о роли народных масс как главной творческой силы революционного действия. «Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков,— писал В. И. Ленин летом 1905 года,— как во время революции. В такие времена народ способен на чудеса...»¹.

Буржуазно-демократическая революция 1905—1907 годов в России не была изолирована от общего хода мировых событий. Восприняв богатейший опыт и боевые традиции всего предшествующего освободительного движения, эта революция явилась неразрывной составной частью не только русской, но и всемирной истории.

Первыми среди марксистов, кто открыл новый маршрут мирового революционного процесса, были К. Маркс и Ф. Энгельс. Во второй половине XIX столетия, особенно с наступлением полосы революционного затишья на Западе, они все чаще обращали свой мысленный взор на восток, к России. На основе изучения многочисленных источников и литературы об экономическом и политическом положении огромного государства на востоке Европы родоначальники научного коммунизма пришли к выводу, что пореформенная Россия из оплота мировой реакции шаг за шагом превращалась в передовой отряд революционного движения в Европе. «Маркс и Энгельс,— отмечал Владимир Ильич,— были полны самой радужной веры в русскую революцию и в ее могучее всемирное значение»².

ПРЕДПОСЫЛКИ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЕВОЛЮЦИИ

Новый, XX век официальная Россия встречала в обстановке затаенной безнадежности и тревожных ожиданий. И чем глубже бацилла сомнений проникала в сознание «блуждителей» старого порядка, тем больше сгущался туман казенного оптимизма,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 103.

² Там же, т. 15, стр. 247.

распространяемый трубадурами самодержавия. «Новый век,— вещала суворинская газета,— надо начинать в бодром настроении. Век минувший дает России право с доверием смотреть в глаза неведомому будущему»².

Между тем жизнь, реальная действительность не сулила никаких надежд одряхлевшему самодержавно-помещичьему строю. Царская монархия, воплотившая самые худшие черты средневекового гнета и эксплуатации, доживала свои последние, относительно мирные дни.

Страна находилась в преддверии великих революционных бурь и социальных потрясений.

Первая русская революция 1905—1907 годов была подготовлена всем ходом социально-экономического и политического развития страны. На рубеже XIX и XX веков процесс перемещения мирового революционного центра в Россию, начавшийся после падения Парижской Коммуны, гигантски ускорился. Этому способствовали возросшие противоречия между назревшими потребностями общественного прогресса и отсталыми полуфеодальными отношениями, унаследованными от эпохи крепостного права. По характеристике В. И. Ленина, 1861 год породил 1905-й.

Россия, как известно, позднее Западной Европы вступила на путь капиталистического развития. Но этот путь ей предстояло пройти гораздо быстрее, чем странам Запада. Сам переход от феодализма к капитализму здесь был круче, смелее, решительнее. Достаточно напомнить, что из четырех с лишним тысяч крестьянских выступлений, зафиксированных официальной статистикой в первой половине прошлого столетия, более двух тысяч падает на 50-е годы. Бурный рост антипомещичьей борьбы в деревне явился тем главным фактором, который заставил царя Александра II «освободить» крестьян сверху, не дожидаясь, пока они освободят себя снизу, то есть при помощи революции.

Призрак революции возник перед тронном русских царей задолго до отмены крепостного права. Еще в 1825 году знамя освободительной борьбы против самодержавно-помещичьего строя подняли декабристы, выходцы из дворянской среды. На смену декабристам, потерпевшим поражение прежде всего в силу своей изолированности от народа, пришло второе поколение революционеров, которое ближе стояло к широким массам поработанного крестьянства, полнее выражало его нужды и чаяния. Падение крепостничества вызвало, по словам В. И. Ленина, появление разночинца как главного деятеля массового демократического движения. «Господствующим направлением, соответствующим точке зрения разночинца, стало народничество»⁴.

Революционные народники, воодушевленные освободительными идеями Герцена и Чернышевского, вели упорную и самоотверженную борьбу за освобождение крестьянской России от средневековых пут крепостников-помещиков. Их теоретические взгляды и программно-тактические установки, несмотря на формально неверную, утопическую оболочку, объективно играли прогрессивную роль: они были направлены на коренной пересмотр результатов реформы 1861 года, на ликвидацию самодержавно-помещичьего строя, на победу крестьянской революции.

В. И. Ленину принадлежит четкая и глубокая характеристика трех исторических этапов революционно-освободительного движения в России: дворянского, разночинского и пролетарского. Давая всестороннюю оценку классового содержания каждого из этих периодов, он вместе с тем подчеркивал их тесные преемственные связи. Владимир Ильич с гордостью писал о том, что среда великорусов «выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свержать попа и помещика»⁵.

Само собой понятно, что так называемая крестьянская реформа 1861 года, осуществленная дворянством, царем в интересах своего класса, не могла разрешить назревших задач буржуазно-демократического переворота. Сохранив за помещиками не только политическую власть, но и громадные земельные владения, реформа привела

² «Новое время», 1 (14) января 1901 года.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 25, стр. 94.

⁵ Там же. т. 26, стр. 107.

к дальнейшему закабалению крестьян. Лишенные значительной части своих прежних наделов и изгнанные на худшие земли, они должны были платить за них непомерно высокий выкуп царской казне. Крестьяне России, ограбленные помещиками, становились, по определению К. Маркса, «крепостными правительства»⁶.

Однако при всей своей ограниченности и противоречивости реформа 1861 года была, как указывал В. И. Ленин, неизбежным шагом по пути превращения феодально-крепостнической России в буржуазную монархию. Она сняла некоторые весьма существенные преграды, тормозившие развитие производительных сил, способствовала «расчистке почвы» для вступления страны на путь капитализма. В результате за четверть века — с 1866 по 1890 год — количество фабрик и заводов увеличилось более чем в два раза. Быстро росла численность рабочего класса. Если в 1865 году на предприятиях крупной промышленности насчитывалось 674 тысячи рабочих, то в 1890 году их было уже 1 180 тысяч. К 1905 году армия промышленного пролетариата выросла до трех миллионов человек. При этом на крупных фабриках и заводах (с численностью свыше 100 человек) было сосредоточено три четверти рабочих. По темпам роста и концентрации промышленного производства Россия вышла на первое место в мире, опередив такие ведущие страны капиталистического Запада, как США и Германия.

В канун первой русской революции мировой капитализм достиг поворотной точки своего развития. Мир вступил в эпоху империализма, выдвинувшую пролетариат в центр всего освободительного движения. Революционные события 1905—1907 годов развертывались в условиях «высокого развития капитализма во всем мире и сравнительно высокого в России»⁷.

Окончательное утверждение капиталистических отношений в нашей стране совпало по времени с наступлением империализма. Это произошло на самой грани двух веков, когда наше хозяйственное развитие испытывало громадные трудности, вызванные противоречиями монополистической стадии капитализма. Они характеризовались следующими особенностями: во-первых, быстрым развитием крупных капиталистических монополий, тесно переплетавшихся с многочисленными пережитками крепостничества; во-вторых, значительным усилением экономической зависимости страны от иностранного капитала; в-третьих, мировым экономическим кризисом 1901—1903 годов, который нанес серьезный урон ведущим отраслям молодой российской промышленности, вызвав хаос и безработицу. Положение усугублялось реакционной политикой царского самодержавия, пытавшегося выйти из тупика за счет интересов угнетенных классов, всех трудящихся.

Вследствие этих причин социальные конфликты новой эпохи в России проявлялись с особой силой. Тяжелые формы экономического гнета дополнялись полным политическим бесправием народных масс. Самодержавно-помещичий строй, разлагавшийся под давлением капитализма, всячески тормозил общественный прогресс. Страна превратилась в главный узел всех противоречий империализма, которые могла разрешить только подлинно народная революция.

В отличие от всех буржуазных революций доимпериалистической эпохи назревавшая в России революция 1905—1907 годов была революцией нового типа. Она происходила при более высоком уровне общественного производства и в более развитых условиях классовой борьбы. В. И. Ленин ставил ее выше всех революций предшествующего периода и по масштабности стоявших задач и по остроте общественных противоречий. «Антагонизм пролетариата и буржуазии,— писал он,— у нас гораздо глубже, чем в 1789, 1848, 1871 гг., поэтому буржуазия будет больше бояться пролетарской революции и скорее бросится в объятия реакции»⁸. Эта революция, подчеркивал Владимир Ильич, являясь буржуазно-демократической по своему социальному содержанию, вместе с тем была пролетарской по руководящей роли в ней рабочего класса, а также по средствам и методам борьбы.

История свидетельствует, что во главе западноевропейских буржуазных революций стояла буржуазия. Пролетариат не мог тогда играть самостоятельной политической роли: он был идейно слаб и неорганизован. Крестьянство же, являвшееся основной дви-

⁶ Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. XII, стр. 109—110.

⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 20.

⁸ Там же, т. 9, стр. 381.

жущей силой революции, выступало в качестве союзника буржуазии. В этом сказалась классовая ограниченность крестьянства, его неспособность к самостоятельной политической борьбе.

Ко времени первой буржуазно-демократической революции эпохи империализма расстановка классовых сил на политической арене претерпела коренные изменения. Теперь на революционном поприще боролись не два главных лагеря — феодальный и буржуазный, как это было в эпоху домонополистического капитализма, а три — консервативно-правительственный, либерально-буржуазный и революционно-демократический во главе с пролетариатом.

Исторический опыт показывает, что русская либеральная буржуазия, имевшая тесные экономические и политические связи с самодержавием, больше боялась размаха революции, чем победы реакции. Она шла на любую сделку с реакционным режимом ради ослабления революционных сил. Другое дело пролетариат: он страдал как от капитализма, так и от его недостаточного развития, от гнета абсолютизма. Сильно возросший численно и окрепший политически, российский пролетариат был главной движущей силой революции, способной повести за собой самые широкие демократические слои общества. В ходе революции, подчеркивал В. И. Ленин, полностью «обнаружилась руководящая роль пролетариата. Обнаружилось и то, что его сила в историческом движении неизмеримо более, чем его доля в общей массе населения»⁹.

Рабочий класс своими активными действиями определял весь ход демократической революции в России. Он был инициатором и главным участником всех крупных стачечных и баррикадных боев против царизма. Пролетариат наложил на движение глубокую печать своих методов борьбы и своих требований. Он боролся за полную победу революции, которая должна была завершиться установлением демократической диктатуры рабочих и крестьян. Гегемония пролетариата явилась решающим признаком революции 1905—1907 годов, в корне отличавшим ее от всех буржуазных и буржуазно-демократических революций прошлого.

Ближайшим союзником рабочего класса в первой русской революции выступило крестьянство, которое составляло около трех четвертей населения страны и испытывало на себе всю тяжесть полукрепостнических отношений. Именно аграрно-крестьянский вопрос, оставшийся нерешенным после отмены крепостного права, стал гвоздем революции 1905—1907 годов, ее экономической основой и национальной особенностью. Недаром В. И. Ленин называл эту революцию крестьянской.

Пореформенные крестьяне задыхались от малоземелья. О бедственном положении крестьянских масс можно судить по данным о земельном фонде европейской России, который распределялся следующим образом: 13 тысяч помещиков владели 70 миллионами десятин земли, а у 10,5 миллиона крестьянских дворов имелось всего лишь 75 миллионов десятин. Иначе говоря, в среднем на каждое помещичье владение приходилось свыше 2330 десятин, а на каждую крестьянскую семью — около 7 десятин, причем самой худшей земли. Отсюда не мудрено, что крестьяне, согнанные с хороших земель на «песочки», владели жалкое существование. Они быстро разорялись и покидали деревни в поисках заработка.

Широкое крестьянское движение «за землю и волю» усиливалось борьбой угнетенных масс за свое национальное освобождение. Трудящиеся Украины, Белоруссии, Прибалтики, Закавказья, Польши, Финляндии испытывали на себе двойной гнет — «своих» и «чужих» эксплуататоров. Они принимали самое активное участие в разгоревшемся освободительном движении против царизма и других остатков крепостничества, ибо грядущая революция ставила своей задачей завоевание демократических свобод, включая независимость и полное равноправие для всех угнетавшихся царизмом наций и народностей.

Революционный пролетариат России высоко поднял знамя национального освобождения трудящихся. Большевики, руководствуясь партийной программой, вели систематическую борьбу против разжигания национальной розни между народами, за воспитание и сплочение масс на принципах пролетарского интернационализма. 1905 год явился крупной вехой на пути становления национально-освободительного движения как одного из мощных потоков общероссийского революционного фронта борьбы против царизма и капитализма.

⁹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 13.

Гегемония пролетариата в революции 1905—1907 годов, обусловленная объективными причинами новой исторической эпохи, не могла возникнуть сама по себе, автоматически. Она обеспечивалась наличием субъективного фактора: высокой степенью классовой сознательности и организованности пролетариата, руководимого своим боевым авангардом — марксистско-ленинской партией. Сложившаяся к тому времени расстановка классовых сил на революционном поприще должна была лечь в основу научной разработки стратегии и тактики пролетарской партии, определить содержание ее политического руководства движением масс. Вместе с тем непонимание или сознательное игнорирование происшедших изменений в объективных условиях революционно-освободительного процесса могло привести и действительно привело (как это случилось с меньшевиками и их сторонниками из II Интернационала) к неверной, оппортунистической политике, противоречащей коренным интересам рабочего класса и его союзников.

Важнейшая особенность первой русской революции заключалась в том, что она проходила под руководством пролетарской партии нового типа, созданной и руководимой В. И. Лениным. С самого своего основания наша партия выступала как передовой отряд рабочего класса в его борьбе за социальное и национальное освобождение трудящихся. Нарастание революционного подъема в стране, явно обозначившееся уже в 1901—1902 годах, находилось в центре внимания партийных организаций и освещалось идеями ленинской «Искры». В программе партии, принятой на II съезде РСДРП, наряду с требованием диктатуры пролетариата четко формулировалась ближайшая цель пролетариата — свержение царского самодержавия и установление демократической республики.

Ленинская партия большевиков, несмотря на громадные трудности, стоявшие на пути ее формирования, оказалась более подготовленной к революции, чем партии мелкой и либеральной буржуазии. Она раньше их организовалась и располагала научной стратегией и тактикой борьбы в условиях демократического переворота. Особое значение имела ленинская аграрная программа, выражавшая самые насущные интересы крестьянских масс.

Выработанный В. И. Лениным стратегический план большевиков на демократическом этапе революции включал в себя богатый арсенал политических средств и методов действия — от вооруженного восстания и бойкота Думы до тактики «левого блока» и использования мирных, парламентских форм борьбы. «В годы революции, — говорится в постановлении ЦК КПСС, — ярко проявилась роль В. И. Ленина как величайшего теоретика марксизма и вождя трудящихся. Ленин обосновал идею гегемонии пролетариата в народной революции, показал, что чем шире и глубже революционное движение масс, тем больше возрастает роль и значение пролетарской партии, ее идейно-политической и организаторской деятельности»¹⁰. Партия высоко подняла знамя революции: в последовательной борьбе против оппортунизма и ревизионизма она творчески развивала марксистское учение, соединяя его с массовым движением пролетариата, всех трудящихся.

ОТ 9 ЯНВАРЯ К ПЕРВОМУ СОВЕТУ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

Первые годы XX века, отягощенные мировым экономическим кризисом, таили в себе заряд громадной революционной силы. Стремительный рост массового рабочего движения приближал наступление революции. Последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, послужили печальные вести с фронтов русско-японской войны, посредством которой царское правительство надеялось предотвратить развитие революционных событий. Но военная авантюра обернулась против царизма.

В статье «Падение Порт-Артура», опубликованной в газете «Вперед», В. И. Ленин указывал, что капитуляция крупной военной крепости перед неприятелем означала поражение всей системы самодержавно-помещичьего строя. Он писал: «Самодержавие ослаблено. В революцию начинают верить самые неверующие. Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции»¹¹.

Ленинская статья «Падение Порт-Артура» была опубликована 1(14) января 1905 го-

¹⁰ Постановление ЦК КПСС «О 70-летию революции 1905—1907 годов в России». «Правда», 9 января 1975 года.

¹¹ В. И. Ленин Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 159.

да. А через восемь дней в Петербурге развернулись события, которые подняли пролетарские массы на революционный штурм царского самодержавия.

Это произошло 9(22) января, когда всеобщая стачка рабочих Петербурга грозила выйти за рамки узкоэкономических требований и стать политической. Участники забастовки, активно обсуждавшие и одобрявшие все пункты пресловутой петиции «царю-батюшке», не знали, что за строками этого документа крылась хитро продуманная и беспрецедентная по лицемерию полицейская провокация. Слепая вера значительной части рабочих в добродетель «помазанника божия» на земле позволила попу Гапону и его сообщникам (конечно, не без ведома охранки), организовать невиданное в истории мирное шествие рабочих столицы к Зимнему дворцу, чтобы публично просить царя о помощи¹². К полудню многочисленные колонны демонстрантов (их было свыше 150 тысяч) стекались к сборным пунктам и чинно, не спеша двигались из рабочих окраин к центру города. Рабочие шли целыми семьями, несли портреты царя и хоругви, пели молитвы. Они верили, что царь, как обещал им поп Гапон, внимательно выслушает их справедливые просьбы и спасет от беспросветной нужды, голода, нищеты и политического бесправия.

Но царь жестоко расправился с безоружными рабочими. Он заранее отдал приказ о расстреле мирной демонстрации. Путь рабочим потокам к Зимнему был повсюду отрезан войсками и отрядами жандармерии, в упор расстреливавшими метущиеся толпы демонстрантов. Многие улицы и площади Петербурга омылись кровью рабочих. Более тысячи человек пали мертвыми, несколько тысяч было ранено.

Чудовищная расправа царизма с петербургскими рабочими явилась поворотным пунктом в развитии революционного кризиса. В этот кровавый день вместе с крахом реакционных надежд придворной клики дома Романовых приостановить развитие революции были развеяны монархические иллюзии отсталой рабочей массы. Теперь тысячи и десятки тысяч рабочих вместо молитв и униженных просьб, обращенных к «царю-батюшке», требовали свержения самодержавия. Преподанный царскими войсками жестокий урок гражданской войны поднял рабочих на вооруженную борьбу. К вечеру 9 января на Васильевском острове столицы появились первые баррикады. На следующий день в городе, осажденном войсками, продолжались бои, происходили столкновения рабочих с казаками и полицией.

Анализируя петербургские события, В. И. Ленин подчеркивал их громадное историческое значение. В самом деле, за один только день политическое самосознание рабочего класса шагнуло так далеко вперед, как бы оно не могло шагнуть за месяцы и даже годы обычной жизни. Эти события, по определению Владимира Ильича, знаменовали собой начало первой русской революции.

Буржуазные историографы до сих пор теряются в догадках: что было бы, если бы русский царь не расстрелял мирную демонстрацию рабочих Петербурга? Некоторые из них склоняются к тому мнению, что не случись событий 9 января, не было бы и революции. Подобный «вывод» заслуживает лишь иронической улыбки. Ведь каждому непредвзятому исследователю хорошо известно, что в начале XX века Россия переживала глубокий общенациональный кризис, который мог перейти в революцию при самом незначительном поводе, не говоря уж о январской трагедии 1905 года.

Спору нет, в тот роковой день, названный народом Кровавым воскресеньем, рабочие Петербурга заплатили слишком высокую цену за то, чтобы поднять массы на откры-

¹² Следует сказать, что мирному походу к Зимнему предшествовало открытое обсуждение петиции во всех одиннадцати отделах гапоновского Общества русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга. В петиции наряду с экономическими требованиями для рабочих предусматривались меры против бедности всего народа и его политического бесправия.

Большевики, выступившие против авантюристической затеи Гапона, разъясняли рабочим, что право на человеческие условия существования завоевывается не молитвами, а революционной борьбой с самодержавием. Но они не могли предотвратить мирного шествия рабочих к Зимнему дворцу. Наивная вера значительной части рабочих в «добродетель царя-батюшки» взяла верх над разумными предостережениями. И все же большевики не могли остаться в стороне от событий. По их предложению в петицию был включен ряд политических требований, в том числе введение восьмичасового рабочего дня, предоставление свободы слова, собраний, печати и некоторые другие пункты партийной программы-минимума. 9 января большевики находились в рядах демонстрантов, потеряв несколько человек убитыми и ранеными.

тую революционную борьбу за свержение самодержавия. Однако жертвы не пропали даром: они навсегда похоронили миф о «добром царе-батюшке» и зажгли негасимое пламя народной революции.

Страшная весть о событиях 9 января в Петербурге молниеносно распространилась по всей стране. Первыми знамя солидарности с борющимся пролетариатом столицы подняли рабочие Москвы. 10 января по призыву Московского комитета РСДРП забастовки начались на заводах Бромлея, Вейхельта, в типографии Сытина и на других предприятиях. Работа была приостановлена на 140 фабриках и заводах с общим числом рабочих свыше 50 тысяч. Забастовщики осуждали царских палачей, требовали политических свобод и улучшения своего экономического положения. Во второй российской столице, как и в Петербурге, большевики шли в авангарде развертывающегося рабочего движения, держа курс на сочетание стачек и демонстраций с вооруженной борьбой.

В январе стачками и демонстрациями пролетарской солидарности были охвачены крупные промышленные города России, в том числе Иваново-Вознесенск, Рига, Варшава, Ревель и Гельсингфорс. Из центральных и северо-западных губерний рабочее движение быстро распространялось на Украину, Кавказ, Урал и Поволжье. Всего в течение первого месяца революции бастовало 444 тысячи рабочих, что в 10 раз превысило среднегодовой уровень стачечного движения за предыдущее десятилетие.

Февраль и март 1905 года принесли некоторое снижение стачечной волны пролетариата. За 60 дней произошло около 370 выступлений. Но эта кратковременная пауза сменилась новым крутым подъемом рабочего движения, которое оказывало все более глубокое влияние на развитие антиправительственной и антипомещичьей борьбы широких народных масс.

1 мая в 1905 году пролетарская Россия встречала в обстановке повышенной политической активности. И хотя царские власти по-прежнему стремились сорвать празднование дня международной солидарности трудящихся, митинги и демонстрации состоялись во многих городах и рабочих поселках страны. Большевики призывали рабочих выйти на улицы под лозунгами революции, готовиться к вооруженному свержению самодержавия, требовать введения восьмичасового рабочего дня и установления демократической республики. «Борьба кипит теперь по всей России,— читаем мы в первоймайской листовке, написанной В. И. Лениным,— бастуют рабочие, требуя свободы и лучшей жизни, льется кровь в Риге и в Польше, на Волге и на Юге, поднимаются повсюду крестьяне. Борьба за свободу становится общенародной борьбой»¹³.

Бурный рост революционного движения требовал усиления партийного руководства массами, направления их стихийного подъема в организованное русло. В этих условиях на пролетарскую партию ложилась особая ответственность за судьбы революции, за ее победу и поражение. Но чем выше поднимались волны революционного прилива, тем больше проявлялись две противоположные политические линии внутри РСДРП — большевистская и меньшевистская.

Весной 1905 года, в разгар революции, в Лондоне собрался III съезд РСДРП, проходивший под руководством В. И. Ленина. По составу делегатов и по содержанию принятых решений он был чисто большевистским съездом. Меньшевики, отклонившие предложение большевиков об участии в его работе, решили созвать свой отдельный съезд в Женеве. Ввиду того что делегатов у меньшевиков оказалось очень мало, они вынуждены были назвать свой съезд конференцией. Но суть дела от этого не менялась: решения конференции являлись обязательными для всех партийных организаций, придерживавшихся меньшевистской линии. Два съезда, две партии — так характеризовал положение В. И. Ленин.

Раскол в РСДРП на две противоположные партии получил, таким образом, свое завершение. И большевики и меньшевики обсуждали одни и те же вопросы: об укреплении единства пролетарской партии и о ее роли в революции. Однако решения, принятые по этим вопросам, оказались совершенно различными. В то время как на III, большевистском съезде были подтверждены и развиты организационные принципы пролетарской партии нового типа и определена самостоятельная политическая линия рабочего

¹³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 83.

класса в демократической революции, меньшевистская конференция фактически отказалась от партийного Устава, принятого на II съезде РСДРП, и ориентировала пролетариат на роль пособника либеральной буржуазии в общедемократической борьбе против самодержавия. В решениях меньшевистской конференции нашла свое выражение оппортунистическая политика в рабочем движении, объективно направленная на поражение народной революции.

Ленинская партия большевиков была единственной политической партией в стране, которая держала твердый курс на успешное развитие революции и доведение ее до победного конца. В исторических решениях III съезда РСДРП наряду с четко сформулированными мерами, направленными на организационное укрепление партии, были разработаны ее революционная стратегия и тактика. Тем самым съезд оказал громадное воздействие на дальнейшее развитие первой русской революции.

Летние месяцы 1905 года ознаменовались новыми крупными революционными событиями. Вслед за майскими стачками и демонстрациями начались серьезные выступления в частях царской армии и флота. В июне вспыхнуло восстание на Черноморском флоте. Революционные матросы броненосца «Потемкин», разоружив реакционных офицеров, подняли красный флаг на корабле и бросили якорь вблизи бастующей Одессы. Не встретив поддержки со стороны других военных кораблей, потемкинцы были вынуждены взять курс к берегам Румынии и там сложить оружие. Однако мятежный корабль навсегда сохранил за собой славу непобежденной территории революции. Вместе с тем героический подвиг матросов «Потемкина» вызвал новый прилив революционной волны. Вскоре начались восстания в Кронштадте и Владивостоке, произошли вооруженные демонстрации в армейских частях ряда гарнизонов. Несколько позднее ряды восставших пополнились моряками Севастополя. Военная опора самодержавия заколебалась.

Революционные стачки втягивали в свою орбиту все более широкие слои народа. Среди летних выступлений пролетариата особенно выделялись стачки текстильщиков Лодзи и Иваново-Вознесенска. Они характеризовались широким размахом, стойкостью и наступательным порывом бастующих. Рабочие этих городов показали образец революционного энтузиазма и мужества в борьбе с царизмом.

Всеобщая стачка рабочих Лодзи явилась продолжением майских демонстраций трудящихся. 20 и 21 июня в забастовке протеста против расстрела полицией демонстрантов приняли участие до 150 тысяч человек. Стачка носила сугубо политический характер; ее участники требовали свержения самодержавия и установления демократических свобод. На улицах города были выстроены баррикады и развернулись баррикадные бои. Это было первое вооруженное выступление пролетариата против царизма.

Не менее важное значение имела всеобщая стачка иваново-вознесенских рабочих. Начавшаяся 12 мая, она продолжалась свыше двух месяцев и вовлекла в движение многие десятки тысяч человек. Постоянные собрания на реке Талке, проходившие под руководством большевиков, стали школой политического воспитания рабочих масс. В ходе стачки ее участники создали свой революционный орган — Совет уполномоченных. Это был первый в стране общегородской Совет рабочих депутатов.

Иваново-Вознесенский Совет рабочих депутатов, в составе которого находилось до 50 процентов большевиков, действовал как подлинный защитник интересов борющегося пролетариата, его наставник и руководитель. Представители Совета заботились об охране порядка в городе, вели переговоры с фабрично-заводской администрацией, руководили ходом стачечного движения. А когда рабочие были вынуждены вернуться на фабрики и встать к станкам, Совет способствовал организации стачечного фонда для продолжения борьбы. Ни террор царских властей, ни мелкие уступки козьяев не могли сломить единой воли и стойкости рабочих. Выступления пролетариев Иваново-Вознесенска за свои права, в том числе за восьмичасовой рабочий день, не прекращались вплоть до нового подъема стачечной волны.

РЕВОЛЮЦИЯ ПОДЪИМАЕТСЯ К ЗЕНИТУ

Весенне-летнее наступление пролетариата вновь подтвердило громадную роль стачек как специфически пролетарского средства борьбы. Всего в 1905 году в них участвовало 5 миллионов человек. За годы революции Россия развила стачечное дви-

жение «до высоты, невиданной ни в одной из самых передовых, наиболее капиталистических стран мира»¹⁴.

Царское правительство с исключительной жестокостью расправлялось с бастующими рабочими. Улицы Петербурга, Лодзи, Иваново-Вознесенска, Риги, Москвы, Харькова и других городов были залиты кровью героев революции. Десятки тысяч активных участников стачек и демонстраций были арестованы и брошены в тюрьмы. Но остановить прибой массовой пролетарской борьбы было уже невозможно. В движение наряду с текстильщиками вступили металлисты, забастовали железнодорожники, шахтеры, печатники, рабочие пищевой, кожевенной и других отраслей промышленности. Выступления пролетариата центральной России были дружно поддержаны рабочими Украины, Польши, Прибалтики, Кавказа и других национальных районов.

С осени волны стачечного движения захлестнули не только крупные города и рабочие поселки, но и многие аграрные губернии страны. По неполным данным, только в ноябре имело место до 800 антипомещичьих выступлений в деревне. Миллионы крестьян, воодушевленные героическим примером рабочего класса, включились в активную борьбу против помещиков. В ряде губерний, например в Тверской, Саратовской, Тамбовской, Нижегородской, а также в Прибалтике действовали революционные крестьянские комитеты, ставившие целью захват помещичьих земель и осуществление демократических преобразований. Несмотря на разрозненность и стихийность крестьянских выступлений, союз сил пролетариата и крестьянства, как отмечал В. И. Ленин, характеризовал собой весь первый период русской революции.

В сентябре и особенно в октябре революция поднялась на новую, более высокую ступень. Осеннее наступление рабочего класса России активизировало самые широкие демократические слои общества. Под его влиянием крестьянин решительно выступил против средневековых форм эксплуатации и помещичьего гнета в деревне, студент — против полицейского произвола и казенной рутины в системе народного образования, житель национальных окраин — против царской политики великодержавного шовинизма, за свое национальное освобождение.

В авангарде массового стачечного движения шел московский пролетариат. Вспыхнувшая в сентябре стачка печатников города была дружно поддержана текстильщиками, железнодорожниками, рабочими других профессий. К ним присоединились мелкие служащие и студенты. В начале октября стачка в Москве стала всеобщей.

Во главе стачки стоял Московский Совет рабочих депутатов и МК РСДРП. Они направляли развернувшееся движение к политической цели — свержению самодержавия. «От спячки — к стачке, от стачки — к вооруженному восстанию, от восстания — к победе — таков наш путь, путь рабочего класса»¹⁵, — говорилось в одном из воззваний МК РСДРП.

В октябре быстро росла боевая пролетарская солидарность стачечников. На этот раз первыми в поддержку москвичей выступили рабочие столицы. В Петербурге, как и в Москве, забастовку начали печатники. Но вскоре она по примеру Москвы приняла всеобщий и сугубо политический характер. Забастовщики требовали установления восьмичасового рабочего дня, свержения самодержавия и завоевания демократической республики.

Октябрьская политическая стачка втягивала в свою орбиту город за городом, район за районом. Вслед за Москвой и Петербургом в стачечную борьбу вступили Харьков, Киев, Екатеринослав, Варшава, города Прибалтики, Поволжья, Кавказа, Урала и Сибири. Всего в октябрьских событиях приняли участие более двух миллионов рабочих и служащих. Стачка приобрела действительно всероссийский размах.

Могучий натиск революционных масс до основания потряс высокие устои самодержавия. Вся экономическая и политическая жизнь гигантской страны была приостановлена. Революция развернулась с поразительной быстротой. «Перед нами, — писал В. И. Ленин в газете «Пролетарий», — захватывающие сцены одной из величайших гражданских войн, войн за свободу, которые когда-либо переживало человечество...»¹⁶.

¹⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 87.

¹⁵ «1905. Большевицские прокламации и листовки по Москве и Московской губернии». М.—Л 1926, стр. 267.

¹⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 1.

Всероссийская политическая стачка значительно приблизила победу революции, заставив царское правительство пойти на некоторые уступки трудящимся. 17 октября 1905 года царь Николай II издал манифест, в котором обещал предоставить народу «незыблемые основы гражданской свободы»: действительную неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов. Вместо «законовещательной», то есть булыгинской Думы, было обещано создать «законодательную» Думу с участием в выборах всех классов и слоев населения. Тем самым ход революционных событий наглядно подтвердил правильность тактики бойкота булыгинской Думы, которую проводили большевики.

В противовес меньшевикам, скатившимся вслед за кадетами на позиции поддержки царского манифеста, В. И. Ленин, большевики рассматривали этот вынужденный шаг самодержавия как момент временного равновесия сил борющихся сторон. То было время, когда, по словам Владимира Ильича, царизм был уже не в силах подавить революцию, а революция еще была не в силах раздавить царизм. В этих условиях большевики призывали рабочих и крестьян усилить революционный натиск против колеблющегося самодержавия, перейти от массовых стачек и демонстраций к всенародному вооруженному восстанию.

Лозунг вооруженного восстания не был для большевиков абсолютным лозунгом, применимым к любой обстановке. Они не ставили его в порядок дня своей практической деятельности до тех пор, пока для этого не сложились необходимые объективные условия. Как указывал В. И. Ленин, если до 9 января массы рабочих и крестьян, сохранившие остаток веры в царя, не могли идти на восстание, то после 9 января они могут идти и пойдут на восстание. Царь своей кровавой расправой с безоружными рабочими сам толкнул их на баррикады и дал им первые уроки вооруженной борьбы.

Большевистская тактика вооруженного восстания получила свое подтверждение уже в ходе весенне-летних выступлений пролетариата. В сентябре и октябре массовая революционная стачка как специфически пролетарское средство борьбы все чаще сочеталась с вооруженными выступлениями ее участников против царских войск и полиции. Восстания происходили в Ростове-на-Дону, Харькове, Екатеринославе, Нижнем Новгороде, Перми, Красноярске, Чите, Горловке, Сормове, Мотовилихе и других крупных промышленных пунктах страны. На вооруженную борьбу с самодержавием поднялись угнетенные народы Кавказа, Польши, Прибалтики. Усилились волнения среди солдат и матросов.

Высшей точкой всенародного революционного натиска на твердыни самодержавия в 1905 году явилось Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Как и в большинстве городов, восстание здесь выросло из массовой политической стачки, которую Московский Совет постановил начать 7 декабря пополудни. В тот же день забастовало около 100 тысяч рабочих. На следующее утро ряды забастовщиков пополнились железнодорожниками, ремесленниками, мелкими служащими, студентами. Приостановили работу заводы, фабрики, предприятия коммунального обслуживания. Полновластным хозяином в городе стал Совет рабочих депутатов.

Московский Совет действовал как орган революционной власти. Он наводил порядок на улицах города, заботился об охране имущества граждан, регулировал торговлю, следил за бесперебойным снабжением населения продуктами питания и т. п. Но главной заботой Совета было руководство ходом рабочего движения, находившегося на стадии перехода от мирной стачки к вооруженной борьбе.

Весьма примечательно, что призыв к восстанию последовал со стороны рабочих, активных участников стачечных боев. Этот призыв раздался в критическую минуту, когда царские власти во главе с генерал-губернатором Дубасовым готовились к суровой расправе со стачечниками. На третий день стачки, 9 декабря, здание училища Фидлера, где находились боевые дружины рабочих, оцепили войска, открыли стрельбу и подожгли здание. Силы были неравными, и дружинники отступили.

В ночь на 10 декабря Федеративный Совет РСДРП отдал приказ строить баррикады и одновременно развернуть борьбу за войско. В строительстве баррикад участвовали тысячи москвичей — мужчин, женщин, подростков. Садовая, Тверская, Бронная и другие важные магистрали города были превращены в серьезный рубеж обороны против пехоты и конницы противника. Боевые дружины рабочих вступали в открытые столк-

новения с войсками и полицией. Непосредственное руководство восстанием осуществлялось районными Советами рабочих депутатов.

Восставший пролетариат Москвы на протяжении девяти дней и ночей вел ожесточенные бои с превосходящими по численности и вооружению силами врага. Кроме пехоты и кавалерии, противник пустил в ход артиллерию. Рушились баррикады, горели помещения в районах, занятых рабочими. Но ряды восставших не дрогнули. Всего в различных районах города (на Пресне, на Каланчевке, в Замоскворечье, у Рогожско-Симоновской заставы и в других местах) сражалось до 8 тысяч дружинников, опиравшихся на поддержку десятков тысяч рабочих и служащих.

Пролетарская Москва проявила подлинные чудеса самоотверженности и героизма. В обращении к восставшим, выпущенном Московским Советом рабочих депутатов в разгар сражений, говорилось: «Наша ближайшая задача, товарищи, передать город в руки народа. Мы начнем с окраин, будем захватывать одну часть за другой... Мы хотим не только разрушить старый строй, но и создать новый, в котором каждый гражданин будет свободен от всяческих насилий»¹⁷.

Особенно упорные баррикадные бои развернулись в районе Пресни. Действия боевых дружин здесь активно поддерживались подавляющим большинством всего населения района. Пресненцы первыми начали восстание, последними покинули поле сражения. Они показали великий пример несгибаемой воли и самоотверженности в борьбе. «Мы начали,— гласил последний приказ штаба пресненских боевых дружин.— Мы кончаем... Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это — ничего. Будущее — за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству»¹⁸.

Декабрьское вооруженное восстание в Москве вписало одну из самых ярких страниц в героическую эпопею 1905 года. Несмотря на неудачу, восстание оказало глубокое влияние на дальнейшее развитие рабочего, всего освободительного движения. Оно на деле подтвердило возможность вооруженной борьбы пролетариата против самодержавия, за победу революции.

Уроки восстания во многом обогатили боевую практику революционных масс, закаляли их политически. «После декабря,— писал В. И. Ленин,— это был уже не тот народ. Он переродился. Он получил боевое крещение. Он закалился в восстании. Он подготовил ряды бойцов, которые победили в 1917 г. ...»¹⁹.

Московское восстание происходило в обстановке наибольшего подъема революции. Это способствовало развитию высших, вооруженных форм борьбы в ряде городов и районов страны. По неполным данным, с декабря 1905 по январь 1906 года произошло свыше 30 крупных вооруженных выступлений рабочих против самодержавия. Значительно усилилось аграрно-крестьянское и национально-освободительное движение.

Хотя после Декабрьского восстания начался медленный спад революции, рабочее движение продолжало оказывать громадное воздействие на развитие антипомещичьей борьбы в деревне. Крестьяне по примеру рабочих устраивали стачки, организовывали комитеты для захвата и раздела помещичьих и казенных земель. Тысячи помещичьих имений были сожжены, а их хозяева бежали в города под укрытие царских войск. В первой половине 1906 года крестьянская война бушевала во многих аграрных губерниях России. Революция продолжалась.

ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ

Русскую революцию 1905—1907 годов В. И. Ленин назвал «могучей» и «великой». Действительно, эта революция, уступая Великой французской революции лишь по продолжительности во времени, превзошла ее во всех остальных отношениях: по глубине и остроте социально-экономических противоречий, по размаху и методам борьбы, по движущим силам и, наконец, по своей роли во всемирной истории. Если Французская революция 1789—1793 годов знаменовала собой восход капитализма, то русская

¹⁷ А. Ф. Костин. Первая народная революция в России. М. 1965, стр. 56.

¹⁸ «Высший подъем революции 1905—1907 гг.». М. 1955, ч. I, стр. 688—689.

¹⁹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 200—201.

революция 1905—1907 годов предвещала начало его заката. Она была первой буржуазно-демократической революцией эпохи империализма.

Революция 1905—1907 годов привела в движение все классы и партии России, раскрыла их действительную роль в освободительной борьбе против царизма и других остатков крепостничества. Она выявила контрреволюционную сущность либеральной буржуазии, показала способность пролетариата быть вождем демократической революции и вести за собой широкие крестьянские массы. Тем самым революция на деле подтвердила правильность политического руководства движением со стороны большевистской партии во главе с В. И. Лениным, великую силу и действенность ее программы и тактики.

Первая русская революция положила начало новому периоду всемирной истории—периоду революционных бурь и политических потрясений. В 1905 году российский пролетариат в союзе с широкими массами крестьянства до основания потряс вековые устои царского самодержавия и нанес мощный удар по всей системе империализма. Центр мирового освободительного движения окончательно переместился в Россию.

Важнейшей особенностью первой русской революции было то, что она не могла закончиться победой буржуазии. Препградой на этом пути стояло два главных фактора: с одной стороны, тесная экономическая связь буржуазии с самодержавием, ее зависимость от заказов и политики царского правительства; с другой — возросшие противоречия между трудом и капиталом, сближение демократических и социалистических идей освободительной борьбы. Выступление пролетариата в качестве гегемона революции и политического вождя многомиллионных масс крестьянства не только оттеснило либеральную буржуазию на второстепенные позиции, но и превратило ее в контрреволюционную силу.

Анализ истории подготовки и развития революции 1905—1907 годов раскрывает ее глубоко народный характер. Российский пролетариат, выступивший в качестве главной движущей силы и гегемона революции, оказывал благотворное влияние на крестьянское и национально-освободительное движение, поднимая массы народа к активной политической деятельности. Именно решительная борьба широких народных масс за осуществление демократических требований программы РСДРП составила одну из наиболее характерных черт первой русской революции. «...самые глубокие общественные «низы», задавленные гнетом и эксплуатацией,— писал В. И. Ленин,—поднимались самостоятельно, наложили на весь ход революции отпечаток своих требований, своих попыток до-своему построить новое общество, на место разрушаемого старого»²⁰.

В ходе революции творчеством рабочего класса, всех трудящихся были созданы Советы — зачаточные формы новой, народной власти. Советы рабочих депутатов возникли и действовали в Иваново-Вознесенске, Петербурге, Москве, Ростове, Саратове, Баку, Киеве, Екатеринославе, Чите, Красноярске и других городах. В ряде мест появились Советы крестьянских и солдатских депутатов. Созданные для руководства стачечной и вооруженной борьбой масс, Советы, по определению В. И. Ленина, являлись органами революционной власти, революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства.

Новая расстановка классовых сил в революционно-освободительном движении, сложившаяся к началу XX века в России, позволяла по-новому ставить вопрос об условиях победы демократической революции. Отныне речь шла не о замене политического господства помещиков господством капиталистов, за что ратовали меньшевики, а о замене царского самодержавия самодержавием народа. Подчеркивая именно этот основополагающий тезис стратегии и тактики большевизма, В. И. Ленин писал: «„Решительная победа революции над царизмом“ есть революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства»²¹.

Разумеется, в случае победы первая русская революция не могла выйти за рамки буржуазно-демократического переворота. Но этот переворот не был бы простым повторением буржуазных переворотов предшествующей эпохи. Установление революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства было рассчитано на подавление сопротивления контрреволюции, ускорение процесса расслоения крестьянства и

²⁰ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 39.

²¹ Там же, т. 11, стр. 44.

развития классово́й борьбы в деревне, процесса перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую.

Революция 1905—1907 годов, несмотря на поражение, во многом ускорила темп созревания социалистического переворота в России. Для решения новых, социалистических задач российский пролетариат уже в 1905 году начал создавать необходимые политические предпосылки. В ходе революции впервые в истории стал складываться союз пролетариата с крестьянством, возникли Советы рабочих и крестьянских депутатов, прошли проверку специфически пролетарские методы борьбы, большевистская теория и тактика. Революция явилась великой школой, воспитавшей целое поколение борцов за социальное и национальное освобождение трудящихся. «Без «генеральной репетиции» 1905 года,— указывал В. И. Ленин,— победа Октябрьской революции 1917 года была бы невозможна»²².

Революционные события 1905 года получили большой международный резонанс. Долгожданная весть о развитии этих событий, быстро перешагнув через русскую границу, могучим эхом прокатилась по странам Европы и Азии.

Уже в первых зарубежных откликах подчеркивался глубоко народный и интернациональный характер революции, развернувшейся в России. Прогрессивная печать Запада с возмущением писала о кровавых злодеяниях царских властей, расстрелявших мирную рабочую демонстрацию в Петербурге, и выражала уверенность в конечной победе народа над самодержавием. Во Франции под руководством Анатоля Франса было создано «Общество друзей русского народа», оказывавшее помощь участникам и сторонникам революции. В одной из своих речей на собрании «Общества» Анатоль Франс назвал революцию 1905 года зарей новой эры. Он сказал: «Русская революция — революция всемирная. Она продемонстрировала перед мировым пролетариатом свои средства и свои цели, свою мощь и свой жребий... На берегах Невы, Вислы и Волги — вот где решаются ныне судьбы новой Европы и будущего человечества»²³.

Первая русская революция вызвала подъем рабочего движения в странах высококоразвитого капитализма. В Германии, например, участников стачек в 1905 году стало в четыре раза больше по сравнению с предыдущим годом. Вдвое увеличилось число забастовщиков во Франции. На фабриках и заводах Австро-Венгрии в 1905—1907 годах было проведено в два раза больше забастовок, чем за предшествующие четыре года. Значительно активизировалось стачечное движение в Англии, Италии, Швеции, Бельгии, Болгарии, Румынии и других европейских странах.

Под влиянием «русских событий» шел процесс укрепления и развития рабочих организаций Европы. В социал-демократических партиях ряда стран (Германия, Болгария, Голландия и другие) усилились позиции левого крыла. Сознательные рабочие всего мира, указывал В. И. Ленин, «духовно оживают теперь при виде успехов революции в России»²⁴.

Рабочий класс Европы, горячо поддержавший первую народную революцию в России, взял на вооружение ее пролетарские методы. Состоявшийся осенью 1905 года Йенский съезд германской социал-демократии по предложению А. Бебеля признал массовую политическую стачку в качестве одной из основных форм борьбы пролетариата. Это решение партийного съезда немецких социал-демократов Р. Люксембург охарактеризовала как «важный урок», извлеченный ими из опыта русской революции. Она заявила на V съезде РСДРП в Лондоне: «До 1905 г. в рядах германской социал-демократии господствовало по отношению ко всеобщей забастовке совершенно отрицательное отношение; она считалась исключительно анархистским лозунгом и, значит, реакционной, вредной утопией. Но как только германский пролетариат увидел во всеобщей забастовке русских рабочих новую форму борьбы... он поспешил в корне изменить свое отношение ко всеобщей забастовке, признавая ее применимой при известных условиях в Германии»²⁵.

Массовая политическая стачка, впервые примененная пролетариатом России в 1905

²² Там же, т. 41, стр. 9—10.

²³ «Первая русская революция и ее историческое значение». М. 1975, стр. 479—480.

²⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 209.

²⁵ «Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Апрель—май 1907 года. Протоколы». М. 1963, стр. 97.

году, составляет лишь один из аспектов многогранного опыта первой русской революции. Громадное значение для мирового рабочего, всего освободительного движения имела и имеет проверенная в ходе революции 1905—1907 годов марксистско-ленинская идея гегемонии пролетариата, его союза с крестьянством и другими демократическими слоями населения, испытывавшими на себе гнет помещиков и капиталистов. Положение о руководящей роли рабочего класса в общедемократическом движении против империализма и колониализма прочно входит в политический арсенал современных коммунистических и рабочих партий, борющихся за мир, демократию и социализм.

Революция 1905—1907 годов дала сильный толчок развитию национально-освободительного движения народов колониального Востока. Под ее непосредственным воздействием произошли революции в Китае, Иране и Турции, вспыхнули стихийные народные восстания против местных феодалов и чужеземных порабощителей в Индии и Индонезии. После векового молчания и рабской покорности почти все большие и малые народы угнетенной Азии поднялись на борьбу за свое национальное освобождение и политические свободы. «Сотни миллионов забитого, одичавшего в средневековом застое, населения, — писал В. И. Ленин, — проснулись к новой жизни и к борьбе за азбучные права человека, за демократию»²⁶.

Как видим, первая русская революция составила важный рубеж в развитии мирового освободительного движения. Ее богатая и поучительная история служит неиссякаемым источником политического опыта пролетариата, всех трудящихся в их борьбе за революционное преобразование общества на основе демократии и социализма.

Великое непреходящее значение первой и двух последующих революций в России состоит в том, что они подтвердили необходимость прочного единства рабочего класса и наличия сильной пролетарской партии, способной успешно руководить движением народных масс. В противовес меньшевикам, ратовавшим за идейно расплывчатую и организационно не оформленную партию, В. И. Ленин, большевики боролись за партию, монолитно сплоченную в идейном и организационном отношении, за партию, в совершенстве владеющую революционной теорией, научно обоснованной стратегией и тактикой борьбы. Изучение исторического опыта руководящей деятельности ленинской партии большевиков в годы трех русских революций и его творческое применение на практике способствует повышению уровня современного революционно-освободительного движения во всем мире и служит верным залогом его грядущих побед.

* * *

Почти три четверти века, отделяющие нас от первого революционного штурма царизма, срок немалый. Но политические уроки бурного 1905 года, его боевые традиции не утратили своего значения и для современности. «В наше время, — отмечалось в постановлении ЦК КПСС «О 70-летию революции 1905—1907 годов в России», — когда международный рабочий класс завоевывает руководящую роль в широком и мощном общедемократическом антиимпериалистическом движении, исторический опыт первой русской революции, ленинские идеи о гегемонии пролетариата в революционной борьбе трудящихся масс приобретают особую актуальность»²⁷.

Великие преобразующие идеи марксизма-ленинизма, подтвержденные богатейшим историческим опытом борьбы КПСС за освобождение России от гнета помещиков и капиталистов, за построение социалистического общества в нашей стране, живут и побеждают. Они духовно обогащают рабочий класс, трудящихся всех стран, освещают им путь вперед, к торжеству новой жизни.

²⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 146.

²⁷ «Правда», 9 января 1975 года.

Г. НЕВЕЛЕВ



НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА ДЕКАБРИСТОВ

Декабристы оставили после себя большое литературное наследие, в значительной своей части уже выявленное и введенное в научный оборот. Опубликованы их литературные произведения, мемуары, дневники, письма.

Данная публикация знакомит читателя с обнаруженными в ленинградских архивах ранее неизвестными письмами декабристов, представляющими несомненную историческую ценность. Письма, принадлежащие виднейшим деятелям декабристского движения А. А. Бестужеву-Марлинскому, Н. А. Бестужеву, С. Г. Волконскому, И. И. Пущину, И. Д. Якушкину, относящиеся к 30—50-м годам XIX века, содержат важный материал для характеристики мировоззрения первых русских революционеров в период ссылки. Они дают картину быта, личных взаимоотношений, связей декабристов с русской общественностью.

Письма, как и другие ранее опубликованные документы, раскрывают психологию, духовный мир и нравственное сознание людей, первыми в истории России дерзнувших с оружием в руках восстать против деспотизма и рабства, не примирившихся с постигшей их неудачей, не согнувшихся под тяжестью испытаний, до конца дней своих сохранивших убеждения юности, жизненную стойкость и оптимизм.

Напомним читателю некоторые биографические сведения об авторах этих писем, порой достаточно известные, но необходимые для уяснения времени и обстоятельств, в которых писались эти человеческие документы, для напоминания о том, как сложились судьбы героев 14 декабря и узников царской каторги и ссылки.

1

Член Северного тайного общества, активный участник восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге, критик и публицист, переводчик, поэт, прозаик, Александр Александрович Бестужев родился в 1797 году в старинной дворянской семье, давшей России целый ряд выдающихся деятелей декабризма. «Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря»,— писал впоследствии Михаил Александрович Бестужев.

Александр Бестужев учился в Горном кадетском корпусе, затем поступил в лейб-гвардии драгунский полк, стоявший под Петергофом, в Марли (отсюда и литературный псевдоним декабриста). В 1824 году Бестужев стал членом тайного общества. К этому времени он уже приобрел литературное имя, был одним из руководителей «Общества любителей российской словесности», в 1823—1825 годах вместе со своим другом К. Ф. Рылеевым издавал альманах «Полярная звезда».

Верховный уголовный суд, рассматривавший дело декабристов, предъявил Бестужеву обвинение в том, что он «умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии, участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен, лично действовал в мятеже и возбуждал к оному нижних чинов», и приговорил его к смертной казни, высочайше замененной двадцатилетней каторгой и последующей ссылкой.

6-августа 1826 года Бестужев вместе с декабристами И. Якушкиным, М. Муравьевым-Апостолом, А. Арбузовым и А. Тютчевым был отвезен в Финляндию, в Роченсальмскую крепость. Через год с небольшим, в конце октября 1827 года, на фельдъегерской тройке его отправили в сибирскую ссылку, в далекий Якутск.

Вспоминая о Якутске, Бестужев писал впоследствии: «Там я отдохнул душой, ожил новой жизнью». Он много читает, «стихотворствует», но прозу не пишет, так как «для серьезных предметов не имеет довольно источников и оснований».

В июне 1829 года Бестужев по его просьбе, поданной на высочайшее имя, был переведен рядовым в действующую армию на Кавказ. Здесь литературный талант Бестужева проявился в полную силу, он познал писательскую славу и разочарование в ней, здесь в гуще событий и людей Бестужев, опьяненный после якутского бездействия возможностью подвига, общения, любви, остро переживает одиночество. В письмах к родным, написанных вскоре после приезда на Кавказ, не оправдавший возлагавшихся на него надежд, Бестужев говорит о том, что почел бы за счастье разрешение вернуться в Сибирь.

В 1830 году в журнале «Сын отечества» за подписью А. М. была напечатана повесть Бестужева «Испытание», имевшая огромный читательский успех. В петербургских и московских журналах под псевдонимом А. Марлинский появились его повести «Лейтенант Белозор», «Фрегат «Надежда», «Наезды», «Аммалат-бек», «Мореход Никитин».

Громкая писательская слава поставила Александра Бестужева в первый ряд русской литературы. В. Г. Белинский отмечал в 1834 году, что Бестужев «теперь безусловно пользуется самым огромным авторитетом: теперь перед ним всё на коленях». И. С. Тургенев позднее, в 1870 году, писал, что в 30-е годы Бестужев «гремел как никто — и Пушкин, по понятию тогдашней молодежи, не мог идти в сравнение с ним. Он не только пользовался славой первого русского писателя: он даже — что гораздо труднее и реже встречается — до некоторой степени наложил свою печать на современное ему поколение».

Публикуемое письмо А. Бестужева от 10 декабря 1834 года, представляющее значительный историко-литературный интерес, написано в период его наивысшей литературной славы. Обращаясь к своему давнему другу Владимиру Павловичу Романову¹, Бестужев стремится подвести итог прошедшему, оценить свое настоящее, взглянуть в будущее.

Ставрополь. 10 декабря 1834 г.

Много времени утекло с тех пор, что мы свиделись в последний раз, любезный Владимир Павлович, много перемен легло между нами — до того много, что я бы не написал к Вам строчки, если бы добрый Альбрандт² не заверил, что Вы не боитесь любить меня, — это платит отрадою за грусть стольких разочарований.

Помните ли Вы 22-й год и Кронштадт?³ Мы были оба так свежи телом и душами тогда! — так застенчивы сердцем, хотя очень опытни воображением. Не знаю, что стало с Вами, а я расточил на ветер половину души — хорошо еще, если перлы ее не падали в грязь.

Но так или сяк, а и я бывал счастлив, потому что создавал себе идола, украшал его всеми прелестями жаркого воображения, оживлял душою поэзии и — безумец! — может быть, поклонялся глиняному кувшину, который казался мне статуей Мидицейской Венеры.

Но что казалось, то было. Благодарю и за то Провидение: что была бы ночь без снов?

Но теперь нет и снов у меня — пожалуйте. Какая-то лень загавила меня. Лень, гочь неверия в возможность будущего хоть минутного счастья. И в самом деле, как верить чему-нибудь хорошему для себя, когда 9 лет несслыханных страданий и 6 лет

¹ Романов В. П. — капитан-лейтенант 30-го флотского экипажа. Привлекался в 1826 году по делу декабристов. С 1834 года по причине бессрочного отпуска жил в Либединском уезде Харьковской губернии. Автор публикации приносит благодарность А. Рогинскому и В. Равдину за оказанную помощь в установлении адресата письма.

² Альбрандт А. П. — штаб-офицер Мингрельского полка.

³ В 1822 году А. А. Бестужев посещал семью Мейера, таможенного чиновника в Кронштадте.

унижений и беззаветной храбрости⁴ не погодвинули меня ни на шаг вперед; и в самом деле, для чего стану я писать? — (меня укоряют все и беспрестанно в моем бездействии) для чего? Неужели думают, будто я так тщеславен, что меня может манить литературная слава за гробом? для меня, который знал жажду иной славы. Неужели прельстит меня золото? Правду сказать, мне бы не противно было истратить свой участок известности и выгоды с известности в кругу любви и дружбы, но этот круг для меня зачарован — и я молчу — я снедаю в сердце свои чувства и мысли, потому что моей бедной жизни нечем купить их у меня, чтобы пустить в оборот, — несчастье делает эгоистом.

Никогда еще я не был так желчен и расстроен, как сего дня, как сей час, — и надобно ж было вручителю этого письма неосновательно сказать, что он едет, — не дивитесь же складу и толку моего послания: мои страсти пробуждаются редко, зато ужасно, а воспоминание прошлого, столько обещавшего мне, сведенное на очную ставку с настоящим, меня выбросило из границ равнодушия. Для человека, у которого нет будущего, досадно вспоминать былое. Но не подумайте, что это ропот, что я упал духом, о нет! Эта минута гнева — это охранный клапан души: никто не скажет, чтоб Бестужев уступил в бою человеку или судьбе. Она может победить меня — но я могу с ней бороться еще долго, долго.

А Вы? Я настолько наслышан о домашнем вашем счастье, что позавидовал бы Вам, если бы умел завидовать. Счастливый супруг и отец семейства, Вы наслаждаетесь тем, чего я не смею даже желать!! О, да будет вечно это счастье Вам верно.

Сердцем Вам преданный

Александр Бестужев⁵.

7 июня 1837 года прапорщик А. Бестужев был убит при занятии русскими войсками мыса Адлер.

2

Николай Александрович Бестужев, старший сын в семье Бестужевых, родился в 1791 году. В 1802 году был определен в Морской кадетский корпус. Учение в корпусе он совмещал с изучением курса политических наук у Д. Е. Василевского, в ту пору преподавателя Академии художеств, и занятиями живописью у Н. Ф. Финяева.

Отличавшийся прекрасными способностями, Николай Бестужев в 1809 году блестяще окончил Морской корпус и был оставлен в нем воспитателем с правом преподавания морской эволюции, морской практики и высшей теории морского искусства. С 1819 года состоял помощником директора, а в 1825 году был назначен начальником Морского музея. В начале 20-х годов Николай Бестужев был известным человеком в Петербурге. Автор интересных работ по истории русского флота, способный художник, член «Общества поощрения художеств», ученый-эрудит, прямой и смелый в своих суждениях, Николай Бестужев пользовался авторитетом в научных, художественных и литературных кругах общества.

В 1824 году К. Рылеев принял его в Северное тайное общество. Позднее, отвечая на вопросы следственной комиссии, Н. Бестужев напишет: «Присоединение же мое к обществу только направило к цели мои понятия и желания».

14 декабря 1825 года Николай Бестужев вывел на Сенатскую площадь матросов и офицеров гвардейского экипажа. Вечером следующего дня он был арестован, закован в «ручные железа» и помещен в 15-ю камеру Алексеевского рavelина Петропавловской крепости. Комедия суда над декабристами, разыгранная Николаем I, закончилась «адским карнавалом» казни. Ночью 13 июля 1826 года над декабристами, осужденными на каторгу, ссылку, был произведен обряд гражданской казни. Этот спектакль происходил на фоне виселицы, установленной на валу крепостного кронверка, где на рассвете погибли вожди декабристов — Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Петр Каховский, Михаил Бестужев-Рюмин.

8 августа 1826 года Николай Бестужев вместе с братом Михаилом был помещен

⁴ А. А. Бестужев имеет в виду свой арест, заключение в Петропавловскую крепость, последующее заточение в Роченсальской крепости и ссылку в Якутск, а также перевод рядовым в действующую армию на Кавказ.

⁵ ЦГИА СССР, ф. 1120, оп. 1, д. 160. Письма публикуются по подлинникам.

в Шлиссельбургскую крепость, а через год, в сентябре 1827 года, на фельдъегерской повозке их отправили на «каторжные работы» в Сибирь. С осени 1827 года декабристы содержались в Читинском остроге, а с 1830 года — в специально построенной тюрьме Петровского Завода.

Совместное пребывание в Читинском остроге, а затем в казематах Петровского Завода рождало «споры, прения, рассказы о заключении, о допросах, обвинения и объяснения — одним словом, кипучий водоворот, клокощущий неумолчно и мечущий брызгами жизни...». Умственные занятия целиком поглощали все свободное время ссыльных.

В казематах Читинского и Петровского острогов была создана «каторжная академия». Николай Бестужев читал лекции по истории русского флота, Н. Муравьев вел занятия по военной стратегии и тактике, Ф. Б. Вольф преподавал физику, химию, анатомию, П. С. Бобрищев-Пушкин — математику, А. О. Корнилович и П. А. Муханов — историю России, Д. И. Завалишин — иностранные языки. «Каторжная академия» являлась для многих декабристов, по словам А. П. Беляева, «поистине чудной школой и основой... умственного и духовного воспитания».

В общей зале тюрьмы Петровского Завода проводились литературные вечера, устраивались диспуты, читались доклады.

В первый день российской вольности — 14 декабря — в тюрьме Петровского Завода декабристы «с великою радостью и гордостью» устраивали торжественный обед. 14 декабря 1830 года хор заключенных под управлением П. Свистунова исполнил революционную песню, написанную Ф. Вадковским на слова М. Бестужева, «Что ни ветер шумит во сыром бору...».

В 1839 году, по окончании срока каторги, Николай и Михаил Бестужевы вышли из Петровской тюрьмы на поселение в Селенгинск, крохотный забайкальский городок, расположенный на реке Селенге. Братья получили на душу по 15 десятин пахотной и сенокосной земли, построили дом, мельницу, обзавелись хозяйством. Но земледелие приносило одни убытки. Братья занялись овцеводством. Разведение тонкорунных овец тоже не принесло большого успеха.

Сильно нуждаясь и стремясь найти хоть какое-то «подспорье к скудным средствам существования», Бестужевы открыли в Селенгинске часовую, ювелирную и оптическую мастерскую: чинили всему городу часы, лудили посуду, изготавливали очки и делали всякие хозяйственные вещи. Они изобрели очень удобный для езды в Забайкалье экипаж, названный «сидейками», или «бестужевками», и организовали мастерскую для их изготовления. Дом Бестужевых на окраине Селенгинска превратился в своего рода культурный центр Забайкалья. Вместе с декабристом К. П. Торсоном братья Бестужевы организовали школу для детей селенгинских жителей, открыли читальню; в их мастерские приезжали учиться ремеслу буряты из всех улусов края.

В Сибири Николай Бестужев не забыл свое былое увлечение — живопись. На каторге и на поселении он много писал, создал замечательную портретную галерею своих товарищей-декабристов.

Человек больших способностей, знаний, огромной творческой энергии, изолированный от науки и литературы, Николай Бестужев с увлечением занимался изучением языка, быта, природы Забайкалья. Он собрал большой материал по этнографии и фольклору бурятского народа.

Заинтересовавшись Гусиным озером, находящимся в пятнадцати километрах от Селенгинска, Николай Бестужев обнаружил на берегах озера минеральные краски, горный хрусталь, залежи каменного угля. О богатствах бурятской земли он рассказал в очерке «Гусиное озеро», напечатанном в 1854 году с помощью сибирского знакомого Бестужевых И. П. Корнилова в одном из петербургских журналов.

В начале 50-х годов до Селенгинска дошли вести о судьбе старого друга Николая Александровича, с которым он часто встречался в Петербурге в доме сенатора М. М. Сперанского, — декабриста Гавриила Степановича Батенькова (1793—1863). Член Северного общества, подполковник корпуса инженеров путей сообщения, Батеньков был осужден Верховным уголовным судом по третьему разряду — «на вечную ссылку в каторжные работы». Но по «особому высочайшему повелению» Батенькова продержали в Алексеевском равелине Петропавловской крепости двадцать лет. Весной 1846 года заживо похороненному в каземате, измученному, больному декабристу «высочайше» было раз-

решено поселиться в Томске. В феврале 1852 года один из чиновников сибирской администрации, направлявшийся в Томск, сделал остановку в Селенгинске. Пользуясь okazji, Николай Бестужев пишет письмо своему другу, радуясь, что оно пойдет частным путем, минуя перлюстраторов из III отделения.

Селенгинск. 27 февраля 1852 г.

Более четверти столетия прошло, любезный друг Гаврила Степанович, с тех пор, как мы с тобой свиделись в последний раз чуть-чуть не у подножия виселицы. Из молодого полного человека я стал седым и едва ли не угрюмым стариком, представляю себе и тебя также, с тою разницею, что твоя жизнь, верно, была труднее моей; по полуторагодовому образчику одиночной жизни взаперти я могу судить и о двадцати годах, проведенных тобой за решетками... Но об этих ужасных предметах я не хочу более говорить!

Я все собирался писать к тебе форменным путем, но скажи на милость, что можно сказать друг другу эту дорогию? Что я, слава богу, здоров и что тебе желаю того же? Во всяком случае, я очень рад, что начну с тобой переписку и что даже формы не свяжут меня повторять тебе, сколько я тебя люблю и уважаю. Если ты хочешь этого, я начну. Я переписываюсь со многими из товарищей-союзников и нахожу, что даже эти вздорные слова, которые привел я для примера в форменной переписке, приносят неизъяснимое удовольствие, когда их говорит друг, испытанный в несчастье, крещенный в одной купели, — и я напрасно их избегал с тобою и каюсь в том. Но надо же чем-нибудь оправдаться было перед тобой. Я тороплюсь писать эти строки, потому что случай этот представился так неожиданно и время так коротко, что я совсем растерялся! Все наши тебе кланяются, я тебя по-прежнему обнимаю и крепко-крепко прижимаю к сердцу.

Прости на первый раз за короткость, несвязность и бестолковость мыслей, в другой раз буду умнее.

Несмотря на все это, верь, что ни время, ни расстояние ни на одну минуту не изглаживали живого воспоминания и участия в тебе и твоей судьбе; верь, что я люблю и уважаю тебя..

Н. Б.*

Николай Александрович Бестужев, возвращаясь из Иркутска в Селенгинск, сильно простудился и 15 мая 1855 года умер.

3

В селе Урик, в двадцати верстах от Иркутска, жили на поселении Волконские. Князь Сергей Григорьевич Волконский родился в 1788 году. Активный участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии, сделавший блестящую военную карьеру, двадцатичетырехлетний генерал Волконский был исполнен одним стремлением — «трудиться для блага России». С 1820 года он член «Союза благоденствия», в 1821 году вступает в Южное общество.

В 1824 году Волконский женился на дочери генерала Н. Н. Раевского, Марии Николаевне (род. в 1805 году). Юная Раевская вышла замуж, повинувшись скорее воле отца, нежели своему чувству.

8 января 1826 года командир бригады 19-й пехотной дивизии Южной армии генерал-майор Волконский был арестован. Накануне он успел съездить в Болтышку, имение Раевских, повидать жену и новорожденного сына. В момент ареста Волконский спешно пишет своему брату Николаю Григорьевичу Репнину, не посвященному в дела тайного общества.

Умань. 8 января 1826 г.

Любознательный брат, судьбе угодно было и на меня пасть подозрению в каких-то противозаконностях, мне неизвестных. Меня по высочайшему повелению арестовали, повезли в Петербург, еду с спокойным духом к ответу — но лью слезы о жене и о несколькодневном ребенке. Да бог их благословит, и мои родные будут им временными покровителями и утешителями. Оставляю вам в слезах ангела, обеспечившего счастье моих дней. Я надеюсь, что вы скроете, что со мною, собственно: еще бы недели бы три.

* Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 49, д. 17.

Впрочем, надеюсь, что бог ей даст сил перенести настоящую скорбь и что позволит нам соединиться без дальнего отлагательства. Поручаю ее и ребенка твоей гружбе и покровительству.

Твой брат Сергей⁷.

Мария Николаевна узнала об аресте С. Г. Волконского в начале марта 1826 года. Полученное известие поразило ее в «самое сердце», осветило по-новому личность мужа, заставило иначе взглянуть на свою жизнь. В апреле 1826 года Волконская приехала в Петербург и сразу начала хлопотать о разрешении разделить судьбу мужа.

На небольшом клочке бумаги, с трудом переправленном из Петропавловской крепости, Волконский взволнованно писал своей сестре Софье Григорьевне: «Уже некоторые из жен просили и получили разрешение следовать за своими мужьями к месту их назначения. Выпадет ли мне это счастье, и неужели моя обожаемая жена откажет мне в этом утешении?.. Получу ли я от своей жены утешение, в котором другие уже уверены?»

Мария Николаевна Волконская одной из первых жен декабристов отправилась в Сибирь вслед за мужем, осужденным Верховным уголовным судом к двадцати годам каторжных работ и поселению в Сибири «навечно».

Во второй половине 30-х годов XIX века, когда последние узники тюрьмы Петровского Завода покидали острог и выходили на поселение, по Петербургу чьими-то услужливыми устами стали распространяться слухи о несчастливой семейной жизни Волконских.

Николай Григорьевич Репнин посчитал своим долгом рассказать об этом Волконским.

Из письма С. Г. Волконского Н. Г. Репнину от 27 января 1838 года.

...Чтение твоего письма вызвало у нее (Марии Николаевны.— Г. Н.) слезы— дочка Николая Николаевича Раевского не будет плакать по любому поводу... Ты мне говоришь, что клевета нас не пощадилась с Сибири, на это я могу ответить одно, что моя жена выше всякой клеветы, следовательно, только я мог дать этому повод⁸.

Мария Николаевна с удивительной стойкостью выдержала все испытания, уготованные ей судьбой, не согнулась под их тяжестью, с честью несла звание жены ссыльнокаторжного. «Первое время нашего пребывания, — писала она впоследствии в своих «Записках», — я думала, что оно, наверное, кончится через 5 лет, затем я себе говорила, что это будет через 10 лет, потом через 15 лет, но после 25 лет я перестала ждать. Я просила у бога только одного: чтобы он вывел из Сибири моих детей».

Только в 1856 году по амнистии, объявленной «государственным преступникам» в связи с восшествием на престол Александра II, Волконские возвратились из Сибири.

10 мая 1863 года в Черниговской губернии, в селении Воронки умерла Мария Николаевна. Сообщение о ее смерти застало Волконского в Москве. Он писал детям: «Что мне писать о моей грусти — вы и сами вообразите: лишиться, не сказав даже последнее прощанье, той, которая всеми лишениями общественной жизни принесла в дань моему опальному быту, горько мне, и не обидев вас скажу — усиливает мою скорбь... Будем и мы на сей земле в жизни нашей ее достойными». В 1865 году старый декабрист скончался. Он был похоронен в селе Воронки в углу сада рядом с могилой жены.

4

«Несмотря на рассеяние наше по всей Сибири и на отправление некоторых на Кавказ, — писал декабрист Н. В. Басаргин, — мы все составляли как будто одно семейство, переписывались друг с другом, знали, где и в каком положении каждый из нас находится, и сколько возможно помогали один другому».

Сибирским центром декабристов был дом Ивана Ивановича Пуцуина в Ялutorовске, маленьком городке, расположенном на левом берегу Тобола, притока Иртыша, на Сибирском тракте, недалеко от Тобольска.

Лицейский друг Пушкина, видный деятель декабризма, Иван Иванович Пуцуин

⁷ ЦГИА СССР, ф. 1035, оп. 1, д. 87, лл. 8—9.

⁸ Там же, лл. 14—15 (на французском языке).

родился в 1798 году в родовитой дворянской семье. Из лицея Пущин был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии конную артиллерию. В 1823 году подпоручик Пущин оставил военную службу, переехал из Москвы в Петербург и поступил сверхштатным членом в уголовную палату. Эта форма общественного служения наиболее полно соответствовала его пониманию гражданского долга «истинного сына отечества».

Пущин явился одним из создателей первой декабристской организации — «Союза спасения», был активным членом «Союза благоденствия»; в 1823 году он принял в Северное общество своего товарища по петербургской уголовной палате К. Ф. Рылеева, сыгравшего значительную роль в оживлении тайной организации. Участник восстания на Сенатской площади, Пущин был арестован 16 декабря 1825 года. По приговору Верховного уголовного суда осужден по первому разряду — на двадцать лет «в каторжные работы» и последующее поселение в Сибири. В тюрьмах Читы и Петровского Завода Пущин вместе с другими декабристами создал хозяйственную артель, был ее главным деятелем и пайщиком, помогал неимущим из собственных средств.

В 1839 году он был сослан на поселение в город Туринск Тобольской губернии. В 1843 году после долгих хлопот ему разрешили поселиться в Ялуторовске, где жили на поселении М. И. Муравьев-Апостол с женой, Е. П. Оболенский, И. Д. Якушкин, Н. В. Басаргин, В. К. Тизенгаузен.

И. П. Корнилов (1811—1901), дежурный офицер войск, расположенных в Восточной Сибири, в своих неопубликованных «Воспоминаниях» о встречах с декабристами писал о посещении ялуторовской колонии: «В Ялуторовске остановился я у Ивана Ивановича Пущина, декабриста, товарища Пушкина по Лицею. Я имел к нему рекомендательные письма от его брата Николая Ивановича Пущина и от Аркадия Осиповича Росета. Последний очень советовал мне познакомиться со всеми декабристами и непременно остановиться у Пущина.

Пущин — высокий, худой, одинокий — жил очень хорошо, в отдельном домике и с двумя прислугами — кучером и одной женщиной. Тотчас по моем приезде он дал знать своим друзьям, и вскоре к нему собрались: кн. Евгений Петрович Оболенский, Иван Дмитриевич Якушкин и Матвей Иванович Муравьев-Апостол. Басаргин в это время был где-то в отъезде. Муравьев-Апостол остался ночевать, и когда я на следующее утро проснулся, то увидел Пущина в старом халате метущим комнату, а Муравьев-Апостол убирал свою постель. На мой вопрос, почему они делают все это сами, когда есть прислуга, Пущин ответил: «Je ne veux pas exploiter l'homme par l'homme»⁹.

Дом Пущина был постоянно полон гостей, сюда приезжали целыми семьями ссыльные декабристы, останавливались малознакомые и незнакомые люди с рекомендательными письмами к хозяину. Осенью 1846 года в Ялуторовск приехали вдова и двое детей В. К. Кюхельбекера. «Пущин — признанный попечитель наших вдов,— писал М. И. Муравьев-Апостол С. П. Трубецкому.— Его чудесное сердце и справедливый ум, обладающий большим тактом, дают ему все возможные права на это».

Пущин постоянно о ком-то хлопотал, подавал прошения, писал письма влиятельным знакомым в Петербург, оказывал всевозможные услуги, всегда готов был прийти любому на помощь. «В Сибири,— писал сын декабриста Е. И. Якушкин, — я думаю, нет человека, который бы не знал Ивана Ивановича хоть по имени».

Личность Пущина, по общему мнению, была настолько симпатична и привлекательна, что делала его общим любимцем декабристов. «Мало найдется людей,— писал в своих «Записках» Н. Басаргин,— которые бы имели столько говорящего в их пользу, как Пущин. Его открытый характер, его готовность оказать услугу и быть полезным, его прямоту, честность, в высшей степени бескорыстие высоко ставили его в нравственном отношении, а красивая наружность, особенный приятный способ объясняться, умение кстати безвредно пошутить и хорошее образование увлекательно действовали на всех, кто был знаком с ним и кому случалось беседовать с ним в тесном дружеском кругу».

Находясь в переписке с большинством своих соузников, бережно относясь к друзьям и будучи очень общительным человеком, Пущин оставил большое эпистолярное

⁹ Я не хочу эксплуатировать человека человеком (франц.) (ЦГИА СССР, ф. 970, д. 20, л. 18).

наследство. Обнаруженные в архиве ранее неизвестные письма Пущина периода сибирской ссылки представляют значительный интерес для характеристики их автора.

В письме старому лицейскому другу, близко знавшему многих декабристов, Ивану Васильевичу Малиновскому (1796—1873) Пущин рассказывает о своем ялutorовском житье, интересуется петербургскими новостями, своими лицейскими товарищами.

Ялutorовск. 12 февраля 1849 г.

На прошлой неделе дошло до меня, любезный друг Малиновский, твое письмо от 21 декабря. Благодарю тебя за добрые строки и сердечные воспоминания. В этих воспоминаниях гавний наш союз¹⁰, который и в разлуке утешит мне взаимною уверенностию. Проходят года, а он остается невредим. Хвала богу!

Ты меня не знаешь с кем здесь вообразить себе. Кроме Оболенского, в нашей Ялutorовской колонии Тизенгаузен, Матвей Муравьев, Якушкин и Басаргин. Из нас шестерых трое женатых. Кроме того, здесь живут две вдовы: Ентальцева¹¹ и Кюхельбекера¹². Таким образом, нас довольно много, когда все соберемся. Тут же есть новое поколение, оживляющее общество стариков, из которых старшему 71 год, а юннейшему 50: я стою вторым с левого флангу — в мае минет полсотня с единицей, если суждено дожить до 4 числа¹³. Мы часто бываем вместе, живем ладно в товарищеском нашем кругу. Евгений¹⁴ просит обнять тебя и пожелать тебе на 49 год всего отрадного. Исполняя его волю, хотя уверен, что ты в годовую полночь и без этого письма вспомнил нас, как мы тебя вспоминали, навещаю по обычаю всех близких галек. Давно я невидимый бываю у тебя в Каменке¹⁵, всегда признателен тебе за радушный прием. Вместе с тобой молюсь на могиле нашей Марьи¹⁶ и благословляю милого ее сына¹⁷. Но что об этом распространяться. Сердце сердцу весть дает — горе и радость друг друга привыкли понимать... И ты мне ничего не сказал, любезный друг Иван, о 19 октября 848 года¹⁸, как оно прошло. Много ли ветеранов было на сходке? Год от году меньше в сборе. Оно так и должно быть; время кладет на все неумолимую свою печать, а живущим остается философствовать и по возможности следить за ходом и влиянием его. Обними брата Андрея¹⁹. Пожалуйста, без моих вопросов упоминай об нем в твоих письмах. На будущей неделе пушу грамотку в Солдину²⁰. Розен постоянно в свое время к нам пишет. Спасибо, что не забывает зауральских своих друзей.

Верный твой И. Пущин²¹.

Второе письмо адресовано Николаю Романовичу Ребиндеру (1810—1865), служившему в первой половине 50-х годов XIX века градоначальником в Кяхте, маленьком забайкальском городке.

Ребиндер стал близким человеком для декабристов и вошел в их семью, женившись в 1852 году на родившейся в Сибири дочери С. П. Трубецкого Александре Сергеевне (1830—1860), которую ссыльные декабристы очень любили.

Ялutorовск. 9 июля 1852 г.

Нисколько не браню вас, нисколько не караю, а просто дружески вас обнимаю. почтенный Николай Романович, за ваш добрый листок, который вы меня на этих днях

¹⁰ Имеется в виду союз лиценстов первого выпуска.

¹¹ Ентальцева А. В. — вдова декабриста А. В. Ентальцева, умершего в Ялutorовске в 1845 году.

¹² Кюхельбекер Д. И. — вдова декабриста В. К. Кюхельбекера, умершего в Тобольске в 1846 году.

¹³ И. И. Пущин родился 4 мая.

¹⁴ Евгений Петрович Оболенский.

¹⁵ Имение И. В. Малиновского в Изюмском уезде Харьковской губернии.

¹⁶ Малиновская Мария Ивановна — сестра И. И. Пущина, жена И. В. Малиновского.

¹⁷ Малиновский Антон Иванович — сын И. В. Малиновского, племянник Пущина.

¹⁸ 19 октября 1811 года был открыт Царскосельский лицей.

¹⁹ Малиновский Андрей Васильевич — брат И. В. Малиновского, жил в имении Каменка.

²⁰ Мыс Солдина Везенбергского уезда, Эстляндской губернии — место поселения декабриста А. Е. Розена.

²¹ ЦГИА СССР, ф. 1101, оп. 1, д. 521, лл. 3—5. Письмо печатается с сокращением.

пораговали. Позвольте только на первых порах старику поворчать, чтоб после эта принадлежность моих лет не замешивалась в наши отношения: прошу вас из нашего лексикона уничтожить выражение, которым начинается ваше письмо, не величайте меня милостивым государем — я не люблю сочетания этих двух слов, сделайте оголожение, не применяйте их ко мне вперед.

Судьба позволила мне встретить вас на пороге Сибирском — та же судьба соединила вас с доброй нашей Сашей — вы в нашей семье, и мы душевно приветствуем вас как доброго родного и друга!

Брат Николай²² довольно меня познакомил с вами, чтоб я с первой встречи не считал себя чужим для вас. Может быть, угастся опять когда-нибудь свистеться, тогда лично уверим друг друга в том, что на бумаге принимает вид каких-то изъяснений, которых я всегда избегаю. Крепко жму вашу руку в убеждении, что вы поймете вполне это пожатие руки искреннее, зауральское.

Верно, что вам трудно действовать, понимаю также, что вы очень хорошо делаете, что сначала стараетесь хорошенько всмотреться. Это необходимое условие прочих нововведений. О препятствиях разнородных для вашей деятельности мы, кажется, сколько можно было говорили при коротком нашем свидании. Это не неожиданное для вас. Вы будете уметь преодолеть их постепенно — лишь бы достало терпения и уверенности в приносимой пользе. Теперь много вам облегчалось добровольное ваше изгнание. Добрая жена и соединение с дочерью²³ совершенно изменяют для вас Кяхту, которая местностью своею далеко не привлекательна. Я в 849 году познакомился с этим торговым городом и, признаюсь, никак не понимаю, почему именно эту точку выбрали — отступя несколько десятков верст в сторону, можно бы и вогу, и деревцо, и зелень найти, а размен был бы тот же. Впрочем, теперь поздно об этом говорить — надобно жить и глотать пыль там, где прагеды поселились.

Вся наша ялutorовская артель, которая вас очень хорошо помнит, поручает мне вас приветствовать. Вы именно приезжали в тот день, когда у меня наши собираются, т. е. в субботу. Здешнее наше существование совершенно то же, как вы его видели, — приведено в простейший вид. Для меня в нашем положении это удобнее жизни в Сибирских Столицах. Привык к мирному Ялutorовскому уголку, куда, мол, чай, завернет добрый человек. Часто мы вместе. В свое время свои занятия — постоянно чем-нибудь убиваем время, чтоб оно нас меньше убивало. Давно что-то не пишет ко мне Николай — последнее время было грустное в нашем семействе — мы лишились доброго, честного Набокова²⁴, который 42 года делал счастье моей сестры²⁵ и для всех нас был примерный родной. И здесь меня эта потеря отуманила. Как ни убеждаешься, что на все Воля Божия, но не хочешь мириться с этой окончательной философией.

Вот и Иван Дмитриевич²⁶ принес листок. Пора мне вам пожелать всего лучшего. Надобно на первый раз и с Сашенькой особо побеседовать. Потом можно будет нераздельно говорить с вами, лишь бы только не наскучить вам моей пустой болтовней. Я всегда боюсь мешать деловым людям. Вы со мной, пожалуйста, без церемоний — пишете и молчите, как вздумается. Верьте только неизменному чувству верного вам И. Пуцина²⁷.

После амнистии 1856 года Пуцин некоторое время жил в Петербурге; весной 1857 года он женился на вдове декабриста Н. Д. Фонвизиной и поселился в селе Марьино, недалеко от города Бронницы. Здесь «настрадавшийся досыта» Пуцин неумоимо продолжал вести дела Малой артели, созданной для материальной помощи нуждающимся декабристам и их семьям, собирал для нее деньги, вел переписку. «Мы должны плотнее держаться друг друга, хоть и разлучены», — писал он М. И. Муравьеву-Апостолу.

²² Пуцин Николай Иванович — родной брат И. И. Пуцина. В 1842 году приезжал в Сибирь.

²³ Ребиндер Надежда Николаевна (род. в 1840 году) — дочь Н. Р. Ребиндера от первого брака.

²⁴ Набоков Иван Александрович (1787—1852) — генерал-адъютант.

²⁵ Пуцина Екатерина Ивановна.

²⁶ И. Д. Якушкин.

²⁷ ЦГИА СССР, ф. 1657, оп. 1, д. 71.

«3 апреля 1859 года дворянин Иван Иванович Пуццин умер»,— доносил московский губернатор в III отделение собственной его императорского величества канцелярии, испрашивая разрешение прекратить надзор за декабристом.

5

Заканчивая свое письмо к Н. Р. Ребиндеру, И. И. Пуццин писал: «Вот и Иван Дмитриевич принес листок».

Иван Дмитриевич Якушкин, товарищ Пуццина по Ялуторовску, принадлежит к числу тех декабристов, которые прошли весь путь борьбы от первых тайных организаций до сибирской каторги и ссылки и, «исполнив свои обязанности до конца и к тайному обществу и к своим товарищам», до последних дней своих сохранили верность революционным убеждениям юности.

Якушкин родился в 1793 году. В 1808 году был «произведен в студенты» Московского университета по словесному факультету. В 1811 году поступил на службу в лейб-гвардии Семеновский полк и прошел со своим полком все крупнейшие сражения Отечественной войны 1812 года и заграничной кампании русской армии. Герой Бородин, Кульма, лейпцигской «битвы народов», капитан Якушкин в 1818 году был уволен от службы по болезни.

Якушкин вступил в тайное общество одним из первых, вместе с С. П. Трубецким и братьями Матвеем и Сергеем Муравьевыми-Апостолами, принимал активное участие в подготовке московского съезда «Союза благоденствия», деятельно работал в Северном тайном обществе.

Восстание 14 декабря 1825 года застало Якушкина в Москве. Он пытался организовать вооруженное выступление в Москве, но события опередили его планы. 9 января 1826 года он был арестован и отправлен в Петропавловскую крепость с «высочайшей» запиской: «Присылаемого Якушкина заковать в ножные и ручные железа; поступать с ним строго и не иначе содержать, как злодея». Верховный уголовный суд отнес Якушкина к «преступникам» первого разряда и приговорил его к двадцати годам «в каторжную работу» и потом на поселение.

В августе 1826 года Якушкин был заключен в крепость «Форт Слава» в Роченсальме, а в начале ноября его отправили в Сибирь. В 1836 году кончился срок каторжных работ в тюрьме Петровского Завода, и Якушкин был «обращен на поселение» в Ялуторовск.

Жена Якушкина Анастасия Васильевна (род. в 1806 году) вела упорную борьбу за право соединиться с мужем. Она не смогла воспользоваться первоначально предоставленным «высочайшим позволением» отправиться в Сибирь из-за болезни сына. Тем самым она теряла право уехать к мужу и на все последующие прошения получала неизменный отказ Николая I. «Соединиться с моим мужем,— писала она,— быть счастливой вблизи его — это единственная цель моего существования». В 1846 году А. В. Якушкина умерла, измученная длительной борьбой с правительством, разрывавшаяся между детьми, которых не хватало сил оставить одних в Москве, и горячо любимым мужем, отделенным от семьи тысячами верст.

Смерть жены потрясла Якушкина. Исчезла последняя надежда на будущее счастье: жизнь обрела для него иной смысл. Свою основную цель Якушкин видел теперь в том, чтобы «быть полезным детям». В Ялуторовске Якушкин, по свидетельству Н. Барсаргина, «без всяких средств, одною своею настойчивостью, своею деятельностью и, можно сказать, сверхъестественными усилиями достиг цели», организовав народную школу для городского и крестьянского населения. До открытия школы Якушкина в городе было одно уездное училище, здание которого напоминало собой «что-то среднее между харчевнею и погребом», куда принимались дети чиновников, купцов и мещан, и приходское училище для низших сословий — крестьян, поселенцев, солдат, которое помещалось в ветхом деревянном амбаре с двумя прорубленными окнами и дырявым полом.

И. П. Корнилов в своих «Воспоминаниях» писал: «Я пробыл в Ялуторовске двое суток. Якушкин повел меня в свою школу. Он был страстным педагогом, и когда все сосланные жили вначале вместе в остроге в Чите, то Якушкин занимался обучением детей князя Волконского. Здесь же Якушкин уговорил местного протоиерея быть его

помощником по школе; они вместе составили необходимые пособия и карты. Преподавание было ведено по ланкастерской системе²⁸, занятия шли очень чинно, но вместе с тем дети относились к своим преподавателям с доверием и простотою²⁹.

Педагогическая деятельность Якушкина, упорная умственная работа создавали то «напряжение духа», которое позволяло ссыльному декабристу возвыситься над окружающей действительностью, давало силы противиться внешнему гнету и полностью себя посвятить «исполнению долга к будущему». Он был убежден, что и в Сибири декабристы «призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили», и решительно протестовал против коммерческой деятельности некоторых ссыльных.

Он писал И. Пушкину: «Во всяком положении есть для человека особенное назначение, и в нашем, кажется, оно состоит в том, чтобы сколько возможно менее хлопотать о самих себе. Оно, конечно, не так легко, но зато и положение наше не совсем обыкновенное. Одно только беспрестанное внимание к прошедшему может осветить для нас будущее; я убежден, что каждый из нас имел прекрасную минуту, отказавшись чистосердечно и неограниченно от собственных выгод, и неужели под старость мы об этом забудем? И что же после этого нам остается?»

Ранее неизвестный «листок» Якушкина Н. Р. Ребиндеру, отправленный вместе с письмом Пущина в Кяхту 9 июля 1852 года,— еще одно свидетельство удивительной душевности, человеколюбия и силы духа декабриста.

Ялуторовск. 9 июля 1852 г.

При всей нелюбви моей писать письма я не могу не отозваться на ваше гружеское к нам послание, добрый Николай Романович! Присоединившись так радушно к нашему семейству, вы во всех отношениях стали нам очень близким человеком, но позвольте вам сказать откровенно: при первом знакомстве и по кратковременной беседе с вами я искренне полюбил вас и тогда же мысленно помолвил вас на многолюбимой мной Саше. После такой откровенности вы, конечно, можете обвинить меня в скороспелости чувств, очень часто похожей на безрассудность. Но позвольте вам заметить, что в мои годы отлагать полюбить человека, который пришелся по сердцу, потому что его мало знаешь, не приходится. К тому же я всегда верил, как и теперь верю, в чутье сердца, которое благочаря бога никогда еще меня не обманывало. Я сильно верю, что при помощи божьей Саша будет с вами счастлива и что вы также будете счастливы ею. После всего мною высказанного и вы поверите: что если бы мы имели возможность свободно разъезжать по Сибири, то и не замедлил бы доставить себе радость взглянуть на старых моих друзей в Иркутске и потом заглянуть в Кяхту и полюбоваться новобрачной четой. Как видно из письма вашего, вы много трудитесь, и, встретивши много затруднений на поприще вашей деятельности, вы неустанно и при твердом убеждении в доброе дело идете вперед, да благословит вас бог и даст вам успех во всем благом, вами начатом. В России есть огромное число людей, которые живут спустя рукава, совершенно ничего не делая, и, конечно, не ими земля держится; но в ней есть также, хоть и немного, таких тружеников, каких, может быть, нигде нет под Луной, их удел труд и притом иногда тяжкие страдания; но им дана также полная вера в будущее, а претерпевший до конца тем спасен будет.

Простите, добрый Николай Романович, будьте здоровы и не забывайте ялуторовских стариков.

И. Якушкин³⁰.

26 августа 1856 года был издан коронационный манифест нового императора Александра II. XV статья манифеста объявляла о помиловании декабристов и высочайшем дозволении «возвратиться с семействами из Сибири и жить, где пожелают, в пределах империи, за исключением только С.-Петербурга и Москвы».

Якушкин по болезни не смог сразу воспользоваться царской «милостью». Только весной 1857 года он отправился из Ялуторовска. Позади оставались ставшие родными места поселения, могилы друзей, спаянная годами единая семья ссыльных декабристов.

²⁸ Система школьного обучения, введенная английскими педагогами Д. Ланкастером (1778—1838) и А. Беллем (1753—1832),— система взаимного обучения, при которой учитель использует в качестве своих помощников сильных учеников.

²⁹ ЦГИА СССР, ф. 970, д. 20, лл. 18—19.

³⁰ Там же, ф. 1657, оп. 1, д. 75, лл. 1—2.

Москва и Петербург встретили возвращающихся декабристов как героев. Дом, где Волконские временно остановились по пути из Сибири, стал одним из самых модных. К ним «беспрерывно являются для представления или для возобновления старого знакомства; молодые люди и литераторы просят дозволения быть представленными...». Московская интеллигенция часто посещала Якушкиных. «Всякий день посетителей бывает так много,— писал сыну И. Д. Якушкин,— что во все это время я не имел свободной минуты и потому не писал к тебе».

Вскоре последовало распоряжение правительства об удалении декабристов из «губерний Московской и С.-Петербургской». Старого и большого декабриста приютил в своем имении прежний однополчанин. 11 августа 1857 года Якушкин скончался. Перед смертью он отказался совершить обряд причащения и принять святыне таинства.

Е. Оболенский писал: «Если можно назвать кого-нибудь, кто осуществил своей жизнью цель и идею Общества, то, без сомнения, его имя всегда будет на первом плане».

6

Еще в Сибири И. И. Пущин начал составлять список умерших декабристов. А. Е. Розен продолжил «Некролог товарищей, умерших в изгнании, убитых на Кавказе, скончавшихся по возвращении на родину».

Один за другим уходили из жизни «великие старики». Грустью и болью отзывалась на каждый помещенный в газетах некролог передовая русская общественность, исполненная, по словам А. И. Герцена, «беспредельного уважения к доблестным сподвижникам Пестеля и Рылеева». Их гражданский подвиг продолжал оказывать глубокое идейное и нравственное влияние на формирование новых революционных поколений, превращаясь в исторический символ российского освободительного движения.

Революционная молодежь второй половины XIX века с огромным уважением относилась к героическому поколению 20-х годов, видя в нем живой пример благородного служения делу революции.

Царское правительство с беспокойством следило за ростом общественного интереса к декабристам, о чем свидетельствует следующий документ, публикуемый впервые: «III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии

ДОНЕСЕНИЕ

28 апреля 1875 г.

Секретно.

В декабре нынешнего года исполнится 50 лет со времени известного бунта декабристов. По этому случаю в кружках учащейся молодежи и в среде наиболее пылких литераторов начинают высказываться мнения о необходимости почтить этот 50-летний юбилей какою-либо манифестацией. В настоящее время в обращении появилось большое количество экземпляров «Записок декабриста» бар. Розена, изданных за границей и наполненных, как известно, глубочайшего порицания покойному императору Николаю Павловичу. Во всяком случае, юбилей декабристов служит темой многих интимных бесед горячих умов, и есть основание думать, что к празднованию годовщины в продолжение лета будет сделана какая-нибудь подготовка в виде подпольной программы, воззвания и т. п.»³¹.

История декабристов явилась для русского общественного движения нравственным уроком мужества, благородства, патриотизма. Несмотря на стремление царского правительства, физически уничтожившего руководителей движения, совершить новую казнь, уничтожив самую память о декабристах, предав их полному историческому забвению, герои 14 декабря вызвали восхищение и гордость передовых людей своего времени.

Перед этими патриотами благоговели честные современники, с уважением склоняются потомки.

³¹ ЦГАОР СССР, ф. 109, секретный архив, оп. 1, д. 51.

Ю. ДОМБРОВСКИЙ

★

«И Я БЫ МОГ...»

Заметки и размышления писателя

«И я бы мог как...» — остальное зачеркнуто. Но первое из зачеркнутых слов читается ясно: «шут». А вот дальше неразборчиво: не то «на», не то «ви», но скорее, кажется, «ви».

И я бы мог как шут ви (сеть?)

Внизу нарисована виселица, и не какая-нибудь, а именно лета 1826 года, с телами декабристов. Так осенью того же года Пушкин попробовал зримо представить себе, что с ним случилось бы, окажись он год назад на Сенатской площади с четырьмя из этих пяти.

А затем на листе портреты, портреты... Две пляшущие фигуры, не то чертики, не то еще какая-то паутинная нежить. И опять — «И я бы мог...». Там, где лист уже обрывается, еще одна виселица. Нарисованы стена крепости, вал, закрытые ворота, даже крючки на виселице, каземат, а на крыше каземата что-то когтистое, железное, крючковатое — не поймешь что. Скучный смертный пейзаж... (см. Т. Г. Цявловская, «Рисунки Пушкина», 1970, стр. 89).

«В этом проклятом заговоре замешаны также знаменитые писатели Пушкин и Муравьев-Апостол. Первый — лучший стихотворец, второй — лучший прозаик. Без сомнения, оба поплотятся головой», — сообщал 3 февраля 1826 года своему корреспонденту известный чешский просветитель Франтишек Челяковский. Он спутал С. И. Муравьева-Апостола с его отцом И. М. Муравьевым-Апостолом, написавшим «Путешествие по Тавриде», но грозящую опасность уловил очень точно.

Споры о степени участия Пушкина в движении декабристов, о готовности поэта выехать в Петербург в декабрьские дни 1825 года возникла среди исследователей много позже. Одни говорили: «Вряд ли можно сомневаться и в самом намерении Пушкина выехать в Петербург. Что же касается целей этого (пушкинского.— Ю. Д.) выезда, то всякое решение этого вопроса более или менее гипотетично» (сб. «Пушкин. Итоги и проблемы изучения». М.—Л. 1966, ч. 2, гл. 2, написанная В. Вадуру). Или: «Можно говорить об очень большой близости Пушкина к декабристам. Но абсолютно нет никакой надобности разукрашивать эту близость легендами» (А. Шебунин, «Пушкин и декабристы» — в сб. «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», т. 3. М.—Л. 1937). (Под «легендой» подразумевались доводы тех пушкинистов, которые доказывали, что Пушкин был посвящен в заговор и ждал вызова своего друга декабриста Пущина.)

Другие исследователи — М. Нечкина, Д. Благой, А. Эфрос, М. Цявловский, Т. Цявловская-Зенгер — «легенду» защищали (иные из них, правда, с некоторыми оговорками). Вот об этой «легенде» и о том, легенда ли она, я и хочу высказать свои соображения. Уж много лет я интересуюсь проблемой, и несколько раз она поворачивалась ко мне все новыми и новыми гранями.

Начну с одного очень личного воспоминания. В 30-х годах мне некоторое время пришлось работать в Республиканской библиотеке Казахстана (тогда она не именовалась еще Пушкинской). Таких, как я, там работало человек пять, и называли нас

«индексикаторами». Книг было много, как потом оказалось, больше полумиллиона. Все они лежали в подвале в шершавых, плохо сбитых ящиках, и когда эти ящики расколочивали, а книги вытаскивали и складывали в общие кучи, уже невозможно было определить, что тут и откуда. Книги привозили из Оренбурга, Уральска, Петропавловска, Семипалатинска, из прочих старых сибирских и исконных русских городов. И каких только библиографических диковинок — фолиантов, залитых золотом, томов и томиков в пожелтевшей свиной коже — я тогда не рассмотрел!

Но особенно мне запомнились две книги. Они лежали на самом дне не ящика, а древнего бурого сундука. Кто-то (очевидно, сам хозяин) завернул их в толстый лист серой оберточной бумаги да еще обвязал и запечатал сургучом. Сургуч я сорвал и, надо сказать, разочаровался — ничего особенного, как мне показалось, под ним не было: третья часть альманаха Кюхельбекера «Мнемозина» за 1824 год (книга хотя не частая, но и не так уж редкая) и увесистый томик карманного формата, в крепком кожаном переплете — Фенелон, «Путешествие Телемака», Париж, 1703 год. Книгу эту не только много читали, но и штудировали. Отметки штудий остались на каждой странице, а кое-где и над каждой строкой. Но дело было не в этих не совсем понятных маргиналиях, а в надписи на первой чистой странице: «Книга, оставленная А. Пушкиным в Уральске. И. Кастанье». Об Иосифе Антоновиче Кастанье, ученом секретаре оренбургской архивной комиссии и преподавателе французского языка в оренбургской гимназии, я в то время был уже начитан и насышан порядком. Был он человек ученый, деятельный, осмотрительный, и к его свидетельству стоило прислушаться. Во всяком случае, его статьи и описания древних памятников вошли во все монографии об архитектуре Средней Азии. И все же этого явно недостаточно, ведь никаких обоснований для своего утверждения — вот эта самая книга принадлежала действительно Пушкину и он оставил ее в Уральске — Кастанье не приводил. Да и то сказать — для чего бы Пушкин взял в такую дальнюю и трудную дорогу (поездка по пугачевским местам) «роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный, без романтических затей»? Ведь он, конечно, успел ему осточертеть даже не «в садах Лицея», а в отрочестве в Немедкой слободе. С этого «Путешествия» да еще с басен Лафонтена и начиналось на Руси обучение дворянских и чиновничьих детей французскому языку. Правда, Пушкин многие годы обостренно интересовался судьбой, пожалуй, первого героического неудачника и подвижника русской литературы — В. Тредиаковского. Главным же, или, во всяком случае, самым известным, трудом почтенного Василия Кирилловича была «Телемахида» — переложение романа Фенелона русским гекзаметром. Именно из этой огромной, осмеянной современниками и потомками эпопеи другой великий подвижник — Радищев взял эпиграф уже для своего «Путешествия из Петербурга в Москву». А Радищевым Пушкин интересовался по-особенному («Вслед Радищеву восславил я свободу»). Так что какие-то мотивы перелистать Фенелона Пушкин, наверное, имел. К тому же не исключено и такое: на одной из почтовых станций какое-нибудь помещицье дитя или гувернантка (страницы хранят как будто бы ее пометки) просто забыли книгу, а Пушкин ее подобрал, а потом так же легко оставил, может быть, на следующей же почтовой станции. Все это теперь никак не установишь, и я, подумав, просто отнес книгу в отдел редких изданий: «Вот вам книга начала восемнадцатого века, возьмите». Так и простоял этот томик почти сорок лет и стоял бы еще сто, если бы в юбилейные дни о нем не вспомнили как еще об одной вновь обретенной книге из библиотеки Пушкина. Что ж, так тому и быть.

Но вот альманах «Мнемозина», когда я стал его листать, потряс меня по-настоящему. (Увы! Кажется, он скоро пропал, как изрядное количество книг из этой библиотеки.) На титульном листе его была надпись: «Кондратию Федоровичу Рылееву от Кюхельбекера». Чернила желтые, орешковые, буква «р» с фигурным завитком, я хорошо запомнил это, — так писали люди конца XVIII века. Никаких пометок в книге не было. Но зато было другое, не менее для меня волнующее: на страницах остались округлые, зеркально вывернутые отпечатки букв. Кто-то поспешно сунул в книгу исписанный листок с еще не просохшими чернилами. Что это могло быть? Письмо? Стихи? Но чьи же? Кюхельбекера? Рылеева? Другого неизвестного владельца книги примерно того же времени? (Те же старые желтые чернила.)

Обо всем этом теперь можно только гадать, вернее — фантазировать. Вот я и фантазировал. Вряд ли исчезнувший листок принадлежал Кюхельбекеру. Кто же подносит книгу с испачканными листами? Да и в самой скоропалительности чувствуется что-то внезапное, стремительное, тревожное. Я долго старался как-то осмыслить эти дужки, скобки, черточки, смотрел их и так и в зеркало, показывал другим, но ничего, конечно, не вышло.

В альманахе «Мнемосина» во всех трех частях печатались стихи Пушкина, Кюхельбекера, Вяземского, стихов Рылеева там не было, он в то время издавал «Полярную звезду» и в других альманахах, понятно, не участвовал. Но кто-то, кому попала в руки эта книга (по всей вероятности, тот же Кастанье), связал ее бечевкой с другой — со старинным французским томиком, который, как он верил, принадлежал Пушкину.

Так сошлись для меня три имени — Пушкин, Кюхельбекер, Рылеев.

В годы моего детства на школьных тетрадах почти всегда помещались портрет Пушкина, лира, лавровый венок либо памятник на Тверском бульваре: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой». А в первые же месяцы революции уже появились другие тетради — с репродукцией картины Ге. «Пушкин в Михайловском читает Пущину «Кинжал» — так по крайней мере объяснили нам при раздаче этих тетрадей. Почему же именно «Кинжал»? Ведь стихотворение написано намного раньше встречи друзей в Михайловском и Пущин скорее всего знал его в ту пору наизусть. Да и лица у друзей не особенно подходящие для такого чтения — они же улыбаются. Но нет, мы, первоклассники, твердо знали, что Пушкин читает именно стихи, напечатанные на последней странице тетради:

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды.
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Бессмертная Немезида! Карающий кинжал! Последний судия позора! — какие строки! Какие пронзительные, обнаженные, прямые, действительно кинжальные слова! В них так и чувствуется скрежетание стали. После уроков мы бежали на Тверской бульвар и видели Пушкина с красным флагом в руке. И все вокруг него было красным — ленты, лозунги, цветы. Так и вошел в нашу ребячью память, в мою, да и, пожалуй, всего поколения десятых годов, кануна революции, этот железный ряд — Пушкин, Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол. Все они были молодые, красивые, смелые и потому, конечно, погибли. Но так оно и должно было быть — в такой гибели не было ничего страшного! Только возвышенное! Только героическое! И этим героическим и жертвенным был освещен весь образ молодого Пушкина.

А однажды на школьный вечер (это было в самый разгар Февральской революции) к нам приехал писатель (кажется, А. Толстой), и он долго говорил о Пушкине и революции, а потом сказал: «В своей потаенной тетради Пушкин нарисовал виселицу и написал: «И я бы мог как шут...» Пушкин поехал, чтобы присоединиться к декабристам, и, вероятно, тоже погиб бы в петле, если бы ему дорогу не перебежал заяц». И это для нас тоже не было страшным, потому что, во-первых, «где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?». А потом, этот заяц. Ну к чему он тут? Заяц для нас был фигурой очень несерьезной.

Но через несколько месяцев пришел очередной номер «Огонька». Целую страницу в журнале занимала статья «Таинственная находка на о. Голодай в Петрограде»:

«В «Биржевых ведомостях» недавно появилось сообщение секретаря Общества памяти декабристов В. В. Святловского о знаменательной находке на о. Голодай в Петрограде могил и останков 5 казненных декабристов, находке, произведенной 1 июня с. г. во время прокладки водопроводных труб около одного строящегося на острове здания. На глубине двух с лишним аршин, позади двухэтажной каменной постройки, на дне узкой и отчасти покрытой водой траншеи видны были остатки трех полуразрушенных гробов, стоящих близко друг от друга.

2 июня В. В. Святловский, руководивший работами, нашел на протяжении 2 $\frac{1}{8}$ са-

женей остатки пяти гробов, из которых только один, первый из найденных, представлял собой нечто более цельное.

В этом лучше сохранившемся гробе были видны останки человека, одетого в форму полковника александровского времени.

Хорошо сохранились части мундира, эполеты, а также обувь на ногах. Обращало внимание большое количество ремней, найденных на ногах трупа, что давало возможность предположить, что ноги трупа были связаны этими ремнями.

Все остатки были тщательно собраны и сфотографированы.

Все собранные предметы, тщательно уложенные в лучше сохранившийся гроб, а равно остатки остальных гробов перенесены в подходящее помещение и сданы на хранение. Возникает серьезный вопрос, представляют ли пять найденных гробов действительно гробы пяти казненных декабристов.

Местонахождение могил совпадает с рассказами старожиллов и литературными данными. Военная форма первого гроба относится к 20-м или 30-м годам прошлого столетия...

По определению военных, бывших на раскопках, найденная форма могла принадлежать только штаб-офицеру, полковнику или подполковнику. Похороненный был положен в гроб без оружия, а самые гробы были поставлены, по-видимому, в общую могилу, не в обычном порядке, чересчур тесно один к другому, не так, как обычно хоронят на православных кладбищах...» («Огонек», 1917, № 23).

А на другой странице — черная длинная фотография: разваливающийся гроб без крышки, а из него торчит что-то очень страшное, неприбранное хозяйство нагой и наглой смерти. Треугольная шляпа, лохмотья мундира, длинные берцовые кости, еще что-то такое же. Чьи это останки? Действительно ли пяти повешенных? За это как будто говорит и количество гробов, их именно пять, и место захоронения, и обстоятельства, ему сопутствующие. Но как в гробу оказался мундир? Если осужденных вешали в мундирах, то почему мундир только один? Военных-то было трое! А ремни на скелете — они что такое? Разве ноги смертников связывают ремнями? Но тогда чьи же это гробы? Кого здесь, черт возьми, тайно задушили, а потом так же тайно зарыли? Какое еще злодеяние скрыто в окаянной земле скотского кладбища острова Голодай? Говорят, тут была тайная канцелярия.

Никто никогда мне так и не ответил на эти вопросы. В те времена было не до того, а потом и саму публикацию забыли настолько прочно, что я не встречал людей, которые ее помнят.

«И теперь нам точно неизвестно место погребения пяти казненных декабристов. Считается, что вдова Рылеева точно знала место могилы. Это остров Голодай, т. е. северная оконечность Васильевского острова... Мысли о декабристах, то есть об их судьбе и конце, неотступно преследовали Пушкина... Я не допускаю мысли, чтоб место их погребения было для него безразлично... Скорбный интерес, который проявлял к этому месту Пушкин, трижды описывая его... позволяет нам предположить, что и он искал безымянную могилу на Невском взморье» — так писала А. А. Ахматова в заметках, помеченных январем 1963 года.

И еще: «Над виселицами... Пушкин пишет: «И я бы мог как шут», а в стихах к Ушаковой — «Вы ж вздохнете ль обо мне, если буду я повешен?..», как бы присоединяя себя к жертвам 14 декабря. А безымянная могила на Невском взморье должна была ему казаться почти его собственной могилой...»

«Как шут...» — эти потешные крошечные фигурки в колпачках и лоскуточной одежде еще в мое время продавали на вербное воскресенье. Они висели в ряду на длинной палке, и когда их дергали за нитку, они корчились. Вот так бы мог висеть и Пушкин. В мои школьные годы я думал именно так. Потом, в студенческие, стал рассуждать иначе — мог бы, да заяц помешал.

Так вот об этом зайце.

«Известие о кончине императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидаться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его

непослушание, он решился отправиться туда; но как быть? В гостинице остановиться нельзя — потребуют паспорта, у великосветских друзей тоже опасно — огласится тайный приезд ссыльного. Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь не светскую, и от него застаться сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот на пути в Тригорское заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское ему — еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой¹. В этот рассказ верили. С. А. Соболевский, опубликовавший его в № 7 «Русского архива» за 1870 год, был близким другом Пушкина и, конечно, многое о нем знал.

Имеются и варианты: Пушкин поехал в Петербург после известия о смерти императора затем, чтобы «узнать положительно, сколько правды в носящихся разнородных слухах, что делается у нас и что будет...». Ехал он, «рассчитав время так, чтобы прибыть в Петербург поздно вечером и потом через сутки же возвратиться. Поехали; на самых выездах была уже не помню какая-то дурная примета... Вдруг дядька указывает с отчаянным возгласом на зайца, который перебежал впереди коляски дорогу» (В. И. Даль, в записи Л. Майкова).

О зайце рассказывает также соседка Пушкина по имени М. И. Осипова. И наконец, со слов брата Пушкина Льва Сергеевича (Левушки) декабрист Н. И. Лорер (только тут заяц превращается в попа).

«Да не было тут зайцев! Не было ни зайцев, ни попов,— говорил нам, студентам Высших государственных литературных курсов, а короче — ВГЛК, почтеннейший и ученейший Мстислав Александрович Цявловский и, распаяясь, даже повышал голос. Видимо, ему эти несчастные зайцы изрядно потрепали нервы.— Не требовался тут кой-кой — вот его и не было. Не собирался Пушкин покидать Михайловское».

Мстислав Александрович — львиная грива, безукоризненной чистоты воротничок, суровый взгляд из-под очков и добрейшее сердце — о Пушкине знал буквально все. На его лекциях мы действительно испытывали эффект присутствия, чувство того, что Пушкин вот здесь, рядом с нами. Но в этом случае мы с ним не согласились.

Хорошо, а свидание Пушкина с Пуцциным в январе 1825 года в Михайловском, спрашивали мы его, а стихи, посвященные Пуццину — «Мой первый друг, мой друг бесценный...»? Так неужели и тогда Пушкин не спросил друга о тайном обществе? Ну да, Пушкин спрашивал, а Пуццин отмалчивался. Причины объяснил сам Пуццин: «Я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня». Но ведь эти строчки относятся еще к первым послелицейским годам, с тех пор прошло шесть лет, и каких лет! Разве Пушкин не доказал на деле свою стойкость? «Нет! — отвечал Мстислав Александрович. — Ничего он не доказал. Разговор о тайном обществе, конечно, возник, но тут же и кончился. Да и Пушкин ни на чем особенно не настаивал, ведь он сам сказал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пуццин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою,— по многим моим глупостям». И тогда — «молча, я крепко расцеловал его». Вот и все. При чем же тут заяц? Нет тут места для зайца!»

А примерно года через два Мстиславу Александровичу пришлось свое мнение переменить. Он присутствовал при разборе остатков вновь открытого пушкинского архива. В нем были бумаги хозяйственные — доклады управителей, — бумаги исторические (указ Пугачева, копия рапорта о взятии Арзрума, счета, планы). Судьба этой части архива примечательна: его теряли, снова находили и снова он проваливался сквозь землю, чтобы возникнуть через десятки лет на том же самом месте. В старом помещицком доме на станции Лопасне, куда наследники свезли остатки пушкинских бумаг, было много закоулков, кладовых, чердаков, и в них десятилетиями нарастали завалы

¹ Соболевский явно ошибался: Александр I «скончался в одиннадцатом часу утра 19 ноября 1825 г. Сейчас же после смерти его из Таганрога выехали с извещением об этом два фельдъегера — один в Варшаву... другой в Петербург...»

Первый фельдъегеръ приехал в Варшаву в седьмом часу вечера 25 ноября, второй прибыл в Петербург в двенадцатом часу дня 27 ноября. От этих фельдъегерей по пути их следования и узнавали неофициально о смерти Александра. Таким образом до Пушкина весть о смерти царя легко могла дойти 29 ноября» («Литературное наследство», № 16—18, стр. 1170).

старой мебели, бумаг, портфелей, ящиков, сундуков. В одном из таких ящиков лет восемьдесят хранились тетради истории Петра. И хотя были они никому не ведомы, но нельзя сказать, чтобы их уж вовсе не трогали. Отнюдь! «Наталья Ивановна Гончарова (племянница Натальи Николаевны Пушкиной) обратила внимание на исписанные листы, которыми была устлана клетка с канарейками... Тогда только и был обнаружен в кладовой затерявшийся ящик, оказавшийся в уже раскрытом виде, с бумагами, погрызенными мышами, и очевидно, что часть их уже уничтожена». Можно себе представить, что профессору Попову, которому первому пришлось заниматься «Историей Петра», не очень легко дались приведенные выше строчки. Ведь часть тетрадей «Истории Петра» так и пропала, разойдясь по канареечным клеткам да мышьиным гнездам. Но как бы там ни было, портфель с пушкинскими документами наконец обретен (в третий раз!) за шкафом, а документы принесены в Государственную библиотеку имени Ленина.

Документов много. Сто. Были они завернуты в затрепанную газету такой ветхости, что, увидев ее на следующий день, Цявловский гневно воскликнул: «Ведь так он мог и все растерять по дороге!» Принес эти бумаги внук поэта Григорий Александрович Пушкин, человек уже немолодой, но отлично сохранившийся. Его военная выправка видна даже на фотографии. Как и его отец, он пошел по военной линии и в свое время дослужился до подполковника. В советское время работал в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина, но в самих рукописях разбирался, видимо, мало. «Здесь автографов деда нет,— сказал он. (Их оказалось семь.)— Здесь всякие хозяйственные бумаги». Гвоздем этих хозяйственных бумаг был следующий документ:

«БИЛЕТ

Сей дан села Тригорского людям: Алексею Хохлову росту 2 арш. 4 вер., волосы темно-русые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29, да Архипу Курочкину росту 2 ар. 3 $\frac{1}{2}$ в., волосы светло-русые, брови густые, глазом крив, ряб, лет 45, в удостоверение, что они точно посланы от меня в С. Петербург по собственным моим надобностям, и потому прошу господ командующих на заставах чинить им свободный пропуск. Сего 1825 года, ноября 29 дня. Село Тригорское, что в Опоческом уезде.

Статская советница Прасковья Осипова»².

Ниже сургучная пушкинская печать. Профессора посмотрели, подивились, как мог такой неинтересный хозяйственный документ из соседнего поместья попасть к Пушкину. Зачем? Документы отослали в Ленинград, и тут Л. Б. Модзалевский сделал ошеломляющее открытие: «Слушайте, да это же пушкинский автограф!» Тогда и выяснилось, что билет с начала до конца написан Пушкиным и что голубоглазый темно-русый двадцатидевятилетний крепостной помещицы Осиповой Хохлов Алексей и есть он сам, Пушкин. А Архип тоже числится в ревизских сказках. Это тот садовник Архип Кириллович Курочкин, которого Пушкин посылал в Тригорское за забытыми там пистолетами, когда за ним прискакал нарочный от псковского губернатора («Пистолеты-то, маленькие такие, были в ящичке, жандарм увидел и говорит: «Господин Пушкин, мне очень ваши пистолеты опасны». «А мне какое дело? Мне без них куда нельзя ехать; это моя утеха» — из рассказов кучера Пушкина Петра Парфенова).

Очень примечателен и сам билет. Почерк, которым он написан, и подпись, которой скреплен, словно принадлежат разным людям. И каждый из них имеет свою биографию и социальную принадлежность. Билет будто писал человек уже пожилой, учившийся в прошлом веке на медные деньги. Он изрядно поднаторел в написании поминаний, здравий, а потом был забран помещиком к себе. Строчки ровные, четкие, каждая буква отдельно, в буквах много воздуха и просветов, поэтому текст читается сразу, без напряжения. Это образцовое графическое клише конца XVIII века. Буквы стоят прямо, как солдатики, все они одинаковой высоты и ранжира. И в каждой строчке количество их примерно одинаково. Такие почерки вырастали из полуустава. Они рождались в деревне, а не в городе. Уже гоголевский Акакий Акакиевич писал иначе, его почерк формировался в столичных канцеляриях. У Акакия Акакиевича буквы были неровные, каждая имела свой особый характер, у него были даже свои любимицы, а заглавные представляли собой подлинное произведение графологического искусства.

Почерк, которым выписан билет, совсем не таков. Этим почерком писались метри-

² Сб. «Звенья». т. 3—4, 1934, стр. 146.

ческие записи, копии указов, ревизские сказки, всякое другое, выходящее из усадебной канцелярии. Выше чем в казенную палату или в крайнем случае к губернатору такие бумаги не поднимались. Надо было обладать исключительным графическим мастерством, чтобы создать документ такой безукоризненной подлинности, в сущности — портрет крепостного писца.

Подпись же помещицы Осиповой сделана другим, острым пером. Это почерк человека иного происхождения. В нем свобода, легкость, плавность. В нем властность сочетается с мягкой женственностью. Это действительно высокая рука госпожи.

Когда был использован этот билет? В начале декабря? Или ближе к дням восстания?

Обратимся снова к «Запискам» Пущина. «Он спросил меня: что об нем говорят в Петербурге и Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка». Тут слова стоят в превосходной степени, если царь перепугался, то «ужасно», если успокоился, то только тогда, когда узнал, что Пушкин, да не тот.

Конечно, если поэт так определял отношение императора к нему, надеяться ему было совершенно не на что. Его самовольный приезд в Петербург повлек бы за собой неизбежный арест.

Но вот «властитель слабый и лукавый» умер. К этому времени, очевидно, и относится рассказ кучера Пушкина П. Парфенова. В город Новоржев Пушкин ездил? — спросил его. «Не запомню, ездил ли, — ответил старый кучер. — Меня раз туда послал, как пришла весть, что царь умер. Он в этом известии все сомневался, очень беспокоен был, да прослышал, что в город солдат пришел отпускной из Петербурга, так за этим солдатом послал, чтоб от него доподлинно узнать».

А раз умер, ссылка Пушкина приобретает несколько иной характер. Ведь он был сослан без предъявления обвинения, по личному приказу императора. Поэтому его появление в Петербурге вряд ли, считал он, будет расценено властями как большой проступок. К тому же новый монарх приходит всегда с милостивыми манифестами и прощениями. А легче всего простить того, кто и не был формально осужден.

Вот так, по-видимому, можно объяснить этот загадочный документ из помещицкого архива³.

Но что же дальше? Пушкин проехал несколько верст и вернулся. Почему? Действительно, заяц дороге перебежал? Поп встретился? Еще случилось что-нибудь подобное? Вполне, вполне вероятно. Любая примета или препятствие могли повернуть Пушкина назад. Ведь ехать он решил сгоряча, на авось, поддавшись первому впечатлению, без всякой твердой уверенности в успехе (и верно, Жуковский через несколько месяцев спустя решительно советовал Пушкину в Петербург не рваться, а смиренно сидеть и писать: «Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы»).

А раз так, то вспомним Шекспира: «Соломинкой перегородите путь мне, и я послушно поверну назад».

Вот заяц и явился такой соломинкой. Пушкин возвратился и больше Михайловское не покидал.

Он чего-то ждал. Чего же?

В 1930 году, за четыре года до опубликования билета, М. В. Нечкина в статье «О Пушкине, декабристах и их общих друзьях» впервые процитировала несколько строк

³ Противники «легенды», считая, что документ не имеет отношения к поездке Пушкина, обычно ссылаются на статьи А. Шебунина и С. Гессена. Но что касается Шебунина, то он, не приводя каких-либо новых доводов, просто ссылается на статью С. Гессена «Пушкин накануне декабрьских событий 1825 года». Гессен же исходит из ложной предпосылки, что Пушкин подделал только самый текст билета. Но в том-то и дело, что подпись помещицы, как и весь текст, фальсифицированы тоже Пушкиным. Эта подпись даже несколько не напоминает обычную роспись П. А. Осиповой, которую Пушкин, конечно, знал. «Даже ей (Осиповой. — Ю. Д.), обычно посвящаемой поэтом в его дела, Пушкин не решился доверить свой план», — пишет М. А. Цявловский. Следует отметить также, что Гессен, высказывая свои соображения, не скрывал того, что цель подделки ему совершенно не ясна («Каково же происхождение этого таинственного документа? Мы сейчас не беремся дать исчерпывающий ответ»).

из неизвестных тогда записок декабриста Н. И. Лорера. «Однажды он (Пушкин.— Ю. Д.) получает от Пущина из Москвы письмо, в котором сей последний извещает Пушкина, что едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Александром Сергеевичем. Недолго думая пылкий поэт мигом собрался и поскакал в столицу. А дальше речь идет опять о дурных приметах. «Не будет добра»,— сказал Пушкин и вернулся («Каторга и ссылка», 1930, № 4). И вот, похоже, в наших руках оказывается тот момент истины, исходя из которого можно себе представить, что случилось на самом деле. Возвратимся снова к запискам Пущина. При их свидании в Михайловском сначала разговор друзей заходит о том, как Пушкин очутился в деревне. Тема эта личная, интимная и для Пушкина не особенно приятная. Пущин почувствовал, что касается чего-то очень щекотливого, и расспросы прекратил. Наступила пауза. Тогда Пушкин и спросил, что о нем говорят в Петербурге и Москве. И, не дожидаясь ответа, сам стал рассказывать, как он перепугал императора. Вывод для обоих был ясен: в это царствование ни в Петербурге, ни в Москве Пушкину не бывать. А царю еще и пятидесяти нет, он здоров и бодр. На этом разговор, видимо, и прервался, чтоб через несколько часов возникнуть уже на совсем другом уровне.

Пущин не мог не почувствовать настроение друга. А друг метался, нервы у него были натянуты до предела, каждую минуту можно было ожидать срыва, катастрофы. От этого тревожного времени сохранилось письмо П. А. Осиповой Жуковскому. Сначала она пишет о том, что воздух Пскова не менее опасен для поэта, чем воздух Сибири. А потом: «Он теперь так занят своим положением, что без дальнего размышления из сгня вскочит в полями, а там поздно будет размышлять о следствиях. Все здесь сказанное не густая догадка» («Голос минувшего», 1916, № 1). Известен также следующий очень показательный факт: А. Н. Вульф собирался летом 1825 года за границу и предлагал Пушкину увезти его с собой под видом слуги. «Дошло ли бы у нас дело до исполнения этого юношеского проекта,— говорил впоследствии А. Вульф,— не знаю; я думаю, что все кончилось бы на словах». А сам Пушкин в письме к Вяземскому так определял свое положение и самочувствие: «Друзья обо мне хлопочут, а мне все хуже и хуже. Сгоряча их проклиная, обдумую, благодарю за намерения. А все же мне не легче».

Всего этого Пущин, конечно, не мог не заметить. Вот тогда, опасаясь катастрофы, он, видимо, и открыл Пушкину очень многое. Не беда, мог сказать он, что царь здоров и бодр, не беда, что он еще не стар. Есть люди, есть дело. Свобода придет только с этой стороны. А пока Пушкин должен смиренно сидеть в Михайловском и ждать письма от Пущина. А получив его, немедленно выезжать. Видимо, при свидании была названа и явка — квартира Рылеева в доме Русско-американской компании. Именно этим и объясняется такое до сих пор не совсем понятное место в рассказе Соболевского: «Положил сперва заехать к Рылееву на квартиру и от него запастись сведениями». Но почему же именно к Рылееву? Разве не было в Петербурге того же Дельвига? Рылеев «вел жизнь не светскую»,— объясняет Соболевский. Объяснение, надо сказать, довольно натянутое. Близко с Рылеевым Пушкин знаком не был. Наоборот, сначала была ссора, едва не закончившаяся дуэлью, затем примирение. Вот и все.

Но, конечно, Пущин Рылеева назвал не зря. Ведь именно Пущин принял его в тайное общество, то есть как бы являлся его патроном. А что они говорили о Рылееве, Пущин того не скрывает: «Пушкин просил, крепко обнявши Рылеева, благодарить его за патриотические «Думы»».

Но точно ли за «Думы»? Ведь Пушкину они никогда не нравились. И он вслух говорил об этом. Весть об этом дошла и до самого Рылеева. «Пушкин суд мне строгий произнес и слабый дар как тайный недруг взвесил» («К А. А. Бестужеву»),— писал он тогда же. Так что благодарить за «Думы» Пушкин никак не мог. Это выглядело бы насмешкой. Не ошибся ли Пущин?

Нет, не ошибся. Он только сказал полуправду. И вот тут, кажется, приоткрылся крошечный краешек завесы, которую Пущин набросил на это свидание. В самом деле, как он мог забыть то, что привез письмо от Рылеева? А в нем, между прочим, были такие строки: «Я пишу к тебе: ты, потому что холодное в вы не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям. Пущин познакомит нас короче... ты около Пскова: там задуманы последние вспышки Русской свободы...» Очень знаме-

нательные слова. (И опять Псков!) Познакомить двух поэтов короче? Как же? Конечно, открыв Пушкину душу и мысли Рылеева! Так как же Пущин мог забыть про такое-письмо? Все это очень странно. Разгадка, видимо, в том, что если вдуматься, внешне простодушные «Записки» окажутся далеко не так просты и откровенны. Они ларчик со скрытыми пружинами. Назовем тому два примера.

В послелицейские годы Пущин на Невском встречается отца поэта очень расстроенным. Сергей Львович рассказывает Пущину о какой-то новой «проказе» сына, да притом такой, что, пишет Пущин, «я задумался, и, признаюсь... мысль о принятии Пушкина (в тайное общество.— Ю. Д.) исчезла из моей головы». Так что же это была за «проказ»? «Право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется». В этом и все дело. Не хочется Пущину припоминать и еще очень многое. А когда избежать этого трудно, он отделяется неясной скороговоркой, разобраться в которой не всегда возможно. Так, несколько туманных фраз о швеях, работающих в няининой комнате («Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений... Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно... все было понятно без всяких слов»), породили в 20-х годах обширную полемику между В. В. Вересаевым и П. Е. Щеголевым. Эту особенность «Записок» Пущина надо принять во внимание. «Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обом нужно было вздохнуть». Так после чего вздохнуть? После молчания или разговора? Если после разговора, то получает разъяснение следующий неожиданный и малопонятный до сих пор факт: брат Пушкина Лев, по словам отца, «в день ареста Рылеева поехал к нему... понесли лошади... и когда добрался к Рылееву — тот был уже арестован и квартира его запечатана». Так рассказывала историку М. И. Семевскому младшая дочь тригорской помещицы М. И. Осипова. Теперь вспомним, что о письме Пущина мы знаем тоже только по рассказу этого самого Левушки. Таким образом, получается ряд — А. Пушкин, Пущин, Рылеев, Лев Пушкин. По-видимому, Пущин назвал адрес Рылеева как место встречи не только Александру Сергеевичу, но и брату его.

Что произошло дальше, рассказывает М. И. Осипова. Был обычный зимний вечер в Тригорском. Барышни и хозяйка сидели за чайным столом. Пущин стоял у печки. Печки в помещичьих домах тогда делались высокие, жаркие, с синевато-белыми изразцами, около них хорошо было греться. О чем-то говорили. И вдруг хозяйке сообщили, что неожиданно приехал повар Арсений. Он был послан в город по хозяйственным нуждам и вот вернулся «в переполохе». Позвали, стали расспрашивать. «Арсений рассказал, что в Петербурге бунт, что он страшно перепугался, всюду разъезды и караулы, насилие выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услышав рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, но что именно — не помню. На другой день — слышим, Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебежал ему дорогу». Таково единственное свидетельство очевидца, записанное, правда, через сорок лет после события.

Источники других рассказов — Даля, Соболевского, Лорера (со слов Льва Пушкина) — нам неизвестны. Одноглазого садовника Архипа никто не догадался опросить. А кучер Петр Парфенов явно про поездку ничего не знал. Он при расспросах рассказал обо многом, но не об этом. Так что, очевидно, первоисточником всех рассказов является сам Пушкин.

А потом все было спутано и свалено в одну кучу. Зайцев оказалось много, и они все бежали и бежали. И между ними затерялся тот единственно достоверный заяц, который перебежал дорогу Пушкину, видимо, в самом начале декабря, когда поэт, убедившись в смерти императора, сгоряча решил появиться в Петербурге, чтоб узнать, «что делается и что будет», и через сутки вернуться в Михайловское.

Другие зайцы были уже ни к чему. Как и сама поездка. Пушкин ждал письма. Письмо не приходило. Пущин смог выехать в Петербург только 5 декабря (а просьбу подал 27 ноября). Дорога занимала два-три дня, значит, в Петербург он прибыл не раньше 8 декабря. И вряд ли сразу же сел за письмо. А между тем обстановка складывалась очень смутная. В стране возникали и множились странные слухи. Говорили о насильственной смерти императора. В десятых числах декабря слухи просочились за

границу. Пушкин продолжал ждать письма, а оно все не приходило. И наконец произошло то, о чем рассказывает Осипова, — приехал повар и рассказал об уже разгромленном восстании: везде караулы, по городу разъезжают конные. Ехать в Петербург в такой обстановке было бы, конечно, не только безумием, но и простой глупостью. И Пушкин остался. Вот тогда скорее всего и пришло столь запоздавшее и уже бесполезное письмо Пущина. Пушкин начинает готовиться к обыску и аресту. Он сжигает как само письмо, так и свои записки («...я принужден был сжечь свои записки. Они могли бы замешать имена многих, может быть, умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере, я в них говорил о людях, которые после стали историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства»). От этого тревожного времени остались рисунки — колонка профилей декабристов на большом листе бумаги: Пущин, Дельвиг (он ведь тоже мог быть замешан), Кюхельбекер (несколько раз) и Рылеев. Вот он — самый ощутимый след разговора. Он и свой портрет было поставил в этот ряд, но потом зачеркнул — может, потому, что он ему не удался, а может, оттого (догадка А. Эфроса), что понял: ему еще нет места в этой скорбной колонке, оно еще где-то впереди.

В первую годовщину казни он так и напишет:

Нас было много на челне:
 * * * * *
 Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
 Измял с налету вихорь шумный...
 Погиб и кормщик, и пловец! —
 Лишь я, таинственный певец,
 На берег выброшен грозою,
 Я гимны прежние пою
 И ризу влажную мою
 Сушу на солнце под скалою.

И на другом уже листе нарисует виселицу: «И я бы мог...»

Вот эта так резко оборванная и наполовину зачеркнутая строка и есть, по моему, главный, решающий аргумент во всем споре.

Из нее, как мне кажется, вытекает, что Пушкин был действительно посвящен своим рассудительным и спокойным другом во все и ждал только вызова. Иначе как же можно толковать эту строку над виселицей?

В самом деле — за что поэт мог ожидать себе петлю? За вольнолюбивые стихи? Но с тех пор прошло пять лет и он уже поплатился за них ссылкой.

А еще за что? Ведь все эти годы он прожил далеко от Петербурга, то есть от политической и общественной жизни страны, и ни в чем антиправительственном не участвовал.

Рисунок — виселица и надпись над ней сделаны год спустя после восстания, между 9 и 28 ноября 1826 года. Понятно, что первые дни после событий Пушкин мог ждать всякого. Но вот прошли и следствие, и суд, и казнь пятерых, состоялся уже разговор с Николаем I. Значит, очень уж обдуманна, очень уж отстоялась в душе эта строка над виселицей с телами пяти повешенных. Она итог пушкинских раздумий о своей судьбе и о возможном ее повороте.

Вот те выводы, которые, как мне кажется, можно сделать из всего изложенного. Конечно, все это только гипотезы. Но ведь и построения противников «легенды» гипотетичны не в меньшей степени.

Во Всесоюзном музее Пушкина в Ленинграде хранится странная реликвия — пять сосновых щепок в деревянном ящике. Раньше он был запечатан печатью Вяземского, а к крышке прикреплена записка: «Праздник Преполовения за Невою. Прогулка с Пушкиным. 1828 год». Ящик как ящик, черный, с выдвижной крышкой на пазах, и щепки — не очень большие, свинцово-серые, такие же, как и всякая старая древесина. Откуда они? При чем тут Пушкин? При чем праздник Преполовения? Кое-что, но далеко не все поясняет письмо Вяземского жене: «Сегодня праздник Преполовения, праздник в крепости. В хороший день Нева усеяна яликами, ботиками и катерами, которые перевозят народ. Сегодня и праздник ранее, и день холодный... Мы сядились с Пушкиным в лодочку... пошли бродить по крепости и бродили часа два... Много страшного и мрачного

и грознопоэтического в этой прогулке по крепостным валам и по головам сидящих внизу в казематах».

Так что это — просто щепки, подобранные где-то в Петропавловской крепости? Память о месте, и все? Пять щепок — пять казненных? Но почему тогда ящик был запечатан, а записка к нему так невразумительна: «Прогулка с Пушкиными»?! На эти вопросы сейчас невозможно ответить.

В том же году на черновиках «Полтавы» Пушкин снова рисует тела повешенных. Крупные, детальные рисунки. Казненные изображены со связанными руками, перекрученными шеями. Самые страшные из рисунков этой серии. «Можно сказать, что Пушкин, вернувшись вторично к зарисовке, пытался во второй раз еще нагляднее и острее представить себе жуткую картину мучительной смерти тех, с кем он был бы вместе во время восстания» (А. Эфрос).

И все-таки что означают эти пять стесанных топором щепок в наглухо запертом ящике? Неужели Пушкин и его друг имели какие-то основания полагать, что они завалялись здесь еще с тех времен, когда срубалась и ставилась эта проклятая виселица — одна на пятерых? С тех пор прошло ведь два года! Но, может быть, может быть...

В тревожные дни зимы 1826 года Пушкин рисовал не только декабристов, но и тех, кого он считал к ним причастными.

Баратынского он тогда не рисовал и ни в какую связь с событиями 14 декабря его не ставил. Набросал он его только через три года на тексте черновика «Полтавы», там же, где нарисовал фигуры повешенных. Набросал быстро, резко и, как всегда, мастерски. «Все эти черты, которые мы видим на разных портретах Баратынского, кажутся собранными как в фокусе в прекрасном, смелом наброске Пушкина» (Г. Г. Цявловская, «Рисунки Пушкина», 1970).

О политических взглядах Баратынского мы почти ничего не знаем, только, пожалуй, то, что он писал вольнолюбивые стихи и так называемые агитационные песни. О них упоминалось на заседании Верховного уголовного суда (сб. «Декабристы и их время», 1951). Но ни стихи, ни эти песни до нас не дошли.

«Сблизившись с Александром Бестужевым и Рылеевым,— пишет профессор К. В. Пигарев,— он принимает участие в сочинении вольнолюбивых куплетов, которые распевались на ужинах деятелей Северного общества. Возможно, что отрывком одной из таких песен и является приписываемый Баратынскому экспромт о свободе:

С неба чистая, золотистая
К нам слетела ты,
Все прекрасное, все опасное
Нам пропела ты!»

Впервые эти стихи появились в 1869 году в книге «Материалы для биографии Е. А. Баратынского» и были там представлены как «несколько стихов, дошедших до нас по воспоминаниям на эту тему (свобода.— Ю. Д.), внушенную ему (Баратынскому.— Ю. Д.) на одном из ужинов этой молодежи».

Мне кажется, что существует и еще отрывок из этих стихов. Находится он в романе М. Воскресенского «Черкес»:

Слетела к вам
С небесного я свода,
Пропела вам
Я песню о свободе!

Это как будто голос самой «девы Эвмениды», музы вольности святой. Но тогда ведь это не экспромт, а отрывок из стихотворения.

Фамилия М. И. Воскресенского сегодняшнему читателю ровно ничего не говорит, но в начале 40-х годов и до половины 60-х прошлого века он был очень расхожим плодовитым романистом охранительного толка. Роман, о котором идет речь, как литературное произведение стоит очень мало. Но ту общественную среду (кружки), в которой зарождались подобные песни (эти куплеты «визгливым» голосом поет один из участников кружка), он определяет довольно точно. Так как роман вышел в свет в 1839 году, хочется из довольно обширного описания, посвященного этим кружкам, процитировать несколько строк. Говорится о молодежи: «Все они принадлежали к тому жалкому, а более и смешному классу пустых людей, которых именно можно назвать недоволь-

ными. В 1825 году в Москве белокаменной больше, нежели когда-нибудь, развелось этой вредной, хотя и ничтожной моли в светлом хитоне, одевавшем всеобщее благоденствие, но теперь выбитой из него совершенно жезлом благоразумных распоряжений высшего начальства...»

«Все эти крикуны... по большей части молодые выскочки, не занимавшие по ограниченности своих понятий никаких должностей в обществе... любили говорить свысока, рассуждать важно о вещах, совершенно недоступных для их понятий, толковать о правлениях...»

«Кричать — разумеется, впрочем, не во весь голос и не везде,— что у нас в России все глупо, гадко, стеснено, что не дают простора уму юного поколения, что Аристократия давит плебейзм и что нет ни дороги, ни поощрения ничему изящному, высокому, героическому!»

Это, конечно, говорится не о самих декабристах, а о кругах молодежи, близкой к ним. Участь мятежников их миновала только случайно, а может быть, и вообще не миновала.

Есть один потрясающий документ, с которым мы познакомились совсем недавно.

«При возмущении 14 декабря 1825 года убито народа:

Генералов	1
Штаб-офицеров	1
Оберофицеров разных полков	17
Нижних чинов лейб-гвардии	
Московского	93
Гренадерского	69
Экипажа гвардии	103
Конного	17
во фраках и шинелях	39
женска пола	9
малолетних	19
черни	903
<hr/>	
Итого	1271 человек».

(«Заметка чиновника Департамента полиции С. Н. Корсакова о количестве жертв при подавлении восстания декабристов 14 декабря 1825 г.», хранящаяся в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина. Комплект открыток «Рукописные памятники». М. 1975, открытка № 13) ⁴.

Эта тысяча и есть та «светлая моль», как ее назвал Воскресенский, и такова, значит, была цена «благоразумных распоряжений высшего начальства».

В 1930 году, то есть сорок пять лет назад, М. В. Нечкина написала статью «О Пушкине, декабристах...» по неисследованным архивным материалам. Начинаясь статья так: «О Пушкине и декабристах исписаны горы бумаги. Кажется, об этом уже «все» сказано».

А совсем недавно, в 1975 году, появилась статья И. Ф. Иоввы «Новые материалы о связях Пушкина с декабристами» («Русская литература», 1975, № 2).

Новые материалы. Все новые и новые... Поистине бесконечная тема. Такая же неисчерпаемая, как и сам Пушкин!

⁴ Этот документ ошеломляет своей неожиданностью. Число жертв в нем оценивается в десять раз больше, чем считалось до сих пор. Но вот что писала М. В. Нечкина: «Официальному подсчету жертв 14 декабря (около 80 трупов на площади) верить, конечно, нельзя... Евгений Вюртембергский говорит о «нескольких сотнях...». Сенатор Дивов говорит о 200 человеках. Бутенев, склонный преуменьшать бедствие, пишет о том, что «молва» насчитывала до «300 душ убитых и раненых...» (М. В. Нечкина, «Движение декабристов», т. 2, 1955). Вспомним также свидетельство Н. Бестужева: «С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии... когда я оглянулся — между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы» («Декабристы». Л. «Художественная литература». 1975, т. 2, стр. 338. Николай Бестужев, «14 декабря 1825 года»).

А. ВИШНЕВСКИЙ



ИЗ ЛЕТОПИСИ ПОДВИГА

(Петр Долгоруков и люди 14 декабря)

История подвига и судеб героев декабря 1825 года всегда остается для нас поучительной и волнующей страницей русского освободительного движения. Каждая новая подробность этой истории, каждый новый факт, новое освещение уже известных событий дорого и важно для современности. Все, что связано с историей декабристов, важно и само по себе как свидетельство великих дел и великих мыслей, важно и как могучий воспитательный фактор: мужество умерших закаляет души живых, формирует благородные, патриотические характеры современников.

Подвиг людей 1825 года сыграл, как известно, огромную роль в революционном движении.

Много внимания и времени отдал изучению материалов о декабристах Владимир Ильич Ленин. Откуда брал он факты, что читал по истории декабрьского восстания, из каких источников получал правдивое освещение событий 14 декабря? Мы бы хотели предложить некоторые свои соображения по этому вопросу, напомнить об одном литературном имени, входившем в круг ленинского чтения, поставить это имя в активный контекст истории декабризма.

Речь идет о князе Петре Владимировиче Долгорукове, одном из первых русских политических эмигрантов, одном из первых русских историков, кто тесно связал изучение политической истории России с делом борьбы против самодержавия. Долгоруков посвятил жизнь собиранию историко-архивных документов, молчаливо обличавших антинародный характер правительственной верхушки, именно он, Долгоруков, заложил основы новой науки — генеалогии и сделал ее серьезным оружием в борьбе с царизмом и аристократией. По воле императора Александра II Долгоруков стал политическим изгнанником.

Ненавидя самодержавие, Долгоруков внимательно и углубленно изучал историю декабризма, собирая документы, записывая личные беседы с декабристами и их близкими, коллекционируя письма, тщательно фиксируя даже самые, казалось бы, незначительные детали, факты, случайно оброненные замечания.

Сочинения Долгорукова были важным источником не только для В. И. Ленина, но и для Карла Маркса при изучении революционного движения в России. Из герценовского «Колокола», а также из сочинений М. Бакунина и П. Долгорукова Маркс мог черпать сведения об истории освободительной борьбы в России.

Писать о декабристах в николаевскую пору было запрещено. На все, что имело отношение к трагедии декабризма, был наложен правительственный цензурный запрет. За границей же в 60-х годах XIX века были только два человека, которые могут быть названы первыми историками декабристского движения, — это Герцен и Долгоруков, если не считать того обстоятельства, что первыми историками декабристского движения были сами декабристы¹. В отличие от Н. Тургенева, автора работы «Россия и рус-

¹ См. об этом: «Проблемы истории общественного движения и историографии». М. «Наука». 1971 (Печатные труды академика М. В. Нечкиной, библиография, — стр. 26—46); С. С. Волк, «Исторические взгляды декабристов». М.—Л. «Наука». 1958; «Декабристы и их время» — Труды Московской и Ленинградской секций по изучению декабристов и их времени в 2 томах. М. 1928—1932.

ские», Герцен и Долгоруков, говоря о декабристах, опирались на серьезную, в значительной части ими же и пушенную в оборот документацию. А главное, они вели войну с царизмом не только за правдивое освещение декабристского движения, но и за окончательное ниспровержение самого строя во главе с самодержавием, строя, повинного в расправе над декабристами.

Почти во всех долгоруковских очерках говорилось о декабристах. Одни только названия долгоруковских работ, посвященных истории декабризма, дают полное представление о разнообразии использованных им документов. Вот, к примеру, заглавия этих работ: «Гавриил Степанович Батеньков», «Князь Сергей Григорьевич Волконский», «Граф Киселев», «Граф Дмитрий Николаевич Блудов».

Это были не просто историко-литературные портреты. В них, в этих статьях, слышен величавый реквием по убиенным, гневное обличение палачей и торжественный салют в честь вечно живых идей декабризма.

Владимир Ильич Ленин еще в юности услышал о декабристах. Отец его цитировал не только Пушкина и Лермонтова, но и Рылеева. О подробностях декабрьского восстания, о взглядах декабристов на крестьянский вопрос молодой В. И. Ленин мог узнать из сочинений Герцена, но прежде всего от своего брата Александра, который усердно посещал в университете (а затем в числе избранных и на квартире) лекции уволенного впоследствии профессора В. И. Семевского, лекции, в которых детально излагались записки декабристов с проектами уничтожения крепостничества...

Однако мы все же хотели бы внести существенное дополнение: о декабристах, о ходе восстания и его трагическом финале В. И. Ленин мог узнать также из потаенных, тщательно документированных выступлений Долгорукова. Страшные подробности судеб декабристов мало кому в России были известны, казалось, они навсегда крепко-накрепко захоронены в царских тайниках. Но это только казалось; уже в 1895 году Ленин мог ознакомиться с этими подробностями, читая долгоруковские сочинения в берлинской Королевской библиотеке, в журнале «Колокол»².

Долгоруковскими материалами о декабристах заинтересовался и Эдвард Желиговский, польский революционер, демократ, поэт, которого близко знали Чернышевский, Герцен, Огарев.

«Желиговский собирался написать поэму «Николай», посвященную восстанию декабристов. Он тщательно собирал материалы для характеристики царя Николая I, его окружения и руководителей восстания декабристов — Рылеева, Бестужева, Муравьева». В одном из писем Желиговский сообщал: «У меня уже есть очень много серьезных материалов к «Николаю». Долгоруков [Петр Владимирович] и Тургенев будут мне тоже полезны. Специально с этой целью я поеду в Лондон к Герцену»³.

О весьма ценных материалах по декабристскому движению, которыми располагал П. В. Долгоруков, пишет С. В. Бахрушин: «Сведения о декабристах собирались из-под полы, передавались шепотом... данные, которые Долгоруков получил непосредственно от самих декабристов (разрядка моя.—Л. В.), например от кн. С. Г. Волконского, имеют свою ценность»⁴.

И в другом месте С. В. Бахрушин перечисляет содержание долгоруковских выступлений: «Корреспонденция из России о злоупотреблениях администрации, полемика с русскими публицистами, занимавшими более правую позицию (Кошелевым, Кавелиным, Безобразовым), материалы по декабристам (разрядка моя.—Л. В.)...»⁵.

Не было ни одного номера издававшихся Долгоруковым журналов, ни одной долгоруковской обличительной книги, где бы не говорилось о декабристах. Литературно-

² «Колокол», № 212, 15 января 1866 года. «Князь Сергей Григорьевич Волконский». Вступительное слово А. И. Герцена.

³ «Связи революционеров России и Польши XIX — начала XX в.». М. «Наука». 1968, стр. 238—239.

⁴ Петр Владимирович Долгоруков, «Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860—1867». М. 1934, стр. 93.

⁵ Там же, стр. 86.

политические портреты, написанные Долгоруковым⁶, впервые, именно впервые познакомили русских людей с героями 14 декабря.

Петр Долгоруков также впервые «представил» русскому обществу и провокаторов, палачей во главе с самим коронованным тираном, повинным в гибели декабристов. Долгоруков сказал правду о провокаторе Шервуде, проникшем в Южное общество, о провокаторе Майборде, выдавшем Пестеля, о провокаторе Бошняке, засланным в Южное общество. Он показал истинный облик тех, кто судил декабристов: «Следственная комиссия составлена была из девяти человек: старого идиота военного министра графа Татищова А. И., тупоумного великого князя Михаила Павловича, подлейшего князя Голицына А. Н. и шести генерал-адъютантов; по званию и по душе усердных николаевских холопов: графа Дибича, графа Голеницева-Кутузова П. В., князя Чернышева, графа Бенкендорфа, графа Левашева и Потапова А. Н.»⁷.

О расправе над декабристами, начавшейся еще до вынесения приговора, Долгоруков писал: «Комиссия поступала с заключенными самым гнусным образом: многих держали по неделям на хлебе и на воде, не давая им переменить белья; других пытали, секли; знаменитому Пестелю в самый тот день, что его привезли в Петропавловскую крепость, дали триста ударов розгами; потом этого же самого Пестеля видел на очной ставке Иван Иванович Пущин, с головою, окаймленною красным рубцом (рассказывают, что несчастному узнику сжимали голову железными обручами! Смело можно сказать, что железный обруч пытки был для Пестеля венцом доблести великого гражданина!)»⁸. Что уже тут говорить о начальнике Нерчинских рудников Бурнашеве Т. С., намеревавшемся высечь Трубецкого и Волконского плетью⁹.

Чрезвычайно выразителен некролог памяти С. Г. Волконского, написанный Долгоруковым и опубликованный Герценом в «Колоколе».

Герцен предположил некрологу свое вступительное слово: «Сходят в могилу великие страдальцы николаевского времени, наши отцы в духе и свободе, герои первого пробуждения России, участники великой войны 1812 года и великого протеста 1825... Пусто... мелко становится без них... Князь Сергей Григорьевич Волконский скончался 28 ноября (10 декабря)... Удивительный крик людей... Откуда XVIII век брал творческую силу на создание гигантов везде, во всем, от Ниагары и Амазонской реки до Волги и Дона... Что за бойцы, что за характеры, что за люди!»

Спешим передать нашим читателям некролог князя С. Г. Волконского, присланный нам князем П. В. Долгоруковым»¹⁰.

Вот некоторые выдержки из некролога:

«Князь Сергей Григорьевич Волконский был человек замечательный по твердости своих убеждений и по самоотверженности своего характера... 26 лет произведен в генерал-майоры и, несколько недель спустя, получил за Лейпцигскую битву анненскую ленту... Все это принес он в жертву своим убеждениям, своему пламенному желанию видеть отечество свое свободным и тридцати девяти лет от роду пошел на каторгу в Нерчинские рудники.

На допросах Волконский вел себя с большим достоинством. Дибич.. на одном допросе имел неприличие назвать его изменником; князь ему отвечал: «Я никогда

⁶ Среди них — Сергея Григорьевича Волконского, Гавриила Степановича Батенькова, Павла Ивановича Пестеля, Сергея Петровича Трубецкого, Ивана Дмитриевича Якушкина, Александра Ивановича Якубовича, Кондратия Федоровича Рылеева, Александра Ивановича Одоевского, Евгения Петровича Оболенского, Петра Николаевича Свищунова, Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, Матвея Ивановича Муравьева-Апостола, Александра Александровича Вестужева, Михаила Александровича Вестужева, Николая Александровича Вестужева, Николая Федоровича Заикина, Алексея Петровича Юшневского, Антона Петровича Арбузова, Николая Алексеевича Панова, Михаила Александровича Фонвизина, Михаила Сергеевича Лунина, Ивана Ивановича Пуштина, Дмитрия Александровича Щепина-Ростовского, Вильгельма Карловича Кюхельбекера, Екатерины Ивановны Трубецкой, Марии Николаевны Волконской.

⁷ «Листок», 1862, № 9.

⁸ П. В. Долгоруков, «Петербургские очерки», стр. 247—248.

⁹ Там же, стр. 373.

¹⁰ Там же, стр. 369—370.

не был изменником моему отечеству, которому желал добра, которому служил не из-за денег, не из-за чинов, а по долгу гражданина...»

Каждый истинный русский, чуждый холопства зимнедворцового, с умилением помянет имя этого человека, который своим убеждениям, своему желанию видеть родину свою свободною принес в жертву все блага земные: богатство, общественное положение, даже свою личную свободу. Мир праху твоему, благородная жертва гнусного самодержавия, из любви к отечеству променявший генеральские эполеты на кандалы каторжника»¹¹.

Однако, как это ни странно, благородные слова, написанные Долгоруковым, вызвали резкую отповедь... одного из декабристов. Речь идет о декабристе А. В. Поджо, которому по амнистии в 1856 году было разрешено возвратиться из Сибири.

Поджо и некоторых его друзей, давно расставшихся со свободолюбивыми мечтами юности, взволновало то обстоятельство, что в этом некрологе Волконский был представлен как мужественный борец за свободную Россию, променявший генеральские эполеты на кандалы каторжника. Для тех немногих декабристов, которые пошли на примирение с самодержавием, такой некролог был вреден и опасен, ибо им было невыгодно напоминать царизму о своих прошлых делах. И вдруг некролог — напоминание не только об отгремевших залпах на Сенатской площади, но и о том, что большая часть декабристов, несмотря на пережитые страдания, осталась верна своим благородным идеалам. Поэтому-то и был так возмущен этим некрологом А. Поджо, один из тех, кто думал о примирении с самодержавием.

Вот как передавали слова Поджо по этому поводу: «Не тревожить бы праха его [кн. Волконского] Долгорукову, который взялся за его биографию и неуместно и несвоевременно (сколько в том дерзости!) заявил себя хранителем тех тайн, которые будто бы покойный доверял ему для оглашения лишь после его смерти. И в каком ложном свете он выставил покойного!.. Все — ложь, но сочинителю, вероятно, хотелось свести личные счеты с Киселевым, и он воспользовался удобным случаем и под прикрытием мертвого... Хотелось самому порисоваться и для этого придумал пустым рассказам придать характер какой-то политической исповеди»¹².

Поджо хотел бы представить декабристов как сторонников мирного обновления России и таким образом помочь либералам создать легенду о «мирных» декабристах, легенду, которая не имела ничего общего с тем, что писали о декабристах Герцен, Долгоруков.

Итак, ссора Поджо и Долгорукова была не обычной ссорой, которая могла кончиться примирением, компромиссом. Это был принципиальный общественно значимый конфликт, основанный на резкой альтернативе: либо примирение с самодержавием, либо смертельная с ним схватка. Речь шла о том, нести ли дальше знамя декабристов. Поджо в этом конфликте выражал взгляды либералов, с ним порвали и Герцен и Огарев, считавшие правым Долгорукова.

И еще на один некролог, также написанный П. В. Долгоруковым, посвященный памяти декабриста Гавриила Степановича Батенькова, мы бы хотели обратить внимание читателя. Вот некоторые выдержки из долгоруковского «Некрологического очерка»: «В первых числах прошлого ноября месяца скончался в Калуге один из самых умных и самых почтенных людей между самыми почтенными лицами в России — между декабристами — Гавриил Степанович Батеньков, на семьдесят втором году своей многострадальной жизни, ознаменованной двадцатилетним заточением в каземате, а потом десятилетней ссылкой... С ним поступили жестоко, не хотели его, природного сибиряка, отправлять в Сибирь, а засадили в крепость Роченсальмскую, в Финляндии. Там, в сыром каземате, лишенный всякого сношения с миром, разобщенный от всех без исключения, он был лишен всякого умственного занятия; ему не давали никаких книг, кроме евангелия, библии и книги деяний апостольских; ему не давали ни пера, ни бумаги, не позволяли ни писать, ни получать писем. Варварское обращение с ним старались усилить голодом... Россия! Милое отечество! Когда же наконец ты свергнешь с себя иго этого гнусного самодержавия?...»¹³.

¹¹ П. В. Долгоруков, «Петербургские очерки», стр. 370—375.

¹² Там же, стр. 431.

¹³ Там же, стр. 355—363.

До Петра Долгорукова, да и много лет после него о жизни декабристов не писали и не могли писать с такими ужасающими подробностями, если к тому же учесть небольшой объем вышедшей за границу литературы, связанной с декабрьским восстанием.

Вот она, эта немногочисленная литература, которая была доступна в 60-х годах прошлого века заграничному читателю, большей частью русскому эмигранту: «Воспоминания князя Оболенского», опубликованные П. В. Долгоруковым в журнале «Будущность», «Россия для русских» Н. И. Тургенева, «Записки Михаила Фонвизина».

В России 60-х годов продолжала господствовать зимнедворцовая фальшивка под названием «Донесение следственной комиссии», подлая выдумка, представляющая цвет России как людей, желавших бросить отечество в бездну хаоса и безначалия. Ни университетская кафедра, ни периодические журналы не могли при всем их желании отбросить эту фальшивку. И только Вольная печать Герцена, статьи и некрологи Долгорукова говорили правду о декабристах.

Положение, сложившееся в 60-е годы, оставалось таким же и к концу XIX века, ибо цензура продолжала всячески «оберегать» народ от правды о декабризме. Вот почему В. И. Ленин, считавший необходимым в деталях изучить планы и судьбу декабристов, обращается к потаенной литературе, среди которой находились и сочинения Долгорукова. Судя по ленинскому формуляру в берлинской Королевской библиотеке, трудам Долгорукова он уделял серьезное внимание¹⁴. И в первую очередь потому, что в долгоруковских сочинениях излагается неизвестный тогда в России большой фактический материал из истории декабрьского восстания 1825 года. Значение долгоруковских материалов подчеркивал и Герцен, который задолго до Долгорукова первым заговорил о декабристах.

В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена» пишет: «Герцен создал вольную русскую прессу за границей — и в этом его великая заслуга. «Полярная звезда» подняла традицию декабристов... Рабье молчание было нарушено...»¹⁵.

Впервые в России, читая «Полярную звезду», попадавшую сюда тайными и сложными путями, люди узнавали о повешенных декабристах, видели их портреты, знакомились со страшной жизнью ссыльных в каменоломнях Урала, в таежной Сибири. Думающий россиянин узнавал из «Полярной звезды» о борьбе декабристов с самодержавием, о том, какую Россию они хотели видеть в своих программах, в своих мечтах.

Под влиянием Герцена и Огарева, вдохновляемый ими, Долгоруков и в своей вольной прессе тоже высоко держал знамя декабристов.

И можно с полным основанием утверждать, что молодой В. И. Ленин узнавал правду о декабристах не только из сочинений Герцена, но и из долгоруковского «Листка», номера которого побывали у него в руках в августе — сентябре 1895 года и который он цитирует в своей работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма»¹⁶.

Эпиграфом ленинской «Искры» стали слова «Из искры возгорится пламя», взятые из ответного стихотворения Одоевского Пушкину. Эстафета переходила из рук прошлых революционных поколений в руки рабочего класса России.

¹⁴ В. Бонч-Бруевич. Воспоминания. М. «Художественная литература». 1968, стр. 114; С. С. Максимов. Первая поездка В. И. Ленина за границу. «Вопросы истории», № 8, 1969.

¹⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 258.

¹⁶ Там же, т. 5, стр. 68.

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ

★

ЗАПИСКА ДЕКАБРИСТА¹

«Для пользы и удовольствия будущих
Археологов, которым желаю всего наилучшего
в Мире, кладу эту записку.

Писано в Ялуторовске 18 августа 1849 года
М. И. Муравьевым-Апостолом».

Простыла печь, и свечка оплыла.
Часы пробили в тишине полночной.
Он встал, в бутылку из толстого стекла
Вложил листки — и закупорил прочно.
К чему морской, нелепый антураж
В глуши сибирской, у судьбы в загоне?
Мечты ли детской старческий мираж,
Иль память о певце, об Арионе?
«Нас было много на челне». Но челн
Погиб. Грозою выброшен на остров,
Сколь многих пережить он обречен,
Матвей Иваныч Муравьев-Апостол.
Все испытал, что было суждено.
И в катакомбах каторжных не спятил.
Немного странен стал — не мудрено.
А главное — что веры не растратил.
К потомству апеллировать, как в суд, —
Простительная слабость человечья.
Пройдет сто лет. Сломают дом. Найдут
Бутылку под половицею, за печью.
Она плыла к рассветной синеве.
Через столько бурь и катастроф — не близко.
На съезде археологов в Москве
Прочли его посмертную записку.
Ведь все-таки она дошла, дошла!
Привет получен — знать, был адрес точный.
...Простыла печь, и свечка оплыла,
Часы пробили в тишине полночной.
Но как же бескорыстно надо жить,
Как трудно — чтоб слова твои доплыли
Через потоки суеты и лжи
Неотвратимо, как письмо в бутылки!

¹ При перестройке дома Муравьева-Апостола в Ялуторовске была найдена бутылка с его запиской.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ПАРХОМЕНКО



РУБЕЖИ ПОЗНАНИЯ

Актуальные проблемы типологии социалистического реализма

1

На современном этапе развития художественной культуры человечества социалистический реализм — самый передовой творческий метод. Его влияние на развитие мирового искусства неуклонно расширяется. Только в искусстве социалистического реализма народы, вырвавшиеся или рвущиеся к преобразованию жизни на новых, справедливых началах, могут с достаточной полнотой эстетически выразить овладевшие ими стремления и вдохновляющие их идеалы. Вместе с небывалым по масштабам вторжением революционной, социалистической идеологии в область искусства и литературы происходит великая художественная революция.

В наше время, когда вопрос о судьбах мира, о направлении развития человеческого общества приобрел такую острую актуальность, социалистический реализм как эстетическая программа, а искусство социалистического реализма как картина и концепция мира завоевывают все большие симпатии народов. Потому что искусство социалистического реализма проникнуто верой в творческие силы человечества, пафосом разумного познания законов движения истории к лучшему будущему. Социалистический опыт народов Советского Союза и других народов, строящих социализм, опыт, составляющий богатейшее и многогранное содержание литературы социалистического реализма, внушает читателям всего мира уверенность, что ее оптимизм опирается на прочное основание.

Растущее влияние социалистического реализма, возрастающая роль советской литературы в формировании и обогащении духовного мира современника и коммунисти-

ческого воспитания народа обязывает к все большим заботам о совершенствовании эстетических основ советской литературы, ее творческого метода.

За два последних десятилетия теория социалистического реализма заметно обогатилась. Появился ряд содержательных монографий о важнейших его принципах — партийности и народности, исторических этапах его формирования и развития в русской и других советских и зарубежных литературах (книги Ю. Барабаша, С. Петрова, А. Овчаренко, Д. Маркова, Н. Гей, Б. Сучкова и других). В разработке теории социалистического реализма выделился ряд ведущих направлений. Среди них исследование его взаимоотношений с другими методами (отношений антагонистических, когда речь идет о модернистских направлениях буржуазного искусства), изучение стилевых течений социалистического реализма, свойственных ему форм художественного обобщения (в особенности его отношения к условным формам), роли социалистического реализма в развитии художественного богатства и многообразия литературы и искусства.

При исследовании этих проблем стали все более уверенно использоваться новые методы, обогатившие наше литературоведение за последнее время. В частности, типологический, которому и посвящена наша статья.

Типологические исследования — одно из самых молодых направлений в советском литературоведении, а тем более в изучении социалистического реализма. Здесь все находится в стадии становления. Появление двух-трех книг и нескольких журнальных статей, в которых это еще непривычное словосочетание «типология социалистиче-

ского реализма» уже вынесено в заглавие или подзаголовки, отнюдь не свидетельствует о наличии устоявшихся концепций. Первые работы содержат преимущественно «постановочные» соображения и полемический пересмотр начальных попыток определить главные аспекты и рамки проблематики. В ряде случаев усилия авторов ограничиваются «приложением» типологической терминологии к представлениям, сложившимся до разработки принципов типологического подхода к литературе. Порой широкий круг проблем типологии социалистического реализма сужается до одной типологии стилевых течений, которые нередко определяются крайне нечетко, на основе несопоставимых критериев, о чем будет сказано ниже. При этом понятия о социалистическом реализме как творческом методе и о социалистическом реализме как направлении зачастую не расчлняются и безоговорочно идентифицируются с понятием «советская литература».

Словом, читая первые работы о типологии социалистического реализма, нельзя не признать правоту и своевременность напоминания о необходимости гораздо большей четкости в употреблении понятий, которыми оперируют участники развернувшегося в нашем литературоведении обсуждения проблем творческого метода советской литературы¹.

Жалобы на нечеткость и недостаточную разработанность научной терминологии нашего литературоведения раздавались неоднократно. Но, пожалуй, еще никогда не звучали так настойчиво, как теперь, когда определились задачи системного подхода к изучению литературы, и в особенности к разработке теории социалистического реализма².

Системное изучение (так неразрывно связанное с типологическим, что трудно сказать, где одно переходит в другое) предполагает не механическую совокупность анализируемых явлений, исследуемых проблем,

¹ Г. Н. Поспелов. К спорам о литературе социалистического реализма. «Филологические науки», 1975, № 1.

² М. Храпченко. Размышления о системном анализе литературы. «Вопросы литературы», 1975, № 3. Его же «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы». «Советский писатель». М. 1970. Д. Марков. Социалистический реализм — новая эстетическая система. «Вопросы литературы», 1975, № 2. Его же «Проблемы теории социалистического реализма». М. «Художественная литература». 1975.

а целостное диалектическое представление о соотношении и взаимодействии структурных элементов системы в ее сущности и функционировании. Ошибочное или недостаточно ясное понимание одного из элементов соответственно сказывается на уровне научности понимания всей цепи их соотношений и взаимодействия.

Участники научно-теоретической конференции, недавно состоявшейся в Академии общественных наук, стали свидетелями спора, в этом отношении особенно показательного. Что раньше возникает: социалистический реализм как метод или как направление? По мнению С. Петрова, «социалистический реализм возникает сначала как художественный метод, а затем происходит его формирование как нового литературного направления»³. Ю. Суровцев высказал противоположную точку зрения. В. Дмитриев, не споря с Суровцевым и не ссылаясь на Петрова, поддержал, однако, с той же категоричностью мнение последнего. Автор этих строк возражал и С. Петрову и В. Дмитриеву. А Д. Затонский заявил, что ему вообще «не очень близки споры, что раньше: курица или яйцо».

Таким образом, с одной стороны, в живом литературном процессе все прочнее утверждается осознанное отношение писателей к социалистическому реализму как не только общей для всей советской литературы, но и глубоко индивидуальной для каждого писателя эстетической платформе (верность принципам социалистического реализма стала эстетическим выражением партийности писателя в идейно-творческой сфере), а с другой — в науке о литературе остаются и неуточненными и дискуссионными некоторые важнейшие понятия теории. В их числе такие коренные, как соотношение и взаимодействие метода и стиля, метода и жанра.

В совокупности все это заметно ослабляет потенциальные возможности системного подхода и к литературному процессу в целом и к социалистическому реализму в частности. Не этим ли объясняется и то, что до сих пор у нас нет книги, которая имела бы право называться хотя бы кратким очерком теории социалистического реализма. Ведь для создания такой книги необходима и полная ясность по главным вопросам, основным понятиям, методообразующим

³ Научно-теоретическая конференция. «Новое в теории социалистического реализма (Тезисы сообщений)». М. 1975, стр. 7.

факторам, принципам, и цельность, концептуальность представления о них как известном единстве, или, точнее, системе⁴.

На первое место среди дискуссионных проблем выдвигается сейчас проблема средств художественного обобщения в социалистическом реализме, одна из важнейших для изучения его типологии. И здесь тоже возникла своя сложная ситуация: в каждой статье о социалистическом реализме отмечается, что он обеспечивает писателю свободу выбора художественных средств, а советской литературе открывает путь к художественному богатству и многообразию. Однако же попытка трактовать социалистический реализм как «открытую систему художественных форм»⁵, при этом все расширяя перечень форм художественного обобщения, не противопоказанных его идейно-эстетической природе, порой наталкивается на опасения: не подменим ли мы при таком подходе реализм модернизмом, не поддержим ли ревизионистскую теорию «реализма без берегов»?..

Временами творческий спор приобретает необычайную напряженность, хотя его участники едины в своем пафосе, искренне озабочены и утверждением авторитета социалистического реализма в советском и мировом искусстве, и ростом богатства и художественного многообразия советской литературы.

Существенную роль в решении этих споров, в «снятии» противоречий может и должно сыграть системное исследование структурных элементов, типологических черт и свойств социалистического реализма. Как мне представляется, именно в процессе такого исследования можно верно понять, выяснить и природу творческого метода, и формообразующие возможности социалистического реализма, а вместе с тем определить и границы, водоразделы, пролегающие между ним и другими художественными направлениями.

Структурные элементы, образующие и определяющие творческий метод,— в его основных принципах и концепциях. Почти

в каждой работе они перечисляются с большей или меньшей полнотой: концепция отношения искусства к действительности, концепция человека, эстетический идеал, принципы народности и партийности, осознанного историзма... Но если взаимосвязь принципов партийности и народности уже стала предметом внимания и эстетиков и литературоведов, то другие важные принципы чаще всего рассматриваются «каждый сам по себе», редко они, концепции и принципы, осознаются именно как метообразующие, еще реже как система метообразующих факторов, взятых не только в совокупности, но и в соотношении и взаимодействии.

В ряде работ последнего времени в качестве главного метообразующего фактора выдвигается предмет искусства. Обобщая и развивая точку зрения «предметников», один из исследователей пишет, что предмет искусства — «это те явления действительности, те отношения и связи ее элементов, которые под определенным углом зрения образно восприняты художником и положены в основу создания им новой, художественной действительности. В этом своем нерасчленном качестве предмет, по нашему мнению, действительно является главным метообразующим фактором». Тот же автор утверждает, что для социалистического реализма таким предметом «явился процесс революционного преобразования общества, человек, не только творимый историей, но и творящий ее»⁶.

Не отрицая значения «предмета» в ряду других метообразующих факторов, подчеркнем, что преувеличение его роли ведет к заметному умалению роли основных принципов, на которых строится метод.

Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что в самом «предмете» особую решающую роль играют угол зрения художника и принципы отбора действительности, которым он сознательно следует. Вспомним, что объективная сторона «предмета» нашего искусства, представшая сначала в виде «мятежного отпора рабочего класса угнетающей среде», не сразу была осознана искусством как «часть истории», не сразу заняла свое «место в области реализма»⁷, (прежде чем этот завет Энгельса

⁴ С. Я. Фрадкина. Русская советская литература периода Великой Отечественной войны. Метод и герой. Пермь. 1975, стр. 36—37, 41.

⁷ «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». «Искусство». М. 1967, т. I, стр. 7.

⁴ Заметим кстати, что именно поэтому наши коллеги в ГДР, стремившиеся заполнить этот пробел, должны были так назвать свой объемистый труд: «Zur Theorie des sozialistischen Realismus» («К теории социалистического реализма»). Berlin. 1974.

⁵ См. об этом в статье Д. Маркова «Социалистический реализм — новая эстетическая система» («Вопросы литературы», 1975, № 2).

стал программным для метода социалистического реализма, прошло немало времени). О социалистическом реализме как методе можно говорить только с того времени, когда эти принципы, постепенно складывавшиеся в практике социалистического искусства, стали осознанным эстетическим законом творчества.

Очевидно, перечисление методообразующих факторов социалистического реализма всего вернее начинать с концепции личности. Потому что литература — прежде всего человековедение. Потому что каждый новый творческий метод начинается, утверждает себя в искусстве открытием нового человека, входит в художественный прогресс с новым героем, сущность которого раскрывается в характере отношения к действительности, к миру, к обществу.

Да, социалистический реализм начинал свое существование художественным утверждением нового человека, который пришел в этот мир «затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все злое, — и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты — и уваженья к людям!» (Горький). «Песней о Соколе», «Песней о Буревестнике», пьесами «Мещане», «На дне» и «Враги», поэмой «Человек» и, наконец, романом «Мать» основоположник социалистического реализма стремился утвердить, что «все в человеке, все для человека, существует только человек, — остальное — дело его рук и его мозга».

Известное философское положение, что человек не только приспосабливается к среде, но и приспосабливает среду к себе, обрело аналог в новом соотношении типических характеров и типических обстоятельств, легло в основу той концепции героя, которой эстетика всего социалистического искусства наиболее наглядно отличается от домарксистской эстетики и противостоит эстетике модернизма во всех его разновидностях.

Романтическая глобальность и символическая обобщенность такого героя преодолевалась исторической, социальной и национальной конкретизацией его характеристики. В романе «Мать» он обрел типическое и индивидуализированное воплощение в образе русского пролетария Павла Власова.

Оптимистическая, героическая концепция личности является тем главным открытием, с которым советская литература идет

ко всему человечеству, глубоко входит в его духовную жизнь и мировой художественный прогресс.

Новая концепция личности — главное звено в эстетической системе, имя которой — социалистический реализм. Его прежде всего и определяло новаторство А. М. Горького — основоположника социалистического реализма. В этом звене художественно реализовалось новое отношение искусства к действительности. В новом герое художественно воплотился эстетический идеал литературы, открыто связавшей себя с освободительным движением пролетариата и политическими идеалами социализма. «Наша цель, — писал Горький накануне Октября, — возбудить в сердцах юношества социальный романтизм, настроение любви и доверия к жизни, к людям; мы хотели бы воспитывать героическое, мужественное отношение к действительности, хотели бы внушить человеку, что это он — творец и хозяин мира и на нем лежит ответственность за грехи земли; точно так же, как ему слава за все прекрасное в жизни».

Уже на раннем, дооктябрьском этапе развития социалистического реализма новая концепция личности, заряженной активным отношением к жизни, была неотделима от новой концепции отношения искусства к действительности.

Еще ярче эта связь выступает в горьковском определении эстетического идеала литературы социалистического реализма, которое прозвучало на Первом съезде советских писателей, проходившем в то время, когда осуществление социальных идеалов коммунизма стало реальностью, содержанием и конечной целью созидательной деятельности советского общества. «Социалистический реализм, — сказал тогда Горький, — утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью».

Бытие как деяние, как творчество — вот путь к реализации идеала в действительности и человеку — гармонически развитой личности.

Не здесь ли, в этом исторически впервые сформировавшемся единстве концепций

личности и отношения искусства к действительности, следует искать и ключ к решению нынешних дискуссионных проблем социалистического реализма, и прежде всего — проблемы форм художественного обобщения?

2

В защиту идеи о многообразии форм художественного обобщения в социалистическом реализме как «открытой системе» уже использованы многие аргументы. Принято, в частности, указывать на связь форм художественного обобщения с «общими законами познания»⁸ и с «многообразием объектов художественного отражения»⁹. И это очень верно.

Но все эти справедливые суждения не вполне проясняют самую сущность и роль методообразующих факторов социалистического реализма, невиданная новизна которого типологически отличает его от всех других методов и направлений.

Главный аргумент, подтверждающий открытость социалистического реализма всему многообразию исторически развивающихся форм художественного обобщения, — в его, социалистического реализма, концепции личности и эстетическом идеале. Коммунистический идеал всесторонне и гармонически развитой личности, ставший одной из важнейших граней эстетического идеала искусства социалистического реализма, стремится найти свой аналог и в многоформности искусства, в богатстве и многообразии форм художественного обобщения. Для социалистического реализма типологически характерно преодоление большей или меньшей замкнутости досоциалистического искусства в границах определенной шкалы стилей и форм художественного обобщения. В этом одно из свидетельств его значения и необходимости в мировом художественном прогрессе. В этом же и одно из важнейших его преимуществ по сравнению с другими современными методами и направлениями.

Духовное богатство нового героя, человека развитого социалистического общества, разнообразие способов самовыявления этого

героя и многосторонность его связей с действительностью невозможно отразить только в «формах самой жизни». И вообще с помощью какой-либо одной из форм художественного обобщения. Для этого необходимо все их богатство, выработанное искусством за долгие века развития. Кроме того, происходящая сейчас научно-техническая революция неизмеримо расширяет сферу духовных проявлений личности, способствует упрочению ее контактов с природой и обществом, возникновению новых областей знания, новых аспектов духовной жизни, для полного и правдивого отображения которых потребуются и новые, еще не найденные искусством художественные средства. Социалистический реализм и в этом смысле должен быть открытой системой.

Не только сегодняшнее выражение правды жизни, но и еще не раскрывшиеся до конца возможности социалистического реализма изначально противоположны и враждебны тем средствам, которые возникают на почве концепций «расчеловечивания» литературы. Социалистический реализм по самой природе своей не может «впитать» в себя, ассимилировать, скажем, фрейдизм и ряд связанных с ним явлений модернистского искусства, не может «включить их в свою систему», как это советовал Сартр еще в 1962 году. Не может быть у нашего метода ничего общего с поэтикой, эстетикой «нового романа», устремленной к тому, чтобы вытеснить человека и все человеческое за пределы искусства, представить «ситуацию» современного человека в мире вещей только как расположение человека в каждый данный момент на таком-то и таком-то расстоянии от вещей («расстояния» и составляют, по мнению главы этой школы А. Роб-Грийе, сущность отношений человека с его окружением). «Шпозизм» (от французского «chose» — вещь) как доминирующая черта этой концепции¹⁰ является прямым отрицанием гуманизма и полностью противоположен реализму. «Реальность», возникающая в «новом романе», бесконечно условна. К ней, по заявлению того же Роб-Грийе, критерии «правдоподобия» и «соответствия типу» не приложимы ни в какой мере.

Тем более принципиально невозможна художественная интеграция социалистического реализма с такой разновидностью мо-

⁸ Д. Марков. Социалистический реализм — новая эстетическая система. «Вопросы литературы», 1975, № 2, стр. 26.

⁹ Л. П. Егорова. Проблемы типологии социалистического реализма. Ставрополь, 1971, стр. 90.

¹⁰ См. об этом подробнее в книге Л. А. Еремеева «Французский «новый роман». Киев, 1974.

дернизма, как литература и театр абсурда, где утверждается трагическая абсурдность мира и бессмысленность человеческого существования. Безысходный пессимизм, определяющий духовный климат современной буржуазной культуры, питает такое искусство и обуславливает его «художественные» средства. «Материал, с которым я работаю,— бессилие, незнание...» — заявил один из лидеров этого направления, Самуэль Беккет. Герои его пьесы «В ожидании Годо», истрадавшие и отчаявшиеся в этом мире, каждый день помышляют повеситься. Их бессилие перед чудовишной бессмысленной обстоятельностью возводится в абсолют, провозглашается всеобщим законом бытия, грязного и зловонного, как выгребная яма. В этом духе знаменитая формула диалектики Гераклита «все течет, все изменяется» переосмысливается и перефразируется так: «Все сочится... Всякая гниль на глазах меняется».

В этом мире каждый одинок и «в конечном счете не может сделать ни одного шага в жизни или установить связь с другими существами»¹¹.

В других пьесах С. Беккета эта разобоченность подчеркнута символикой грубонатуралистических «обстоятельств». В «Эндшилле» отец и мать главного «героя» ютятся, как крысы, в двух мусорных ящиках, лишь изредка по ходу пьесы высовывая оттуда голову. Трое персонажей «Комедии» помещены в три огромных кувшина, из которых высовываются только их головы. Однообразие «ситуаций», повторяющихся из пьесы в пьесу, подчеркивающее *reductio ad absurdum* культ изоляционизма (отсюда и название направления), является тоже прямым следствием охарактеризованных выше концепций, а вся повторяемость приемов — следствием взгляда на мир как на царство бессмысленных «повторов».

Живые контакты между людьми, сведенные до минимума, вроде бы и не нуждаются во вычурном словесном выражении. Рецензент постановки «Комедии» (1963) свидетельствует, что на ее репетициях Самуэль Беккет требовал: пусть актеры бормочут свой текст невнятно и с такой скоростью, чтобы смысл почти не доходил до зрительного зала. Вот почему и в пьесе «В ожидании Годо» и в других его

пьесах столь часты паузы с ремарками «молчание», «молчание», а скупые реплики действующих лиц тавтологически повторяются, подчеркивая, что действие движется только по замкнутому кругу: «Ну, что мы теперь будем делать?»—«Ждать». Через несколько реплик снова: «Так что же нам делать?»— «Давайте ничего не будем делать» — «Подождем, посмотрим...»

«Так, значит, идем» — «Идем» — звучит в конце первого действия перед заключительной ремаркой «не двигаются». А в самом конце пьесы опять: «Так, значит, идем?» И еще раз, но уже утвердительно: «Так, значит, идем» — «Идем». И снова та же ремарка: «Не двигаются».

Демонстративно отворачиваясь от богатства и многообразия жизни, С. Беккет видит ее только в одном неизменном цвете — грязном. Отдельные «жизнеподобные» реалии в таких пьесах подаются в духе антиреалистических концепций модернизма. А во всей структуре пьес, их диалогах и мизансценах довлеет (в противоположность социалистическому реализму, устремленному к многоформности) последовательная установка на однотипность как аналог доведенной до абсурда однолинейности модернистски воспринятого мира и человека.

Антагоничностью метообразующих факторов определяется несовместимость форм художественного обобщения, характерных для социалистического реализма, с одной стороны, и модернистского искусства — с другой. Вот почему открытость социалистического реализма как художественной системы не означает, что он может стать близким «реализму без берегов».

Однако, скажут нам, и среди модернистов есть художники, иногда обращающиеся к реалистическим формам обобщения. Попытки объяснить это явление часто ведут к установлению пусть не очень прочных, но тем не менее еще достаточно реальных связей творчества этих писателей с гуманизмом и генетически близкими ему эстетическими концепциями.

Сделаем вывод: типология социалистического реализма во всех его структурных параметрах может быть установлена только путем их сопоставления (по аналогии или противоположности) с параметрами внутренней структуры других методов. Причем границы между социалистическим реализмом и другими методами пролегают не только в сфере идеологии и действия основных эстетических категорий, но и в

¹¹ Давид Крейг. Хаос и одиночество — модернизм в литературе. В сб. «Против современного абстракционизма и формализма». М. «Прогресс». 1964. стр. 359.

области изобразительных средств, а определеннее всего — средств художественного обобщения.

Объяснить «формальные» моменты в границах только самой формы; которая, в свою очередь, значима и объяснима только в свете выраженного ею содержания, невозможно. И, кстати сказать, было бы несправедливо обвинять того или иного писателя в альянсе с модернизмом только потому, что в его произведениях преобладает условная форма художественных обобщений, а критика или литературоведа — за то, что он, будучи сторонником «открытости» и многоформности социалистического реализма, открывает дверь и таким средствам и формам, как поток сознания, поток ассоциаций, пространственно-временные сдвиги, приемы «остранения» и «отчуждения», используемые, скажем, экзистенциалистами. История литературы достаточно убедительно свидетельствует, что большинство подобных средств и форм сложилось в лоне реализма. «Мы,— справедливо сказал однажды Г. Недошивин,— слишком щедро отдаем модернизму многие возникшие в наше время формальные приемы, многие принципы и нормы стилистики, которые ему отнюдь не принадлежат, хотя он их, разумеется, также использует, и притом зачастую в более обостренной, утрированной и оттого более бросающейся в глаза форме»¹². А главное, нельзя абсолютизировать формы сами по себе. Их типологические качества определяют содержательными доминантами метода, его принципами и концепциями. Та или другая форма, прием, будучи использованы в различных методах, нередко приобретают в каждом из них типологические качества, свойственные данному методу. Вряд ли здесь необходимо пояснять, например, что внутренний монолог в «Климе Самгине» Горького и в «Чужих страстях» М. Слущиса служит совсем другим целям, чем в романе Марселя Пруста или Джеймса Джойса.

3

В журнальной статье вряд ли возможно охарактеризовать все метообразующие факторы социалистического реализма. Это уместно было бы в книге, посвященной изложению его общей теории. Здесь мы ставим перед собою более ограниченную зада-

¹² «Современные проблемы реализма и модернизма». М. «Наука». 1965, стр. 545.

чу — доказать, что типологическая определенность всей образной «стихии» социалистического реализма, и прежде всего свойственных ему форм художественного обобщения, коренится в его концепциях и принципах.

Остановимся лишь на некоторых аспектах этой проблемы, чтобы показать, что социалистический реализм при всей определенности эстетической структуры отнюдь не является раз и навсегда застывшим образованием.

Как эстетическая система, открытая навстречу явлениям художественного прогресса, социалистический реализм исторически развивается и обогащается. Его эстетический фонд пополняется новыми средствами художественного отображения, включая в себя, как говорил об этом А. Фадеев, «любую форму, позволяющую видеть правду». Совершенствуются, пополняются новыми чертами его идейно-эстетические принципы, чутко отзываясь на историческое развитие самой действительности.

Исторические изменения, внесенные в жизнь народа Октябрьской революцией и возникающие в процессе продвижения советского общества к коммунизму, заметно углубили и усилили такое качество литературы и искусства, как народность. Возросла эстетическая емкость категории народности и вместе с тем ее удельный вес в литературном процессе. Это сказалось и на предмете изображения (судьбы народные, историческая активность народных масс), и в концепции личности (личность и народ как важнейший ее аспект), и в сфере эстетического идеала, где народность стала одним из главнейших критериев истинности и художественности произведений искусства, и в пополнении поэтического языка новыми средствами художественного изображения народной жизни в ее непрерывном развитии, и, наконец, в растущей устремленности эстетики социалистического реализма к удовлетворению духовных и в том числе эстетических запросов и потребностей народа.

Ленинская концепция искусства, которое должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу народных масс, должно быть понятно массам и любимо ими, должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их, пробуждать в них художников и развивать их,— эта концепция стала основным ядром эстетики социалистического реализма, определяя цели

искусства и выражая основной смысл программы планомерного руководства процессом его развития.

Во всех своих аспектах народность в искусстве и эстетике социалистического реализма развивалась и развивается все к большему единству и слиянью с партийностью как высшей формой народности.

Необходимо назвать еще один из принципов социалистического реализма, без которого его типологический «портрет» остался бы недорисованным, а характеристика его способности к обновлению неполной. Речь идет о принципе историзма. Он был сформулирован еще до Первого съезда советских писателей и записан в утвержденный съездом устав. Там сказано, что социалистический реализм «требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии».

На почве исторического опыта построения социализма в художественной практике советской литературы складывалось, а в период развитого социализма оформилось в нашей науке о литературе определение этого принципа. «Осознанный историзм,— читаем в одной из теоретических монографий,— есть неперемное качество метода социалистического реализма»¹³.

Это предполагает в произведениях социалистического реализма отчетливость подлинной исторической перспективы общественного развития, способность художника не только постичь смысл, характер и особенности современной эпохи, понять ее конфликты и противоречия, но и «определить тенденции, направление и важнейшую цель исторического процесса»¹⁴. Предполагает (сопшемся еще на одного автора) «осознанное следование творческим принципам» социалистического реализма, и прежде всего принципу историзма, «без которого нельзя понять глубинных связей между искусством и действительностью...»¹⁵.

В приведенных теоретических формулах нашел отражение нынешний уровень исторического осознания действительности в искусстве, явившийся следствием возросшего уровня самосознания личности (и ге-

роя и художника) на современном этапе формирования новой исторической общности — советского народа. Осознанный историзм — это прежде всего позиция героя, который (выражая при этом самое существенное в авторской позиции) мыслит себя и свое время исторически, как мыслят, например, герои «Знаменосцев» Олеся Гончара (Черныш, Брянский, Хома Хаецкий и другие), лирический герой поэмы А. Твардовского «За далью — даль», Человек в поэме Э. Межелайтиса.

4

Без выяснения типологических качеств идейно-эстетических принципов и концепций социалистического реализма невозможно определить его место в историческом движении и смене методов как в мировом, так и в национальном литературном процессе, невозможно составить представление о его взаимоотношениях с другими методами современного искусства, о степени новаторства социалистического реализма и его роли в художественном прогрессе. Вне типологии методобразующих факторов также невозможно судить и о том, какие формы художественного обобщения близки, органичны его идейно-эстетической сущности, а какие чужеродны и антагонистичны ей. В свете всего сказанного выглядит неожиданным и несостоятельным упомянутое в начале статьи стремление сузить типологию социалистического реализма.

Невозможно, например, согласиться с мнением И. Волкова, что типологическое изучение распространяется только на область стиля. Типология стилевых течений — это только одна из сторон типологии социалистического реализма, в сущности, производная от типологии метода. Соотношение этих сторон отражает диалектическую взаимосвязь структуры и функционирования эстетической системы, именуемой социалистический реализм.

Постичь социалистический реализм как направление, понять многообразие и единство его индивидуальных стилей и стилевых течений можно только в свете типологии эстетических основ метода.

Такое понимание не всегда присутствует, на наш взгляд, в типологических характеристиках социалистического реализма, предложенных за последние годы рядом авторов. Различны его типологические характеристики, например, у С. Асадуллаева и И. Волко-

¹³ Борис Сучков. Исторические судьбы реализма. М. «Советский писатель». 1967, стр. 296.

¹⁴ Там же, стр. 309.

¹⁵ А. Зисль. Искусство и эстетика. М. «Искусство». 1975, стр. 382.

ва, но обе одинаково неудачны, и по одной и той же причине. И. Волков прав, что в типологии стилевых течений социалистического реализма, представленной С. Асадулаевым, «нет определенности в принципах внутреннего подразделения литературы»: «Он выделяет, например, «собственно реалистическое течение» в литературе социалистического реализма, характеризую его в основном с точки зрения принципа отражения; «сатирическое течение», характеризую его главным образом с точки зрения содержательной направленности художественного творчества; «лирическое течение», характеризую его по родовому и жанровому признаку («лирическая проза»)»¹⁶.

Но что предлагает И. Волков сам? Отметим, что типология охватывает область «стиля как принципа организации художественных форм, как принципа формотворчества», профессор Волков утверждает, что эта область может быть разграничена «на отдельные типы творчества, в первую очередь по характерным особенностям художественного содержания, по типу содержательной направленности творчества. Такие типы,— поясняет он свою точку зрения,— вполне определенно складываются как результат творческого освоения важнейших сторон жизни в определенном их освещении. Это, во-первых, борьба за социализм и защита его завоеваний. Во-вторых, соотношение общественных и личных интересов в условиях утверждения социалистических отношений и их дальнейшего развития. Далее, самоценное значение личности при социализме, ее желаний, стремлений, мечты, творческих порывов, собственных возможностей. И наконец, борьба против отрицательных явлений в жизни, препятствующих поступательному развитию общества и разрыванию личной самоценности человека... Каждый такой тип содержания порождает определенные особенности художественной формы».

Суждения И. Волкова тоже страдают, на наш взгляд, неясностью представлений и критериев.

Во-первых, особенности художественной формы выводятся непосредственно из «типа содержания».

Во-вторых, предложенное перечисление «типов содержательной направленности» почему-то не предусматривает отображения

в искусстве социалистического реализма несоциалистической действительности — современной капиталистической и всей дооктябрьской. Такое ограничение явно обедняет задачи и возможности советской литературы.

А в-третьих, обозначения «драматического», «критического» и «романтического» типов творчества опираются на разные качественные критерии и ведут к очевидной путанице: ведь «драматический тип» не только может быть «критическим», но, пожалуй, всегда таковым является, всегда содержит известное осуждение «отрицательных явлений жизни»; «романтический» может быть в то же время и «героическим», и, наоборот, оба они вместе часто выступают как драматический и даже трагический «тип творчества», которого в перечислении профессора Волкова (если согласиться с ним и быть последовательным) явно недостает, как недостает и «комического типа творчества».

О разноплановости критериев свидетельствует и авторская попытка раскрыть сущность каждого из четырех облюбованных автором «типов творчества». Героический тип — это, пишет он, «произведения, жизненную основу которых составляют такие исторические ситуации, в которых решается судьба коммунистического движения и его завоеваний и которые требуют от его активных участников высочайшего, крайнего напряжения и отдачи всех физических и духовных сил... Имеется в виду нечто невозможное при обычном течении жизни, но возможное в результате напряженной борьбы всех передовых, революционных сил народа».

Неужели, спросим мы, героическое возможно только в «исторических ситуациях»? И только для «всех передовых революционных сил»? В самом ли деле оно невозможно «при обычном течении жизни»? В самом ли деле немисливо как проявление отдельной личности?

Почему, например, к героическому типу творчества не может быть отнесена повесть В. Титова «Всем смертям назло...», где нет ни «такой исторической ситуации», ни изображения «борьбы всех передовых, революционных сил» общества?

Подобные произведения из «героического типа творчества», как его трактует И. Волков, выпадают. Нет ни одного из таких произведений и в перечисленных им примерах. Здесь названы только «Мать» Горького,

¹⁶ И. Ф. Волков. Партийность искусства и социалистический реализм. М. «Искусство». 1974, стр. 134.

«Железный поток» Серафимовича, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Шторм» Билль-Белоцерковского и картина Дейнеки «Левый марш».

Между тем критика справедливо и единодушно увидела в повести В. Титова продолжение именно героической традиции Николая Островского.

Но вернемся к вопросу о критериях. Судя по тому, что героическое у И. Волкова не включено в эстетический контекст и ни слова не говорится о природе стилиевых средств, в которых оно находит свое выражение в искусстве, можно сделать вывод, что в основу определения типов творчества положены только нравственные критерии. Однако автор книги опирается на другой критерий — тематический («историческая ситуация», «борьба всех передовых, революционных сил»), но тоже без какой бы то ни было соотнесенности с той областью, на которую, по мнению автора этой концепции, только и распространяется типологический подход к социалистическому реализму, то есть с областью стиля.

Так же противоречиво в книге определение «драматического типа творчества», к которому отнесены все художественные произведения, где воспроизводятся «острые, напряженные конфликты между разными сторонами жизни человека в период утверждения новых общественных отношений. Это, например, «Города и годы» Федина, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Любовь Яровая» Тренева, «Тихий Дон» и «Судьба человека» Шолохова, «Прощай, Гульсары!» Айтматова... Здесь есть и воспроизведение жизни в ходе ее социалистического преобразования, есть и пламенное утверждение героических свершений ради нового общества и его защиты. Но все же основное внимание писателя сосредоточено на многообразии связей человека с миром, на драматически сложной и даже трагической судьбе человека в революции, во время войны, в мирное время», — пишет автор.

Но, во-первых, чем же качественно отличаются пламенно утверждаемые героические свершения ради нового общества от тех свершений, которые отнесены автором к собственно героическому? И в самом ли деле собственно героическое настолько невозможно в пореволюционную эпоху? Неужели «героический тип творчества» за пределами историко-революционной тематики так-таки невозможен? А если уж го-

ворить о критериях, то почему для определения героического типа творчества необходим нравственный критерий, а для драматического — сущность конфликта? Наконец, почему трагическое в судьбе человека «во время войны» может дать материал только для произведений «драматического», а не героического типа творчества? Неужели такие вещи, как «Обелиск» и «Сотников» В. Быкова, «Знаменосцы», «Человек и оружие», «Циклон» О. Гончара, «Звезда» Э. Казакевича, спектакли Драматического театра на Таганке «Павшие и живые», «А зори здесь тихие», также выпадают из круга произведений «героического типа творчества» и должны быть прописаны только по адресу «драматического»?

Характеризуя романтический тип творчества, И. Волков с еще большей категоричностью утверждает, что «героические свершения коллектива» не соотносятся ни с романтическим, ни с героическим типом творчества и, сделав вывод, выступают каким-то неполноценным типом героического, а следовательно, романтический тип творчества является лишь следствием «приподнятого субъективного восприятия событий и индивидуального подвига», который, очевидно, мыслится в духе представлений о герое, выделяющемся из «толпы» (то бишь коллектива) своей исключительностью. Так понимает И. Волков лирику Николая Тихонова, Багрицкого, Светлова. Только порождением «приподнятого субъективного восприятия событий» считает автор книги и творчество Юрия Яновского, особенно его «Всадников».

Конечно, в книге И. Волкова есть серьезные попытки разобраться в вопросах стиля, но их результативности вредит стремление автора «расчленив» действительность и «прописать» на каждом из ее «участков» какой-то один из четырех названных типов творчества.

Нет, без типологии метода не обойтись. Реализм пережил в веках заметную эволюцию. При всей дискусионности вопроса о времени его возникновения как направления (в эпоху Возрождения или только в XIX веке) считается правомерным использование понятий, обозначающих исторически сменявшие друг друга разновидности реализма: «просветительский», «критический», «социалистический»... Сравнительно-исторический подход, без которого изучение эволюции реализма немислимо, с прямо-таки неумолимой неизбежностью тре-

бует одновременно и типологического подхода к каждому из этапов этой эволюции. Одним изучением явлений стиля тут, разумеется, не обойтись. А сравнительно-сопоставительное и типологическое изучение всей эстетики, и в особенности форм художественного обобщения, характерных для критического и социалистического реализма, без обращения к показателям метода может привести только к путанице, потому что для критического и для социалистического реализма эти показатели разные и без понимания их различий вся стилевая сфера метода социалистического реализма останется непонятой, необъясненной.

В системе методообразующих факторов — основных идейно-эстетических концепций и принципов творческого метода — кроется секрет художественного богатства и многообразия социалистического реализма как направления, где твердым фундаментом является их единство, не требующее такого рассеяния действительности на зоны прописки четырех (или большего количества) «видов творчества», единство, в рамках которого диалектически взаимодействуют индивидуальное с общим, надиндивидуальным, личное и психологическое с социальным, а не взаимноисключают друг друга, как в «героическом» и «драматическом» — с одной, и в «романтическом» — с другой стороны, в концепции И. Волкова.

5

Типология стилевых течений в литературе социалистического реализма и до сих пор остается единственным выражением типологического подхода к социалистическому реализму. Главные усилия первых представителей этой самой молодой отрасли нашего литературоведения свелись к попыткам установить «номенклатуру» стилевых течений. Уже предложено несколько ее вариантов. Но ни один из них еще не получил достаточно широкого признания, и все вместе они свидетельствуют, что, как справедливо пишет А. Эльяшевич, который взял на себя труд критически рассмотреть их, «и сегодня наша эстетика не пошла дальше приблизительной наметки пограничных рубежей между ведущими стилевыми потоками. Да и сами очертания этих потоков у разных исследователей по-прежнему не совпадают»¹⁷. Нет согласия даже во мне-

нии об их количестве. Одни насчитывают только два (реалистическое и романтическое, или жизнеподобное и «условное»), другие — три (те же два плюс условное, или условно-метафорическое), Л. Егорова и С. Асадуллаев — пять¹⁸. Еще более существенны, как уже было показано на примере двух подходов к этой проблеме (С. Асадуллаева и И. Волкова), расхождения во взглядах на природу стилевых течений. «И все же,— пипет об этом А. Эльяшевич,— переход от «двухлинейной» схемы к «трехлинейной» значительно продвинул нашу эстетическую науку вперед. Благодаря ему были схвачены и зафиксированы существенные различия романтического и условного стилей». Необходимо, как думает тот же автор, дальнейшее «разукрупнение» стилевых потоков...

И в самом деле, не пора ли перейти к более разветвленному и при этом системным представлениям о художественном многообразии советской литературы? Но какие именно потоки нужно «разукрупнять»? Каковы структурные основания системы?

Применительно к советской литературе эта проблема имеет свою ярко выраженную специфику. На основе единого творческого метода в нашей стране развиваются 77 национальных литератур. Общеизвестно, что это не механическая сумма, а подвижное, органическое единство — «единство в многообразии». О нашей многонациональной литературе, как и обо всей культуре развитого социализма, можно сказать, что это «органический сплав создаваемых всеми народами духовных ценностей». К советской литературе вполне приложима характеристика нашей культуры в целом, данная в докладе Л. И. Брежнева «О пятидесятилетия Союза Советских Социалистических Республик»: «Социалистическая по содержанию, по главному направлению своего развития, многообразная по своим национальным формам и интернационалистская по своему духу и характеру».

Исторический путь развития советской литературы отмечен нарастанием качественных признаков социалистической и интернационалистской общности как в содержании, так и в ее форме. В этом сказывается и всеобщая тенденция мирового литературного процесса, которую покойный

¹⁷ А р к. Э л ь я ш е в и ч. Единство цели, многообразие поисков в литературе социалистического реализма. Л. «Советский писатель». 1973, стр. 104.

¹⁸ Л. П. Е г о р о в а. Проблемы типологии социалистического реализма; С. Г. А с а д у л л а е в. Историзм, теория и типология социалистического реализма. Ваку. 1969.

академик Н. И. Конрад определил так: «Наше время — эпоха национальных литератур, но вместе с тем и эпоха литературных общностей»¹⁹.

Эпоха развитого социализма — новая эпоха и в развитии еще невиданной исторической общности людей, и в движении тех процессов художественного прогресса, сущность которых была определена научно в «Манифесте Коммунистической партии» как формирование «из множества национальных и местных литератур... одной всемирной литературы»²⁰.

В самом конце XIX века Иван Франко в статье «Интернационализм и национализм в современных литературах», единственной в своем роде для того времени и подтверждающей влияние марксистского учения на его эстетические взгляды и литературоведческие концепции, отметила значительное расширение области литературного интернационализма и одновременно все возрастающую «национализацию каждой отдельной литературы», когда «выступает все рельефнее ее особый, национальный характер, ее оригинальные признаки, основные особенности ее народного юмора и народного пафоса, особенности ее выражения, литературного стиля, поэтической техники»²¹.

Социализм гигантски ускоряет процесс интернационализации, «сближения и слияния наций»²² и национальных культур. Но у этого процесса, как уже сказано, есть и другая сторона, причем весь процесс в его диалектической неделимости становится предметом особой заботы нашей Коммунистической партии, одной из важнейших областей ее идеологической деятельности.

Поистине феноменален в истории всей художественной культуры человечества братский союз советских национальных литератур. Он и следствие и эстетическое отражение истории советского народа, и влиятельный фактор формирования новой исторической общности людей. История мировой литературы не знала и не могла знать такого монолитного единства стремлений и эстетических идеалов, ближайших

¹⁹ Н. И. Конрад. Запад и Восток. М. «Наука». 1972, стр. 294.

²⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 428.

²¹ Иван Франко. Сочинения в десяти томах. М. «Художественная литература». 1959, т. 10, стр. 123—124.

²² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 21.

и сравнительно отдаленных целей движения литератур к единому «действительно новому, великому коммунистическому искусству»²³.

Но переход от нынешнего уровня к грядущему слиянию совершается в процессе расцвета национальных культур, когда максимально и всесторонне осуществляются потенциальные возможности каждой из них в неповторимом своеобразии. В этом состоит главное выражение диалектики национального и интернационального в советской литературе. И, таким образом, ленинская идея «вполне планомерно руководить этим (литературным.— М. П.) процессом и формировать его результаты»²⁴ на современном этапе реализуется в двух направлениях: общенациональном, на котором развивается и крепнет интернационалистское единство всех национальных литератур, и национальном, на котором расцветает каждая из них, взаимодействуя с другими. Единство этих двух направлений осмысляет наука, исследующая закономерности литературного процесса. В двух этих аспектах нужно видеть и актуальные задачи типологии социалистического реализма как литературного направления. Она должна быть типологией его как направления и всей советской литературы и одновременно национальных литератур.

Здесь же нужно видеть и существенное отличие типологии метода социалистического реализма от его типологии как направления. Социалистический реализм как метод является общим и одинаковым для всех литератур; национальную характерность он приобретает только как направление.

Метод и направление соотносятся как две стороны системы: социалистический реализм как творческий метод есть система принципов художественного освоения действительности, а он же как направление — система художественных форм, в которой это освоение достигается.

Конечно, как всякое определение, так и предложенное здесь не охватывает всей сущности определяемого. Но оно представляется важным и необходимым для анализа проблем типологии, позволяя осознать социалистический реализм (как творческий

²³ «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М. «Художественная литература». 1969, стр. 666.

²⁴ Там же, стр. 663.

метод) в качестве общей для всех национальных литератур системы эстетических принципов, а направление — как его особенное выражение (функционирование) в каждой национальной литературе в виде стилевых течений. Но уже упомянутая специфика данной проблемы состоит в том, что социалистический реализм является направлением не только каждой национальной литературы в отдельности, но и направлением всего их многонационального единства, поскольку советская литература не простая совокупность национальных литератур, а эстетическое единство, где развитие совершается по общим законам и закономерностям и отмечен нарастанием единых эстетических качеств во всех сторонах и явлениях литературного процесса.

Критика и литературоведение фиксируют возрастающее в братских литературах из года в год сходство и общность тематико-проблемных направлений, сближение систем стихосложения и изобразительных средств поэтического языка; утверждается «межнациональная» система жанров в прозе, драматургии и поэзии, единство принципов типизации в эпических жанрах. Можно сказать, сформировался общий эстетический фонд, который и далее обогащают своими вкладами и из которого черпают необходимое для своего художественного развития все национальные литературы.

В этих условиях, в этом контексте явлений и процессов развития национальных литератур складываются и межнациональные стилевые течения, общие либо для всех, либо для многих из них.

Партийные документы последних лет подчеркивают все возрастающую роль нашей литературной критики и литературоведения в освещении и разработке национальных и интернациональных аспектов литературного развития. В постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» специально подчеркнута необходимость как можно глубже анализировать процессы «взаимообогащения культур социалистических наций».

Изучение типологии стилевых течений, в которых социалистический реализм как направление существует и функционирует, должно стать одним из важнейших ответвлений советского литературоведения. Оно должно объединить силы всех его национальных отрядов общей задачей постижения внутренней сущности многонациональ-

ного литературного развития именно на том его участке, где наиболее очевидно осуществляется единство содержания и формы, а социалистический реализм выступает как наиболее полное эстетическое выражение современной действительности.

6

Авторы, делающие первые попытки обозреть стилевые течения и наметить принципы изучения их типологии (С. Асадуллаев, Л. Егорова, И. Волков, Н. Никулина и другие), пока что характеризуют только те стилевые течения, которые сложились в русской литературе, лишь изредка упоминая то одно, то другое произведение из других литератур, но полагают, однако, что на этом материале можно делать обобщения применительно ко всему многонациональному литературному процессу. Явления взаимообогащения литератур, а тем более стилевые течения в отдельных национальных литературах остаются за пределами их внимания. Даже работы, появившиеся в республиканских и краевых издательствах, проходят мимо явлений национального литературного развития. В книге Л. Егоровой, изданной в Ставрополе, в центре края, не только соседствующего, но по традициям связанного с культурной жизнью Дагестана, советской Осетии и Кабардино-Балкарии, нет ни слова о явлениях и историческом опыте развития социалистического реализма в литературах этих республик.

В книге С. Асадуллаева, вышедшей в Баку, оставлен, как ни странно, целиком за пределами теоретического осмысления опыт азербайджанской литературы. Два-три обращения к имени и высказываниям Самеда Вургуня, конечно, не делают погоду. Более того, здесь как бы поставлена под сомнение сама возможность типологического подхода к стилевым явлениям национальных литератур, даже таких, как русская. «Порою, правда, — иронизирует С. Асадуллаев над некоторыми исследователями, — они призывают своих оппонентов не сводить различные стили художественного творчества к различным методам. Но при этом, как правило, апеллируют к опыту многонациональной советской литературы и наличие «различных стилей» относят на счет ее многонациональности. Но различимо ли это многообразие стилей (течений) при единстве метода внутри одной нацио-

нальной (русской) литературы — на этот вопрос ответа они не дают...»

В дальнейшем понятие «русская литература» как часть советской литературы больше не фигурирует, хотя «опытной базой» книги является только она, а писатели из других литератур (кроме Чингиза Айтматова, повесть которого «Белый парох» удостоена краткой характеристики) лишь упоминаются, да и то изредка, без каких бы то ни было попыток соотнести их творчество с национальным своеобразием или стилевыми течениями национальных литератур. Словом, автор пишет только о «стилевых течениях в советской литературе» — реалистическом, романтическом, сатирическом, научно-фантастическом и «стилевом течении лирического социалистического реализма».

Несколько иначе выглядит концепция Н. Никулиной — автора главы о методе и стиле в «Курсе лекций по теории социалистического реализма» для студентов филологических факультетов²⁵. Она признает «национальное своеобразие стиля», но стилевые течения рассматривает вне этого аспекта. Предложенная ею номенклатура стилевых течений отличается от номенклатуры С. Асадуллаева и качественно и количественно. Она называет семь таких течений, причем большинство и по названию и по конкретной их характеристике не совпадают с теми, которые названы и определены азербайджанским литературоведом: народно-историческое, романтическое, героическое, лирическое, психологическое, философское (или интеллектуальное) и публицистическое. Однако же все они, как и у Асадуллаева, рассматриваются только в границах русской литературы, но именуется (опять же как у Асадуллаева) стилевыми течениями, или стилями, советской литературы. Национальное своеобразие литератур, лежащее в основе стилового богатства и многообразия советской литературы, как объект типологического осмысления, в сущности, оказывается за рамками исследования.

Работы С. Асадуллаева, Н. Никулиной, Л. Егоровой, И. Волкова, в книге которого при видимости полемики заметно повторяется концепция его предшественницы, во многом определяют ситуацию в развитии типологического изучения социалистическо-

го реализма. И определяют довольно-таки неожиданно.

За последние десять — пятнадцать лет марксистско-ленинская эстетика, искусствоведение и литературоведение немало сделали для постижения диалектики национального и интернационального во всех видах искусства. Партийные документы, опубликованные в связи с пятидесятилетним юбилеем СССР, стимулировали новый уровень исследовательского интереса к процессам развития национальных литератур и дальнейшего укрепления их единства. Уже определились главные линии многонациональной науки о литературе. Сложились межнациональные проблемно-тематические направления, по которым идет работа литературоведов всех союзных и автономных республик. Особенно показательны в этом отношении горьковедение, изучение творчества Маяковского, и прежде всего роль Горького и Маяковского в развитии национальных культур, формировании и утверждении эстетических основ многонациональной советской литературы. Разработка многих проблем теории и истории критического и социалистического реализма, в которой участвуют национальные коллективы литературоведов, ведется с пониманием ее общенационального значения для всех советских народов и национальных литератур. Советское литературоведение, научно осознавая совершающиеся в литературе процессы, уже перешло от описательной регистрации влияний (начала преимущественно русской литературы) к анализу и обобщению широкого круга явлений и процессов идейного и художественного взаимообогащения братских литератур. Наука о литературе становится все более влиятельным фактором сближения национальных литератур на основе идеалов интернационалистского единства. Вместе с тем складывается новый тип литературоведа и литературного критика, способного рассматривать явления литературного процесса в их многонациональных связях. Рождаются замыслы, осуществление которых еще совсем недавно было невозможно. Таковы сборники трудов, изданные к пятидесятилетию СССР, — «Национальное и интернациональное в советской литературе», «Единство, рожденное в борьбе и труде» и «Единство» (теперь он стал ежегодником), посвященные анализу наиболее продуктивных и перспективных явлений в развитии национальных литератур. Усилиями всех

* «Курс лекций по теории социалистического реализма». М. «Высшая школа». 1973.

республиканских академических институтов литературы под руководством Института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР создана шеститомная «История советской многонациональной литературы», материалы которой открывают возможность широких сравнительно-типологических обобщений.

В контексте развития советского литературоведения типологическое изучение социалистического реализма выглядит едва ли не самым отсталым направлением: господствующее здесь понимание явлений развития национальных литератур как бы повторяет тот «эмбриональный» период подхода к этим проблемам, который советское литературоведение пережило в первое десятилетие своей истории.

На этом уровне представлений типологическое изучение социалистического реализма дальше эмпирических констатаций не идет, потому что оно не обращает должного внимания на те звенья, которые связывают единое (литературное произведение) с всеобщим — советской литературой как многонациональным идейно-эстетическим единством.

Стилевая природа художественного произведения и сейчас, когда сложилось интернационалистское единство, не может быть понята вне национального контекста. Каждое подлинно художественное произведение, какой бы ни была интернационалистской по духу его идейно-художественная концепция, является творческим выражением национального художественного мышления, в котором своеобразно обнаруживает себя «национальная субстанция духовного сознания» (Гегель), то, что Белинский называл проще и конкретнее — «манерой видеть вещи», а Гоголь — единством творческих сил поэта с «самим духом народа», когда поэт глядит на мир «глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами». Национальное художественное мышление определяет и поэтический язык каждой литературы, во всяком случае его основной эстетический фонд, а тем самым и национальное своеобразие ее форм.

7

Само собой разумеется, что национальное своеобразие не сводится только к форме, а тем более к дробным и разрознен-

ным элементам поэтического языка. Вот почему представляется верным и необходимым не так давно прозвучавшее «предостережение»: «Главное в анализе национального своеобразия — не преступить предела, за которым начинаются «частицы художественной материи», не обладающие национальной одухотворенностью и смыслом, главное — уяснить, что национальное «крюется» более всего в идейно-содержательной сфере художественного целого, в структуре связи, в отношении к миру и человеку, во взгляде художника на мир, что национальное, если рассматривать его как самостоятельную эстетическую категорию, есть прежде всего национальное художественное мышление...»²⁶.

Автор «предостережения» (Л. Арутюнов) считает, что национальное художественное мышление вполне «овеществляет» себя в масштабах «национального стиля». Однако же национальный стиль при ближайшем рассмотрении оказывается категорией слишком умозрительной и в науке до сего времени не нашедшей достаточно строгого истолкования. Да это и естественно. При возрастающей сложности взаимодействия различных видов искусства и интенсивных процессах формирования межнациональных общностей в этой области вряд ли возможно такое всеобъемлющее стилевое единство, которым одна национальная литература вполне определялась бы и отличалась от всех других. В то же время отдельное произведение, как бы ни было оно само по себе своеобразно, не является достаточным основанием для обобщений национального масштаба. Чтобы судить о степени и качественном уровне его национальности, оно должно быть осмыслено в достаточно широком контексте. Таким контекстом в литературе является, по нашему мнению, стилевое течение.

Заметим, что сами сторонники понятия «национальный стиль» считают его «в известной степени условным» и не требующим «обязательной прикрепленности к каждому явлению развивающейся национальной культуры»²⁷. Но здесь эта оговорка ничего не дает. Известно, что каждое прави-

²⁶ «Национальное и интернациональное в советской литературе». М. «Наука». 1971, стр. 155.

²⁷ Л. Н. Арутюнов. Взаимодействие литератур и проблема новаторства. Сборник «Единство, рожденное в борьбе и труде». М. «Известия». 1972, стр. 194.

ло предполагает возможность каких-то исключений. Однако же если его необходимость так велика, что оно становится «условным», нужно ли настаивать на его необходимости в науке?

Понятие стилового течения обладает достаточной конкретностью и определенностью, чтобы не нуждаться ни в каких оговорках о его «условности» даже «в известной мере»; оно является вполне реальной единицей и наиболее очевидной типологической общностью в рамках направления и в границах национального и в границах многонационального литературного процесса.

Стилевые течения складываются и развиваются и как национальные и как межнациональные, демонстрируя тем самым диалектику национального и интернационального в художественной культуре развитого социализма.

Критика и литературоведение отмечают все более крепнущий процесс формирования межнациональных стиливых течений²⁸, выделяя среди них наиболее определившиеся — эпическое (поток «большого эпоса»), лирическое, романтическое... К первому, самому мощному и «традиционному» (после эпопей и романов Горького, А. Толстого, Шолохова, Упита, Лациса, Аузова), справедливо относят романы К. Федина и Г. Маркова, К. Симонова и Г. Коновалова, Ф. Абрамова, литовцев А. Беляускаса, Й. Авижюса, Ю. Балтушиса, белорусов А. Адамовича, И. Мележа, И. Чигринова, И. Шамякина, украинцев Ю. Смолича, П. Загребельного, Н. Рыбака, казахов И. Есенберлина и А. Нурпеисова, кабардинца А. Кешокова, нанайца Г. Холжера и многих, многих прозаиков других национальных литератур.

Также широко и многонационально представлено в советской прозе и лирическое стиловое течение. Здесь, кроме ряда произведений М. Пришвина и К. Паустовского, — «Степные баллады» молдаванина Иона Друцэ, «Тронка» украинца Олеса Гончара, повести «Материнское поле» киргиза Айтматова, «Птицы и гнезда» белоруса Янки Брыля, «Когда пробуждаются камни» осетина Максима Цагараева, «Мы и наши горы»

армянского прозаика Гранта Матевосяна, роман «Чинара» узбека Аскада Мухтара, «Дневные звезды» Ольги Берггольд, «Владимирские проселки» и «Капля росы» Владимира Солоухина, «Привычное дело» Василия Белова и другие широко известные произведения прозаиков России, Украины, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Осетии, Дагестана...

Для характеристики всесторонней (охватывающей и область стила) интернационализации художественной культуры при социализме показательно и очень перспективно то, что межнациональные стиливые течения вовлекают в свое полноводье и младописьменные литературы: в эпическом течении можно отметить романы Юрия Рытхэу, балкарца Жанаканита Залиханова «Горные орлы» и «Горящие сердца», удгейца Джанси Кимонко «Там, где бежит Сукпай», нанайскую трилогию Григория Ходжера, «Дочь Каракалпакии» Т. Каипбергенова, целую библиотеку бурятских романов и повестей Ч. Цыдендамбаева, Ж. Тумунова, Д. Батожабая, А. Бальбурова; в рамках лирического течения — повести мансийца Ювана Шесталова «Синий ветер каслания» и «Когда качало меня солнце», дагестанцев Эффенди Капиева «Поэт» и Расула Гамзатова «Мой Дагестан»...

Особенно примечателен здесь «Мой Дагестан» — лирическая исповедь и размышления поэта о путях художественного прогресса, о месте малых народов в нем, о законах и «секретах» творчества, о счастье участвовать своим талантом в жизни народа и развитии искусства. Это совсем новая проблематика для молодых литератур. Еще новее в «Моем Дагестане» осознанность причастности не только к развитию своей национальной литературы, но и к общему художественному прогрессу народов Советского Союза и еще шире — всего человечества. «Кремль и аул, идеи коммунизма и чувство родины — два крыла птицы, две струны моего пандура... — пишет Гамзатов. — Сознание каждого писателя сегодня шире одной только своей национальности. Общечеловеческое, общемировое волнует его сердце и теснится в его мозгу».

Так, произведение, включаясь в межнациональный стиловой поток лирической прозы, вместе с тем выражает и те идейные тенденции и идеалы, которые объясняют самую возможность и закономерность формирования стиливых течений, общих для всей советской литературы.

²⁸ Из новейших работ об этом назовем статью Ю. Суровцева «Единство в развитии» («Знамя», 1972, № 6), упомянутые сборники «Единство» и «Единство, рожденное в борьбе и труде», книгу Н. Воробьевой и С. Хитаровой «На новых рубежах» (М. «Советский писатель», 1974).

Мы остановили внимание читателя только на двух стилевых течениях, назвав произведения общеизвестные, без колебаний причисленные критикой именно к этим течениям.

Пополнение «списков» писательских имен и произведений позволило бы сделать вывод, что и в отдельных национальных литературах каждое из названных течений представлено нередко рядом имен, произведений, а значит, развивается как стилевое течение данной национальной литературы, вливаясь в общий эпический или лирический стилиевой поток, то есть в межнациональное стилевое течение. Применительно к эпическому течению это утверждение не требует доказательств. Истинность его очевидна. С лирической прозой сложней. Из современной русской литературы мы уже назвали произведения Ольги Берггольц и Владимира Солоухина. Но в этом же ряду должны быть названы лирический дневник «Белое время» В. Цыбина, «Бобринский угор» В. Белова, повесть «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского, мемуарно-биографические произведения В. Катаева («Разбитая жизнь») и В. Кетлинской («Вечер. Окна. Люди»)...

Значительный массив произведений, позволяющих говорить о широко разлившемся и разветвленном течении лирической прозы, есть и в украинской литературе. Кроме названных, упомянем здесь повесть «Бригантина» и новеллистику Олеса Гончара, рассказы и повести Евгения Гуцало, повести Михаила Стельмаха «Гуси-лебеди летят...» и «Щедры вечер», рассказы И. Чендея, В. Шевчука и других украинских новеллистов и романистов. В украинском литературоведении широко обсуждаются проблемы новеллистики и новеллистического романа в тесной связи со стилевыми проблемами украинской лирической прозы.

Нередко при этом речь идет и о лирико-романтическом стилевом течении, традиции которого возводятся к романтическим произведениям его зачинателей и крупнейших художников — Юрия Яновского и Александра Довженко.

В этом потоке рассматриваются трилогия Олеса Гончара «Знаменосцы» и его же романы «Человек и оружие», «Циклон», ряд произведений М. Стельмаха, Л. Первомайского, В. Земляка, М. Рудя, А. Сизоненко, Ю. Мушкетика и некоторые из произведе-

ний, названных нами в связи с лирическим течением. При этом отмечается нерасчлененность двух — лирического и лирико-романтического — стилевых течений, отсутствие четких границ между ними. Нечеткость границ отчасти объяснима тем, что романтизм всегда лиричен. Большинство критиков и не стремятся отделить лирическое от романтического течения. Между тем это два разных течения. И вполне правомерно было бы показать их различия и требовать большей ясности типологических представлений о них. Однако в границах украинской литературы отмеченное совмещение понятий имеет свои резоны, оно продиктовано спецификой стилового портрета украинской литературы. Например, в произведениях крупнейших украинских прозаиков Юрия Яновского, Александра Довженко, Олеса Гончара и Михаила Стельмаха, в ряде драматургических произведений Л. Первомайского, М. Кулиша, А. Левады, в поэзии П. Тычины, М. Рыльского, В. Сосюры, М. Бажана и многих других поэтов слитность этих течений настолько наглядна, что отнести их только к одному в большинстве случаев представляется невозможным. А без этих произведений и лирическое и романтическое течения предстанут обедненными и недостаточно «полноводными», чтобы сохранить самое право именоваться течениями. Правомерность их рассмотрения в таком национально-специфическом единстве убедительно подтверждена характеристикой украинской лирико-романтической прозы в недавно появившейся книге Л. Новиченко. В этом видится очень веский аргумент в пользу сформулированного исследователем положения, что «особый аспект вопроса о стилевом разнообразии советской литературы (а следовательно, и типологии социалистического реализма.— М. П.) связан с проблемой национального своеобразия индивидуальных стилей и целых стилевых школ... национальное своеобразие в стилях каждой литературы,— продолжает автор,— все же реальное явление, коренящееся в реально действующих традициях, неповторимости национального характера, особенностях эмоционального «облика» народа»²⁹.

Тремя течениями — эпическим, лирическим и романтическим,— конечно, не исчерпывается многообразие национальных и межнациональных стилевых течений. Мож-

²⁹ Леонід Новиченко. Життя як діяння. Київ. 1974, стр. 40—41.

но назвать и некоторые другие³⁰. Но нельзя не сказать, что эти три — главные, генеральные во всей советской литературе и во всех литературах, ее составляющих. Богатство стилевых течений видится прежде всего в них и в тех своеобразных модификациях, которые эти три течения имеют в национальных литературах, а также в каждом из литературных родов (эпосе, лирике, драме) соответственно их структурной специфике. Для примера упомянем лирико-философское течение в поэзии (представлено поэмой А. Твардовского «За далью — даль», циклом поэм В. Луговского «Середина века», книгой «Стихотворения» Н. Заболоцкого, циклом стихотворений Б. Пастернака «Когда разгуляется...» и стихотворениями в сборниках П. Антокольского «Мастерская», Н. Асеева «Лад», Л. Мартынова, М. Светлова...), специфичность которого в поэтическом языке, в формах художественного обобщения так велика, что оно не может быть отнесено к одному течению с лирической прозой.

Магистральность эпического, лирического и романтического течений в каждой национальной литературе подтверждена особенно убедительно тем, что именно они стали первыми межнациональными течениями советской прозы.

Если бы интерес к типологии стилевых течений был достаточен высок, а типологический подход распространялся бы на поэзию и драматургию в такой же мере, как на прозу, все три течения выступили бы и здесь в той же магистральной роли, определяющей «карту» стилевых течений.

На первый взгляд может показаться, что квалификация этих течений в качестве главных не оттеняет новизны и новаторства социалистического реализма. Во всяком случае, и эпическое и лирическое течения традиционны. Они, пожалуй, изначально для реализма как направления в мировом литературном развитии.

Что ж, все это доводы в пользу преемственности социалистического реализма по отношению ко всем предшествующим этапам реалистического искусства. А его новаторство состоит здесь в том, что традиционные явления и категории претерпева-

ют в рамках нового метода коренное изменение.

Присмотримся к этому внимательнее. Прежде всего об эпическом стилевом течении. Победа революции и утверждение социализма заметно изменили предмет этого течения: иным стало «эпическое состояние мира». Перед литературой — художественной летописью формирования новой исторической общности людей — оно раскрывается как совершенно конкретная реальность в таких масштабах и перспективах, в каких его не могла провидеть даже фантастика. Вместе с тем изменился и взгляд писателя, его художнический подход к эпическому состоянию мира. Он все острее видит его в движении, в историческом развитии, видит с тех вершин, на которые его уже подняла эпоха развитого социализма, требующая осознать себя и советское общество в сопричастности не только к современности, но и к будущему. «Связь времен» выступает в эпическом течении так исторично, как она не могла выступить ни в одном из направлений, кроме социалистического реализма. Причем в таком историческом контексте осознается не только совершающееся в масштабах национальных и общесоветских всем народом, но и личное, происходящее в границах жизни отдельного человека.

Словом, эту концепцию мира несут не только произведения, где показана наша победа под Сталинградом («Горячий снег» Ю. Бондарева), Ленинградом («Блокада» А. Чаковского) или наше победное и освободительное шествие по странам Западной Европы («Знаменосцы» Олеся Гончара), но и подвиг лейтенанта Ивановского («Дожить до рассвета» В. Быкова), и самопожертвование Сергея Петрова «всем смертям назло» в повести В. Титова, и в какой-то мере даже заблуждения и разочарования Анны Вараксиной из одноименной повести Виля Липатова, как и весь жизненный путь и конечная моральная катастрофа карьериста и негодяя в повести В. Катаева «Фиалка».

Намеренно упоминаем мы здесь две эти повести, чтобы тем самым показать, что эпическое предполагает не жанровые масштабы, а качественные признаки, которыми отмечены подлинно художественные произведения и в других жанрах — повести, поэмы, новеллы, рассказы...

Не менее существенное обновление произошло и в сфере лиризма, удельный вес

³⁰ В своей обстоятельной статье «О типах социалистического реализма» («Москва», 1974, № 9) А. И. Овчаренко после развернутой характеристики реалистического (мы характеризуем его как эпическое) и романтического течений называет условно-метафорическое течение.

которого безмерно возрос во всех стилевых течениях и жанрах (в том числе и в романе), а лирическое стилевое течение не только не угасает, как думали некоторые из наших литературоведов на рубеже прошлого и нынешнего десятилетий, а, наоборот, позволяет критикам констатировать подъем «могучей волны лиризма» в творческих поисках писателей всех литератур социалистического реализма.

Причины этого явления уже нашли довольно верное объяснение. «Наше время — время решений, время действий, кризисов, развязок, ответов. В такое время небывалое значение приобретает субъективный «фактор» истории. Идет гигантская борьба за овладение, за управление историческим процессом. Вопрос, как человек создает обстоятельства, становится рядом с вопросом, как обстоятельства создают человека. Миллионы и миллионы людей решают, какова их позиция в происходящей борьбе, и самый процесс формирования жизненной установки и цели в душе человека получает огромную важность. Не только объективная действительность, но и субъективный мир находятся сейчас в состоянии величайшего напряжения»³¹.

Как видим, и здесь отмечено действие принципа осознанного историзма, который мог возникнуть только на почве исторического опыта построения социализма, а выкристаллизовался только в эпоху развитого социализма.

Личность принимает на себя все заботы мира, чувствует себя ответственной за его судьбу, осознает себя способной изменять его облик и налагает на все воспринимаемое свою печать.

Взгляд на действительность, так сказать, «со стороны» все больше отесняется в произведениях художественной литературы преломлением внешнего мира в чувствах воспринимающего субъекта (автора или героя), события изображаются преимущественно постольку, поскольку они становятся моментом переживания или духовного состояния и развития личности. Преломляясь во внутреннем мире личности, настроениях, внешний мир выступает не только в своей видимой многоцветности, но и в неизмеримом многообразии эмоциональных красок и тонов. На этой почве и складывается у нас стилевая определенность и новаторская природа лирического стилевого

течения, этим оно и выделяется из общего процесса нарастания лирического начала и в современном мировом литературном процессе.

Сложнее с романтикой и романтическим стилевым течением. Здесь сразу возникает острый вопрос, порожденный бурными процессами перестройки человеческого сознания в эпоху научно-технической революции. Что будет с романтикой? Какое место может занимать романтический стиль в литературе, когда научно-технический прогресс, как сказано в одном романе, «наложил лапу на все» — не только на производство, но и на искусство, не только на обстоятельства человеческой жизни, но и на самого человека, его психику, его духовный мир? Гигантскими темпами возрастающий поток информации («информационный взрыв»), всеобъемлющее влияние науки и непрерывное увеличение удельного веса «рациональных» элементов во всех сферах духовной жизни человека, все более широкие возможности программирования и перевода на математический язык не только «ума холодных наблюдений», но и многих «отлетов» мечты от повседневности — не гасит ли все это естественный порыв человека к мечте, всегда остро интересовавшийся искусством?

Нет, романтическое течение не оскудевает ни в прозе, ни тем более в поэзии. И все же вопросы о судьбах искусства, в частности романтического, в эпоху НТР звучат то прямо, то между строк в статьях критиков, размышлениях писателей, письмах читателей. В этой связи о проблемах и судьбах искусства, литературы говорят и спорят герои романов, повестей, рассказов. Случается, что иные из них, не без авторского на то благословения заявляют, будто искусство должно отрешиться от образа мышления, характерного для вчерашнего дня, что теперь его стилистическая норма — открывать прекрасное в пластических формах современной индустрии. Как знать, не в полемический ли противовес такого рода воззрениям возникли не просто романтическая, а, я бы сказал, демонстративно романтическая «Дума про тебя» Михаила Стельмаха и роман Олеса Гончара «Циклон», тоже участвующие в спорах о судьбах романтического течения в современной литературе.

Олесь Гончар включился в эту полемику давно. И первыми новеллами, и трилогией «Знаменосцы», и программной защитой «ро-

³¹ В. Днепров. Черты романа XX века. М.—Л. «Советский писатель». 1965, стр. 533.

мантики» (а в сущности, романтического течения) на страницах печати. Будет, пожалуй, правомерно, если мы вместо общих рассуждений обратимся к его творческому опыту последних лет и еще конкретнее — к его роману «Циклон», чтобы наглядно показать новаторскую сущность романтического течения в нашей литературе.

И теперь автора влекут новые рубежи жизни, он стремится запечатлеть духовный мир современника на том уровне, на который поднимает его техническая вооруженность человеческого разума, эпоха освоения космоса, научно-технической революции. Гончар сказал здесь языком искусства, что после того, как земной житель впервые увидел свою планету из космического полета, подлинный художник уже не может мыслить старыми категориями, делать вид, будто в психике современника не произошло изменений. Они произошли, охватив все стороны его духовного мира, все области его творческой деятельности, поставили перед человечеством и перед искусством задачу по-новому ответить на великие и вечные вопросы. Ответить не абстрактно. Наоборот, с более чем когда бы то ни было ясным сознанием реальной ответственности «за все на свете» на всем земном шаре, который человек увидел, как сказано в романе, из космоса в нимбе голубого сияния, пережил при этом «что-то прекрасное до грусти» и понял, что «уже не может не думать о том, что было и что будет».

А в таком взгляде на действительность, в такой чувственно-конкретной «всемирности» самосознания героев романа уже заложена возможность единства, синтеза реалистических и романтических элементов искусства. И не в отдельных моментах сюжета, а во всех его звеньях, соединяющих в романе «Циклон» два плана, две линии — творческую историю художественного замысла с героической эпопеей подвигов партизанского отряда. Романист повествует о том, как у бывшего партизана Богдана Колосовского, известного читателям по роману «Человек и оружие», рождается замысел дать средствами искусства (после войны он стал кинорежиссером) вторую жизнь погибшим товарищам. Колосовский пишет сценарий будущего фильма и обдумывает способы его художественной реализации. Двухединный поток этого творческого процесса и определяет композицию романа — сочетание логики внешних событий с логикой развития ищущей мысли режиссера.

А избранный последним (здесь героя трудно отделить от писателя) угол зрения позволяет высветить все изображаемое светом идеалов нашего современника, видящего себя на пороге XXI столетия. От этого извечное для искусства противостояние добра и зла обретает выражение предельно экспрессивное, в ряде случаев укрупненное до символов, к языку которых автор прибегает в «Циклоне» куда чаще, чем в прежних произведениях.

Романист поставил перед собою задачу утвердить героическую концепцию искусства и полноправность романтического стиля в изображении будней современника. Героическое самосознание социалистической личности (и социалистического искусства как человековедения) обнаруживает себя, раскрывается во всех сферах активного гуманизма — в борьбе за счастье человечества, за торжество разума и справедливости. Об искусстве, воспитывающем такое самосознание, мечтают главные герои романа, с такими масштабами общественной роли искусства соотносят они свои творческие задачи в работе над фильмом.

Вступая в прямую переключку с Горьким, наследуя концепцию, а в какой-то мере и стиль его романтической поэмы «Человек», Гончар вкладывает в уста одного из героев глубоко знаменательное суждение о Человеке как «универсуме», «альфе и омеге всего». И уже совсем по-горьковски, пожалуй, даже цитатно сказано о назначении человека на земле: «Я — человек! Живу для любви, для творчества!»

Той же стилевой традиции верен Гончар и в средствах изображения творческого процесса от стадии замысла до его реализации.

Атмосфера творческих размышлений, сопровождающих поиски сюжета, носит, в сущности, романтический характер. Ее создает не только пейзаж морского побережья с циклопическими разрушениями после недавнего шторма, но и размышления об «искусстве великих вопросов», о возвышенных нравственных критериях (критериях нравственного максимализма), с которыми подходят и к искусству и к людям (персонажам и исполнителям ролей будущего фильма) режиссер Богдан Колосовский и его, в сущности, соавтор — оператор Сергей Танченко.

Роман «Циклон» — художественное исследование того высокого, что есть «в трудах и днях» деятелей искусства, когда ху-

дожественная идея делает их как бы одержимыми, поднимает их на уровень высококого вдохновения.

В ряде выступлений О. Гончар отстаивал право романтического течения быть «художественным синтезом того высокого, что есть в жизни». Он всегда был за «ту романтику, которая естественно вырастает из реализма на реалистической почве». Роман «Циклон» — новое слово в защиту этой эстетической программы. Все идеальное и романтическое в нем опирается на вполне реальную почву жизненного опыта художника, исторического и современного опыта народа. В реалистической основе, пожалуй, и состоит принципиальное отличительное качество и новаторство стиливого романтического течения, к которому справедливо относят и роман «Циклон». Так снимается противоречие между романтическим и реалистическим началами, характерное для досоциалистического искусства. Взаимпроникновение этих начал — вот еще один из продуктивнейших источников художественного многообразия литературы социалистического реализма.

Напрасно некоторые авторы типологических ее характеристик (А. Егорова, Н. Никулина) объявляют результат такого взаимпроникновения особым «типом творчества», «типом социалистического реализма». Таков весь социалистический реализм; он по своей природе, по сущности своих принципов и концепций романтичен. Правильно развивается в нем романтическое течение, которое сосуществует с другими и обогащает свою реалистическую основу, вступая с ними в соревнование за правдивое, возможно более полное и художественное отображение жизни.

Углубление и укрепление реалистической подосновы романтического стиливого течения открывает для него огромные возможности выражения главных, генерализующих тенденций эпохи, позволяет искусству вобрать в себя растущее богатство чувств и интеллекта нашего современника, показать «свет разума», опирающегося на гигантски возросшее богатство науки в эпоху развитого социализма и научно-технической революции.

Не ради критики как таковой, а тем более не ради отрицания заслуг авторов первых книг о типологии социалистического реализма написана наша статья. На пути к своей зрелости новое направление в изучении творческого метода советской литера-

туры переживает заметные трудности. Непременное условие их преодоления видится в четком определении методологических аспектов и задач типологии социалистического реализма. В нашей статье сделана попытка наметить главные из них.

Мы считаем, что типологическое изучение социалистического реализма надо начинать не с типологии стиливых течений, а с типологии метода, то есть его принципов и концепций (принцип партийности и народности, осознанного историзма, концепция личности и т. д.). Однако в социалистическом реализме как эстетической системе типологическому изучению подлежит не только система, но и ее функционирование — и творческий метод и направление как реальное выражение метода в живом литературном процессе. К этой второй стороне (производной от типологии метода) и относится типология стиливых течений. Типология социалистического реализма как метода опирается на системное представление о его принципах и концепциях (в их соотношении и взаимодействии), которые и являются метоодообразующими факторами. Попытка упомянутых в статье «предметников» свести метоодообразующие факторы к «предмету» искусства грешит некоторым схематизмом в понимании отношения искусства к действительности и уводит типологическое изучение социалистического реализма от основных параметров (его принципов и концепций) как новой эстетической системы. Учитывая назревшую необходимость договориться об исходных методологических принципах и важнейших аспектах, в статье и предложены некоторые соображения о таком его изучении как системы принципов художественного освоения действительности и как системы художественных форм, в которой это освоение достигается.

8

Несомненно, что типологическое изучение не может быть односторонним, ограниченным одной какой-либо частью литературного процесса. Оно должно стать всеобъемлющим и системным. Это значит, что оно должно объять социалистический реализм как метод и как направление. Сейчас это изучение, повторяю, находится в периоде становления. Поэтому так важно было бы договориться об исходных методологических принципах и хотя бы важнейших его аспектах. Пока необходимой

ясности здесь нет. Наоборот, наше самое молодое направление в изучении социалистического реализма уже обросло дискуссионными разногласиями, оговорками о невозможности удовлетворительного решения многих проблем при нынешнем состоянии литературоведения. В то же время уже появилась масса усложнений и концепций, затемняющих и существо проблем и пути к их решению.

Л. Егорова, например, предлагает не отождествлять течение как «конкретное проявление социалистического реализма и стилевое течение». Их отождествление будто бы уже нанесло «урон нашему литературоведению». Поддерживая эту «концепцию», один из авторов сборника, вышедшего в Перми, так подкрепляет ее законами логики: нельзя отождествлять, «так как видовым понятием по отношению к методу-роду может выступать только разновидность самого метода»³².

Между тем здесь вернее было бы исходить не из формальной логики и соотносить не род и вид, а метод и его функциональное выражение. Это сразу устраняет необходимость двух различных понятий «течения» и позволяет видеть в последнем единство мировоззренческих и образительно-выразительных моментов, разделение которых и порождает эту противоречивую «концепцию».

В той же примерно плоскости соотношений лежат суждения Л. Егоровой и И. Волкова о «типе творчества», который мыслится как вид по отношению к роду-методу. Л. Егорова рассматривает пять таких типов: реалистический, романтический, тип, сочетающий в себе черты реалистического и романтического, тип творчества, формирующийся на основе романтического и сардонического мироощущения, и последний — формирующийся на основе сардонического, а также беззлобно-насмешливого мироощущения.

Не будем воспроизводить подробно характеристики каждого из «типов», так как некоторые из них повторены у И. Волкова и уже подверглись критическому разбору в нашей статье. Отметим только то, что резко подчеркивает искусственность подобных построений.

Во-первых, все тот же схематизм пред-

ставлений о творческой личности и творческом акте. Во-вторых, определение первого из «типов» — «реалистический», — тавтологически повторяющее определение всего метода. И в-третьих, не менее тавтологическое повторение того, что необходимо и для характеристики стилевого течения.

Возьмем хотя бы аттестацию «типа творчества, формирующегося на основе романтического и сардонического мироощущения». Это, оказывается, тип, склонный к «игре ума», парадоксам. Для такого типа творчества, пишет Л. Егорова, «характерен подчеркнутый интерес к социальным и философским идеям как таковым, к социальной сущности характеров и явлений... В художественных поисках писателя возникает установка на агитационность, эксперимент, моделирование. Жизнеподобные формы уступают место условно-аллегорическим формам или публицистике»³³.

Если согласиться с возможностью такой окрошки, то, спрашивается, почему это не характеристика стилевого течения, которое должно, по авторской концепции, соответствовать такому типу?

К тому же на пути к «типу творчества» выстраивается еще целый лабиринт. В книге Л. Егоровой, кроме градации «объектов художественного отображения», устанавливается также градация «типов эмоционального отношения к миру». А сами эти типы определены так: «...реалистом называют индивида с ясным («резвым») пониманием реальности... Романтиком называют...» Впрочем, пропустим романтика и перейдем сразу к «юмористу», который выступает третьим «типом», индивидом, «склонным к беззлобно-насмешливому отношению к окружающему миру...». Наряду с таким эмоциональным отношением к миру, завершает Л. Егорова свою классификацию, следует выделить «сардоническое, злобно-насмешливое, язвительное»³⁴.

Знакомясь с этой частью концепции, можно только пожалеть, что ее автор так мало сообразует свою классификацию и характеристику «типов» и «индивидов» с данными еще одной науки — психологии искусства, без обращения к которой задавать теперь такие концепции столь же невозможно, как завоевывать космос с помощью бумажного змея. Между тем на уровне таких суждений выводится три ти-

³² В. А. Зубков. К вопросу о типах социалистического реализма. Сборник «Метод и творческая индивидуальность писателя в советской литературе». Пермь. 1973, стр. 26.

³³ Л. П. Егорова. Проблемы типологии социалистического реализма, стр. 98.

³⁴ Там же, стр. 94.

па отношения художника к действительности — «резво-реалистическое, романтическое и сардоническое» — как едва ли не самые весомые «предпосылки создания соответствующей художественной структуры».

Вряд ли типология социалистического реализма должна заниматься секретами творческого акта. Это предмет интереса других наук и направлений литературоведения. Но и все, что может привести к упрощенным и вульгаризованным представлениям о нем, ей тоже противопоказано. А предложенное представление о типах «эмоционального отношения к миру», определяющих художественные структуры, страдает именно таким упрощением и вульгаризацией.

Весь лабиринт «градаций» и «типов» выстроен, конечно, с самыми благими намерениями — «учесть различия художественных структур на всех уровнях». Но ведь все эти типы и индивиды взяты вне времени и пространства, выглядят вечными нормативами творчества и творческой личности всех времен и народов. Непосредственно к типологии социалистического реализма они не имеют отношения. Типология социалистического реализма должна иметь дело не с извечными предпосылками литературного процесса (это опять же дело других наук и направлений литературоведения), а с самим литературным процессом, в котором метод социалистического реализма обнаруживает себя как эстетическая система.

Это отнюдь не значит, что творческую индивидуальность следует оставить за пределами внимания. Но речь должна идти о личности современного художника, а не о схематической конструкции, предположим, «сардонического» индивида.

Типологические характеристики стиливых течений (национальных и межнациональных) позволят нам составить более полное и точное представление о творческом методе в его реальном выражении в литературном процессе. При этом важнейшими параметрами будут принципы и концепции метода, обнаруживающие себя (реализующиеся) в каждом течении по-особому, то есть в различных соотношениях форм художественного обобщения.

Как выглядит карта этих течений в на-

циональных и общесоюзных масштабах советской литературы, это уже другая тема. Хотелось бы только заметить в заключение, что она должна быть, если можно так выразиться, открытой и навстречу будущему. Облик литературного процесса меняется на наших глазах. Не так давно прозвучало не лишнее резона заявление, что «интеллектуализм стал одним из течений внутри социалистического реализма»³⁵. Рост ассоциативных средств художественного мышления заметно меняет стилевой портрет нашей поэзии, возникает необходимость присмотреться к тому новому, что вносят эти средства в характеристику ее стиливых течений...

Научно-техническая революция резко повысила коэффициент интеллектуального во всех сферах жизни общества и во всех аспектах самоопределения личности. Литература не прошла мимо нового, она должна была открыть, художественно освоить изменившиеся масштабы, содержание и свойства интеллектуальной деятельности человека и человечества, запечатлеть новую эру вторжения разума не только в космические просторы мироздания и неизведанные глубины природы, но также и новую эру его власти в духовной сфере. Сейчас еще трудно представить себе в полном виде те революционные изменения, которые может внести в область искусства гигантски ускоряющийся научно-технический прогресс в соединении с преимуществами развитого социализма. Однако нет сомнения, что открытие, эстетическое освоение нового жизненного материала уже оказало глубокое воздействие на все искусство, обогатив не только его технические средства (радио, телевидение), но и само художественное мышление. Как следствие этого обогащения должны сформироваться и новые стиливые течения в литературе, а в существующих должны произойти важные сдвиги. И чем скорее критика заметит рождение нового в первых его симптомах, тем более эффективной будет научно осмысленная забота о художественном прогрессе и разумном управлении его движущими силами.

³⁵ Ю. Воров. Художественная мысль и концепция мира. Сборник «Актуальные проблемы социалистического реализма». М. «Советский писатель». 1969, стр. 418.

М. КОЗЬМИН

★

ОСТАВИТЬ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Над страницами романа Ю. Бондарева «Берег»

В 1926 году в письме к писателю С. Т. Григорьеву Горький высказал одну поистине пророческую мысль. «Мне кажется,— писал он,— что даже и не через сто лет, а гораздо скорей жизнь будет несравнимо трагичнее той, коя терзает нас теперь. Она будет трагичней потому, что — как всегда это бывает вслед за катастрофами социальными — люди, уставшие от оскорбительных толчков извне, обязаны и принуждены будут взглянуть в свой внутренний мир, задуматься — еще раз — о цели и смысле бытия. Таковых людей народится неисчислимо более того числа, кое ныне существует на земле. Думается мне, что уже и теперь у людей возникает, зарождается новый инстинкт — «инстинкт познания»... Вообразите, что будет, если десятки и сотни тысяч людей воспылают страстью догадаться не о том, как удобнее жить, а о том — зачем жить».

С того времени, как было написано это письмо, прошло действительно не сто, а пятьдесят лет. Новые, еще более мощные «оскорбительные толчки извне» — трагедия второй мировой войны, угроза атомной катастрофы — потрясли человечество и обострили стремление людей постичь смысл и логику движения истории. В нашем социалистическом обществе, выстоявшем в суровых испытаниях и успешно строящем коммунизм, «инстинкт познания» смысла жизни, можно сказать, становится массовым. «Зачем я живу?» — этот вопрос встает сегодня перед каждым, кто стремится осмыслить свое бытие, связав его с бытием других. Потребность углубиться в свой внутренний мир означает у нас не уход от общества, а желание найти свое место в нем, желание стать личностью. Вопрос «зачем жить?» все

органичнее входит и в нашу литературу, углубляя ее философское содержание. Именно в ответе на него заключен главный смысл нового романа Юрия Бондарева «Берег».

В основе этого талантливого произведения, получившего уже широкую известность у читателей и признание критики, лежат нравственно-философские искания его центрального персонажа — писателя Никитина. Поездка в Западную Германию, соприкосновение с чужим миром, с иными чуждыми и оскорбляющими человеческое достоинство нравами и взглядами, напряженные дискуссии, в которых ему приходится отстаивать наши социалистические взгляды на мир, на человека, на нравственность, встреча с госпожой Герберт, в которой он узнает немецкую девушку Эмму, некогда спасенную им от насилия и всей душой полюбившую его, воспоминания об их любви и о трагических событиях последних дней войны, о том счастливом и нечеловечески жестоком, что чуть не сломало его судьбу, о том, что стало стираться в памяти, но что он не имел права забывать и что сохранила в душе своей Эмма Герберт, продолжавшая любить и ждать русского лейтенанта, — все эти картины настоящего и прошлого, вставшие перед умом и совестью Никитина, предельно обострили противоречия в его и без того впечатлительной душе — душе человека и художника, остроэмоционального, нервно-обнаженного.

В предсмертном озарении перед Никитиным встает картина «необыкновенного кусочка детской благодати» — «залитый солнцем паром среди полуденной райски теплой реки, запах дегтя, лошадей, прогре-

того зноем сена в телегах, стоявших на пароме». И возникает ощущение «того берега, зеленого, обетованного, пахнущего медовым летним счастьем». «Да, был тот берег... — пронесится в сознании Никитина. — Он не раз снился мне, он повторялся лишь во сне с такой нереальной счастливой грустью, что просыпался утром со стиснутым горлом, с желанием задержать в сознании золотую явь детства, испытанную и уже где-то потерянную».

В образе Берега, давшего название роману Ю. Бондарева, заключен его основной нравственно-философский смысл. Это не значит, конечно, что все философское содержание романа сводится к образу Берега. Нет. Оно раскрывается и в характерах действующих лиц, в логике их поведения, в их взаимоотношениях, столкновениях и конфликтах. Оно находит выражение и в более непосредственной, публицистической форме — в спорах и дискуссиях, которые ведет писатель Никитин. Но для воплощения нравственно-философских идей романа оказался необходимым образ, олицетворяющий сами эти идеи, образ, в котором как бы слились и отправная точка и итог того поиска истины, которым поглощен его герой, образ-символ. Образ Берега.

Образ этот трудно перевести на язык логики. Просматриваясь в разных плоскостях, он то возникает как ощущение или предощущение, то мелькает в воспоминании, то воплощает в себе определенное настроение, то оформляется в зримую картину, в философскую мысль, идею, вывод.

Образ Берега пронизывает содержание романа. Он во многом определяет его художественную структуру и выступает все более явственно по мере развертывания сюжета. Он рождается уже в первой фразе произведения, передающей чувство оторванности от родной, как бы потерянной земли, которое охватывает человека, мчащегося с бешеной скоростью над облаками под лучами арктически холодного солнца. Он всплывает в сознании очутившегося в Западной Германии Никитина то как неистребимая тоска по дому, то как вызванное вопросительным и нежным взглядом госпожи Герберт неясное воспоминание о некогда увиденном во сне синем клочке непостижимого неба, об утреннем ветерке в радостном, как детство, солнечном поле с запахами весенних далей. Он как бы приближается к нам во второй части

романа, возвращающей нас к трагическим событиям последних дней войны.

Чувство Берега пробуждается здесь в атмосфере «одурманивающей тишины, запахов весенней свежести, солнценосного воздуха, наполненного прозрачной синевой», в том настроении, которое охватило бойцов батареи, отведенной на отдых в маленький, не тронутый войной городок Кенигсдорф. Чувство это рвется из души героя как «ощущение прилива молодости, прощающей доброты ко всему», как «счастливое ожидание чего-то нового, что было когда-то с ним в золотой поре детства и должно быть опять предвиденно и скоро», как ожидание «еще не свершившегося в его жизни, томлящая готовность к предопределенному войной — неизведанному и радостному». Оно обретает форму давнего детского сна, когда герой видит «какой-то фантастический поезд в золотистой, затопленной закатом степи» и себя, как «он один в чудесно озаренном лиловыми лучами вагоне, испытывая нечто белое, светлое, чистое, стоит у раскрытого окна на душистом ветерке, видит эту совершенно сказочную... стель... видит ее глубоко дымящиеся желто-пепельным закатом горизонты, с очертаниями таинственных городов на розовых берегах заросших пальмами рек, влекущие тащим обетованным обещанием приближенной радости, что ему хотелось долго и сладострастно плакать». Этот сон звенит в нем как «воспоминание чего-то несбывшегося и счастливого в его жизни».

Чувство Берега пробуждается не только в душе юного лейтенанта Никитина. Воспоминание о родине, о счастье мирной жизни и предощущение, что оно скоро вернется, охватывает и солдат, выключенных на какой-то момент из пекла заканчивающейся войны. «Эх, и ночь, звезды-то высыпали, как у нас в России, и месяц всходит. Не для солдат эта ночь, разные мысли в голову лезут, — дремотно бормочет часовой. — В такую бы ночь по деревне гулять. Девчата поют, а в полях тихо, только коростель дергает... Весна-а... Домой бы, домой». Отблеск Берега видит Никитин в выражении лица мертвого своего друга — лейтенанта Княжко. Оно как бы «обращено в увиденное им в последний миг мирное прошлое — с ними бывшими когда-то тихими обязанностями... к тому детскому, ясному, забытому на войне и Княжко, и им, Никитиным, как забыт был и голос матери». О «детском, ясном, забытом на вой-

не» напоминает Никитину и впорхнувшая в окно бабочка — «этот живой осколочек когда-то бывшего зеленого и милого дачного лета». Олицетворением чего-то светлого, доброго, представляется эта бабочка и Эмме, которая сентиментально связывает ее в своем сознании с юным русским лейтенантом, защитившим ее и ответившим на всплывшее в ее душе чувство благодарности и любви. И хотя сравнение с бабочкой задевает самолюбие Никитина, считающего, что за три года войны его сердце закалилось и огрубело, но где-то в глубине души он ощущает, что «вся его офицерская привычная жизнь была неестественной и вынужденной, а вся еще непрожитая жизнь... оставалась где-то радостным светом позади, в заросших старыми липами переулках лучшей в мире улицы Ордынки, в той особенно прекрасной, едва начавшейся жизни, будущее которой представлялось прерванным продолжением счастливых школьных лет».

Что же такое Берег Никитина и Княжко?

Берег — это мир, увиденный в детстве во всей непосредственности его красок, запахов, звуков. Берег — это открытая чистота юной души, еще не ведающей мучительных сомнений и противоречий. Берег — это та вера во всечеловеческое счастье, в его возможность и осуществимость, которая вошла в душу и в сознание уже первого послеоктябрьского поколения советских людей.

В трагических событиях последних лет войны нравственные основы характера человека новой формации подверглись жестокому испытанию и выявились с наибольшей силой и полнотой.

Встреча с мирными жителями Кенигсдорфа, неожиданная атака немецких самоходок, бой с отрядом вервольфов явились для Никитина и его боевых товарищей проверкой не только на храбрость и мужество, но и на человечность. Проверка эта показала, что накопившиеся за годы невиданной по своей жестокости войны ненависть к врагу и жажда мщения не заглушили в их душах доброты, веры в человека и жалости к человеческому страданию — тех чувств и принципов, которые были в них воспитаны новым, социалистическим строем и которые отвечали их высокой миссии воинов-освободителей.

Олицетворением нового гуманизма — гуманизма высшего типа — в романе выступает лейтенант Княжко. Его роль в жизни

Никитина и в концепции всего произведения столь велика, что в некоторых критических статьях он был назван центральной фигурой романа. Это не совсем точно: в центре романа судьба Никитина и его искания истины. Но можно сказать, что в Княжко более, чем в ком-либо, воплощается и раскрывается нравственный идеал произведения. Это натура поразительная по своей цельности и чистоте. Через всю войну он пронес верность тем высоким принципам, на которых был воспитан, негибкую бескомпромиссность.

В сознании и в душе Княжко любовь к людям органично слита с ненавистью к врагу и к тем, кто нарушает заповедные нормы нравственности. Вспомним, как он чуть не застрелил командира батареи Гранатурова, который цинично похвалялся своей якобы легкой победой над врачом Галей. Вспомним ту силу ненависти, которая поразила Никитина, когда он увидел, как Княжко обучал своих бойцов штыковой атаке. Никитину показалось даже, что в этот миг потускнело все весеннее и солнечное. Лицо Княжко «стало страшным, искаженным злостью, свирепой одержимостью, напора... винтовка в его руках, нацеленная жалом штыка в пространство враждебного мира, замерла в изготовленном смертном положении».

Да, Княжко умеет ненавидеть, но его ненависть не может быть обращена против слабого и беззащитного. Он чутко различает, где перед ним сознательный враг, а где растерянный мирный обыватель или запуганный и обманутый фашистской пропагандой юнец. Он не может перенести чувство мщения на вернувшихся в свой дом, занятый взводом Никитина, Эмму и ее брата; он верит им и спасает их от слепой ярости Гранатурова. Он идет на смертельный риск, чтобы сохранить жизнь десяткам одетых в военную форму немецких мальчишек, которые под командованием злобного эсэсовца отчаянно сопротивляются нашим войскам. Княжко гибнет, и гибель его предстает в романе как высший взлет человечности.

Образ Княжко уже оценен большинством критиков как безусловная удача писателя. И с этим нельзя не согласиться. Но в чем секрет этого образа? Я думаю, что в точно найденной мере сочетания идеального и реального, в том, что идеал воплощен здесь в характере хотя и исключительном, но чрезвычайно жизненном и достоверном.

И действительно, при всей идеальности этого героя мы узнаем в нем знакомые черты людей, с которыми прошли через испытания Отечественной войны. Недаром Герой Советского Союза В. Карпов в своей статье о романе Бондарева писал, что Княжко останется в его памяти как однополчанин.

Потомственный интеллигент, профессорский сын (именно сын, а не сынок), Андрей Княжко предстает перед нами не как инфантильный школяр или юноша с пасторальными представлениями о жизни, а как мужественный, волевой, закалившийся в суровых боях командир. Мы видим в нем одного из лучших представителей первого послереволюционного поколения, воспитанного новым, советским строем, поколением, в чьем сознании высокие нравственные принципы передовой русской интеллигенции, призывавшие идти в огонь «за честь отчизны, за убеждения, за любовь», были неразрывно связаны с идеалами Октября. Поэтому то детски-ясное, что всплывает порою в его памяти — и тишина отцовского кабинета, и шуршание книг, и дымящийся после дождя асфальт возле школы, — это не просто идиллические картины прошлого, это нравственный заряд огромной мощи, это родной Берег Княжко, который он хранит в своей душе и который дает ему силы и стойкость.

Это и тот Берег, который ощущает в себе и к которому стремится Никитин. Необыкновенная духовная сила и цельность Княжко являются для него, порою испытывающего мучительный разлад чувства и разума, нравственным ориентиром. Спокойная воля Княжко, в основе которой лежит величайшая убежденность, внушает уважение, подчиняет ему людей. Княжко не в силах противостать и командир батареи Гранатуров. И хотя он пытается иронизировать над рыцарственностью Княжко, над его, как он выражается, «интеллигентскими штучками-дрычками», он все время уступает ему, ощущая его нравственное превосходство.

В столкновениях Княжко и Никитина с Гранатуровым и Межениным развертывается один из важнейших конфликтов романа. Писатель изображает эти столкновения во всей остроте и непримиримости, нагнетая драматизм и ведя их к трагической развязке. Ее предвещает уже едва не прозвучавший выстрел Княжко, которым он хотел защитить женскую честь от грязной по-

хвальбы Гранатурова. Спасение Никитиным Эммы от насилия Меженина, спасение ее брата Курта, гибель Княжко, столкновение Никитина с Межениным и Гранатуровым, когда решалась судьба спасенных Княжко немецких юнцов, мучительные переживания Никитина, ощущающего свою ответственность за смерть друга, — так нарастает напряженность, разрешающаяся карающим выстрелом Никитина в Меженина. Самовольная и преступная по своему существу расправа, на которую пошел Никитин в невменяемом состоянии, воспринимается в его горячем сознании как спасение всей батареи, целого мира от предательства, трусости и лжи, воплотившихся в лице одного человека.

При всех срывах, которые допускают Никитин и Княжко, их столкновения с Межениным и Гранатуровым — это конфликт человечности со всем, что ей противостоит, будь то подлость, жестокость и цинизм Меженина или мстительная ярость Гранатурова. И высокие моральные принципы, заложенные в душе советского воина, советского человека, одерживают здесь победу. А сила, лишенная нравственного ядра, оборачивается слабостью. Ловкий, удачливый в бою и исполненный «грубо-смелой энергии» Меженин не выдерживает решающего испытания. Он не хочет, он боится идти в неожиданный и необязательный, по его мнению, бой с оказавшимися в нашем тылу немецкими самоходками, которые могут уничтожить еще десятки, если не сотни наших бойцов. Он не способен рисковать своей жизнью ради спасения жизни других. И им овладевает безумный страх, страх за свою жизнь. В столкновениях с Княжко терпит одно за другим поражение Гранатуров. И последнее, самое унижительное поражение настигает его после смерти Княжко, когда Галя, которую он, по-видимому, по-настоящему полюбил, заявляет, что ненавидит его, что она допустила когда-то его близость лишь со злости на холодность Княжко.

«На кой хрен в батарее мне твои принципы!» — кричит взбешенный упорством Никитина Гранатуров. Но оказывается, что принципы Княжко и Никитина — это не «интеллигентские штучки-дрычки», а великая нравственная сила, уходящая корнями в народные представления о правде, добре и справедливости, укрепленные и обогащенные Октябрьской революцией. Поэтому на их стороне сочувствие солдат. Поэтому

сержант Зыкин бросает в лицо растерявшемуся Меженину: «Убивец ты, ежели в безоружного немца запросто пальнул». Поэтому так искренне и так трогательно пытается чем-то помочь арестованному Никитину солдат Ушатиков. Поэтому поминает добрым словом погибшего Княжко солдат Таткин: «Жить бы ему да жить... Строг, но справедли-ив был». Чувство Берега как чувство естественных и добрых человеческих побуждений живет в душе каждого из них. Но в жестоких условиях войны оно порою сталкивается с суровыми нравственными нормами борьбы.

Наиболее мучительно переживает это столкновение Никитин, полюбивший немецкую девушку Эмму. Их любовь — это естественное, чистое и искреннее чувство. Юный лейтенант, спасший Эмму от насилия, представляется ей мальчиком-рыцарем, как бы пришедшим из доброй сказки. Его покоряет ее нежность, ее доверчивость, трогательный порыв первой влюбленности. И все же он внутренне сопротивляется рождающемуся в нем ответному чувству. Ведь «она, немка, была там, во враждебном мире, который он не признавал, презирал, ненавидел и должен был ненавидеть». И близость с ней он ощущает как невыносимую, непростительную ошибку, которая жжет его ощущением, «будто он тайно предал самого себя перед всеми». Чувство своей вины особенно обостряется в нем после гибели Княжко, сраженного пулей одного из тех вервольфов, которых тот шел спасать с белым флагом парламентаря. Никитин винит себя в предательстве и пытается погасить в себе чувство к Эмме, оттолкнуть ее любовь. Но он не в силах сделать это. Он не может увидеть в ней врага. В Эмме нет той враждебной неискренности, которую он замечал во многих жителях Кенигсдорфа и других немецких городов, встречавших с угодливой улыбкой наши войска. Она не из тех немцев, которые способны были убить или убили Княжко, мучительно размышляет он. «Нет, нет, я никого не предал. Нет, я умер бы, если бы кого-нибудь предал!.. Она не лжет? Она не может так лгать!» Попытка забыть об Эмме внезапно предстает перед его совестью как защитный самообман, которым он предает и себя и ее. И все же он ощущает, что внезапно вспыхнувшее в них чувство было безумием и они отделились ему в состоянии «беспамятной отрешенности от всего, что было вчерашней и сегодняшней

действительностью». «Русский, немецкий — почему так?» — восклицает Эмма в наивной убежденности, что это не должно мешать их любви, которая не знает границ и не желает считаться со временем.

«А зачем людям время показывать... Без него жить можно или нельзя?» — спрашивает Княжко и Никитина простодушный Ушатиков. Он не получает от них ответа. Но все трагические события, разыгравшиеся в Кенигсдорфе, являются, по существу, ответом на этот наивно-мудрый вопрос. Нет, вне времени жить нельзя, оно дано людям, чтобы не отставать от него и не забегать вперед. А так забежали вперед Никитин и Эмма, отрешившись в своей любви от реального мира, разъединенного враждой и яростью борьбы. Так забежал вперед Княжко, поставив свою жизнь на карту человечности. Его подвиг граничил с безумием, но это было безумие человеколюбия, устремленного в будущее и рождающего будущее. Так пытался опередить время писатель Никитин в своих поисках истины, в своем стремлении к Берегу.

Никитин-писатель — это уже не тот наивный в своей мальчишеской чистоте лейтенант, которому еще не открылась вся сложность и противоречивость действительности. В его духовных исканиях выразилось стремление осмыслить свою жизнь в связи с коренными нравственно-политическими проблемами современности. Чувство ответственности за судьбу Эммы Герберт, продолжающей жить любовью к нему, ожиданием и надеждой, перерастает в сознание ответственности за судьбу всего человечества, жаждущего мира и счастья.

Виновен ли он в том, что предал забвению их любовь, в то время как Эмма сохранила ее в своей душе? — этот вопрос мучает Никитина, не дает ему покоя. Еще и еще раз вызывая в памяти видения прошлого и пытаясь проникнуть в их смысл, Никитин приходит к мысли, что любовь их была обречена, ибо «невозможное нельзя было сделать действительным». Если он в свое время еще не очень ясно понимал, что представляет собой та «непреодолимая, сложившаяся независимо от них» сила, которая их разлучила, то теперь эта сила раскрывается перед ним как некая историческая закономерность, которая господствует и будет господствовать в мире, пока он разъединен недоверием и враждой. И связавшее Никитина с Эммой чувство и их судьбы предстают перед ним на фоне вели-

чайших социальных столкновений и противоречий. Ему видится, что «оба они жили словно на разных планетах, случайно встретившись в момент их враждебного столкновения, на тысячную долю секунды, вероятно, счастливо, как бывает в юности, увидев друг друга вблизи,— и со страшными разрушениями планеты вновь оттолкнулись, разошлись, вращаясь в противоположных направлениях галактики среди утвержденного уже мира. На каждой планете затем установилось несовпадающее время, непохожее годосчисление, несоприкасающиеся светлые и черные дни, и тоже чем-то несхожие страдания, беды, любовь и собственные подчиняющие людей закономерности».

Так вот она, эта грозная и непреодолимая сила, которая разлучила Никитина и Эмму. Сначала она называлась просто «война», потом к этому слову был добавлен эпитет «холодная». После победы Никитин, как и многие из его поколения, взявшегося за оружие и отстоявшего свою родину и всю Европу от фашистского порабощения, был охвачен радостью возвращения к мирной жизни и светлой, но наивной надеждой, что теперь все изменится и «весь мир и вся жизнь будут сплошным праздником». Но вскоре эта надежда рухнула: началась «холодная война» — и все окончательно раскололось.

«В чем же был смысл встречи с Эммой? И смысл мучительных для нее и для меня разговоров?» — задает себе вопрос писатель Никитин, возвращаясь на родину. Ответ на него для нас ясен. И встреча с Эммой, и впечатления, вынесенные из знакомства с жизнью западных немцев, и ссора с сопровождавшим его другом — писателем Самсоновым, который усмотрел «либерализм» в его стремлении к взаимопониманию, и дискуссия с главным редактором одного из крупнейших издательств Дицманом, пытавшимся навязать ему «идеологию Запада», до предела обострили в Никитине ощущение и осознание необходимости покончить с враждой и недоверием, отравляющими отношения между людьми и народами. Эта важнейшая идея, художественно воплощенная в духовных исканиях героя романа Бондарева, делает его произведением остросовременным, по-своему выражающим ту тенденцию к разрядке международной напряженности, которая привела к общеевропейскому Совещанию по безопасности и сотрудничеству. Зна-

менательно, что роман «Берег» появился за несколько месяцев до этого исторического форума. И когда мы сегодня находим в романе глубоко выстраданные слова одного из гуманнейших немецких писателей, Стефана Цвейга, — «горечь и недоверие страны к стране — отравляют израненное тело Европы», слова, которые напомнил Никитин, начиная свою дискуссию с Дицманом, то не кажется ли нам, что ответом на них, на чаяния миллионов людей, является выраженная в Заключительном акте Совещания решимость «преодолевать недоверие и укреплять доверие» и «сотрудничать в интересах человечества». Вот эту обращенную в будущее и проникнутую заботой о человеке и верой в него тенденцию современного общественного развития и сумел уловить и воплотить в чувствах, мыслях и судьбах своих героев автор романа «Берег», развивая в нем гуманистические традиции нашей литературы. Но он сумел показать и то, что противостоит разрядке, и, главное, то, что сама разрядка является лишь первым шагом к осуществлению вековой мечты человечества о грядущем мире, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся». Что мирное сосуществование не исключает идеологического противостояния и борьбы.

Духом этой борьбы проникнут «откровенный диалог между Востоком и Западом», который ведут Никитин и Дицман. Спор здесь идет о многом: о границе между добром и злом, о знании и вере, о Христе, о роли войн в истории человечества, о сексуальной свободе, о современном искусстве и реализме. Но главный предмет спора — это вопрос о человеке, о том, что такое человек и для чего он живет. И тут обнаруживается основное противоречие, которое разъединяет мир Никитина и мир Дицмана, мир социализма, одним из важнейших нравственных устоев которого является вера в человека, и мир капитализма, в котором эта вера, по признанию самого Дицмана, давно уже утрачена. Человек — это извращение природы, заявляет Дицман. «Современный интеллектуальный западный персонаж... это химически очищенный, оголенный субъект рода человеческого, который двигается, как во сне». А что касается простых обывателей, то они, по мнению Дицмана, «живут в одурманивающем мире товаров и превращаются в бездушные машины потребления». Человек

бессилен перед эпохой. Он шестеренка в механизме мировых законов. Большинство людей не знают, чего они хотят. «Как сделать,— спрашивает Дицман,— чтобы они поверили в самих себя? Революция?.. В чем ее последняя суть? Опять цель — холодильник для всех».

«Революция — это отрицание безнравственности и утверждение нравственности, то есть вера в человека и борьба, и, конечно, совесть как руководство к действию», — отвечает ему Никитин. А человек? Человек, напоминает он известную мысль Энгельса, — это частица природы, в которой она познает самое себя. И весь человеческий путь — это «познание, последовательное ведущее к дверям тайн и законов». Что ж, капитализм тоже роковое познание? — не без ехидства спрашивает его Дицман. «Да,— отвечает Никитин.— С привкусом горечи». «А социализм?» — «Познание с ожиданием радости. Освобождение из плена страха. Познание истинной свободы».

Поставив в центр дискуссии Никитина с Дицманом вопрос о человеке, Ю. Бондарев очень верно определил тот главный плацдарм, на котором разыгрывается сегодня идеологическая борьба. Именно здесь мир социализма сталкивается с миром капитализма. Это признают и наши противники. И хотя сама дискуссия между Никитиным и Дицманом, передававшаяся по западногерманскому телевидению, была проявлением стремления к разрядке, к преодолению духа неприязни и отчужденности, но она раскрыла перед Никитиным и всю остроту идеологических противоречий, разделяющих мир, в котором жил он, и мир, в котором жила Эмма. Эта дискуссия как бы дала ему ключ к более глубокому осмыслению тех сторон жизни буржуазного общества, которые раскрылись перед ним в Гамбурге, и психологии тех людей, с которыми он встретился. Ведь разве не связано то омерзительное пограние человеческого достоинства и надругание над естественным человеческим чувством, которое Никитин увидел на «рынке похоти» Реепербана, с «западным» отношением к человеку как к извращению природы? А телевизионные программы, на которых наживается издатель, капиталист Вебер,— разве не рассчитаны они на мещанские вкусы обывателей, превратившихся в бездушные машины потребления? И вызывающая симпатию своей экспансивной откровенностью и отвраще-

нием к буржуазным политикам эстрадная актриса Лота Титтель,— разве и ей не кажутся естественными и необходимыми и Реепербан и телевизионные программы ее мужа? Любовь к людям провозглашает своим принципом и принципом кабачка «Веселая сова» хозяин его Алекс, бывший узник концлагеря. Взяв на себя роль доброго клоуна, он потешает посетителей, а себя тешит мыслью, что в его кабачке уничтожено время, что он создал островок, отединенный от безумного мира. Но это лишь иллюзия. И выражение усталости и какой-то незащищенности, порой выступающее на его добродушном неунывающем лице, говорит о том, что он сам это ощущает.

Дискуссия Никитина с Дицманом является идейным центром романа. В ней советский писатель ведет бой за человечность с опытным и искусственным идеологическим противником. Он отстаивает социалистический взгляд на человека. Он отстаивает свой Берег. И отстаивает настолько убедительно, что сам Дицман признается, что оппонент «здорово потрепал ему холку». Но это, конечно, не значит, что Дицман или кое в чем поддерживающая Никитина Лота Титтель принимают его точку зрения, становятся его единомышленниками. Нет, подлинная человечность, отстаиваемая Никитиным, пожалуй, близка и понятна лишь Эмме Герберт. Еще двадцать шесть лет тому назад она познала силу добра и доверия, представшую перед ней в образе юного советского офицера. И теперь ее снова покорают та одухотворенность высокой идеей, та убежденность и гуманность, с которыми защищает свой Берег советский писатель Никитин. Она ощущает, что в этот Берег, в этот комплекс моральных ценностей, входит и то чистое чувство первой любви, которое связало их, то прошлое, чему она осталась верна на всю жизнь. Ощущает это и Никитин. Но безумный порыв Эммы вернуть прошлое оказывается бессильным перед Временем, которое безвозвратно отдалило от нее Никитина — человека другого мира, движущегося по своим законам.

Свой Берег — берег любви к людям, доверия, стремления к людскому единству — Никитин не только сохранил в себе: он за него борется. Но он остро и болезненно ощущает, что, будучи общечеловеческими по своему характеру, эти чувства еще не скоро станут общечеловеческой реальностью. Они не могут реализоваться в раско-

лотом и разьединенном мире, в мире, где социалистической вере в человека еще противостоят буржуазно-циничное отношение к нему, потребительская психология обывателя и элитарный эгоизм дицманов, где эта вера наталкивается на настороженную подозрительность и самодовольно-ханжескую «принципиальность» самсоновых. В отличие от лейтенанта Никитина писатель Никитин ясно понимает веления времени, не может забыть о нем. И в то же время чувство Берега наполняет его, разрастается и вступает в противоречие и, как ему кажется, в неразрешимый конфликт с чувством Времени. Он начинает ощущать, что, стремясь к Берегу, он не может его достичь, что в упорных и мучительных поисках конечной истины он обретает лишь какие-то частички, какие-то моменты ее.

Несколько лет назад занесенный любопытством в сибирскую деревню, где он родился и где прошло его детство. Никитин был поражен «воздухообильной первобытной тишиной», которая вызывала ощущение чего-то «покойного, забытого, пришедшего из детства, из хрупкого мира давних снов». Но особенно врезалось в душу ему воспоминание о незабываемой ночи, проведенной в тайге, когда он, лежа у костра, вглядывался в далекое звездное небо и чувствовал, что он как бы плывет в мировом докое «околдованный счастливым бессмертием, игровой тайной вселенной, сокровенно приоткрывшей ему ворота недостигаемой вечности». И вдруг до него донеслись еле уловимые «звуки земной жизни, живого страдания, несвойственного неистребимой и спокойной красоте вечности». То был крик гусиной стаи, пролетавшей где-то высоко над ним. И он вдруг почувствовал, как пустынно, темно и холодно в той вышине, и позавидовал необоримому инстинкту птиц, «преодолевающему ужас мрака и бесконечности». Затем он представил себе, что в тысячах километров от еле заметного в таежной ночи костра находится «цивилизация, с электрическим раем улиц, паровым отоплением уютных квартир, с чистотой удобных постелей... скоростными лифтами, настольной лампой, любимыми книгами», и подумал, что скоро он вернется туда и что он счастлив от этого сознания. И его охватило сложное и противоречивое чувство — «непередаваемое наслаждение минутами реальности, соединившей его с извечным миром тайны, красоты и страдания, и возможностью вернуться в чи-

стоту, устроенность городского комфорта, ставшего необходимостью».

Почему в хаосе, блеске, многолюдности и духоте Рима я вспоминал об этой ночи в тайге, а в тайге меня тянуло к Москве с ее благами городской цивилизации? — задает себе вопрос Никитин. Значит, наслаждение той ночи было лишь на миг? И Берег видится ему уже не только как родные места, а как вся планета, не только как его Берег, а как Берег всего человечества. Разьединенный борьбой, враждой, недоверием, Берег входит в сердце писателя, который мучается его болью, его страстями, его противоречиями. Уже расставаясь с жизнью, Никитин вспоминает свой спор с молодым физиком, который утверждал, что смысл существования человечества и его будущее — в ускорении, в завоевании всего космоса, а потом вселенной. «Зачем человеку вселенная?..— мелькает в его мозгу.— Для чего? У него свой берег, счастливый, разделенный и несчастный».

Таким предстает образ Берега перед Никитиным-писателем, который пытается его философски осмыслить, осознав цель своей жизни и жизни человека вообще. Вновь и вновь вставая в его сознании как некий чудный пейзаж, от которого веет детскими, ничем не омраченными грезами и обещанием будущего счастья, Берег воспринимается им как нечто, от чего мы отрываемся, но что продолжает жить в нашей душе как нравственный ориентир. Берег — это наши нравственные истоки, обращенные в будущее, но зачастую приходящие в противоречие с настоящим. Берег — это то, что мы призваны хранить в себе и охранять, это нечто самое близкое и самое дорогое, как близки человеку его родные края и его семья, как близка и дорога всему человечеству его родная планета — Земля.

Но вся сложность жизни и вся полнота истины, которую так страстно ищет герой бондаревского романа, не сводится к Берегу. Ведь кроме устойчивого и светлого начала, существуют борьба, страдания и противоречия. Кроме естественных и добрых общечеловеческих чувств — классовые и государственные границы. Кроме любви и веры в человека — недоверие и вражда. Кроме простоты человеческой жизни на лоне природы — все блага и вся сложность цивилизации. Кроме стремления к покою — страсть движения и бешеных скоростей.

Кроме тяги к родной Земле — порыв в просторы Вселенной.

В этих раздирающих душу Никитина противоречиях отразилась диалектика сознания современного человека — человека эпохи невиданно ускорившегося исторического движения, эпохи величайших общественных сдвигов и научно-технической революции, эпохи острейших социальных и национальных противоречий и все крепнущего стремления широчайших масс человечества к миру, к социализму.

Желание постичь эти противоречия века и через них осмыслить свою жизнь движет Никитиным в его нравственных и философских исканиях. Чуждый беспечной самоуверенности Самсонова и в то же время не обладающий гармонической цельностью и устойчивостью Княжко, Никитин часто поддается сомнениям и колебаниям в своем мучительном поиске истины. Надломленный смертью сына, он переживает приступы тоски и одиночества. У него возникает ощущение, что истина, которая так ясно светила ему в юности, уходит от него, становится непрочной и двоякой. Неразрешимость иных противоречий сегодня начинает ему казаться неразрешимостью их вообще. Иные мысли в его рефлектирующем сознании, сознании художника, теряют свою логическую определенность, перерастают в смутные эмоции. Но все же в хаосе противоречий ему продолжает светить образ Берега, напоминая о том лучшем, что он испытал, что было в нем и что осталось и обещает ему счастливое будущее. Этот светлый образ как бы вобрал в себя и вечное, столь свойственное человеку стремление к идеалу, который всегда впереди, и веру в человека и подлинную человечность как залог осуществления этого идеала.

Движение вперед, к идеалу — это одновременно и возвращение к лучшему, что в тебе есть, — такова диалектика образа Берега. Не является ли она своеобразным художественным преломлением диалектики исторического развития всего человечества, развития, которое должно привести к «возвращению человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человеческому»¹?

Устремленность в будущее, столь характерная для советской литературы вообще, приобретает в романе Бондарева отчетли-

во выраженный философский характер как поиск истины, как стремление познать, в чем счастье, в чем смысл человеческой жизни. И здесь, в этом поиске, автор все чаще передает своему герою писателю Никитину самые заветные, выстраданные им мысли. Стоит сравнить те истины, что озарили сознание умирающего Никитина, с идеями, которые развивал Ю. Бондарев в своей статье «Моим читателям».

«Кто же сказал, что человек может быть счастлив только тогда, когда станет бессмертен?» — мучается вопросом Никитин, расставаясь с жизнью. Ведь обрести бессмертие, познать великую тайну жизни и смерти — это значит исчерпать до дна все страдания, сомнения, поиски, борьбу и, следовательно, лишиться самого смысла жизни. «Так, может быть, смерть — высшее познание последней истины?» Но еще не угасшее сознание Никитина сопротивляется этой мысли, отвергает ее. И как озарение ее сменяет другая: «Нет, человек полностью счастлив тогда, когда овладевает непостижимой тайной — перестает бояться смерти». Снова и снова выплывающий из глубин его памяти образ Берега, зеленого, обетованного, обещающего ему всю жизнь впереди, как бы приоткрывает перед Никитиным завесу над сокровенным и великим законом человеческой жизни — законом надежды на то, что все вечно, законом веры в то, что ничто не исчезает бесследно. А вот что говорил о смерти и бессмертии Бондарев, обращаясь к своим читателям не как художник, а как публицист: «Опасность смерти, преодоление в себе чувства опасности и отрицание физического бессмертия — в этом я вижу проблему борьбы жизни и смерти. И здесь уже все конфликты войны и мира объединяются в главную проблему, суть которой, наверно, все же в том, чтобы оставить после себя след на земле... след упорной веры в людей, утвержденной в непримиримом столкновении с человеконенавистничеством».

Вот так, как живет в твоей памяти Берег, то есть все лучшее, что ты пережил и постиг, так и ты, став прошлым, не исчезнешь, а останешься жить вечно, если ты сумел оставить добрый след на земле. К этому, на мой взгляд, сводится та главная истина, к которой пришел Никитин в своих упорных и мучительных поисках цели человеческого бытия. Истина подлинно гуманная. Истина, к которой приходили и будут прихо-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М. Госполитиздат. 1956, стр. 588.

дить поколения людей, стремящихся найти свое место в мире. Истина, которую один из величайших гуманистов и художников прошлого отлил в чеканные строки сонета:

Над смертью властвуй в жизни
 И смерть умрет, а ты пребудешь вечно.
быстротечной.

И еще одна истина озаряет сознание уходящего из жизни Никитина. Он вспоминает, как, потрясенный смертью сына, он испытывал такие приступы тоски, что готово было разорваться сердце, и как, вытирая платочком пот слабости на его висках, жена прошептала: «Ну отдай мне свою боль, родной, если можно, отдай...» «Что значит взять боль другого? — лихорадочно пульсирует его мысль, как бы торопясь постичь все до конца. — Это сумасшествие, это трудно понять разумом. Но, может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет где-то в нас?»

Взять боль другого! — это высокое стремление входит в наш гуманизм, в присущее человеку социалистического общества чувство ответственности за судьбы других людей, за судьбы всего мира. Без него немыслима социалистическая личность, и особенно личность писателя, который «всегда должен вселенной, платящей на горе проценты и пени».

Чувство ответственности за прожитое, за все, что было им сделано или, наоборот, не было сделано, за боль Эммы, за боль всего человечества, жаждущего мира и счастья и в то же время разведенного и несчастного, переполняет Никитина, захлестывает, разрывает сердце. Пытаясь в своих исканиях всечеловеческой истины прорваться сквозь Время, он гибнет от нравственного перенапряжения, от той массы боли, которую он взял на себя. Но его гибель, как и гибель Княжко, означает торжество человечности. И она не может не оставить глубокого следа в сердце чуткого читателя, который берет на себя боль героя бондаревского романа, ищет вместе с ним смысл своего бытия и вместе с ним обретает высокие нравственные истины.

Для того чтобы совершить подвиг, в искусстве, как и в жизни, необходимо преодолеть самого себя. Преодолеть — это не значит отказаться от себя, это значит, собрав все лучшее, что в тебе есть, сделать решительный шаг вперед, как бы перейдя в новое качество. Таким творческим подвигом мне представляется роман Ю. Бондарева «Берег».

Ю. Бондарев вошел в нашу литературу и в наше сознание как писатель военной темы. Но вслед за военными повестями, принесшими ему успех («Оношь командиров», «Батальоны просят огня», «Последние залпы»), последовали произведения, посвященные изображению конфликтов послевоенного времени («Тишина», «Родственники»). Эта смена тем и проблем отражала, по-видимому, творческие искания писателя, его стремление приблизиться к современности. Но не переход от одной темы к другой определял его творческий рост, а все углубляющееся проникновение в жизнь, во внутренний мир человека. И не случайно, что, когда Бондарев вернулся к изображению войны в романе «Горячий снег», это было, по существу, не возвращением, а движением вперед. Он снова писал о войне не только потому, что его, писателя остроконфликтного, всегда привлекали поступки людей в жгучей накаленности решающих обстоятельств, но и потому, что он стремился раскрывать героизм как нравственный подвиг, как преодоление человеком страха и зла, которые разъединяют людей. Это стремление вело его к постановке и к художественному решению самых главных, самых животрепещущих проблем, волнующих сегодня человечество, к тому, чтобы в свете этих проблем осмыслить цель человеческого бытия. Чтобы осуществить эту новую, вставшую перед ним задачу, писателю надо было свое мастерство в раскрытии внутреннего мира человека, способность пластически воспроизводить его образ и умение передать всю остроту и драматизм решающих конфликтов подчинить всепроникающей философской мысли и обратиться для наиболее полного ее раскрытия и к художественной публицистике как средству изображения идеологических столкновений, и, главное, к художественно-философскому образу, образу-символу.

В этом я вижу тот решительный шаг вперед, который сделал Ю. Бондарев, преодолевая себя и сохраняя верность себе.

Он сохранил верность себе как писателю, призванному сказать правду о своем поколении, раскрыть его судьбы и те высокие нравственные качества, которые были в нем заложены. «Видимо, каждый неравнодушен к своему поколению и хочет напомнить о нем с ревнивой любовью», — говорил своим читателям Бондарев. И эта «ревнивая любовь» пронизы-

вает весь его новый роман, выливаясь в чувство ностальгии, в тоску по тому, что ушло с юностью и чему помешала осуществиться в полной мере война. Но бондаревская ностальгия — это не та модная сейчас на Западе бездуховная ностальгия, которая означает, по существу, бегство в прошлое, идеализацию прошлого, желание укрыться в нем от острейших социальных проблем и коллизий современности. Бондаревская ностальгия — это стремление осознать и показать, что то лучшее, что было в нашем прошлом и что несло в себе поколение, вступившее в жизнь в грозных 40-х годах, явилось огромной нравственной силой, обращенной в будущее. Это чувство дает эмоциональный накал его роману и захватывает читателя живыми человеческими переживаниями, заставляет его ~~вспомнить~~ и свою молодость с ее све-

жестью и непосредственностью восприятия мира, с ее высокими порывами. И все же... И все же дальнейшее движение вперед требует, наверно, нового творческого подвига, нового преодоления себя, еще более широкого художественного освоения современной жизни, в которую сейчас пришли новые поколения, вкладывающие в ее строительство новую страсть, новый энтузиазм и новый гуманизм, который, кроме готовности взять на себя чужую боль, включает в себя и готовность дать людям счастье. И я верю, что «главная книга», которая у каждого писателя всегда впереди, станет у Ю. Бондарева книгой радости, книгой еще более полного обретения истины сегодняшнего дня, обращенной в день завтрашний. Залогом этому его талант, его доброе сердце, его постоянная устремленность вперед.



ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ОБЗОРИ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Галина Серебрякова. Дорогой первых коммунистов. — **И. Денисова.** Поэма о декабристе. — **Л. Аннинский.** Воля. Путь. Результат. — **В. Баранов.** В многообразии — единство.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Ушаков. Авангард революции. — **В. Косолапов.** Истоки. — **В. Орлов.** Зоркость глаза, емкость памяти.

Литература и искусство

ДОРОГОЙ ПЕРВЫХ КОММУНИСТОВ

Сергей Сартаков. А ты гори, звезда. Роман. «Октябрь», 1974, №№ 4—6; 1975, №№ 1—3.

Многообразен, глубок и сложен духовный мир человека, и необозримы залежи героического в его душе. Эпоха, обстоятельства, цельность и собранность характера, прогрессивность мировоззрения, преданность идее — все это создает необычные биографии, творит героев.

Как бы ни были трагичны судьбы людские, те, кто сумел найти радость и удовлетворение в деятельности, которая несет «счастье наибольшему числу людей», как некогда определил суть жизни Маркс, те воистину обрели свое назначение. Борцы за правду, свободу, равенство, прогресс познали наивысшее духовное счастье, нашли высочайшую цель бытия.

Достоинна восхищения жизнь первых коммунистов планеты, романтиков, равных которым трудно найти, людей, героически ставших на избранный тернистый путь. Вместо спокойного, часто вполне благополучного существования они встали в ряды воителей за Идею, последователей учения Маркса, Энгельса и Ленина.

Нелегкая, но увлекательная и плодотворная задача — проследить, как зажигался священный огонь протеста в сердцах этих людей, как оставались они верными своему

делу в самые тяжкие годы реакции, террора, жестоких преследований всякого свободомыслия.

Революционер должен был воспитывать себя для постоянной самоотдачи и, если понадобится, быть готовым погибнуть за свои идеи, свое мировоззрение, самое гуманное, доброе и разумное.

Роман Сергея Сартакова знакомит читателя с жизнью Иосифа Федоровича Дубровинского, известного под партийной кличкой Иннокентий, Инок.

Герой книги «А ты гори, звезда» принадлежит к плеяде профессиональных революционеров, активно участвовавших в конце прошлого — начале этого века в политическом движении России. Это был герой особого склада — непримиримый борец, человек большой смелости и мужества, удивительной чистоты, честности и обаяния. В. И. Ленин высоко ценил Дубровинского как революционера, безгранично преданного делу рабочего класса.

Один из членов моей семьи близко знал Иннокентия — Дубровинского, находился с ним вместе в ссылке. С самых юных лет я часто слышала его имя и знала многие подробности жизни этого скромнейшего, духов-

но совершенного человека. Рассказывая о Дубровинском, друзья отмечали в нем исключительную непритязательность, твердость характера, верность цели и соратникам по партии, отмечали ум, находчивость, чуткость и деликатность. Эти качества были присущи многим большевикам, но в Иннокентии они сочетались особенно гармонично. Я слышала рассказы о том, как Дубровинский, сам больной, в тяжелой юдоли ссылки ночи напролет проводил у постели больного товарища, делил с ним все до последнего гроша, ободрял, наставлял, помогал.

В грозные минуты революционных схваток, в идейных единоборствах с противниками этот физически слабый, хворый человек становился могучим и непобедимым воином, трибуном, руководителем. Его логическая мысль, широкая образованность, хорошее знание теории и тактики революционного сражения, любовь и безграничное уважение к Ленину, вера и преданность коммунизму неизменно производили на слушателей и собеседников сильное впечатление, невольно подчиняли себе.

Сергей Сартаков приводит в романе выдержки из большевистских газет того времени, с болью отозвавшихся на смерть И. Ф. Дубровинского: «Иннокентий — это для многих символ какой-то исключительной чистоты, солидного знания марксизма и большого практического ума...», «Иннокентием звали его широкие круги товарищей. «Иноком» звали мы его в тесном кругу. Сколько любви и уважения вкладывали люди в это слово «Инок»! В этом пламенном политическом работнике вместе с тем было что-то такое, что делало его похожим на человека не от мира сего, на действительного инока, на мученика из тех, что, не задумываясь, руку положат в огонь за дело, в которое они верят и которому они беззаветно служат...»

Перед читателем проходит жизнь героя, жизнь, насыщенная событиями, многие из которых имели историческое значение. И. Дубровинский участвовал в революционном движении с 1893 года. Начиная в народовольческих кружках Курска и Орла, был одним из руководителей «Московского рабочего союза», участвовал в Декабрьском вооруженном восстании 1905 года в Москве. На V (Лондонском) съезде РСДРП был избран в ЦК партии. Писатель старался как можно ярче рассказать в романе о революционной деятельности И. Дубровинского.

В памяти у читателя останется очень цель-

ный образ. Несмотря на болезнь, нужду, на губительные для здоровья последствия тюрем и ссылок, Иннокентий весь в работе, в своих партийных делах. Он верует, он знает, что революция свершится и принесет народу свободу. И когда есть возможность бороться, действовать, он счастлив.

Дубровинский понимает и то, что первые попытки свергнуть самодержавие обречены, что революционные выступления народа будут жестоко подавлены, что его жизни едва ли хватит, чтобы увидеть плоды своей работы, своих мечтаний. Но другого пути нет. «Про себя знай и твердо помни, — говорит он себе, — ты революционер и ты должен быть духом силен. Только тогда тебя ничто, никакая злая воля не сломит... Наберись мужества, решимости, твердости... на всю жизнь».

Читая роман, мы ощущаем, как сложна была для писателя задача проникнуть в душевный мир, как бы «перевосплощаться» (почти по знаменитой системе Станиславского) в героя, передать едва уловимые противоречия его характера, особенности его психологии, разнообразные настроения, раздумья... А без всего этого, без творческого напряжения писателя, не состоится книга, будь то роман о вымышленных людях или строго документальная проза о ранее жившем человеке.

По собственному опыту знаю, как трудно восстанавливать, воспроизводить сложные переплетения времени, событий, встреч, скрепляющихся друг с другом судеб. Нет мелочей в жизнеописании героя. Иногда то, что кажется песчинкой, оказывается золотом, россыпью, а иногда попросту пылью, засоряющей глаза.

Передавая «движение» человеческой личности, писатель раскрывает ее своеобразное таинство. Расщепляя крошечные детали жизни, можно тем самым воскресить героя, понять его глубинную сущность.

Во время революционных волнений 1905 года Иннокентий и его товарищи были в центре событий, извлекая необходимые уроки, набираясь практического революционного опыта. «Вместе с членами Петербургского комитета, вместе с партийными агитаторами он, Дубровинский, все эти дни находился среди рабочих, там, где с наибольшим накалом бурлили революционные страсти. Он понимал, что безоружные десятки тысяч рабочих не в состоянии будут справиться с армейскими полками, брошенными на их усмирение. Но он с радостью

видел и другое: дай этой могучей силе в достатке винтовок, сабель, револьверов, дай ей организующую руку — и самодержавие будет сметено. Вот она, вырвавшаяся на простор стихия народного гнева! Вот она, революция!..»

Думается, что сложность, напряженность жизни подпольщиков ощущается в романе особенно остро потому, что С. Сартаков немало впечатляющих страниц посвящает разоблачению идейных противников большевиков, «стражей» интересов царизма.

Перед читателем предстает сложный аппарат жандармских чиновников, филеры, провокаторы, предатели. Множество самых разнообразных методов используется самодержавием, чтобы погубить первые революционные организации: слежка, засыл предателей, подкуп и запугивание людей нестойких, разложение идейно не закаленных и т. д.

Хорошее знание исторического материала и психологическая глубина присущи страницам романа, рассказывающим о «деятельности» начальника московского охранного отделения Зубатова, деятельности, рассчитанной на отвлечение рабочих от революционной борьбы путем создания легальных рабочих организаций под опекой Департамента полиции, об «участии» в событиях священника Гапона, тайного агента полиции, по чьей вине было потоплено в крови шестые к царю рабочих 9 января 1905 года.

Хорошо понимая, что не голод, лишения и болезни самое страшное для революционеров, враги ведут хитрую и коварную борьбу. В среде чистых, благородных, самоотверженных людей, готовых отказаться от всего во имя Революции, засылаются предатели самого разного толка. Некоторые из них умело и хитро маскируются под революционеров, подрывая организации изнутри.

Автор показывает, в каком сложном, почти безвыходном положении оказывается И. Ф. Дубровинский в последней своей далекой ссылке. Он тяжело болен. В острой нужде осталась его семья в Орле. Но главное — что его жизнь стала как бы бесцельной. «Он мог свободно разгуливать по поселку, заходить в любой дом, с кем угодно и о чем угодно разговаривать. Но с кем и о чем?.. Он был всегда человеком практического действия, перед ним всегда была какая-то определенная ближняя цель. Здесь он словно провалился в пустоту. Вести организационную работу? Кого и как организовывать? Открывать дискуссии? С кем и о

чем? Писать политические статьи? Куда и кому их посылать?..»

Герои Сергея Сартакова причастны к огромным, даже в исторических масштабах, событиям — к борьбе за пролетарскую революцию, утверждение и победу нового класса, рождение невиданного доселе государства.

Создавая произведение исторического жанра, автор, пишущий о воинстве коммунаров России, проявляет себя одновременно и как тонкий мастер мозаики. Из многих драгоценных осколков разбитого временем камня он как бы составляет огромные фрески.

Лев Толстой считал, что будущее литературы — документальная проза. Читатель хочет подлинности, а жизнь безгранично богата, информация обрушивается такой подавляющей лавиной, люди творят столько чудес, что вымысел отступает перед действительностью.

Так это или не так, но понятно, что, воссоздавая образ, имеющий реального героя, писатель не может обойтись без художественного домысла, какими бы исчерпывающими документами он ни располагал. Главное для автора — постижение души героя, отбор деталей, отражающих внутренний и внешний мир персонажей книги. Все в историческом романе несет смысловую нагрузку, становится живой частью эпохи и сюжета.

Сергей Сартаков владеет мастерством воскрешения прошлого, но, кроме того, он умеет найти ракурс, в котором оно, прошлое, видится как основа настоящего. Революционеры, коммунисты — герои особого склада и четких идейных устремлений. Учение, которому они следовали, давало как бы к будущему.

Книги о таких людях, как Дубровинский и его единомышленники, должны быть начинены порохом. Интернационалисты, как все последователи Маркса, Энгельса и Ленина, жили под благотворным и ощутимым воздействием того, что происходило на всей планете. Их кругозор поражал размахом, громадностью. Пожалуй, в должной мере это не передано в романе «А ты гори, звезда».

Неутомимые в поиске первые коммунисты отличались редкой образованностью, тягой к самым разнообразным знаниям. Я выросла в среде таких людей и всегда сохраняю чувство почтительного уважения перед их разносторонностью, ненасытной страстью все познать. Не только науки, но и искус-

ство-и литература влекут их неудержимо. В тюрьмах ли, в далеких ссылках они много читали, непрерывно приобретая что-то новое. Кем бы они ни были по профессии, это были доподлинно интеллигенты духа. Преследуемые властью, часто недоедающие, с трудом добывая средства существования, они отличались завидной волей, настойчивостью, бесстрашием, иногда на грани фанатизма воюя за общественный строй, который в конце концов добыли для своей страны, потряся все устои одряхлевшего окружающего мира.

Сергей Сартаков своей очень полезной, важной книгой воссоздал многое из жизни и борьбы подполья большевиков ленинской школы. Книга его волнует, позволяя читателю с грустью и восхищением возвращаться к страницам своей родной истории. Недаром Леонид Кудреватых, один из первых рецензентов этого произведения, писал в газете «Правда»: «...«А ты гори,

звезда» — не биографический роман, а широкое историко-партийное художественное полотно...»

Многие образы удались автору и ожили. Чувствуется, что особенно дорог стал автору сам Иннокентий. Но в этом чувстве увлеченности писателя своим героем всегда таится и некая опасность. И. Ф. Дубровинский воспроизведен Сергеем Сартаковым восторженно, но чуть односторонне. А человек, даже самый великий, всегда диалектичен, в этом его сила, обаяние, индивидуальность. Несомненно, при более смелом отношении писателя к герою портрет Дубровинского выиграл бы, стал жизненнее.

Книга сделана в традиционной манере художественной биографии, добротна и убедительна. Еще раз Сергей Сартаков показывает себя уверенным и талантливым писателем ответственной и прекрасной темой.

Галина СЕРЕБРЯКОВА.



ПОЭМА О ДЕКАБРИСТЕ

Сергей Васильев. *Изда над Тоболом. Поэма. «Октябрь», 1975, № 1.*

Изда над Тоболом!

Тесовая крыша!
Бревенчатый дом на крутом берегу.
Я издали скрип половиц твоих слышу
и облик твой
в сердце своем берегу.

Так заканчивает Сергей Васильев свою последнюю поэму о судьбе Кюхельбекера, о недолгой жизни опального декабриста в Кургане — городе, родном Васильеву, звонко и памятно им воспетом. Однако нарисованное поэтом курганское бытие Вильгельма Карловича заключает в себе и нечто более глубокое, позволяющее читателю объять мыслью преемственные связи поэзии, непреходящую силу и живую трепетность ее. Животворный образ поэзии возникает в воспоминаниях о Пушкине, в постоянных думах о нем. Легкими касаниями воссоздается пушкинский облик, высветленный любовью героя и автора поэмы. Пушкинский гений словно луч согревает больною Кюхельбека в самые трагические минуты жизни, и в этом свете, как и в неповторимой радости их былой лицейской дружбы, отчетливой видится тонкая нервущаяся нить поэзии, связавшей поколения, скрепившей эпохи. Нить, протянутая через столетия, въяве представила нам биевие свободолубивой

мысли, трепет благородных сердец, отданных борьбе с тиранией.

Когда Кюхельбекер впервые с ужасом осознает, что в нем «замер какой-то заглавный душевный звук», нельзя не вспомнить блоковские слова о внезапной глухоте к музыке жизни, возникающей в самой глубине большой души в минуту ее смертельной усталости. Одиноким, измученным Кюхельбекер с неотвязной думой о гибели светлейших умов России — Пушкина, Рылеева, Грибоедова — надеется лишь на одно:

Да как же!

Остались еще стихи!

В них гордость его, и его отрада,
и вольный, несломленный дух борца...

Но вслед за лихорадкой надвигается слепота и потом самое страшное: «Речь — словно заперли на замок». Творческое бессилие, невозможность писать... Жесткая выразительность рисунка помогает читателю острее почувствовать жестокую тоску Кюхельбекера. Слепота подкрадывалась «...порысьи. В облезлом меху рябом. Завесила веком левое око, правое выбелила бельмом». Вот тогда-то «черная, каменная обидом на горечь-судьбу обуяла его»:

Дни шелестели,

текли недели —

лежал Кюхельбекер, сомкнув уста.

Болезнь обезволила и сковала,
скрючила,
вызносила насквозь.
Слова вымолвить не давала,
если бы даже оно нашлось.

В этом беспросветном горе только мысль о Пушкине, только сон, где рядом «Пушкин с жадным горящим взглядом», только день рождения, который хочется сделать всеобщим праздником, возвращают Вильгельма Карловича к жизни. В светлый этот день отступают хвори, он зовет друзей, снова светится душа любовью и надеждой. Речь о Пушкине — последний душевный взлет Кюхельбекера:

Все мы здесь
связаны общей долей,
всех стережет полицейский глаз.
Но Пушкин живет,
заявить позволю,
очень по-разному в каждом из нас.
Вот я, например,
каждый шаг свой мерю,
каждый свой вздох по его строке.
И что же?

Стою, как школяр за дверью,
от совершенств его вдалеке.
С юных лет я хожу в его школу,
неслыханный голос его ловлю,
всю жизнь припадаю к его глаголу,
никак свою жажду не утолю.

В этих и многих других строфах поэмы «Изба над Тоболом» развивается двойная перспектива поэтического видения: воссоздавая неутолимую духовную жажду своего героя, его творческие муки, его благоговейное прикосновение к имени погибшего друга «Саша свет Сергеевича», рисуя картину просветленного праздника, где все гости «за того, кто возвысил Россию нашу, за мятежную мысль его», — Сергей Васильев привносит в атмосферу этих сцен свое постоянное преклонение перед Пушкиным. То, что это чувство постоянно, подтверждают его стихи о Байкале из недавней книги «На стрежне» («...чтобы пушкинской родниковой речью...») и давняя «Ночь на Мойке», некоторые военные стихи и вновь «Изба над Тоболом».

Когда герои его поэмы поднимают тосты «за пушкинский, ставший звездой глагол», автор, будто вступая в их круг, в то же время сохраняет в образном строе рассказа атмосферу своей родины, ее дух и аромат:

Словно Пушкина солнце-имя,
светлая, нежная память о нем
вспыхнула
отблесками
живыми,

оборотилась счастливым днем.
Чаячий гомон

летел с Тобола,
запах черемухи плыл в окно,
навевая на новосела
радость, забытую им давно.
Майская роздымь,

заката алость
ведро пророчили и тепло...

В рассказе поэта о поэте вполне понятна точность определений творческого процесса. В поэме «Изба над Тоболом» точность эта по-особенному пронзительна: глядя на осиротевшие тетради Кюхельбекера, его биограф остро чувствует, что «каждый стежок, как ожог на теле, помнится автором наизусть».

Но Сергей Васильев не был бы Васильевым, если б даже в таком горьком разговоре не расплеснул озорных, веселых, сочных картинок бурно-шумящей жизни родного края. Таковы прежде всего сцены на базаре:

— Погадаем, Кольша!
— Не жалаю больше!
— Перекусим, Ваньша?
— Выпьем чарку раньше!
— Чо купил?
— Чо надо!
Чохом без огляда
взять поспел едва
две середки
от селедки,
от жилетки рукава!

Пестрота, шум, круговерть, балагурство, людское множество... И каждый услышан, увиден, показан в своей неповторимой реплике, в неповторимом жесте:

— Обруча! Обруча!
— А они, мамань, для ча?
— Для зажима, дочка,
чтоб держалась бочка!

А над всем этим многоголосым, размашистым, колоритнейшим хором — тихая улыбка идущего мимо Кюхельбекера.

Разительная душевная несовместимость интеллигентного, романтического Кюхельбекера и «кержачьи силы» его супруги Дросиды раскрывается в контрасте описаний.

Внешность и действия супруги написаны в иной манере, нежели Кюхельбекера. Вот ночью, когда Вильгельму стало совсем плохо и он позвал жену, Дронюшка встала с перины, «крупной стопой подалась вперед, глянула дрёмно, зевнула длинно, пухлой щепотью окстила рот». А вот она «в баском платице вышивном» принимает гос-

тей. Стати ее слово увидены глазами односельчан: «Не смотри, что тяжеловата, а цени, что в дому легка — и сама прибранá, и ребята, и надраила муженька».

Ну а уж яства сибирские, которые Дросида «наварила и насолила, наварганила, напекла», нарисованы так живописно и мастерски, с таким сочным удовольствием, что невольно вспоминаешь непрезойденное державинское: «Шекснинская стерлядь золотая, каймак и борщ уже стоят...»

В точный язык поэмы вливается богатой рекой народная речь, своеобразные обороты родного диалекта, словно со дна души поднимаются давно хранившиеся пласты самоцветных слов и присловий, неотделимых от уклада жизни тех мест и тех лет...

Последний всплеск озорной народной речи — в россыпи прибауток ямщика-балагура, увозящего Кюхельбекера в Тобольск:

Ох, ох,
видит бог,
я вчера доставил двох

с пещи на-полати
на кривой лопате!
Эй, залетные,
седлки потные!
Пронатим барина,
как болярина,
прямяком!
Баю не напраслину,
крою, как на Маслену,
с ветерком!

Как и всюду в поэме, здесь многообразна песенная ритмика — полиритмия вообще характерна для поэзии недавно ушедшего из жизни Сергея Васильева. И вся эта гибкая многозвучная песенность, все эти лихие и забавные придумки, грустные и нежные наговоры, тоскливые, порой жесткие афоризмы сплавлены в цельный, богатый национальный характер, передавший нам сложную противоречивую музыку той эпохи. Светлые умы ее, сказавшие самодержавию свое дерзкое «нет!», продолжают свою жизнь в памяти народа вот уже сто пятьдесят лет.

И. ДЕНИСОВА.



ВОЛЯ. ПУТЬ. РЕЗУЛЬТАТ

Василян Шукшин. Я пришел дать вам волю. Роман. М. «Советский писатель». 1974. 400 стр.

Роман о Разине В. Шукшин считал своим главным произведением. Не просто очередной работой, а именно главным, самым ценным — ценнее рассказов, ценнее фильмов, по которым Шукшина знали миллионы людей.

Опубликованный при жизни автора в журнале «Сибирские огни», роман не вызвал интереса: все это выглядело предварением фильма, подготовительной работой, «полурезультатом», к тому же над Шукшиным висело мнение, и небезосновательное, что крупные прозаические жанры ему не даются, к тому же XVII век, далековато, и были уже Чапыгин и Злобин...

Первое отдельное издание романа Шукшина оказалось посмертным. Мы его вписываем не в живой контекст продолжающегося творчества, — вписываем в итог. При таких обстоятельствах «главная книга» становится своеобразным творческим завещанием, средоточием судьбы писателя, ключом к его наследию независимо от того, удался или не удался текст с точки зрения объективных оценок.

С этой последней точки зрения ткань романа неубедительна. В ней чувствуются сле-

ды сценарной основы. И конечно, роман уже не заменит нам фильма, который Шукшину так и не удалось поставить. И конечно, кинематографическое членение эпизодов вопреки ожиданиям некоторых современных теоретиков все-таки не идет на пользу прозе. А все же рискну предсказать этому роману счастливую читательскую судьбу. Не только потому, что написан он живо, ярко и страстно, но прежде всего потому, что это итог долгих и мучительных, глубоких, противоречивых и неотступных размышлений Шукшина о русской истории и о русском человеке.

Почему же Разин?

Зная Шукшина, можно предположить, что именно притянуло его к этой теме. Разин — одна из самых поэтичных фигур в народном сознании. Он есть испытание и обнаружение определенной черты русского характера, последний всплеск чистой вольницы перед тем, как установилась на пространствах России самодержавная система, казавшаяся такой прочной. После Разина даже Пугачев выглядит «государственником» на мужицкий лад — Петром III навыворот. Разин же — чистая «волюшка», гуляющая на

просторе. Отсюда легендарность, овеивающая этот образ. Отсюда и интерес к нему Шукшина, который всю жизнь разгадывал «стихийную» душу, в мгновенном порыве взмывающую ввысь...

Путь к Разину пролег для Шукшина через специальную историческую литературу, посвященную его герою. Художественную, по его собственному признанию, Шукшин перечитывать опасался. Опасался повторить А. Чапыгина, написавшего в 20-е годы романтическую фигуру крестьянского бунтаря, Ст. Злобина, давшего в 50-е годы трезвый социально-психологический анализ разинщины. Даже от подкупающих фольклорных сюжетов Шукшин отошел решительно: эпизод с княжной, брошенной в волны, дан у него с какой-то демонстративной беглостью. У Шукшина свой угол зрения. Его Разин понятен не столько на фоне прежних книг на эту тему, сколько в контексте собственных шукшинских раздумий о человеке, в котором горит жалостливая душа, не знающая ни путей, ни меры...

Предмет этих раздумий — трагический путь героя, поднявшегося отомстить за кровь невинных и отвечающего на жестокости встречной жестокостью. Войдя в исторический материал, Шукшин увидел повешенных за ноги детей воеводы, увидел беспощадную ярость, рожденную господствующим насилием и неправдой. Для чувств Шукшина это было, очевидно, страшным потрясением. Для его мысли это было толчком от первоначальной, почти спонтанной апологии великого бунтаря к пониманию безмерной сложности путей исторического прогресса.

Если комментировать это понимание в сугубо научных терминах, то надо вспомнить известное письмо Энгельса Йозефу Блоху о том, что конечный результат, «равнодействующая» исторических сил расколотся с целью каждой из них: люди, группы, слои, классы преследуют свои цели, достигают же чего-то неожиданно всеобщего. Постигая историческую логику, Шукшин неохотно, медленно, с болью отрывает героя от своей души, оплакивая его крестный путь, провожая до самой плахи, на которую взошел Разин с мужеством, повергшим в замешательство палачей. Но где ж он ошибся? Почему оказался обречен?

Размышляя о характере разинской войны, Шукшин делает для себя первое и решающее разделение: крестьянство и казачество. Крестьянин терпелив. Его, как говорит Шук-

шин, сто раз пристукнут, пока он соберется и побежит выламывать кол. Крестьянин пойдет за правду, но лишь тогда, когда ему совсем немоготу станет и еще когда его поведет какая-то легкая на подъем сила, подстегнет, сдвинет, увлечет за собой...

Такая сила — казачество. Русская воинская вольница. Среди писателей, вступивших в нашу литературу после Шолохова и осваивавших его художественный опыт, не было, пожалуй, ни одного, кому бы удалось так хорошо уловить подвижный, взрывной, импульсивный дух казачества, как это сделал Шукшин. Он передал этот дух самой тканью, ритмом повествования. Ргунтой подвижностью описаний, мгновенными переключениями планов, скачущим перебросом соленых шуточек-реплик. Во всем этом особый психологический склад тогдашнего казачества.

Так куда ж кинет казаков на этот раз? Куда шатнет коней? Куда повернут казаки — на юг, к персам, как уже бывало? на восток, за Ермаком? Повернули на север... И тотчас поднялась, пошла за легкими конями огромная, тяжелая, доверчивая, едва вооруженная крестьянская масса. И все предрешилось: и бессилие этой массы опрокинуть европейски обученное войско Борятинского, и стремительное бегство разбитой разинской конницы из-под Симбирска, и отчаяние крестьянского идеолога Матвея Иванова оттого, что, мол, Стенька предал народ...

А он не предал. Просто было тут что-то свыше его сил, свыше его человеческого разумения. Свыше того понимания, которое могло быть выношено тогда в казачьей голове... Ибо «равнодействующая» исторических сил совсем не то, чего каждый из них добивается.

Так есть ли смысл в этой загубленной попытке, в этой последней вольнице?

Есть. Это главный итоговый пункт размышлений Шукшина. Есть огромное регулярное государство, рождающееся на месте Московии. Есть народное целое, медленно собирающее себя через столкновение и изживание крайностей. Есть то, что назовут потом Россией.

На путях к этой новой России — реки крови, моря слез. Кнуты временщиков и народное терпение. Веселые разинские струги и осторожные нововведения вежливого царя Алексея Михайловича, слабоватого волей, но любопытного ко всему новому и вот призвавшего европейски образованных воспи-

тателей к своему маленькому сыну Петру... Шукшину ясно, что объективный исторический смысл происходящего выше и величественнее робких усилий смиренного Алексея Михайловича, который, по словам одного старого историка, мог бы «служить украшением частной жизни», а вместо этого призван был «тридцать лет править обширным и расстроеным смутой государством, которое Древняя Русь обременила великими задачами». Шукшин отдает себе отчет в том, что тишайший властитель, методично заводящий государственную регулярность посреди бродячих толп полудикого населения, на свой лад тоже враг старорусской дремучести, как и Разин, поднявшийся на защиту безответных царских подданных. Мысль Шукшина состоит в следующем. Пошатнул Алексей Михайлович сонную Московию, а свалить сил не хватило. Свалили ее ударами с двух сторон Петр Великий и Стенька Разин. Петр — железом утвердив здесь европейскую государственность. И Стенька — железом же, до кровавого предела испытав, исчерпав, изжив разгульную волюшку и «загадочную» безбрежность русской души.

Конечно, такая концепция может быть оспорена с точки зрения исторической науки, ибо неравные это партнеры, Петр Великий и Степан Разин, и разные были их классовые цели. Но с точки зрения внутренней писательской темы Шукшина эта версия интересна: она проливает свет на сложность позиции шукшинского героя, отнюдь несводимого к «стихийности», хотя и «стихийного» в душевной своей основе.

Умом понимая историческую неизбеж-

ность свершающегося, Шукшин, однако, всей душой, безрасчетно и безоглядно сочувствует Стеньке Разину и оплакивает его детски доверчивую, обреченную душу. Шукшин не был бы Шукшиным, если бы это было не так.

Замечу и вот что: именно авторская позиция делает здесь повествование историческим романом. И доказывает, что «отстаивание» и «оскудение» этого жанра в прозе последних лет вовсе не так фатально...

И еще один интереснейший мотив есть в последнем романе В. Шукшина.

«Ты родом-то откуда?» — спрашивает Разин одного из своих сподвижников. Тот отвечает: «А вот — почоть мои родные места. Там вон в Волгу-то, справа, Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шукша... Там и деревня моя была, тоже Шукша...»

Деталь, мимо которой теперь не пройдет ни один биограф В. Шукшина... Не случаен интерес Шукшина к «иностранцам», вносящим свой вклад в русскую историю, например к фигуре Никона-патриарха, который, как известно, был мордвином... Речь идет, конечно, не только об участии «иностранцев» в разинском движении, хотя без этого картина была бы неполна, — я имею в виду вопрос более широкий. Как много от разных народов влилось в великую русскую культуру! Сколько вместила она... И как это естественно.

Жаль, не успел Шукшин поставить фильм о Разине. Но роман написан. И он займет свое место в нашем сложном раздумье о русской истории и о нас самих.

Л. АННИНСКИЙ.



В МНОГООБРАЗИИ — ЕДИНСТВО

Идейное единство и художественное многообразие советской прозы. М. «Мысль». 1974. 336 стр.

Известно, что именно идейное единство советской литературы, основанное на коммунистической партийности, является объектом непрекращающихся нападок со стороны буржуазных «советологов». Согласно их трактовке искусство, основанное на мировоззренческом единстве, обречено на бесплодие. Только ничем не ограниченный, «бесконечный» плюрализм идей, каковы бы ни были они (вплоть до «концепции» изначальной низости человека, но,

разумеется, исключая идеи неизбежности смены капитализма социализмом), сулит искусству расцвет.

Великий Октябрь, знаменовавший новую веху в мировой истории, обновил и практику искусства. Отныне искусство, призванное верно служить народу, стала отличать особая глубина и последовательность социального анализа, целеустремленность в решении воспитательных задач. Единство идейного звучания произведений социали-

стического реализма обусловлено единством тех целей, которые ставят перед собой художники мира социализма.

С другой стороны, искусство является столь специфической формой общественного сознания, что тенденция к многообразию заложена уже в самой его конкретно-чувственной природе. Истоки неиссякаемости эстетических исканий — в безграничном многообразии мира.

Как же соотносится единство идей с богатством образных решений? В чем диалектика взаимосвязи между тем и другим? Каковы условия их оптимального взаимодействия? Каковы пути осмысления проблемы советской теоретической мыслью?

Найти ответ на эти и подобные им вопросы читателю поможет книга «Идейное единство и художественное многообразие советской прозы», выпущенная кафедрой теории литературы и литературной критики Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Обстоятельную статью С. Петрова «Единство художественного метода и многообразие стилей в литературе социалистического реализма», очевидно, следует рассматривать как своего рода теоретическую преамбулу ко всему сборнику; другие авторы чаще всего касаются в своих работах отдельных сторон проблемы, охарактеризованной С. Петровым. Вот почему этой статье имеет смысл уделить особое внимание.

Справедливо полагая, что социалистический реализм как качественно новое эстетическое образование можно понять лишь в контексте развития мирового реализма, автор при этом подчеркивает особую активность, целеустремленность мировосприятия, присущую советскому художнику. Верно акцентируется автором стремление нашего искусства подчеркнуть «могучую силу человеческого разума в преобразовании жизни» — черта, идущая еще от Горького и противостоящая попыткам представителей современного декаданса обнаружить в человеке прежде всего низменно-инстинктивное, болезненно-эротическое.

Актуально звучат сегодня цитируемые в сборнике слова Фадеева о значении той «огромнейшей переделки людей», которая происходила в огне гражданской войны и вела к формированию нравственных качеств, присущих именно советскому человеку. С. Петров и другие авторы сборника отлично видят, насколько актуален для современной художественной практики вопрос о соотношении в человеческой психике ис-

конно традиционного и нового, порожденного социалистической действительностью.

Среди теоретических проблем, поднимаемых С. Петровым, особое место принадлежит проблеме условности в искусстве. С. Петров предлагает различать условность как прием, имеющий в структуре произведения частное значение (скатерть-самобранка в «Кому на Руси жить хорошо»), и как форму художественного обобщения («Мцыри»). Однако при всем нашем желании прислушаться к ряду сделанных автором оговорок мы вынуждены признать, что он все же недооценивает формы, выходящие за рамки «непосредственного реализма». Стремясь опровергнуть мысль Фадеева о том, что нашу жизнь можно изобразить с равным успехом и в форме, близкой к классическим романам, и в условно-сказочной форме, С. Петров ставит вопрос об относительной ценности тех или иных средств воплощения правды жизни и отдает предпочтение «классическим». Исследователь исходит из убеждения, что стиль «непосредственного реализма» наиболее адекватен реализму как методу.

Думается, в связи с современными дискуссиями об условности и ее месте в эстетической системе социалистического реализма многие суждения Фадеева приобретают принципиальное значение. Будучи сам весьма последовательным приверженцем классического реализма, писатель обнаруживал подлинную широту взгляда на искусство и удивительную методологическую прозорливость, отстаивая богатство и многообразие социалистического реализма. Александр Фадеев, например, первым оценил огромные возможности, заложенные в одной из сюжетных ситуаций романа Ф. Панферова «Бруски» (образ Шленки и его скитания по Руси). Именно наблюдения Фадеева послужили толчком для творческого воображения молодого А. Твардовского. Но разве «Страну Муравию» надо оценивать с введением априорно созданного снижающего коэффициента, поскольку сюжет ее явно условен? И разве не именно этой условностью во многом объясняется сила заложенного в ней реалистического обобщения о путях и судьбах крестьянства в послеоктябрьской России? Таким образом, зависимость стиля от метода оказывается весьма сложной, обусловленной как общим состоянием литературного процесса в данный период, так и особенностями индивидуальности художника.

В центре большинства статей сборника — проблемы современной советской прозы. Обращение к опыту национальных литератур позволило С. Липину при рассмотрении лирической прозы в качестве стилевого течения убедительно показать, как идейное единство проявляется в творчестве писателей, представляющих различные историко-культурные и художественные традиции.

В. Новиков сосредоточил свое внимание на малоизученной стороне проблемы стиля, которую предлагает называть суггестивностью. «С нашей точки зрения, — пишет В. Новиков, — суггестивность — это такое искусное, мастерское изображение состояния героя, движения его чувств и мыслей, особенностей поведения (вместе со всей окружающей его средой — бытием), когда образ и вся картина... воспринимаются... не как выдуманные, искусственно созданные, а как живые, реальные».

Ценным является в статье В. Новикова рассмотрение зависимости между мировоззрением писателя и его художественным мышлением. Ложное миропредставление уводит писателя от истины, потому что, как утверждал еще Г. В. Плеханов при рассмотрении пьес Гамсуна, вносит ложь в психологию действующих лиц. Но и отдельные отступления от истины, пишет В. Новиков, отступления художников честных, ищущих, тоже приводят к снижению эстетического уровня их произведений.

Удачно оперирует В. Новиков художественным материалом, ссылаясь на творчество К. Федина, С. Антонова, В. Тендрякова, и, надо признать, сам подбор использованных им примеров максимально работает на общую идею статьи (а это тоже немалое искусство!).

Однако известная однородность взятого автором материала таит в себе опасность: может сложиться впечатление, что суггестивность — принадлежность лишь «пластически-объективной» прозы. Так ли это? Замечу, что *suggestio* по-латыни — «подсказывание», «внушение». И, вероятно, суггестивность как способ эстетического воздействия на читателя не стоит связывать только с одной манерой письма. На мой взгляд, можно допустить не менее сильные воздействия на сознание читателя и образа явно условного, «сделанного», когда в его основе — большая общественно значительная идея (предположим, перед нами обнаженная трагедийность образа в «Про это» или

сатирическая концентрированность образов «Бани» Маяковского).

И. Осмоловская рассматривает в своей статье индивидуальный стиль писателя в связи с проблемой новаторства. Исследовательница опирается на выводы таких ученых, как М. Храпченко, Я. Эльсберг, которые связывают понятие стиля с индивидуальностью писателя более, чем с категориями «направление», «течение», «школа». И. Осмоловская совершенно права, оспаривая утверждения некоторых критиков о том, что из стилевой системы писателя в ходе кристаллизации замысла «выветривается» все слабое, случайное, неорганическое и остается основное, суггестивное. В самом деле, не приведет ли странная концепция «выветривания» к теоретическому приукрашиванию художника, к сглаживанию его недостатков? Не приведет ли, далее, подобный упрощенный подход к неточностям в понимании самой природы многообразия, которое есть продукт реальной практики во всей ее противоречивости?

В наших теоретических изысканиях нередко встречается невольный «перекос» в сторону эмпирики, когда проблемный подход к материалу бывает ущемлен излишней дробностью анализа. Этот недостаток обнаруживается в статье А. Цветкова «Стилевое своеобразие современной повести о Великой Отечественной войне». Здесь налицо явная автономия материала от общей проблемы. Анализ произведений К. Симонова, В. Быкова, Б. Васильева, замечания, порою любопытные сами по себе, все же мало способствуют решению поставленной задачи. Да и обозначены ее условия недостаточно отчетливо. Видимо, если автор вознамерился выяснить своеобразие именно современной прозы о войне, то необходимо было как-то затронуть поэтику повести предшествовавшего этапа. Сопоставления, как известно, помогают прояснить суть взятого предмета...

В предисловии к сборнику проблема художественного многообразия, на мой взгляд, далеко не правомерно приравнивается к многообразию стилей. (Надо полагать, этим объясняется и включение в сборник полезной в целом статьи Е. Куприной, в которой рассматриваются различные концепции стиля, возникшие в советском литературоведении в последнее десятилетие.) Видимо, у нас есть все основания, рассматривая проблемы многообразия, говорить не только о богатстве стилей, но и об индиви-

дуальных формах отражения действительности в движении. Иными словами, богатство социалистического реализма как метода художественного мышления проявляется сначала в многообразии подходов к материалу действительности (вопреки излюбленному тезису «советологов» об изначальной запрограммированности труда писателей в рамках коммунистической идеологии) и только затем уже в многообразии стилей.

Вообще при рассмотрении проблем истории советской литературы мы как-то мало внимания уделяем тому, что встарь принято было называть психологией художественного творчества. По большей части она есть предмет специальных изысканий (назову лишь вышедшие недавно книги Н. Фортунатова «Пути исканий» и Ю. Оклянского «Рождение книги») или область, куда охотно заглядывает занимательное литературоведение. Между тем и авторам, работающим в традиционных исследовательских жанрах, для более глубокого понимания произведения в высшей мере полезно представить путь писателя к завершённой системе образов. По самой природе своей творчество поливариантно. Определить меру совершенства произведения, или, иными словами, степень оптимальности избранного писателем варианта, можно гораздо успешнее, когда известны (или промоделированы) возможные варианты, которые предшествовали окончательному.

Тесной связью теоретических построений с конкретным критическим анализом, а равно живым ощущением движения искусства обращает на себя внимание статья

Е. Сидорова «К проблеме многообразия и типологии стилей в современной русской советской прозе (60—70-е годы)». Мне, в частности, кажется весьма удачным сопоставительный анализ, сделанный Е. Сидоровым (вот где помогает опыт критика!), произведений столь несхожих писателей, как Ю. Бондарев, В. Белов, В. Аксенов, данный в серьёзном теоретическом контексте. Кстати говоря, литературоведческое сочинение Е. Сидорова имеет достаточно четкий внутренний сюжет и читается с увлечением (хотя тот факт, что из поля зрения Е. Сидорова исчезла категория сюжета, столь необходимая, на мой взгляд, при рассмотрении выдвинутой проблемы, несколько озадачивает).

Из сказанного видно, что у меня есть немало критических замечаний по поводу тех или иных концептуальных положений сборника. Можно было бы поспорить с авторами и по более частным поводам (например, с мыслью С. Петрова о том, что «герой рассказа М. Шолохова «Судьба человека» как бы решает ту же проблему, что и Мелехов в «Тихом Доне»). Порой попадаются у авторов и фактические неточности (так, герой известного очерка В. Тендрякова из Ивана Чупрова превращается в Федора). Но, резюмируя сказанное, хотелось бы отметить главное: коллективом авторов создана остроактуальная книга, значительно расширяющая наше представление о содержательности художественных форм в единых рамках социалистического реализма.

В. БАРАНОВ.

Горький.



Политика и наука

АВАНГАРД РЕВОЛЮЦИИ

Проблемы гегемонии пролетариата в демократической революции (1905—февраль 1917 г.). М. Политиздат. 1975. 312 стр.

Первая русская революция, семидесятилетие которой широко отмечает советский народ, убедительно продемонстрировала руководящую роль рабочего класса в освободительном движении. Впервые в мировой истории рабочий класс, возглавляемый своей партией, объединил и повел на штурм самодержавия широчайшие массы трудящихся.

Проблемам гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции посвящена довольно обширная литература. В ней вопрос о руководящей роли рабочего класса России рассматривался либо в чисто теоретическом аспекте, либо в конкретно-хронологическом, либо в плане показа руководства пролетариатом отдельными слоями населения.

Авторы рецензируемой монографии¹ по-новому подошли к теме — они построили свою работу в проблемном плане, сосредоточив внимание на основных вопросах.

Круг этих вопросов весьма широк. В книге показаны особенности буржуазно-демократической революции в России как революции нового типа; роль партии в осуществлении гегемонии пролетариата, в том числе деятельность большевиков, направленная на воспитание пролетариата в качестве класса-гегемона, на осознание им своей великой исторической миссии; взаимоотношения рабочего класса и его союзников в революции, воздействие стачечного движения и вооруженных восстаний на мелкобуржуазные слои населения; использование партией парламентских форм борьбы в интересах завоевания народных масс на сторону пролетариата; значение Советов рабочих депутатов для объединения вокруг рабочего класса всех трудящихся. В монографии также рассматриваются проблема власти на демократическом этапе революции и вопросы перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую.

Глубокое изложение теоретических проблем авторы сочетают с анализом большого исторического материала. В начале книги дана характеристика буржуазных революций XVII—XVIII веков в Европе и показано, что во главе их стоял молодой, восходящий, в то время революционный класс буржуазии, поднявшийся против господства феодального дворянства. Свои непосредственные классовые интересы буржуазия еще могла в известной степени отождествлять с общенародными интересами. Рабочие же представляли не промышленный пролетариат в собственном смысле, а предпролетариат. Они сливались с массой трудового городского люда, не являясь развитым классом, и не могли играть руководящей роли в революционном движении.

Новая расстановка классовых сил, указывается в книге, сложилась к началу XX века в России. Сюда переместился центр революционного движения. Капитализм перерос в империализм. Рабочий класс, вступивший на арену политической жизни и имевший уже большой опыт борьбы с капиталистами и самодержавием, полностью

проявил свою способность быть гегемоном революции.

Что касается буржуазии, то, заинтересованная в сохранении самодержавия, она не желала доведения революции до конца. Ее оппозиционность царскому правительству носила характер трусливый, половинчатый, соглашательский.

Через всю книгу проходит мысль о том, что ленинская партия являлась ведущей силой гегемонии пролетариата. Роль и влияние партии во время революции намного выросли. Партия указывала массам наиболее верный путь к победе, раскрывала перед ними демократические и социалистические идеалы, проявляла смелую и последовательную инициативу в постановке и решении наболевших вопросов общественной жизни.

Чрезвычайно велика была роль партии в воспитании пролетариата как класса-вождя. Авторы монографии очень обстоятельно и интересно исследовали вопрос об осознании рабочим классом своей исторической миссии благодаря огромной пропагандистско-агитационной деятельности партии. По подсчетам авторов, во время революции 1905—1907 годов выходило 140 нелегальных и легальных большевистских газет и журналов, выпускались миллионы экземпляров брошюр и листовок. Целенаправленная работа партии привела к серьезным изменениям в психологии рабочего класса. В. И. Ленин писал, что «в 1905 году родился на Руси революционный класс — пролетариат, который сумел поднять и крестьянскую массу на революционное движение»².

Одно из центральных мест в книге занимает вопрос о союзниках пролетариата. Авторы подчеркивают, что самым верным союзником рабочего класса было крестьянство, и показывают огромную работу партии, направленную на создание пролетарско-крестьянского союза.

В отличие от большинства работ, посвященных гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции, в книге обстоятельно показана борьба большевистской партии за привлечение на сторону пролетариата не только крестьянства, но и многих других демократических групп населения: интеллигенции, учащихся, служащих, ремесленников, мелких торговцев, солдат, матросов, прогрессивно настроенных

¹ Научные сотрудники Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Института истории СССР АН СССР И. А. Алуф, М. С. Волн, Г. М. Деренковский, В. Т. Логинов, С. Л. Титаренко и С. В. Тютюкин.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 172.

офицеров, трудящихся национальных районов... Союз рабочего класса с непролетарскими слоями общества осуществлялся при помощи тактики «левого блока», то есть единства действий пролетариата с представителями мелкобуржуазной демократии, заключения политических блоков и соглашений с ее партиями и организациями.

Внимание читателей привлекут главы, посвященные воздействию важнейших пролетарских форм борьбы — стачек и вооруженных восстаний — на непролетарские массы населения. На большом фактическом материале авторы показали, что во время забастовок и вооруженных выступлений рабочего класса самые отсталые слои трудящихся приходили в прямое и косвенное соприкосновение с борющимися рабочими, лозунги которых по тысячам каналов шли «в отсталые слои, в глухую провинцию, в „народ“, „во глубину России“»³.

К сожалению, в книге не исследован вопрос о роли политических демонстраций в осуществлении гегемонии пролетариата. О демонстрациях говорится лишь как о явлении, сопутствующем стачкам. Между тем демонстрация как важнейшая самостоятельная форма борьбы начала широко применяться рабочим классом еще с 1901 года. Влияние демонстраций на непролетарские слои населения было не меньшим, чем воздействие на них борьбы пролетариата в других формах (стачки, вооруженные восстания, парламентская деятельность). Ленин писал, подводя итоги первой русской революции, что «руководящая роль пролетарских масс во всей революции и на всех поприщах борьбы, начиная от демонстраций, продолжая восстанием и кончая (в хронологическом порядке) «парламентской» деятельностью, выступила наружу воочию перед всеми за этот период, взятый в его целом»⁴.

С самого начала революции массовые политические манифестации, во время которых рабочие несли флаги с большевистскими лозунгами, пели революционные песни, проявляли стойкость и мужество в столкновениях с полицией и войсками, вовлекали в движение многих ранее политически инертных людей.

Очень удачно написана глава, посвященная парламентским формам борьбы за гегемонию пролетариата. В ней убедительно

показано, что во время деятельности четырех Дум рабочий класс продолжал выступать как руководящая сила освободительного движения, ведущая за собой широкие массы трудящихся, прежде всего крестьянство, а также средние слои городского населения. Левоблокистская тактика партии в Думах применялась наиболее широко. Большевики упорно разоблачали конституционные иллюзии мелкобуржуазных масс, вырывая их из-под влияния кадетов.

Эта глава имеет особое значение еще и потому, что некоторые советские историки высказывали ошибочное мнение, будто в период деятельности первой и второй Государственных дум, затем после свержения самодержавия пролетариат утратил роль гегемона (и руководящую роль, следовательно, играла либеральная буржуазия)⁵. При этом они ссылались на высказывания Ленина. Действительно, Ленин писал: «Главенство социал-демократии сменилось главенством кадетов, которые господствовали в обеих Думах»⁶. Однако В. И. Ленин имел в виду не гегемонию кадетов в освободительном движении, а лишь их временное политическое главенство по отношению к мелкобуржуазным слоям города и отсталым группам крестьянства. В. И. Ленин неоднократно указывал, что на всех этапах революции гегемонией оставался пролетариат.

Книга завершается главой, посвященной проблеме революционной власти. В ней раскрыто ленинское положение о диктатуре рабочего класса и крестьянства и показано, как оно претворилось в жизнь в ходе первой и второй буржуазно-демократических революций в России, как совершился переход к социалистической диктатуре пролетариата. Советы являлись органами этой диктатуры. На большом фактическом и теоретическом материале авторы раскрыли их роль в осуществлении гегемонии пролетариата, в сплочении вокруг рабочего класса всех революционных сил народа.

Думается, однако, что следовало бы больше сказать о значении и других массовых организаций (профессиональных союзов, стачечных комитетов, боевых дружин, народной милиции, народных судов и др.) в объединении вокруг авангарда рабочего класса широких трудящихся масс.

³ Там же, т. 21, стр. 343.

⁴ Там же, т. 17, стр. 273.

⁵ См. «Российский пролетариат: облик, борьба, гегемония». М. 1970, стр. 21, 55.

⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 120—121.

Книга содержит развернутую, аргументированную критику (по стержневым вопросам) взглядов либералов, меньшевиков и эсеров, отрицавших гегемонию пролетариата в демократической революции.

Во всех разделах монографии разоблачаются и современные буржуазные историки, стремящиеся опровергнуть ленинское учение о руководящей роли рабочего класса в освободительном движении. Так, Лоуренс, Кларксон, Уолкин, Пушкарев и другие пытаются доказать, что до 1917 года в России вообще не было рабочего класса, а рабочая масса представляла собой лишь крестьян, временно пришедших на заработки в города из деревенской глуши. Они якобы, будучи людьми темными, забытыми и неорганизованными, были не способны к самостоятельным политическим выступлениям,

а тем более к ведущей роли в революции. Это убедительно опровергается.

Новая монография представляет собой глубокое многоплановое исследование важнейшей проблемы отечественной истории. К сожалению, в ней есть повторы (стр. 65 и 292, 161 и 271), не привлечены архивные материалы, которые сделали бы доказательства авторов еще более вескими, отсутствует справочный аппарат.

Но эти недочеты не умаляют большого значения рецензируемой книги. Ее с пользой прочтут учителя, преподаватели вузов, научные сотрудники, студенты, пропагандисты, все, кто интересуется историей нашей Родины; она обратит на себя внимание и зарубежного читателя.

А. УШАКОВ,

доктор исторических наук, профессор.



ИСТОКИ

В. А. Максимова, Ленинская «Искра» и литература. М. «Наука», 1975. 155 стр.

В декабре нынешнего года исполняется семьдесят пять лет со дня выхода первого номера ленинской «Искры» — газеты, сыгравшей, как известно, выдающуюся роль в создании в России боевой марксистской пролетарской партии, партии нового типа, в творческом развитии марксистской революционной теории, в идейной борьбе против русского и западноевропейского ревизионизма. С ленинской «Искрой» связана целая эпоха в истории социал-демократического и всего освободительного движения.

Постоянно находясь в центре идейных и политических боев, собирая под марксистское знамя все революционные силы социал-демократии, первая общерусская нелегальная политическая газета, созданная и руководимая В. И. Лениным, уделяла большое внимание художественной литературе и литературно-художественной критике. В. И. Ленин, его соратники-искровцы видели в литературе могучее средство идейно-политического и эстетического воспитания стойких и мужественных борцов за дело рабочего класса. Став глашатаем прогрессивных идей в литературе, «Искра» внесла неоценимый вклад в развитие марксистско-ленинской литературной теории, в становление принципа партийности литературы.

Сегодня, когда мы отмечаем три четверти века со дня рождения «Искры», хочется

еще и еще раз обратиться к широко известным словам В. И. Ленина из его программной работы «Что делать?». Подчеркнув, что роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией, Владимир Ильич с гордостью писал: «А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература; пусть... да довольно и этого!»¹.

Литературные и литературно-критические материалы ленинской «Искры» давно являются предметом пристального внимания исследователей; к ним обращались и обращаются авторы историко-литературных трудов. Однако фундаментальной работы, дающей обобщенную, наиболее полную картину этой стороны деятельности искровцев, еще не создано. Сравнительно небольшая по объему монография В. А. Максимова «Ленинская «Искра» и литература», подготовленная к печати Институтом мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР и увидевшая свет в сентябре нынешнего года, в какой-то мере восполняет этот пробел.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 25.

Монография В. А. Максимовой привлекает прежде всего широтой охвата материала. В ней не только анализируются известные документы и материалы, но приводятся и малоизвестные факты, характеризующие отношение искровцев к тем или иным явлениям литературной жизни. Автор не ограничивается обзором литературных и литературно-критических материалов, опубликованных на страницах самой «Искры». Наряду и в связи с ними в монографии рассматриваются выступления издававшегося редакцией «Искры» марксистского научно-политического журнала «Заря», содержание ряда других изданий, подготовленных редакцией «Искры», а также некоторых изданий искровского направления — сборников и местных социал-демократических газет, прокламаций, листовок.

Особый интерес представляют широко использованные в монографии материалы, сохранившиеся в редакционном архиве «Искры» и «Зари». Среди них и одобренные редакцией, но не попавшие по тем или иным причинам на страницы газеты и журнала, и материалы, отклоненные редакцией.

В архиве сохранилось, например, стихотворение без подписи «То было в Турции, где совесть вещь пустая...» — одно из двух стихотворений, упомянутых В. И. Лениным в записке в типографию «Искры». Относящаяся ко второй половине мая 1901 года, записка эта содержит перечень посылаемых в набор материалов для пятого номера газеты. На листке с текстом стихотворения сверху рукой Ленина написано: «Приводим два ходящие по рукам стихотворения, характеризующие общественное настроение».

Аллегорические по форме, оба стихотворения были откликами на студенческие волнения и содержали протест против учиненной царизмом жестокой расправы над молодежью. Автором первого стихотворения был К. Вальмонт². Второе стихотворение, к сожалению, не разыскано. По мнению некоторых исследователей, им могло быть стихотворение Г. Галиной «Лес рубят — молодой еще, зеленый лес...».

Таков один из архивных документов, подтверждающий личное участие В. И. Ленина в отборе поэтических произведений для «Искры». В газете эти стихотворения

не были напечатаны, а появились в одном из подготовленных искровцами поэтических сборников — в сборнике «Песни борьбы» (1902).

Изучение редакционного архива «Искры» и «Зари» расширяет, обогащает наши представления о планах и замыслах этих изданий, вооружает дополнительными фактами, показывающими, как формировалась и развивалась марксистская литературно-критическая мысль, как вырабатывалась общая принципиальная линия, проводимая в вопросах литературы и искусства печатными органами русской революционной социал-демократии.

Знакомство с архивом отклоненных редакцией материалов дает возможность судить о той высокой требовательности, с какой подходили искровцы как к идейному содержанию, так и к художественной форме литературных произведений. В архиве сохранились стихотворения, которые, по оценке редакции, верно передавали общественные настроения, отвечали актуальным задачам революционной борьбы, но не были напечатаны по той причине, что не обладали должными художественными достоинствами.

Страницы рецензируемой монографии, посвященные описанию и характеристике материалов из искровского архива, вызывают, повторяю, особый интерес.

Работа В. А. Максимовой состоит из пяти глав. Первая представляет собой обстоятельный обзор литературы и литературной критики на страницах «Искры» и искровских изданий. Читателю открывается впечатляющая картина: за короткий срок нелегальная большевистская газета и ее издания, подготовка и выпуск которых были сопряжены с огромными трудностями, сумели напечатать немалое количество произведений самых разных литературных жанров — стихов и песен, очерков и фельетонов, рецензий и литературно-критических статей.

Особенно большое место занимала поэзия. В ней искровцы видели не только оружие политической агитации, но и глубокое по своему воздействию на чувства и разум средство духовного воспитания трудящихся. Стихи, песни, поэмы печатались и на страницах самой «Искры», и распространялись в виде листовок, и публиковались в специальных поэтических сборниках. Ленинской «Искрой» издано два таких сборника — «Песни революции» и «Песни борьбы». Был подготовлен и третий, наиболее

² См. «Поэзия в большевистских изданиях 1901—1917». («Библиотека поэта». Большая серия) Л. «Советский писатель». 1967, стр. 71.

обширный — «Перед рассветом». Но в связи с тем, что типография была загружена материалами ко Второму съезду партии, а после съезда оказалась в руках меньшевиков, выпуск третьего сборника задержался. Он был отпечатан лишь в 1905 году.

Трудно переоценить роль ленинской «Искры» и ее изданий в возрождении и развитии жанра художественно-политической сатиры. Газета широко использовала басню, фельетон, памфлет, смело вводила элементы сатирического жанра в полемику, в политические статьи. Острым оружием сатиры «Искра» умело пользовалась как в целях осмеяния и подрыва самих основ царского самодержавия, так и в целях беспощадного обличения буржуазной идеологии, всех и всяких оппортунистических течений внутри социал-демократии. В рецензируемой монографии приводятся образцы сатирических произведений, представляющих обе эти идейно-тематические линии.

В центре монографии В. А. Максимовой — исследование литературно-критических материалов «Искры» и искровских изданий. Этим материалам отводится более половины первой, обзорной главы. Им целиком посвящены главы «Литературное народничество в оценке искровской критики» и «Искровская критика в борьбе против идеализма, за высокие идеалы литературы». Литературно-критические позиции искровцев подробно анализируются и в главах «Искра» и Лев Толстой», «Искра» и Горький».

Опираясь на изучение переписки В. И. Ленина с редакторами «Искры» и «Зари», с агентами газеты, используя материалы редакционного архива, В. А. Максимова приходит к выводу, что «планы и замыслы искровцев (по литературно-критическому отделу) были очень широки и что их удалось реализовать лишь частично». То, что за три года своего боевого существования успела сделать старая, ленинская «Искра» в области развития марксистской литературно-критической мысли, составляет наше бесценное богатство, являет собою пример принципиального, научного, партийного подхода к оценке как литературного и литературно-критического наследия прошлого, так и к оценке событий литературной и литературно-критической жизни начала XX века.

В «Искре» и ее изданиях была опубликована серия статей о писателях, в их числе о Некрасове, Добролюбове, Льве Тол-

стом, Глебе Успенском, Степняке-Кравчинском; систематически печатались материалы, раскрывающие отношение царских властей к литературному наследию Гоголя, Белинского, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, многих других писателей России. «Искра» подняла голос протеста против преследований царизмом передовых художников слова. Она решительно выступила в защиту Льва Толстого и Максима Горького от нападков властей и реакционной прессы, приговоздила к позорному столбу царское правительство, отменившее выборы Горького в почетные академики.

А. М. Горький говорил о себе: «...с большевиками я с 1903 г. и немного раньше...» «Немного раньше» — это и был как раз период ленинской «Искры», период установления связей писателя с революционным подпольем, период, определивший новый рубеж в идейной и творческой биографии Горького.

Великий пролетарский писатель относился к ленинской «Искре» с глубоким вниманием, считал ее «единственным органом, заслуживающим уважение, талантливым и интересным», постоянно заботился о делах газеты, был тесно связан с ее агентами в России. В монографии В. А. Максимовой приводятся документы, свидетельствующие о характере и прочности этих связей. «Искра» первая верно оценила классовую и идейную сущность творчества Горького, художественную силу его произведений, заслуги писателя в революционном движении пролетариата.

«Искра» и искровцы последовательно отстаивали принципы реализма в литературе и искусстве. Причем делалось это не только на страницах самой газеты. Ее авторы нередко выступали с литературно-критическими статьями в прогрессивных легальных изданиях, используя их как трибуну для пропаганды своих взглядов. Вместе с тем ленинская «Искра» вела бескомпромиссную борьбу против реакционных тенденций в литературе, против модернизма, против проповеди «искусства для искусства». Высмеивая лицемерные призывы к «абсолютной свободе» творчества, В. И. Ленин, искровцы стремились активно, силой печатного слова поддерживать каждую заслуживающую внимания попытку бороться не за мнимую, а за подлинную свободу творчества.

Когда петербургский «Союз свободных художников» выпустил прокламацию, содержащую протест против «оков и цепей»

царского самодержавия и призыв к отказу «отдавать свои творческие силы на служение абстрактному искусству, чуждому общественных тенденций», «Искра» опубликовала этот примечательный документ. Готовя прокламацию к печати, В. И. Ленин дал ей заголовок: «Художники и борьба за свободу (документ из недавнего прошлого)». «Только тогда мы будем друзьями народа,— говорилось в прокламации,— тогда будем им понимаемы и любимы, когда сроднимся с ним и явимся выразителями общественного настроения».

Орган революционной социал-демократии, ленинская «Искра» была единственной газетой, которая в условиях самодержавной России последовательно и до конца отстаивала интересы передовой культуры, тесно связанной с народом.

«Большевизм,— указывал В. И. Ленин,— провел за три года, 1900—1903, старую «Искру» и вышел на борьбу с меньшевизмом, как цельное направление». Приведа эти ленинские слова, автор монографии пишет: «Изучение материалов «Искры», посвященных художественной литературе, показывает, что «Искра» помогла сложиться в «цельное направление» и большевистским взглядам на литературный процесс, что именно с нее надо вести историю политики партии в области литературы». Такой вывод логически вытекает из анализа большого количества использованных в монографии документов и убедительно подкрепляется ими.

Принцип партийности, лежащий в основе политики партии в области литературы, был, как известно, сформулирован В. И. Лениным позднее, в 1905 году, в программной статье «Партийная организация и партийная литература». Но, выдвигая этот принцип, Владимир Ильич развивал и оттачивал те свои мысли, которые высказывал еще в

работах 90-х годов и которые имел возможность, так сказать, поверить жизнью, руководя деятельностью «Искры». Гениальные статьи о Толстом написаны В. И. Лениным в 1908—1911 годах, но истоки ленинского понимания Толстого восходят к эпохе «Искры»...

Весьма досадно, что автор монографии полностью обходит вопрос о непреходящем значении традиций ленинской «Искры», ее богатого опыта для развития современного литературного процесса, литературно-художественной критики, для современной идеологической борьбы против всех и всяких фальсификаторов истории нашей литературы, «ниспровергателей» животворного ленинского принципа ее партийности.

Заключая монографию, В. А. Максимова подчеркивает, что «к материалам ленинской «Искры», к ее опыту должны обращаться не только те, кто изучает историю партии и партийной печати, но и те, кто изучает историю литературы и литературной критики — передовой литературы и передовой литературной критики XX столетия».

Да, круг читателей, проявляющих живой интерес к такого рода исследованиям, в наше время далеко не узок. И тут возникает вопрос, с которым хочется обратиться к издателям монографии (кстати, издана она добротнo, на хорошем полиграфическом уровне, снабжена фотографиями членов редакции «Искры», ее активных авторов и агентов в России, фотоснимками архивных документов): почему же эта книга отпечатана в количестве четырех тысяч экземпляров? Этот же вопрос следует адресовать и тем, кому распространением литературы ведать надлежит. Ведь при таком тираже монография В. А. Максимовой даже во многие крупные библиотеки попасть не сможет.

В. КОСОЛАПОВ.



ЗОРКОСТЬ ГЛАЗА, ЕМКОСТЬ ПАМЯТИ

Д. И. Гразкин. За темной ночью день вставал... Воспоминания старого большевика. М. Политиздат. 1975. 296 стр.

Пишущему эти строки посчастливилось встречаться с Дмитрием Ивановичем Гразкиным. Говорю «посчастливилось» не из желания избежать расхожего «довелось». Нет, именно так: есть особая привлекательность в общении с очевидцем и участником событий, на которых прочно означена печать истории.

Теперь с Д. И. Гразкиным встретятся очень-очень многие: вышли в свет мемуары Дмитрия Ивановича. Они сохранили его неторопливую разговорную интонацию, юмор, вдумчивость. Иногда даже кажется, что страницы книги пахнут дымом его неизменной трубочки с прокушенным мундштуком...

Д. И. Гразкин умер в 1972 году. Он про-

должна была быть, и книга эта надолго: явствен голос одного из тех, кто «каплей лился с массами».

Плеханов отмечая, что некоторые из русских рабочих не прочь были взяться за перо еще в 70—80-х годах прошлого столетия. Он имел в виду не мемуаристику, а публицистику. Что ж до воспоминаний, то начинателем был здесь рабочий-социалист Василий Герасимов. Его краткий очерк, написанный на исходе XIX века, был опубликован в годину первой русской революции. Как раз тогда начал свою питерскую горемычную жизнь деревенский мальчик, будущий автор книги «За темной ночью день вставал...».

Гразкин и Гразкины вели свою родословную от Герасимова и Герасимовых. От Петра Алексеева, ненавидевшего «ядро деспотизма». От Степана Халтурина, мечтавшего о всероссийской рабочей организации. От знаменосца первой политической демонстрации у Казанского собора Якова Потапова с его буслаевской отвагой, не заглохшей даже в смрадной одиночке Соловецкого монастыря. От Ивана Бабушкина, члена «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», человека яркой одаренности.

Наследники двинулись дальше. Революция пятого года была могучим ускорителем их умственной и политической эволюции. Характеры ковала борьба, раскачавшая империю от фортов Кронштадта до причалов Владивостока, от заснеженных улусов до раскаленных песков.

Воспоминания Д. И. Гразкина появились на книжных прилавках к семидесятилетию первой нашей революции. Казалось бы, что можно прибавить, когда ее события подробно изучены? Но представление об исчерпанности исследования (равно научного или художественного) подчас обманчиво. Исчерпано ли, в частности, наше знание того, как революция будила дух «малых сил», подобных автору рецензируемой книги, «серяков», «мальчишек» для побегушек и колодушек?

«Много лет спустя,— пишет Д. И. Гразкин,— когда я вспоминал свою далекую юность, то говорил себе: счастье мое, что я попал в Петербург незадолго до пятого года. Революционные события так быстро политически просвещали человека из массы, как раньше, до пятого года, не воспитали бы и десятилетия».

Дело не в подробностях, сообщаемых автором, хотя они примечательны и достовер-

ны вплоть до топографических (зрительная память Дмитрия Ивановича удивительна — она удержала, как говорится, «весь Петербург»), а дело в том, что мемуары рельефно показывают приобщение к революции вчерашнего «лапотника». Это, в сущности, история в прямом смысле души.

Не станем излагать содержание этих первых глав. Подчеркнем лишь, что они лишены сантиментов. Тут вам не рождественский рассказ про малютку, который посилен и весь дрожал, а рассказ суровый, точный и горький, обладающий сильным эмоциональным зарядом.

Психологически еще интереснее, пожалуй, последующие главы: видишь и чувствуешь то, что видел и чувствовал рядовой партийный функционер в пору реакции, когда тени «стольпинских галстуков» ложились все длиннее, все гуще. Сникли случайные спутники и поклонники «огнеглазой революции»; возникает культ отступничества; религиозные искания перемешиваются с порнографией, а крысиный писк провокаций — с победительным бряканьем жандармских шпор. И вот тут-то в гнетущем мраке поражения отчетливо выступает оптимизм участника неодолимого революционного процесса. Впрочем, не только участника, но участников — автор пишет о своих друзьях-подпольщиках, о таких же, как он, молодых пролетариях, вливавшихся в ряды большевиков. Листая страницу за страницей, ощущаешь именно тогдашний оптимизм этих людей, а не декларируемый задним числом. Приходит на память строчка Блока: «Я слышу трудный хриплый голос...» Будни, опасные будни нелегальной работы. Крот делает свое дело.

Обыск, арест, тюрьма, допросы, суд, ссылка — «университет», пройденный многими на Руси, достается и Гразкину. В повествовании нет ничего, рассчитанного на эффект, никакой, пользуясь музыкальным термином, перемены ключевого знака. Угадываешь спокойную, подкупающую усмешку Дмитрия Ивановича: ну что ж, самые, мол, обыкновенные злоключения...

Битый мастером, меченный казацкой нагайкой, мятый в кутузках, измученный этапами человек, которому двадцать от роду, но который уже большевик, идет своим твердым, чуть валким шагом, как, бывало, хаживал мальчишкой — разносчиком хлеба. Да ведь он, как и его друзья, и впрямь разносчик насыщенного хлеба, придающего бодрость братьям по классу.

Он не в кабинетной тиши... Понятно, мы вовсе не желаем умалять значение и ценность книжных занятий: именно такие практики, как Гразкин, именно они-то очень хорошо чувствовали «вкус» интеллектуальной работы, с наслаждением предавались ей и в «аудиториях» с нарами и решетками и на воле, урывая часы роздыха... Не в кабинетной тиши, а в тесноте и движении предметий исполняет он партийные поручения. И в этом для него потребность нравственная, смысла и содержание жизни.

Когда-то, задолго до рождения Гразкина, народоволец Александр Михайлов шутя высказал мысль серьезнейшую: если бы партия поручила мне писать стихи, я писал бы стихи... Гразкин (как, впрочем, и Михайлов) стихов не писал, а вот в создание большевистской печати свою лепту внес. Немало усилий приложил он к тому, чтобы приохотить к перу руки, привычные к молотку и зубилу. Вербовал рабкоров для «Звезды» и «Правды». Собирал медяки на издание этих газет. Распространял тираж и спасал тираж. Вникал в типографскую и редакционную технику.

В девятьсот пятнадцатом надел он солдатскую шинель. Весной следующего года в составе маршевой роты прибыл в расположение XII армии... Как известно, военный раздел мемуарной литературы весьма обширен, но подотдел мемуаристики солдатской скуден. И уже хотя бы поэтому рассказ «нижнего чина» 436-го Новоладожского полка заслуживает внимания. Автор, однако, не только один из милюонов пехотинцев, брошенных в кратер всеевропейской бойни, — он, и это главное, рядовой той гвардии, которая помышляла о защите отечества совсем не в духе официальной доктрины, возвещенной с высоты престола.

Гразкину еще не были известны ленинские документы об отношении к пожару, охватившему континент, но, воспитанный марксистской партией, он с первого же часа империалистической войны объявил ей войну. На фронте, в окопах нашел он единомышленников, членов РСДРП. Он вел революционную агитацию, писал и распространял листовки, объясняя как раз то, что мучительно старались понять однополчане, вчерашние пахари из глубинных губерний.

В армии застаёт Гразкина Февральская революция. Талантливый митинговый оратор, наделенный к тому же недюжинными орга-

низаторскими способностями,³ он отставив большевистскую линию в те месяцы, когда витийствовал Керенский.

Автору мемуаров при всей его скромности попросту некуда «уйти» от биографических фактов, свидетельствующих о том, как вал революции поднимает его — крестьянина, рабочего, солдата: он один из руководителей полкового, дивизионного, корпусного солдатских комитетов; он один из редакторов, а потом и ответственный редактор знаменитой «Окопной правды»... Его деятельность уже не ограничивается армейскими рамками: солдаты делегируют Гразкина на I Всероссийский съезд крестьянских депутатов, где он встречается с В. И. Лениным; на Чрезвычайном, а затем и на II Всероссийском съезде крестьянских депутатов Гразкин был председателем большевистской фракции.

ЦК большевиков оставляет Гразкина в столице. Его избирают членом ВЦИК второго созыва (и нескольких последующих созывов). Он работает в верховном органе власти Советской республики, затем в ВЧК, в Реввоенсовете, в Наркомпути... Перед читателем возникает облик государственного деятеля нового типа, выкованного на наковальне трех революций. Суть не только в личной скромности и внутреннем демократизме. Суть в идейной закаленности, в кровной верности идеалу, в нравственном единении с народом, в умении не поддаваться течениям и настроениям — словом, в совокупности свойств и особенностей, без которых хиреет и гаснет революционная одухотворенность.

Д. И. Гразкин встречался и беседовал с Владимиром Ильичем, встречался и в Смоленском и в Кремле. Рассказывая об этом, мемуарист чужд выпренности.

Вспоминая Владимира Ильича, Гразкин подчеркивает ленинскую сосредоточенность, быстроту и основательность суждений, постоянное стремление, жажду познавать жизнь в прямом контакте с нею...

Рецензируемой книге предпослана сжатая, живая и выразительная статья доктора исторических наук В. Логинова. В статье приведено меткое замечание В. И. Ленина о свежести наблюдений, зачастую присущей низовым партийным работникам. Вот этой-то свежестью и веют воспоминания Д. И. Гразкина.

В. ОРЛОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



МАРК СЕРГЕЕВ. Подвиг любви бескорыстной. Рассказы, воспоминания. М. «Молодая гвардия». 1975. 208 стр.

Одиннадцать жен, поехавших за мужьями в Сибирь, не рисовались, когда говорили, что не видят в этом особенного подвига: труднее было бы не поехать за любимыми людьми.

Их отъезд — общественный протест? М. Сергеев пишет о сочувственном волнении одних, переполохе и злобе других современников. Независимо от того, много или мало они знали тогда о нелегальной деятельности мужей, эти женщины объективно сыграли роль лучших агитаторов за их дело.

Они ощущали сильное моральное давление и власти и родни (в том числе со стороны любимейших людей — вспомним генерала Раевского, умолявшего свою дочь Марию Волконскую не ехать) и все-таки поехали... Сергеев хорошо показывает, какими непохожими, разными были эти женщины, — и тем интереснее сходство выбора.

Выбор прежде всего душевный, нравственный — и оттого политический. Это было понято современниками сразу. «Спасибо женщинам, — писал Вяземский, друг многих декабристов, но убежденный противник заговора и восстания, — они дадут несколько прекрасных строк нашей истории». В книге подробно представлено пять биографий, из которых особенно удались очерки о Наталье Фонвизиной и Полине Анненковой.

М. Сергеев помещает в конце книги прекрасные строки женщины другого поколения — Веры Фигнер, приговоренной к смерти (замененной десятилетиями Шлиссельбурга)... Героиня «Народной воли» писала:

«Жизнь изменилась, ужас перед Сибирью она преодолела другим, еще более жуткими ужасами; да, она повысила требования к личности и женщину наряду с мужчиной повела на эшафот и на расстрел. Но духовная красота остается красотой и в отдаленности времен, и обаятельный образ женщины второй четверти прошлого столетия сияет и теперь в немеркнущем блеске прежних дней».

Духовная красота — это, может быть, сильнейшая связь поколений. Не случайно поэтому возникло тонко подмеченное автором обстоятельство — что именно жены декабристов сыграли особую роль в сближении стариков-декабристов с «молодыми» — петрашевцами, шестидесятниками.

Духовная красота... Всякое историческое движение ценно не столько тем, что оно отрицает, сколько тем, что утверждает. Мы знаем и глубоко ценим мысли героев 14 декабря о том, что было плохо в России, и с особенным вниманием приглядываемся к их положительным идеалам. Здесь же находим не только проекты будущих преобразований родины, но и сам принцип самоутверждения высокой нравственности.

Нравственность, благородство идеалов. Как только эти слова произнесены, мы тут же присоединяем к делу декабристов несколько скромных женщин. Лирические, эмоциональные мотивы, «прекрасные порывы» души узников и добровольных изгнанниц — все это писатель Марк Сергеев передает умело, бережно и с должной сентиментальностью. Он находит теплые слова о каждой из одиннадцати: Екатерина Трубецкая, Мария Волконская, Александра Муравьева, Наталья Фонвизина, Прасковья (Полина) Анненкова, Александра Ентальцева, Елизавета Нарышкина, Александра Давыдова, Мария Юшневская, Анна Розен, Камила Ивашева; прибавлены еще краткие сведения о Варваре Шаховской, поехавшей в Сибирь за любимым человеком Петром Мухановым... Однако тех некарасовских «русских женщин», сопряченных к нравственному делу декабристов, — их было больше, и они заслуживают отдельных очерков, повестей, книг. Были яркие, самоотверженные фигуры старшего, «материнского» поколения — Екатерина Муравьева, мать двух сосланных декабристов, Надежда Шереметева, теща Ивана Якушкина. Были любящие сестры — Екатерина Уварова, бесконечно преданная брату Михаилу Лунину, Елена Бестужева, разделившая с братьями все тяготы забайкальской жизни. Была Наталья Шаховская, на руках которой скончался после трех лет ссылки муж, декабрист Федор Шаховской...

Был дух нравственного сочувствия, обаяние которого мы ощущаем и полтора века спустя, вчитываясь в новые сочинения о «подвиге любви бескорыстной».

Н. Яковлев.



А. П. ПЕТРОВСКИЙ. Петр Петровский. Алма-Ата. «Казахстан». 1974. 96 стр.

В июле 1917 года он в красногвардейской бригаде по охране В. И. Ленина. Восемнадцать лет участвует в штурме Зимнего. Ему

шел двадцатый, когда он стал комиссаром дивизии. Весной 1919 года, еще не достигнув двадцати, он возглавляет горком партии и ревком Уральска (Яицка), становится одним из руководителей восьмидесятидневной обороны города от белоказаков. Эту победную оборону В. И. Ленин назвал «героическим делом», «примером истинной преданности делу революции».

В двадцать лет секретарь губкома партии. Потом секретарь ЦК и МК РКСМ, председатель советской делегации в КИМе. На пороге двадцатипятилетия — член Исполкома Коминтерна. Этот человек не единожды разговаривал с Лениным, видел и слышал его на трех партсъездах. Он военный, комсомольский и партийный работник. Он журналист: одновременно главный редактор «Ленинградской правды» и журнала «Звезда». Он педагог: директор Саратовского сельскохозяйственного института и профессор политэкономии. Событий, встреч, дел хватало бы и на пять жизней.

Звали его Петр Григорьевич Петровский. Это пока единственная книга о нем. Написал ее сын Петровского — Леонид Петровский (редактор — доктор исторических наук, профессор П. М. Пахмурный). Она лишь отчасти заполняет лакуну. Автор, проделавший немалую исследовательскую работу, несомненно располагает большим материалом, чем тот, который уместился на трех с половиной печатных листах. Изучены многие газеты, книги, сотни документов в семи государственных и шести партийных и комсомольских архивах. Основное внимание в книге уделено пребыванию Петра Петровского в Уральске. Остальные страницы жизни как бы бегло перечислены.

Книга издана в серии «Борцы за советскую власть в Казахстане». За советскую власть, за идеи Маркса и Ленина Петр Петровский боролся не только в Казахстане, но и в других районах страны. Надо полагать, что при дальнейшей работе над материалом автор обстоятельней расскажет о тех страницах биографии Петра Григорьевича Петровского, о которых написал далеко не полно.

Хочется также пожелать ему избавиться от попадающихся в некоторых местах фактических неточностей, а порой и штампов.

Эр. Ханшира.



И. СМІРНОВ. Марковская республика. Из истории крестьянского движения 1905 года в Московской губернии. М. «Московский рабочий». 1975. 88 стр.

Пятьдесят лет назад в издательстве «Московский рабочий» вышла небольшая книжка крестьянина И. Н. Павлова о событиях 1905—1906 годов в Марковской волости. Во вступлении «От автора» говорилось: «Написанный мной очерк из истории революционного движения Марковской волости имеет в себе много недочетов. Первое — это недостаточное количество документов, которые за отсутствием времени и средств я не мог собрать...»

Именно этот пробел прежде всего и восполнил краевед Иван Ильич Смирнов, автор новой книжки о тех же событиях, изданной к семидесятилетию первой русской революции. В приложениях он опубликовал 14 красноречивых документов, среди которых наибольший интерес представляет «Приговор» (манифест) крестьян села Марково, Волоколамского уезда, Московской губернии, принятый на сельском съезде 31 октября 1905 года. Долгие годы, говорится в «Приговоре», крестьяне жили в угнетении, невежестве, голоде. Но наступил терпению предел! «Встает после глубокого сна русский народ-богатырь... Он стряхивает со своих рук и ног ржавые цепи рабства и нищеты».

Марковцы потребовали всеобщего избирательного права, уничтожения сословий, отмены выкупных платежей, образования всех детей школьного возраста на государственные счет, свободы слова, собраний, союзов, освобождения и восстановления в правах лиц, пострадавших за «земельные беспорядки»... В ноябре волостной старшина И. И. Рыжов вновь собрал сход, на котором крестьянский манифест был дополнен новыми пунктами. На первом месте стояли требования низвержения самодержавия и немедленного созыва Учредительного собрания.

«Приговор» марковских крестьян был напечатан не только в русских, но также во французских и американских газетах (летом 1906 года в Марково приезжал американский профессор Бракесли, чтобы лично убедиться в существовании «Марковской республики»).

Используя документы и воспоминания участников революционного движения 1905—1906 годов, И. И. Смирнов обстоятельно рассказывает о событиях в Маркове и в соседних деревнях. Сам народ должен быть хозяином своей судьбы, решили крестьяне Марковской волости. Они выбрали свое «правительство», не стали подчиняться царским властям, отказались платить подати (устроили «податную забастовку»), сами распоряжались помещичьими покосами и лесами, начали делить «отрезки». Они поголовно вступили во Всероссийский крестьянский союз — массовую революционно-демократическую организацию крестьян.

«Крестьянам помогала объединяться интеллигенция, — пишет И. Смирнов, — сельские учителя, агрономы, врачи». Он рассказывает, в частности, о преследовании царскими властями крестьянского писателя С. Т. Семенова, «пропагандировавшего в среде крестьян совместно с другими лицами неподчинение властям и отказ от взноса повинностей» (как об этом говорилось в «Справке» департамента полиции). В сноске к одному документу автор книги приводит такую запись на «Памятном листке» председателя совета министров: «4 сентября. Департаменту полиции. За этого Семенова просит граф Л. Н. Толстой».

Любопытен и многозначителен рассказ автора о том, как по инициативе «президента» «Марковской республики» Петра Буршина крестьяне оказали продовольственную

помощь бастовавшим рабочим ткацкой фабрики братьев Старшиновых.

«Марковская республика» просуществовала около девяти месяцев... Сказались ограниченность и слабость крестьянских выступлений, их замкнутость. Не могла быть успешной попытка добиться свободы и земли, не выходя за пределы волости. Но сам факт освобождения крестьян от царистских настроений, их стихийная тяга к совместным действиям с рабочими, их воля к борьбе — все это свидетельствовало о более высоких, чем прежде, формах революционно-го движения русских крестьян, которые в 1917 году вместе с рабочими одержали победу над самодержавием и буржуазией.

Б. Исаев.



РОМАН БЕЛОУСОВ. Из родословной героев книги. М. «Советская Россия». 1974. 304 стр.

Герои книг, рожденные воображением писателя, часто обладают удивительной магией реальности. Их мысли, чувства и поступки создают иллюзию настоящей, невывдуманной действительности.

Р. Белоусов в своей книге ведет читателя путем, обратным тому, которым идет писатель, — от законченного художественного произведения к фигурам людей, стоящим у истоков замысла автора. Он знакомит нас с прообразами литературных персонажей и тем самым показывает содержащееся в этих персонажах соотношение правды и вымысла, действительности и свободного воображения, помогает увидеть меру образного обогащения, вложенного в них автором. Это позволяет нам стать в некоторой мере участниками увлекательного процесса создания литературного образа.

В книге Р. Белоусова три раздела — «Из родословной героев книг», «Свидетели былого», «Загадки старых переплетов». В первом разделе мы узнаем о том, как реально существовавшие люди становились персонажами книг. В главе «Мечтания вольнодумца Сирано» Белоусов описывает полную приключений и лишений жизнь забытого всеми писателя XVII века, бунтаря и остролова Сирано де Бержерака. Он рассказывает о воскрешении Сирано на страницах пьесы Эдмона Ростана и на подмостках парижского театра Порт-Сен-Мартен в 1897 году, поставившего эту пьесу. Белоусову на помощь приходят воспоминания современников, работы историков, критиков и литературоведов. Главу «Разбойник Хизель принимает облик Карла Моора» автор книги начинает с биографии известного в Баварии и Швабии стрелка Хизеля, казненного в

1771 году в Дилингене, восстанавливает связи Шиллера с «разбойничьим» фольклором, протягивает нити, ведущие к созданию образа Карла Моора. А вот увлекательная глава «Перевоплощение аббата Фариа». Реальный аббат Фариа, история которого подробно рассказана автором, исчез навсегда; вымышленный же Фариа — один из удивительных образов в творчестве А. Дюма — живет на страницах романа «Граф Монте-Кристо».

Из этого же раздела мы узнаем о жизни и смерти тургеневского «болгара» — Инсарова, о том, как капитан Немо раскрывает свое имя, о Жаке Вентра — двойнике коммунара.

Нет нужды, да и невозможно пересказать все содержание книги. Передвигаясь от догадки к догадке, от известного к неизвестному, устанавливая факты на первый взгляд и незначительные, автор раскрывает тайны создания литературных персонажей. Большею частью ему счастливо удается избежать прямолинейности при сопоставлении героя с прототипом.

Если в первом разделе Белоусов показывает, как реальные люди становились персонажами книг, то во втором разделе — как литературные персонажи сходят со страниц книг и начинают новую жизнь среди людей. Мы узнаем историю любимой всеми датчанами копенгагенской Русалки, предшестей из сказки Андерсена, Русалки, которая вот уже более полувека встречает и провожает проплывающие мимо нее корабли.

А вещи? Вещи напоминают о горькой истине, что они подчас долговечнее людей. Автор ведет речь о приключениях и злоключениях самых обыкновенных вещей: любимого саквояжа Андерсена, лука Робина Гуда, трости Бальзака.

В последнем разделе книги собраны различные литературные анекдоты и курьезы, которые заслуживают внимания уже потому, что являются неотъемлемой частью истории литературы. Здесь рассказано о находке пропавшей пьесы Кальдерона, о поддельной рукописи Мольера, о мистификации Шарля Нодье.

Белоусов проделал скрупулезный труд, некоторые сведения добыты заново, многое собрано, приведено в порядок и объяснено. Книга написана просто и живо, читать ее интересно. Автору удается воссоздать атмосферу и дух той эпохи, в которой действуют его герои. Совокупность историй, рассказанных в этой книге, дает читателю ощущение неразрывности живого взаимопроникновения литературы и реальности.

Н. Долотова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Последние письма и статьи. 23 декабря 1922 г.—2 марта 1923 г. 71 стр. Цена 8 к.

А. Белевич. Хатынь: боль и гнев. Изд. 2-е, переработанное. 80 стр. Цена 15 к.

Великодержавная политика маоистов в национальных районах КНР. 126 стр. Цена 41 к.

Во имя мира, безопасности и сотрудничества. К итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в Хельсинки 30 июля—1 августа 1975 г. 96 стр. Цена 11 к.

М. Калинин. Статьи и речи. 1941—1946. 672 стр. Цена 1 р. 21 к.

А. Осипов. Спасы. Изд. 2-е. («Веседы с верующими») 63 стр. Цена 7 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Андроников. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. 398 стр. Цена 93 к. Т. 2. 368 стр. Цена 88 к.

Э. Бирзниец-Упит. На глиняной горе. Рассказы. Перевод с латышского. 206 стр. Цена 30 к.

Г. Борян. Родная земля. Стихотворения. Перевод с армянского. 191 стр. Цена 51 к.

К. Ваншенкин. Избранные стихотворения. В 2-х тт. Т. 2. Стихотворения 1963—1974. 512 стр. Цена 1 р. 52 к.

Ю. Левитанский. Воспоминание о красном снеге. Стихи. 206 стр. Цена 80 к.

Н. Некрасов. Избранное. Стихотворения и поэмы. 511 стр. Цена 97 к.

Ю. Словацкий. Стихи.—Мария Стюарт. Драма. Перевод с польского Б. Пастернака. 176 стр. Цена 38 к.

Человек из предместья. Рассказы вьетнамских писателей. 255 стр. Цена 1 р. 28 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ч. Гусейнов. Угловой дом. Повести и рассказы. Перевод с азербайджанского. 256 стр. Цена 46 к.

П. Кочура. Апостолы правды. Перевод с украинского. 447 стр. Цена 96 к.

Д. Медведев. Сильные духом. Роман. 471 стр. Цена 90 к.

А. Пысин. Вербный мост. Стихи. Перевод с белорусского. 102 стр. Цена 42 к.

И. Рабин. Я вижу тебя, Вильнюс... Роман, повесть и новеллы. Перевод с еврейского. 512 стр. Цена 87 к.

Н. Равич. Две столицы. Исторический роман. 336 стр. Цена 52 к.

Р. Ребан. Танцы на мосту. Роман. 278 стр. Цена 62 к.

К. Федин. Маленькие романы, повести, рассказы. 367 стр. Цена 86 к.

Я. Хамматов. Золото собирается крупичками.—Акман-Токман. Романы. Перевод с башкирского. 672 стр. Цена 1 р. 43 к.

М. Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. Изд. 3-е. 407 стр. Цена 1 р. 46 к.

Д. Хренков. Виссарийон Саянов. Путь поэта. 280 стр. Цена 67 к.

В. Чивилихин. Шведские остановки. Путевые заметки. 176 стр. Цена 94 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

И. Григурко. Канал. Роман в новеллах. Перевод с украинского. («Молодые писатели») 238 стр. Цена 33 к.

Д. Краминов. Сумерки в полдень. Роман. 559 стр. Цена 1 р. 49 к.

Кто с мечом. Памятники древнерусской литературы XIII—XV веков. Перевод с древнерусского. Консультант Д. Лихачев. 159 стр. Цена 3 р. 99 к.

В. Тростянский. Расстрелянные листья. Стихи. 96 стр. Цена 23 к.

Л. Якименко. Жеребенок с колокольчиком. Повести. 351 стр. Цена 72 к.

«СОВРЕМЕНИК»

Ю. Андрианов. Разлука в пути. Стихи. («Новинки «Современника») 110 стр. Цена 37 к.

Волосая струна. Произведения устной поэзии горных шорцев. Пересказал Г. Сысолятин. 238 стр. Цена 49 к.

А. Иванов. Жизнь на грешной земле. Повесть. 85 стр. Цена 41 к.

В. Кулемин. Красота. Стихи и поэма. 143 стр. Цена 53 к.

В. Личутин. Время свадеб. Повести. («Первая книга в столице») 272 стр. Цена 56 к.

Ю. Помозов. Домик над болотом. Волжские рассказы. («Новинки «Современника») 206 стр. Цена 54 к.

А. Поперечный. Ядро. Стихи и поэмы. («Новинки «Современника») 80 стр. Цена 32 к.

В. Распутин. Живи и помни. Повесть и рассказы. («Новинки «Современника») 27 стр. Цена 70 к.

Ю. Рытхэу. Белье снега. Роман. («Новинки «Современника») 277 стр. Цена 61 к.

Слово о полку Игореве. Художник В. Чупрыгин. Комплект в 2-х кн. Цена 15 р. 6 к.

Я. Шведов. Продолжение песни. Стихи и поэмы. 175 стр. Цена 67 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1975 ГОД

Приветствие Секретариата Правления Союза писателей СССР в связи с пятидесятилетием журнала. Редакции журнала «Новый мир». I—7.

К читателям. I—9.

Из летописи полувека. I—263.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1975 г. о награждении журнала «Новый мир» орденом Трудового Красного Знамени. II—1.

Боевой манифест революционного искусства. К 70-летию статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература». XI—3.

Фридрих Энгельс. Кола ди Риенци. Драма в стихах. Перевел с немецкого Лев Гинзбург. Предисловие Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. IX—3.

П. Ф. Батицкий, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. На страже мирного труда. V—3.

Г. Голыков. Неиссякаемый источник вдохновения. I—11.

Алексей Луковец. Монголия: рождено революцией. II—5.

Борис Полевой. Неисчерпаемый источник. V—13.

В. Ягодкин, секретарь Московского городского комитета КПСС. Идеология, политика и литературно-художественное творчество. X—3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

В. Алексеева. Чужой мальчик. Из пережитого. XI—167.

Анатолий Ананьев. Годы без войны. Роман. Книга первая. IV—12; V—118; VI—83.

Чингиз Айтматов. Ранние журавли. Повесть. IX—37.

Григорий Бакланов. Друзья. Роман. II—26; III—19.

С. Георгиевская. Монолог. Примечание Г. Семенова, Ф. Искандера. VI—12.

Антал Гидаш. Миниатюры. Перевела с венгерского Агнеса Кун. IX—141.

Николай Задорнов. Симода. Роман. VII—9; VIII—105; IX—101.

Валентин Катаев. Кладбище в Скулянах. X—30.

Вера Кетлинская. Здравствуй, молодость! Роман. XI—16.

Римма Коваленко. Отчим. Рассказ. VI—119.

Вл. Лидин. В медоносном краю; Третье окно от угла. Рассказы. I—25.

Юрий Рытхэу. Когда киты уходят. Современная легенда. VII—95.

Юрий Сбитнев. Жизнь, как жизнь... Повесть. XII—10.

Олег Смирнов. Вместо предисловия к воспоминаниям «Человек и время» Маризтты Шагинян. III—129.

С. Смоляницкий. Майские ветры. Повесть. V—20.

Тимофей Соколов. Перед трудным выбором. Повесть-быль. Послесловие генерал-лейтенанта юстиции Н. Ф. Чистякова. XII—53.

Юрий Трифонов. Другая жизнь. Повесть. VIII—7.

А. Ф. Федоров, дважды Герой Советского Союза. Подпольный обком действует. Новые главы. Литературная запись Евг. Босняцкого. II—98; III—92.

Уильям Фолкнер. Рассказы: Дранка для Господа; Лисья трава; Дядя Вилли; Честь. Перевели с английского В. Гольшев, Ю. Жукова, В. С. Муравьев, Л. Беспалова. XI—174.

Маризтта Шагинян. Человек и время. Воспоминания. Часть четвертая. Петербург (часть первую, вторую см.: «Новый мир» № 4, 1971 г., №№ 1, 2, 1972 г.; часть третью «Дом Феррари» №№ 4, 5, 6, 1973 г.). III—132.

РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ

И. Х. Баграмян, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, генеральный инспектор Министерства обороны. Операция «Багратион». IV—162.

Л. И. Баркович, солдат 804-го автобатальона, водитель первого класса. Ладожский экзамеи. IV—142.

П. И. Батов, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. На Бобруйск. V—194.

И. Н. Веремей, Герой Советского Союза, генерал-майор запаса. Тяжелый, танковый, гвардейский. V—189.

С. С. Волкенштейн, Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке. В бою артиллерия прорыва. V—185.

А. С. Жадов, Герой Советского Союза, генерал армии. Полки идут на запад. V—178.

С. И. Клоповский, капитан 1-го ранга в отставке. За свободу твою, Дунай! V—204.

А. И. Кузнецов, журналист. Наше зная над рейхстагом (Из записок военного корреспондента). V—218.

Н. А. Ломов, профессор, генерал-полковник. Висло-Одерская операция. V—209.

Ф. Б. Монастырский, капитан 1-го ранга. Десант под Новороссийском. IV—147.

П. М. Пархомовский, полковник в отставке. В дни штурма Берлина. VI—194.

П. А. Ротмистров, Герой Советского Союза, Главный Маршал бронетанковых войск. Танковое сражение под Прохоровкой. IV—152.

Ф. Н. Смахотворов, генерал-майор в отставке. Стоять насмерть! IV—136.

Г. Р. Старовойтова, во время войны разведчица-радистка в тылу врага. В тылу врага. VI—188.

Я. Д. Хардинов, командир противотанковой батареи, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза. В Уральском добровольческом. IV—158.

Г. И. Щедрий, Герой Советского Союза, вице-адмирал. Сильнее смерти. VI—184.

Редактор-составитель И. М. Данишевский.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Павел Антокольский. Конец века; Приключения фантаста. Стихи. XI—10.

Михаил Беляев. Похвала мастеру красного дерева; О нежности не вспомнишь даже...; Синица; Шумы, очаг! Не угасай, беседа! Стихи. X—27.

Константин Ващенко. Из лирики: Трубочка; Забывчивый певец; Цикламен; Холодный ветер с юга...; Пробивают проспекты сквозь город...; Ранней юности угар...; Разлад; Памяти поэта; И уже без всяких слез...; Нас раздражает резкий голос...; Ветер; Корабли; В больницы операционной...; Перед утром. VII—3.

Петр Вегин. Дневники; Опусто свои руки заломленные...; Жила-была Ксения Некрасова...; Время, я говорю, время... Стихи. VIII—3.

Евгений Винокуров. Новые стихи: Творчество; Крик. Из цикла «Европа»: Граммофон; Афродита; Грехи; Космос; После войны; Медзаклучение. XI—163.

Игорь Вякирев. Письмо; Брезентовая серая палатка...; Через броню, из-под железных век...; Возвращение; Мы не палили годов...; Земля. Стихи. IX—137.

Расул Гамзатов. Последняя цена. Поэма. Перевел с аварского Яков Козловский. II—12.—Персидские стихи: Персия; Гугуш; Я ходил по земле шахиншахов; В Ширазе; Мечеть шах-Абаса в Исфагане; Сабля Надир-шаха и рубайи Омар-Хайяма; Хафиз не оставил Шираза; На золотом пергаменте восточном... Перевел с аварского Яков Козловский. IV—118.

Фикрет Годжа. Письмо без адреса. Поэма. Вольный перевод с азербайджанского Сиявуша Мамедзаде. VI—3.

Юлия Друнина. Тридцать лет; Первый тост; Три процента...; Передний край; Пароль; Мой комиссар. Стихи. V—17.

Владимир Жуков. Мишка-танкист; Башенный стрелок; Погоны; Дорога на курсы. Стихи. IX—33.

Александр Корнев. Новобранец; Сестра. Стихи. XI—13.

Григорий Кружков. Записка декабриста. Стихотворение. XII—222.

Юрий Кузнецов. Перо; Не сжалится идущий день над нами...; Ночь уходит; Равнина пуста...; Я гиганта видал в чистом поле, у хат...; Снег; Отцу; Когда кричит ночная птица...; Глядишь на небо в час ночной...; Завещание; О миг! Это камень проснулся... Стихи. VII—152.

Анатолий Левушкин. Клипера; Гусиная земля; Как осерчал помор; Баллада о старой трости. Стихи. XI—159.

Михаил Луконин. Капля Волги; Август; Больше не могу в себе носить... Стихи. IV—114.

Эдуардас Межелайтис. Из цикла «Эскизы берега»: Руки красные, точно горлашки снежирей...; Хакири; Аттракцион в Луна-Парке. Перевел с литовского Л. Миаль. III—90.— Из цикла «Ре минор». Стихотворения. Перевел с литовского Л. Миаль. IX—129.

Вс. Рождественский. Новые стихи: Все доступно для зренья поэта...; Песочные часы; Еще одно несказанное слово...; Статуя; Пока живу, пока дышу...; Из окна; Гербарий; Я сроднился с последней тревогой...; Тюльпан; Бывает так — слабеет тело...; Как бешеный бушует и полощет...; Гангут (1714). XII—3.

Паруйр Севак. Здравствуй!; Утренний свет; Прикосновение мгновения; Письмо; Миру нужна чистота. Стихи. Перевели с армянского В. Микушевич, Ю. Мориц. IX—95.

Татьяна Смергина. По своим следам иду...; Эта радость не радость...; Знаю, клякву где растел...; Маме; Молочная ночь... Стихи. XII—50.

Владимир Соловьев. Переправа (Отрывки из поэмы). XI—156.

Владимир Солоухин. Лозунги Жанны д'Арк; Она еще о химии своей...; Неглинка. Стихи. VIII—99.

Юван Шесталов. Сказка в синий полдень. Поэма. Перевел с манси автор. X—180.

Степан Щипачев. Новые стихи: Пионеры; Я вижу и такое; Лес; Я люблю, когда удлиняется день... III—126.

ЭХО ПОБЕДЫ

Гайнан Амири. Служба связи; Сердце солдата. Перевел с башкирского Валерий Краско. IV—3.

Ст. Золотцев. «ПО-2»; След зверя; Красуха. IV—5.

Ибрагим Кэбирли. 1942 год. Перевел с азербайджанского Владимир Цыбин. IV—7.

Владимир Савельев. И по следу телеги пришла к нам победа... IV—8.

Михаил Шлани. Воспоминания о войне; Письма мамы во время войны... IV—9.

ПО СТРАНИЦАМ ФРОНТОВЫХ ГАЗЕТ
И СТАРЫХ БЛЖНОТОВ

Подборку стихов составили и подготовили
А. Коган и С. Савельев

Джек Алтаузен. Гимн. V—110.

С. Болотин. Баллада о нонпарели. V—114.

Михаил Матусовский. Три баллады: Баллада о возвращении; Баллада о танке капитана Половчини; Баллада о партизанской местности; Хороший денек. V—106.

Михаил Светлов. Праздник. V—105.

Марк Соболев. Сын; В бой! — запеваля фанфары когда-то, призывно трубя...; Жизнь; На Днепре. V—111.

Степан Щипачев. Фронтовые будни. V—105

Стихи молодых поэтов

Евгений Винокуров. Коротко об авторах. III—18.

А. Антонович. Полны крапивы старые окопы...; Шаги; Будни; Мы не расстались... III—5.

И. Антонова. Стихи о Нескучном саде. III—11.

Сергей Бобков. Из северных стихов. III—10.

Юрий Голицын. О русской рифме. III—7.

Лорина Дымова. Журавль; Поезда; Живет в глазах моих...; Праздник; Я уезжаю от тебя... III—7.

Станислав Золотцев. Поколение победы; Сок заполярных берег; «Сладок сон молодых на заре!»; Родина. III—3.

Евгения Славоросова. Фигуристка; Хор мальчиков; Из окна; Натюрморт; Жизнь моя — золотая жила... III—12.

Николай Щербинский. Подмосковье; Снег на Театральной площади; Снегопад в семнадцатом году; Амур; Разговор. III—14.

Из современной венгерской поэзии

Ласло Беньямин. Борцы за социализм; Наши песни. IV—132.

Иштван Ваш. Знамена; Знаю. IV—128.

Габор Гараи. Камень у заводских ворот; Надпись на стене; Встающие в самую рань. IV—125.

Имре Дьере. Когда о Вольности повел я речь... IV—131.

Иштван Шимон. Не бойся и твори, покуда хватит сил... IV—131.

Дюла Шипош. Из записок революционера. IV—130.

Перевел с венгерского Александр Големба.

Из молодой вьетнамской поэзии

Суан Кунь. Победа. Перевел Виктор Широков. IX—154.

Нгуен Дык Мау. На холме, поросшем травой. Перевел Григорий Кружков. IX—155.

Фам Тиен Зуат. Десять минут отдыха; Сон в лесу; Дорога жизни. Перевели Ст. Золотцев, Григорий Кружков. IX—156.

Голоса Дагестана

Омар-Гаджи Шахтанов. Моя река Кара-Койсу...; В осеннем саду; Андийское озеро; Памяти Хемингуэя. Перевел с аварского В. Равич. XII—118.

Амалдан Кукуллу. Стихи о разлуке; Повелитель земли; Друзьям. Перевел с татского А. Големба. XII—121.

Из чехословацкой поэзии

В. Завада. В полете; Жатва. Перевел Вл. Солоухин. XII—126.

Иван Скала. Дом; Моя Испания; Желанье; Колокола. Перевели Вера Игельницкая, Т. Глушкова, Г. Андреева. XII—128.

Д. Шайдер. Мой день; Июньский дождь; Голову обнажив...; На родине моей... Перевел Вл. Солоухин. XII—132.

► *Из поэзии «Нового мира» за 50 лет*

Григол Абашидзе. Русскому поэту. Перевел с грузинского Станислав Куняев. I—59.

Ираклий Абашидзе. Душа поэта — разъяренный лев... Перевел с грузинского Юрий Ряшенцев. I—59.

Маргарита Алигер. Бывают дни — ни голоса, ни смеха... I—60.

П. Антокольский. Два сонета. I—61.

Николай Асеев. Синие гусары. I—62.

Белла Ахмадулина. Снегопад. I—64.

Анна Ахматова. Подумаешь, тоже работа... I—65.

Э. Багрицкий. Контрабандисты. I—65.

Микола Бажан. Из цикла «Мицкевич в Одессе». Перевел с украинского Н. Заболотский. I—67.

Демьян Бедный. Добро. Эвенкская легенда (Отрывок). I—68.

Ольга Берггольц. Ответ. I—72.

Петрусь Бровка. Зеленый клен шумел над нами... Авторизованный перевод с белорусского Я. Хелемского. I—72.

Константин Ваншенкин. Мальчишка. I—73.

Павел Васильев. Клятва на чаше. I—74.

Сергей Васильев. Прямые улицы Кургана. I—76.

Е. Винокуров. О красоте. I—77.

Андрей Вознесенский. Исповедь мореплавателя. I—78.

Платон Воронько. Возрождение. Перевел с украинского П. Железнов. I—78.

Самед Вургун. Слово переводчика. Вольный перевод с азербайджанского Ильи Френкеля. I—79.

С. Галкин. Спустился я только на одну ступень... Перевела с еврейского А. Ахматова. I—81.

Расул Гамзатов. Журавли. Перевел с аварского Н. Гребнев. I—80.

Николай Грибачев. Своему сердцу. I—81.

Семен Гудзенко. Год рождения. I—82.

Евг. Долматовский. Всегда я был чуть-чуть моложе... I—84.

Юлия Друнина. Я раздвинула шторы... I—84.

Евг. Евтушенко. Со мною вот что происходит... I—86.

Сергей Есенин. Снова выплыли годы из мрака...; Какая ночь! Я не могу...; Не гляди на меня с упреком...; Ты меня не любишь, не жалеешь...; Может поздно, может слишком рано...; Неуютная жидкая лунность...; Черный человек... I—46.

А. Жаров. Лишь у нас, молодых и счастливых... I—85.

Н. Заболоцкий. О красоте человеческих лиц. I—85.

М. Исаковский. Из новых стихотворений: Город мой... I—87.

Римма Казакова. Мы станем скорее на чувства... I—87.

Василий Казин. Мать. I—88.

Василий Каменский. Медвежий ров (Отрывок из поэмы). I—89.

Мустай Карим. О, любовь! Перевела с башкирского Ирина Снегова. I—91.

Алям Кешоков. Лермонтову. Перевел с кабардинского Я. Козловский. I—92.

Борис Корнилов. Качка на Каспийском море. I—93.

Давид Кугультинов. Еще не зазвучавших песен звук... Перевела с калмыцкого Юлия Нейман. I—94.

Сайфи Кудаш. Присвоив насильственно славу поэта... Перевела с башкирского М. Петровых. I—94.

Аркадий Кулешов. Про осень. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского. I—95.

Кайсын Кулиев. Любой навет заранее приемлю... Перевел с балкарского Н. Гребнев. I—96.

Георгий Леонидзе. Люблю я волн неистовую синеть... Перевел с грузинского Б. Пастернак. I—96.

В. Луговской. Медведь. I—97.

Михаил Луконин. Пришедшим с войны. I—98.

Михаил Львов. Товарищам. I—99.

Марк Максимов. Дуб. I—100.

О. Мандельштам. Довольно кукусьтеся, бумага в стол засунем... I—101.

Леонид Мартынов. Русский север. I—101.

С. Маршак. Сколько раз пытался я ускорить... I—103.

Новелла Матвеева. Водопад. I—103.

Вл. Маяковский. Разговор с фининспектором о поэзии; Сергею Есенину; Разговор на одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия». I—35.

Эдуардас Межелайтис. О зеленая рощица детства... Перевел с литовского Ю. Левитанский. I—104.

А. Межиров. Новый возраст. I—105.

Сергей Михалков. Солдат. I—106.

Джубан Молдагалев. Двадцать пять. Перевел с казахского М. Луконин. I—108.

Сергей Наровчатов. Костер. I—109.

Алексей Недогонов. Башмаки. I—110.

Сергей Орлов. Баллада о парламенте. I—112.

Борис Пастернак. Кавказские стихи. I—113.

Леонид Первомайский. Ты видел обмеленье родника?... Перевел с украинского Яков Хелемский. I—115.

Александр Прокофьев. Зима идет в платке по брови... I—116.

Максим Рыльский. Путешествие в молодость. Главы из поэмы. Перевел с украинского Н. Ушаков. I—117.

Д. Самойлов. Сороковые... I—118.

М. Светлов. Перед боем. I—119.

И. Сельвинский. Крым. I—120.

К. Симонов. Смерть друга. Памяти Евгения Петрова. I—122.

Борис Слуцкий. Первый день войны. I—123.

Ярослав Смеляков. Признание. I—124.

Сергей Смирнов. Рядовой гражданин. I—125.

Владимир Соколов. Все чернила вышли, вся бумага... I—126.

Владимир Сосюра. Как море, дышит лес зеленый... Перевел с украинского Александр Прокофьев. I—126.

Анатолій Софронів. Казаки за бугром. I—127.

Василий Субботин. Баллада о сверстнике. I—128.

Алексей Сурков. На привале. I—129.

Тициан Табидзе. Стихи о Мухранской долине. Перевел с грузинского Б. Пастернак. I—129.

Максим Танк. Не верьте, что некогда... Перевел с белорусского Я. Хелемский. I—130.

Александр Твардовский. Я убит подо Ржевом; Из лирики разных лет (1936—1958). I—54.

Николай Тихонов. 1919—1941. I—131.

Аалы Токомбаев, народный поэт Киргизии. Мумиё. Перевел Марк Ватагин. I—132.

Мирзо Гурсун-заде. Женщина. Перевел с таджикского Александр Наумов. I—132.

Иосиф Уткин. Гитара. I—133.

Яков Ухсай. Облака. Перевел с чувашского Б. Иринин. I—135.

Н. Ушаков. Патефон. I—136.

Назым Хикмет. Старик на берегу. Перевела с турецкого М. Павлова. I—137.

Марина Цветаева. Из цикла «Стихи к Пушкину». I—138.

Владимир Цыбин. Я жду. I—140.

Сергей Чекмарев. Гляди: уже по Лиственной... I—141.

Симон Чиковани. Думы о Риони. Перевел с грузинского А. Межиров. I—142.

Степан Щипачев. Перед тобой лежит стихотворенье... I—144.

Георг Эми. О труд поэта!..; Взлеты и крушенья... Перевела с армянского Елена Николаевская. I—144.

Александр Яшин. Ностальгия. I—145.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

П. Козлов. «Иль» летят на фронт. IV—171; V—223; VI—202.

В. Макеева, главный хранитель фондов Музея М. И. Калинина. Михаил Иванович Калинин. XI—209.

А. Новиков, главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза. «Нормандия» в небе России. VII—211; VIII—212.

Д. Эрдэ. Встречи с М. И. Калининым. XI—211.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

Ю. Каграманов. Эта обманчивая, обманчивая пустыня. VIII—232.

ПУБЛИЦИСТИКА

М. Бабиков, Герой Советского Союза. Две встречи. VIII—207.

Георгий Боровик. Май в Лиссабоне. Записки о первых днях португальской весны. Послесловие В. Владимирова, кандидата исторических наук. II—199; III—212; IV—203.

Л. Вышневикий. Из летописи подвига (Петр Долгоруков и люди 14 декабря). XII—217.

Ю. Домбровский. «И я бы мог...» Заметки и размышления писателя. XII—205.

Ю. Жуков, В. Седых. Письма из Рамбуле. II—174.

А. Костин, доктор исторических наук. Пламя революции над Россией. XII—179.

Г. Невелев. Царизм — перед судом истории. I—180. — Неизвестные письма декабристов. XII—193.

Н. Новиков. Подвиг (Из блокнота журналиста). V—171.

А. Пумпянский. «Каждый человек — король?» — По следам одного героя. Эскурсы из романа в политику. VI—157.

М. Ткачев. Будущее республики. IX—168.
Инна Чежегова, Михаил Донской. В гостях у доброго короля Рене. IX—202.

Б. Чеховин. Австралия: города и люди. VI—220.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Анатолий Коигро. Земля-мать. X—189.

Леонид Шнякарев. Большой чертеж Сибири. I—147.

Набережные Челны

М. Ганина. Мои знакомые диспетчеры. IX—159.

В. Джалагония, Б. Чеховин. Чистый воздух. XII—135.

Алексей Кожин. Переключка. VI—146.

М. Троицкий, секретарь Татарского обкома КПСС. На новом этапе. I—169.

В МИРЕ НАУКИ

А. Берг, академик, Герой Социалистического Труда. Непрерывность технического прогресса. I—197.

Георгий Федоров, доктор исторических наук. Откровения и наука. I—203.

Евгений Федоров, академик. Экологический кризис и социальный прогресс. IX—175.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Авуар Алимжанов. Певец родной земли. IV—255.

П. Балашов. Путь художника. X—242.

Василь Быков. Правда войны. IV—245.

Валерий Гейдеко. Горизонты молодой прозы. III—254.

Н. Драгомирецкая, кандидат филологических наук. Развивая классическую традицию. III—245.

Юрий Жуков. Сергей Юткевич рассказывает про кино. VIII—238.

Алим Кешоков. Пример великого мастера. V—250.

В. Кирпотин. О Пушкине, о личности, смене поколений и надиндивидуальных ценностях. VI—244.

Л. Киселева, кандидат филологических наук. Правда художественная — правда историческая. III—235.

Иван Козлов, гвардии полковник запаса. Война. Время. Литература. V—234.

М. Козьмин. Оставить след на земле. Над страницами романа Ю. Бондарева «Берег». XII—246.

Феликс Кузнецов. С веком наравне. II—229.

Ирина Луначарская. Свершения и замыслы (А. В. Луначарский: из писем и дневников). XI—244.

Иван Мележ. Могучий поток народной жизни. III—233.

М. Мендельсон. Американский роман после Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека. VIII—246.

Леонид Новиченко. Уроки большого художника. IV—249.

Ал. Овчаренко. Вчера, сегодня, завтра. Проблема человека и ее художественное решение. VII—238.

М. Пархоменко. Рубежи познания. Актуальные проблемы типологии социалистического реализма. XII—223.

В. Перцов. Есенин в современности. X—227.

Юрий Рытхэу. Талант вдохновляющий. IV—254.

Сергей Сартаков. Могучая и волшебная сила. V—247.

С. С. Смирнов. Книга мужества. IV—244.

Борис Сучков. «Открывать новые страницы жизни». XI—224.

Мирзо Турсун-заде. Завидная судьба. V—249.

Альберт Устинов. Эмоции критики. К вопросу о единстве социального и эстетического анализа. VI—237.

Н. Шамота. О человечности нашей партийности. IX—237.

Степан Щипачев. Перечитывая роман. IV—253.

Л. Якименко. Мировое значение творчества М. А. Шолохова. V—252.

Пятьдесят лет тому назад. I—227.

В. Жданов. Большая жизнь Некрасова. I—229.

Вадим Ковский. Труд сеятеля. I—238.

И. Кохно, кандидат филологических наук. Обращено к современности. I—255.

Т. Мотылева. Анатолий Франс — классик XX века. I—245.

Осип Резник. Основатель жанра. Несколько страниц о Сергее Басове-Верхоинцеве. I—259.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Валерий Брюсов. Незданное (Вступительная статья редакции «Литературное наследство»). Публикации Р. А. Щербакова, Ю. П.

Благоволитой, Ю. А. Красовского, Т.-Г. Динесман). I—211.

Ефим Дорош. Страницы ненаписанных книг. Вступление и послесловие академика Д. Лихачева. VII—156.

А. Луначарский. Новая Европа и СССР. Публикация и примечание Ю. Фединского. Послесловие доктора филологических наук Н. Трифонова. XI—217.

Алексей Прасолов. Вот так — с горячей автострады...; И вдруг за дождевым навесом...; Дорога все к небу да к небу...; Какая тьма! Лишь выйди на крыльцо...; Померк закат, угасла нежность... Стихотворения. Публикация Инны Ростовцевой. VI—141.

Павел Шубин. Воинам Волхова; Наследники; Замок в Северной Норвегии; Скворечня; Нет, я не верю в то, что ты была...; Когда я узнал под шрапнелью...; Окно затянуто парчой...; Посылка; Изба у дороги. Стихи. Публикация А. Когана и А. Шубина. VI—132.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

И. Браинин. Из писем В. И. Ленину. IV—236. — Революционный сборный пункт столицы. XII—176.

Аветик Исаакян. Мысли о жизни и искусстве. Из записных книжек. Перевела с армянского С. Хитарова. Вступление, подготовка текста и примечания Авики Исаакяна. X—215.

*К 100-летию со дня рождения
С. Н. Сергеева-Ценского*

Письма Сергеева-Ценского к Н. С. Клементову-Ангарскому. Публикация Марии Ангарской. IX—227.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Л. Аннинский. Воля. Путь. Результат (Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю. Роман). XII—262.

В. Баранов. В многообразии — единство (Идейное единство и художественное многообразие советской прозы). XII—264.

Г. Белая. Умная ирония Зоценко (Мих. Зоценко. Рассказы). IX—258.

Сурен Гайсарьян. С нежной любовью (С. Кошечкин. Сергей Есенин. Раздумья о поэте). X—256.

И. Гринберг. Как добывается цельность (Константин Симонов. Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания. Литературные заметки. О собственной работе). XI—268.

Вл. Гусев. Память и боль сердец (В. Богомолов. Рассказы). IX—256.

Валерий Деметьев. Проза поэта (Леонид Мартынов. Воздушные фрегаты. Новеллы). V—273.

И. Денисова. Поэма о декабристе (Сергей Васильев. Изба над Тоболом. Поэма). XII—260.

М. Домогацких. Новая встреча с Цюй Цю-бо (Цюй Цю-бо. Избранное. Перевод с китайского). X—263.

Г. Ищук, доктор филологических наук. Диалог и спор. (Русская литература и ее зарубежные критики. Сборник статей). (Институт мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР). XI—264.

Дмитрий Ковалев. О самом заветном (Петрусь Бровка. Пишу о сердце человека... Сборник. Перевод с белорусского). VI—256.

А. Коган. «Передай по цепи» (Борис Богатков. Единственная книга. Стихи и письма поэта, воспоминания о нем. Составители Н. А. Мейсак, Л. В. Решетников. Автор предисловия и примечаний Л. В. Решетников. Леонид Решетников. Четыре стороны света). III—268.

А. Кондратович. Пути победы (Константин Симонов. Незадолго до тишины. Константин Симонов. Разные дни войны). VI—257.

Витаалий Коротич. Направление роста (Роберт Рождественский. За двадцать лет. Избранные стихотворения и поэмы. Роберт Рождественский. Перед праздником. Стихи и поэмы). VII—265.

В. Косолапов. Это тоже был фронт... (Савва Дангулов. Кузнецкий мост. Роман. Книга первая; книга вторая). VII—261.

И. Крамов. Сто книг, написанных критиками (Массовая историко-литературная библиотека). III—274.

А. Крушинский. Вьетнамский характер (Человек из предместья. Рассказы вьетнамских писателей). IX—252.

Л. Лазарев. Люди в огне (Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник. Я из огненной деревни. Авторизованный перевод с белорусского Дм. Ковалева). IV—258.

Ал. Михайлов, бывший командир саперной роты 10-й гвардейской стрелковой дивизии, майор запаса. Светлая радость победы (Победный 45-й. Стихи). V—269.

Н. Молева, кандидат искусствоведения. Мир Чюрлениса (Ядвига Чюрленисте. Воспоминания о М. К. Чюрленисе. Перевод с литовского). IX—265.

В. Новиков, доктор филологических наук, профессор. Высокое достоинство реализма (Борис Сучков. Исторические судьбы реализма. Размышления о творческом методе. Издание третье, дополненное). VII—270.

Леонид Новиченко. Слыша этот звон... (Лев Якименко. Жеребенок с колокольчиком. Повесть). X—253.

А. Нуйкин. Фантомы модернизма (И. С. Куликова. Философия и искусство модернизма). IV—268.

Владимир Огнев. Один из поколений (Михаил Луконин. Избранные произведения в двух томах. Том I. Стихотворения и поэмы. Том 2. Поэмы, заметки о поэзии. М. Луконин. Пять книг. Стихи). II—254.

Р. Орлова. Верить ли Брэдли Пирсону? (Айрис Мердок. Черный принц. Роман.

Перевод с английского И. Бернштейн и А. Поливановой). VI—267.

В. Перцов. Жизнь в литературе (Вера Смирнова. Из разных лет. Статьи и воспоминания). II—270.

В. Перцовский. Выбор судьбы (Даниил Гранин. Однофамилец. Повесть). XI—260.

Лев Разгон. Что происходит на перекрестке? (Д. Данин. Перекресток). VIII—268.

И. Роднянская. Прибавление к объему (Александр Кушнер. Письма. Стихи. Александр Кушнер. Прямая речь. Стихотворения). X—258.

Вяч. Саватеев. Один из многих (Виктор Тельпугов. Все по местам! Повести и рассказы. Виктор Тельпугов. Подыны на снегу. Повесть). IV—262.

И. Салимон. Новь венгерской литературы («Вопросы литературы», 1974, № 12). IV—265.

А. Свободин. Фантазия на реальные темы (Леонид Зорин. Театральная фантазия. Одиннадцать пьес). IX—262.

Галина Серебрякова. Дорогой первых коммунистов (Сергей Сартаков. «А ты гори, звезда»). Роман. XII—257.

Вадим Соколов. Книга подвига и подвиг книги (С. С. Смирнов. Собрание сочинений в трех томах). VIII—264.

Л. Теракопия. Антанина Граяускене принимает решение (М. Служкис. Отдых. Повесть. Перевод с литовского). II—265.

Д. Урнов. Мэлори и его книга (Томас Мэлори. Смерть Артура. Серия «Литературные памятники»). IX—268.

Л. Финк. Осмысляя военную тему (А. Бочаров. Человек и война. А. Абрамов. Лирка и эпос Великой Отечественной войны. Л. Лазарев. Военная проза Константина Симонова. Г. Ломидзе. Нравственные истоки подвига. Советская литература и Великая Отечественная война). V—261.

М. Харитонов. Письма Томаса Манна (Томас Манн. Письма. Издание подготовил С. К. Апт). VI—264.

Политика и наука

Валерия Алфеева. Гонки века и зов мыса Горн (Андрей Урбанчик. В одиночку через океан. Перевод с польского). II—280.

А. Бакиров, доктор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат Ленинской премии. Нефть и энергетические ресурсы мира (С. М. Лисичкин. Энергетические ресурсы и нефтегазовая промышленность мира). III—279.

Григорий Бровман. И пером и штыком (Семен Борзунов. Подвиг, ослепший в строки. Повести о журналистах). V—276.

Ксения Бродер. Призыв к духовности (Евг. Богат. Вечный человек). II—277.

Ф. Буллацкий. Загадка и урок Никколо Макьявелли (Никколо Макьявелли. История Флоренции. Перевод Н. Я. Рыковой. Общая редакция, послесловие и комментарии В. И. Рутенбурга). VI—277.

Б. Галапов. Дорогами войны — дорогами победы (Борис Полевой. Эти четыре

года. Из записок военного корреспондента). VI—271.

И. Гееский, кандидат исторических наук. Президенты и политика (Э. А. Иванян. Белый дом: президенты и политика). XI—277.

И. Дрейцер. Искусство синтеза (Синтез искусств и архитектура общественных зданий. Сборник статей). X—277.

Б. Жировов. Надежный ориентир (Р. И. Косолапов. Социализм: к вопросам теории). XI—272.

П. Исаков, полковник, доктор исторических наук, профессор. «Воюющая партия» (Во главе защиты Советской Родины. Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной войны). V—280.

Р. Кашип, кандидат исторических наук. Книга о героях-антифашистах (А. С. Бланк. В сердце «третьего рейха». Из истории антифашистского Народного фронта в подполье). VIII—277.

И. С. Ков, доктор философских наук. Книга зовет к новым исследованиям (Национальные процессы в США. Редакционная коллегия: С. А. Гонимский, А. В. Ефимов, Ш. А. Богина). VI—274.

В. Косолапов. Истоки (В. А. Максимова. Ленинская «Искра» и литература). XII—270.

Вл. Кузнецов, кандидат филологических наук. Унификация прессы (Г. Гляйсберг. О концентрации печати и манипулировании общественным мнением. Перевод с немецкого). IV—276.

Б. Кузнецов. Мысль и внутренний диалог (В. С. Библер. Мышление как творчество (Введение в логику мысленного диалога). X—272.

Ю. Курсков, кандидат исторических наук. Культура Сибири за два века (А. Н. Копылов. Очерки культурной жизни Сибири XVII—начала XIX в.). X—279.

И. Лаптев, кандидат философских наук. Реальность наших дней и идеологическая борьба (В. В. Кортунов. Идеология и политика. Битва идей и эволюция идеологических концепций антикоммунизма в 1950—1970 годы). VIII—273.

Леонид Лиходеев. Долг и чувство (Александр Борин. Я отвечаю). IX—279.

Н. Мор. Память ветеранов (Они встречались с Лениным. Воспоминания ветеранов Советских Вооруженных Сил). II—273.

Н. Наумов, полковник. Последние версты войны (Ф. Д. Воробьев, И. В. Паротькин, А. Н. Шиманский. Последний штурм (Берлинская операция 1945 г.). VII—276.

Е. Никифоров. Динамика ленинской мысли (Е. Амбарцумов. Вверх, к вершине. Ленин и путь к социализму). IX—272.

В. Орлов. Зоркость глаза, емкость памяти (Д. И. Гразкин. За темной ночью день вставал... Воспоминания старого большевика). XII—273.

Р. Португальский, полковник, кандидат исторических наук. **В. Назаренко,** подпол-

ковник-инженер, кандидат военных наук. Через всю войну... (М. Е. Катукоев. На острие главного удара). IV—274.

В. Преображенский, доктор географических наук. Оружие интеграции наук (В. Н. Садовский. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. Становление и сущность системного подхода). IX—276.

О. Сайкин, кандидат исторических наук. От Радищева до революционных народников (В. Е. Иллерицкий. Революционная историческая мысль в России (домарксистский период). XI—275.

С. Троицкий, доктор исторических наук. Биография Александра Невского: поиски и находки (В. Пашуто. Александр Невский). VII—280. — Биография советской столицы (История Москвы. Краткий очерк). X—267.

А. Ушаков, доктор исторических наук, профессор. Авангард революции (Проблемы гегемонии пролетариата в демократической революции (1905—февраль 1917 г.). XII—267.

В. Шишкин, доктор исторических наук, профессор. Как работал Ленин (М. П. Ирошников. Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин). Очерки государственной деятельности в 1917—1918 гг.). IV—271.

КОРОТКО О КНИГАХ

И. Евгеньева. — Станислав Славич. Крымские повести. Михаил Поздняев. — Владимир Лифшиц. Избранные стихи. Б. Сарнов. — И. С. Немилова. Загадки старых картин. I—284.

Иван Слепнев. — Владимир Мирнев. Скорый поезд. Рассказы и повести. Владимир Мирнев. Крутой месяц. Повесть и рассказы. Л. Напельбаум. — Тамара Жирмунская. Грибное место. Новые стихи. С. Сивоконь. — Пыжова О. И. Призвание. Г. Воробьева. — Вл. Пименов. Продолжение пути. Очерки и статьи о драматургии. II—284.

В. Хмара. — Владимир Еременко. За синими ночами. Повесть. Т. Комиссарова. — Мэс Самбуев. Таежная роса. Стихи и поэмы. Перевод с бурятского. А. Кожин. — Елена Кононенко. Вместе с тобой. К. Азадовский, кандидат филологических наук. — Н. Я. Берковский. Романтизм в Германии. III—284.

Евгений Кригер. — Виктор Степанов. Венок на волне. Повести. В. Бродер, подполковник в отставке. — Василий Ванюшин. Повесть о комиссаре Груданове. Евгений Рейн. — Н. Злотников. Ночные стрельбы. Натан Злотников. Забытая музыка. Стихи. Ю. Ляхов. — Емилиян Буков. Дерево жизни. Перевод с молдавского. В. Сквозников, кандидат филологических наук. — Словарь литературоведческих терминов. Редакторы-составители Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. И. Усок, кандидат филологических наук. — Л. Г. Фризман.

Поэзия декабристов. Павло Мовчан. — Лесь Танюк. Марьян Крушельницкий («Мастера советского театра»). В. Пронин. — Т. А. Мотылева. Первый антифашистский роман. «Верноподданный» Генриха Манна. Е. Полякова, доктор искусствоведения. А. Каменский. Вернисажи. IV—280.

М. Анцыферов. — Борис Агапов. Шесть загранич. Очерки. В. Ружина, кандидат филологических наук. — А. Лебедев. Морская купель. И. Винокурова. — А. Коган. Павел Шубин («Писатели Советской России»). Борис Дубровин. — Анатолий Землячский. Земная песня. Поэмы, стихотворения, повесть в стихах. Вал. Гольцев. — В. С. Рябов. Великий подвиг. Популярный очерк о Великой Отечественной войне. V—283.

Т. Комиссарова. — Юрий Рытхэу. Белые снега. Роман. Геннадий Красухин. — А. Шаров. Волшебники придут к людям. Книга о сказке и о сказочниках. С. Ломинадзе. — С. Г. Бочаров. Поэтика Пушкина. Очерки. В. Сапогов. — Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесять лет. Г. Грубман. — Генри Джеймс. Повести и рассказы. Переводы с английского. Составление и предисловие А. Елистратовой. VI—282.

А. Мельников, кандидат исторических наук. — О. В. Свищицкая. Фриц Плагтен — пламенный революционер. В. Богатырев. — Юрий Авдеенко. Дикий хмель. Роман. Л. Антопольский. — Смена литературных стилей. На материале русской литературы XIX—XX веков. А. Нуйкин. — Борис Неменский. Распахни окно. Мысли художника об эстетическом воспитании. А. Аникст. — Оливер Голдсмит. Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке. VII—283.

А. Алексеев, доктор исторических наук, кандидат географических наук. — Николай Наволочкин. Амурские версты. Роман. В. Жданов. — Г. Соловьев. Эстетические воззрения Чернышевского и Добролюбова. А. Брудный, доктор философских наук. — Виктор Дмитриев. Реализм и художественная условность. И. Туманов, народный артист СССР, профессор. — В. Прохорова. Константин Сергеев. М. Яхонтова, кандидат филологических наук. — Ф. Наркирьер. Андре Моруа. Н. Демидова. — С. М. Троицкий. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократизма. VIII—280.

Л. Лебедева. — Ахмедхан Абу-Бакар. Солнце в Гнезде Орла. Повесть. А. Вулис, доктор филологических наук. — А. Акбаров. Гафур Гулям. О жизни и творчестве народного поэта Узбекистана. Ю. Болдырев. — Г. Бояджиев. Душа театра. А. Аникст. Поэт театра. Игорь Рацкий, кандидат искусствоведения. — В. Ивашева. Английский реалистический роман XIX века в его современном звучании. А. Канцедикас, кандидат искусствоведения. — В. М. Василенко. Народное искусство. Избранные труды 0

народном творчестве X—XX веков. Анна Илупина.—Пьетро ди Готтардо Гонзага. 1751—1831. Жизнь и творчество. Сочинения. IX—281.

Ибрагим Усмонов.—Садриддин Айни. Собрание сочинений в шести томах. Перевод с таджикского. Ю. Борисов.—А. С. Бушмин. Преемственность в развитии литературы. Ю. Скворцов.—А. Нежный. Дни счастливых открытий. А. Пирожков.—На суше и на море. Повести. Рассказы. Очерки. Статьи. В. Левин.—Г. Б. Федоров, Г. Ф. Чеботаренко. Памятники древних славян (VI—VIII вв.). X—282.

В. Гейдеко.—Александр Проханов. Отблески Мангазеи. Ю. Минералов.—Ааду Хинт. Быть самим собой. Роман. Ирина Винокурова.—Петр Вегин. Лет лебединый. Стихи. А. Новикова.—А. Б. Мельников. Хранитель партийных тайн. Очерк жизни и деятельности С. И. Радченко. Ю. Шарпов, кандидат исто-

рических наук.—Первый в России. Иваново-Вознесенский общегородской Совет рабочих депутатов 1905 г. в документах и воспоминаниях. Анна Илупина.—Ефим Вихрев. Палех. Я. Горелик, кандидат военных наук, полковник в отставке.—Е. П. Тарасов. Краском Генрих Эйхе. XI—281.

Н. Яковлев.—Марк Сергеев. Подвиг любви бескорыстной. Рассказы, воспоминания. Эр. Ханпир.—Л. П. Петровский. Петр Петровский. Б. Исаев.—И. Смирнов. Марковская республика. Из истории крестьянского движения 1905 года в Московской губернии. Н. Долотова.—Роман Белоусов. Из родословной героев книги. XII—276.

Книжные новинки: I—287; II—287; III—287; IV—287; V—287; VI—287; VII—287; VIII—285; IX—287; X—286; XI—287; XII—279.

«Новый мир» в 1976 году. VIII—287.



Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 26/IX 1975 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 21/XI 1975 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8}, 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 02357. Тираж 170.000 экз. Зак. 3316.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл. 5 в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47. Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 06568.

Цена 70 коп.

70636